

Андрей Лазарчук

# Опоздавшие к лету

КНИГА  
ПЕРВАЯ

Удостоен премии  
«Бронзовая улитка»  
как лучший  
отечественный  
фантастический  
роман года.







Мы лежим под одною землею,  
Опоздавшие к лету,  
Не успевшие к свету пробиться.

*Токагава Ори*



**Андрей ЛАЗАРЧУК**

# **Опоздавшие к лету**

**КНИГА  
ПЕРВАЯ**



Санкт-Петербург  
ИЗДАТЕЛЬСТВО "АЗБУКА"  
Книжный клуб "Терра"  
1996

На обложке использована картина Майкла Уилана

© Michael Whelan, 1992. All Rights Reserved

Иллюстрации Яны Ашмариной

Оригинал-макет изготовлен издательством «Terra-Fantastica».  
Издатели выражают благодарность литературному агентству  
«Классика», Николаю Ютанову и Александру Корженевскому.

*Все права защищены.*

*Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом  
не могут быть воспроизведены, сохранены на печатных формах  
или любым другим способом обращены в иную форму хранения  
информации: электронным, механическим, фотокопировальным  
и другими, без предварительного согласования с издателями.*

© А. Лазарчук, 1996

© Я. Ашмарина, иллюстрации, 1996

© С. Бережной, предисловие, 1996

© «Азбука» — «Терра», 1996

ISBN 5-7084-0145-8

## КОРИДОР ЗЕРКАЛ

Сейчас стало модно писать предисловия в манере «я и автор». Тут важно верно выдержать пропорцию: первое не должно перевешивать второго. Это трудно, потому что пишешь все равно о себе — о своем видении, о своем восприятии... Следует осознать свою роль. Предисловие задает интонацию. Подход. Дает новый угол зрения. Прочитав идеальное предисловие, читатель должен заранее любить еще не начатый роман.

Предисловие — это блик, отброшенный книгой на первые страницы. Автор предисловия — зеркало, отразившее (и исказившее) испускаемый книгой свет.

Представьте себе зеркало, прекрасно сознающее, насколько оно несовершенно, насколько искажено возникающее в нем отражение. Тема для романа...

Впрочем, если одни зеркала ограничиваются тем, что принимают себя самозабвенно проклиная свое несовершенство, то другие все-таки имеют смелость отражать... Вы думаете, это я о себе? Нет, это я уже об авторе. Автор — это ведь тоже зеркало. Автор создает книги — отражения мира, в котором он живет. И тоже — отражения неизбежно искаженные.

Тот, кто сотворил наш мир, тоже создал отражение чего-то. Интересно, чего именно... Мы-то можем только гадать, поскольку видим это — тоже искаженное — отражение в совершенно невозможном ракурсе — изнутри.

А если еще учесть, что совершенных отражений не бывает...

Зеркало, отраженное в зеркале, отраженном в зеркале. Коридор зеркал, уходящий в бесконечность. А в центре — вы, читатель этой книги.

И теперь вам уже никуда отсюда не уйти.

Миры рождаются по-разному.

Одни возникают в затмевающей реальность грандиозной вспышке вдохновения. Истинная их жизнь коротка — такой мир едва успевает бросить тусклый отблеск на бумагу — и погибает.

Другие миры строятся долго и старательно: от аксиом к теоремам, от теорем — к их следствиям, загромождая бумагу трупами подлежащих и сказуемых.

Третьи миры рождаются от великой тоски. Просто взлетает однажды разрываемая скорбью и печалью душа в сырое небо...

«Почему мир несовершенен, Господи?..»

Бог знает — почему; знает, но не говорит.

И душа, так и не дождавшись ответа, возвращается в тело, стоящее в очереди за молоком.

Мир рождается в момент воссоединения души с телом. Мир, возможно, еще менее совершенный, чем мир реальный. Пусть так. Но одному-единственному человеку в нем дано не стать подонком. Или он может уклониться от летящей в него пули. Или способен понять несовершенство своего мира...

А мир, осознавший свое несовершенство, рождает следующий.

И так — до бесконечности.

Андрей Лазарчук вовсе не собирался становиться Создателем Несовершенных Миров. Когда он писал «Тепло и свет», «Середину пути» и другие притчи, — а это было адски давно, в начале восьмидесятых, — он лишь выплескивал из себя скопившуюся в душе тягостную накипь обыденности. Она была невероятно мерзка, эта накипь. Она заполняла, топила в себе каждый вновь созданный мир. Она чувствовала себя в своем праве.

Но в рожденном мире немедленно появлялся человек, к которому эта мерзость не липла. Рыцарь. Мастер. Творец. Он не пытался вступить в борьбу с накипью. Он просто был способен ее осознать, увидеть — и отделить от мира. И его мир не то чтобы очищался — он чувствовал себя чище...

Невозможно возродить погибший в ядерном пламени мир, но можно создать в глубоком подземном убежище искусственное Солнце, которое будет разгораться от любви

одного человека к другому. Разве для тех, кто остался в живых, мир не станет от этого хоть немного прекраснее?

Когда-то давно Лазарчук написал об этом повесть «Тепло и свет».

Он уже тогда знал (собственно, он знал это всегда), что человек не в силах преодолеть несовершенство мира. Провозглашение этой цели — всегда ложь. Пусть прекрасная, как Царствие Небесное, пусть логичная, как Утопия, пусть научная, как Коммунизм, — но все-таки ложь.

И не бороться с несовершенством мира — немислимо. Антиутопии никогда не рисуют будущее — лишь настоящее. То настоящее, которое необходимо свернуть в рулон и навсегда замуровать в прошлом. То настоящее, с несовершенством которого должно бороться. То настоящее, которое не имеет будущего.

Андрей Лазарчук не писал ни утопий, ни дистопий. Это было для него лишено интереса. Действие его рассказов всегда происходит между прошлым (которого нет у утопий) и будущим (которого лишены антиутопии), в том настоящем, которое никогда не станет ни беззаветно светлым, ни безнадежно мрачным.

Вот рассказ «Мумия». Наше время. Много лет назад черное колдовство оживило мумифицированного Вождя. Мумия, не способная жить сама по себе, поддерживает свое существование за счет жизненных сил детей, которых приводят в кремлевский кабинет на экскурсии — обязательные и жуткие, как похороны.

Гротескна ли в этом настоящем фраза «Ленин и теперь живее всех живых»?

В этом мире властвует диктатура мертвенных суеверий. Поразительно, но от той диктатуры, которая так долго царила в нашей реальности, она отличается какими-то мелочами. Атрибутикой. Лексикой. Списком запрещенных книг. И все! Ужас несказанных слов — тот же. Голодный паек на ребенка — тот же. Талант, скрываемый либо уничтоженный, — тот же.

Страшно.

Но реальность страшнее.

В той реальности злое волшебство победило. Но в ней же существует и волшебство доброе...

В нашей реальности чудес не бывает.

Никаких.

В нашей реальности все рационально. Рациональны радость, любовь, рождение, смерть... Иррационален лишь страх темноты. Страх этот собрался из боязни себя, ужаса перед слепотой и вечного испуга перед неведомым. Мозг неспособен справиться с этим страхом, ибо мозг тоже рационален.

У Лазарчука есть рассказ «Из темноты». Жуткий водоворот иррационального страха втягивает в себя людей, соединяет их, как пузырьки на поверхности воды. Слившись, как эти пузырьки, в нечто единое, люди становятся вратами, через которые Ужас прорывается в мир.

Выбирай.

Первое — смерть. У тебя не будет больше страха перед темнотой. Ты сам станешь ее частью.

Второе — одиночество. Уничтожь свою любовь, забудь своих друзей, живи один в ночи вечного, сводящего с ума кошмара.

Третье. Пропусти Ужас в мир. Освободись от него. Утешься тем, что ты сделал это не один (один ты не смог бы сделать это), и живи дальше. Тем более что с ужасом, находящимся вне тебя, можно бороться.

Четвертого не дано.

Герой рассказа принимает на себя одиночество. Он не спас свой мир — Ужас нашел другой путь. Но теперь в Ужас можно было стрелять, ибо Ужас стал рациональным.

Стоит ли бояться того, что можно понять?

По-настоящему страшна лишь темнота.

Государство избрело гениально простой способ заставить себя бояться: оно стало превращать привычное в иррациональное. Самые невероятные кошмары, ворвавшиеся на страницы романов Дика из наркотического бреда, бледнеют перед искусством правительств превращать жизнь в ад. Лишите быт человека логики — и его можно брать голыми руками. Извратите его прошлое — и он готов стрелять в собственных детей. Скажите, что мир построен на лжи, — и он поверит вам.

Роман «Опоздавшие к лету» тоже построен на лжи. Колдовской сад — мираж, Полярная звезда — морок, правдива лишь великая ложь войны и смерти. В какую ложь верить? Идти ли вечно на Север, прикрепив на бушприте Полярную звезду, или рубить шашкой картонные танки?



Что есть правда? Что есть вера? Правда ли то, во что можно верить?

Каждый пролет гомерического Моста можно потрогать руками, но если само тело твое перестает существовать для пуль, взглядов и прикосновений — как верить своим ощущениям? Кинопленка беспристрастна и правдива, пока она не проявлена и не смонтирована, но, извлеченная из камер, она немедленно начинает лгать.

Неужели это всеобщий мировой закон? Или же эта ложь — необходимое условие существования человека? Или — Государства?

Но мир сам по себе не знает лжи, а человек способен эту ложь распознать — какая бы она ни была изощренная. Государство же существует лишь благодаря лжи. То, что человек нуждается в опеке свыше, — ложь; отвергнув опеку Бога, человек не нуждается больше ни в чьей. То, что общество нуждается в упорядочении, — ложь; Государство разрушает упорядоченность жизни, меняя законы по своему желанию.

Ложь — естественное состояние Государства.

В одном из миров, созданных Андреем Лазарчуком, существует Голем — разум, порожденный Государством, ублюдочное дитя социальных потрясений двадцатого века. Он существует, но он не существо — это кибернетический разум, воплощенный не в металле и полупроводниках, но в колоссальной бюрократической системе.

Смыслом существования Голема является преобразование лжи бумаг в ложь действительности. Начав свое существование в мире, где ложь была безыскусна и наивна, он придал лжи глобальную стройность и монументальную величественность. Мир Голема превратился в мир тотальной лжи — лжи мыслей, слов, поступков, лжи смерти и забвения. Мир диктатуры лжи, где ложь в принципе невозможно обнаружить — ибо не на что опереться при этом, кроме как на другую ложь. Человек, который не может существовать, не определив для себя каких-то основополагающих истин, вынужден принимать в качестве таковых ложь.

И человек перестает быть человеком.

Или просто перестает быть.

...Мы живем в Мире Великой Тоски.

В нем есть все — красота и порок, золото и смерть. В нем бездна несовершенства, которое — помните? — по-

рождает такие же несовершенные миры. Может быть, в нем есть Бог.

Но если Он есть, то мир наш Он создал, не летая над бездною во тьме. Он создал его, стоя в очереди за молоком.

\* \* \*

Есть авторы, чья творческая эволюция изумительно легко прослеживается. Вот простенькая базовая идея, от которой автор оттолкнулся в своем первом произведении. Вот во втором произведении эта идея повернута под несколько иным углом и приобрела очертания концепции. В третьем она парадоксально подана. В четвертом — вывернута наизнанку... Автор как будто отмечает новым произведением каждый шаг своего взросления.

Ярчайший пример автора такого рода — ранние братья Стругацкие. Это уже потом они начали перепрыгивать через ступеньки, воплощать в повести и романы одну задумку из десяти...

Невозможно говорить о Лазарчуке, не упомянув Стругацких. Стругацкие построили интеллектуальный фундамент всего творчества Лазарчука. Они создали социально-психологическую фантастику, смоделировав многие предельные ситуации взаимоотношений личности и социума. И в какой-то степени закрыли эту тему.

Но они так никогда и не брались — не решились? — смоделировать проблему взаимоотношений личности с реальностью как таковой. Проблему человека, которого существующая реальность не устраивает. И который в силах создать реальность новую.

Они так и не решились осознанно стать Творцами Миров.

Лазарчук пришел к этому уже на втором шаге своего пути.

А первый его шаг был вполне строевым. В когорте так называемых «молодых фантастов», которых так успешно мариновали на семинарах Союза писателей в восьмидесятых годах, его имя почти не выделялось. Рассказы, которые удавалось опубликовать в то время, свидетельствовали о профессионализме — редко чуть более того. «Гран-при», полученная на зарубежном конкурсе фантастического рассказа, — только ленивый тогда не получал таких премий, благо конкурсов было много... Буква «л» в

алфавите устроилась где-то посередине, а потому в бесконечных перечнях «талантливых, но, к сожалению, мало публикующихся» авторов Лазарчук занимал центристские позиции.

«Тепло и свет» он написал примерно в это время. Повесть эта помечена той же романтической отвлеченностью, что и метафорические «Сказки», писавшиеся тогда же и чуть раньше. Пройдет немного времени — и творимые им миры приобретут осязаемость и конкретность.

А пока он предпринимал первые попытки издать книгу.

Сборник «Сад огней», предложенный Красноярскому книжному издательству в 1986 году — всего десять лет назад! — рубили смачно и под корень. Рубили массово — четыре разгромные внутренние рецензии! Рубили с идеологически выдержанных позиций: упрекали в излишней отвлеченности («В абстрактной стране живут герои рассказа „Середина пути“...») и чрезмерной привязанности к реализму («Спрашивается, в какой стране платят за диссертации, не имеющие смысла — ни прикладного, ни теоретического? В нашей, социалистической, вынуждены мы признать...»). Рецензенты держимордствовали и развлекались вовсю. Естественно, книга была отвергнута.

В 1987 году он предложил тому же издательству новый сборник. На этот раз в сборнике обнаружилась «философия, чуждая нашим национальным традициям», герои рассказов вдруг оказались «безродными», а их поступки — «антигуманными». Книга не пошла.

В 1988 году родился роман «Опоздавшие к лету». Первый том его, предложенный в то же самое Красноярское книжное издательство, также был отвергнут — на этот раз по соображениям эстетическим. Внутренний отзыв писал тонкий стилист. Оцените, попробуйте на вкус: «...соединение устойчивых клишированных формул с неопределенным, размытым контекстом»... «...история строительства стратегического моста становится не столько шифром к символике, сколько замещает собой героев»... «...слишком много риторики вперемишку с допинговой взвинченностью отдельных эпизодов»...

Теперь его рукописи ошеломленно читают и обсуждают на Всесоюзных семинарах («Семинары дали мне всё», скажет Лазарчук позже в одном из интервью). Ольга Ларионова высказывается в том смысле, что если бы ей дали

новую рукопись Стругацких и новую рукопись Лазарчука, то она не знала бы, что ей читать в первую очередь. В узких кругах его уже отлично знают. Любители фантастики, окольными путями добывшие рукописи его расказов, приносят их в местные журналы. Кое-что даже удается опубликовать! Рассказ «Из темноты», например, внезапно появляется в полутолстом региональном журнале «Днепр». И с тех пор, кажется, так нигде и не переиздавался...

Проходит еще пара лет — и у Лазарчука почти одновременно выходят первые две книги — несколько эклектичный сборник «Тепло и свет» и — в серии «Новая фантастика» — первый том романа «Опоздавшие к лету».

Это была действительно новая фантастика. Сильная социально-психологическая проза, сравнимая по мощи с лучшими произведениями Стругацких — но гораздо более свободная. Стругацкие сильнее привязаны к реальности. У них никогда не возникало желания превратить героя в призрака, лишить его телесности, оставив обнаженную душу, — они в таких случаях вполне комфортно обходились голограммами. У Лазарчука же это получилось легко и естественно. В его прозе трезвая философичность поздних Стругацких вполне уживалась с мрачным восторгом Данте, идущего по кругам Ада, и пессимистичными апоориями Дика...

(Кстати, с прозой и идеями Филипа Дика Лазарчук знаком достаточно близко — ему принадлежит, пожалуй, лучший из опубликованных в России переводов знаменитого «Убика».)

Уже тогда Лазарчук начал опасную игру с реальностью.

Точнее — с реальностями.

Но об этом — в предисловии ко второму тому.

\* \* \*

Роман писался не так уж и долго — пять лет. За это время из мощного дебютанта Лазарчук превратился в практически всеми признанного лидера отечественной интеллектуальной фантастики. Единственный приз, который его миновал, — «Старт», приз за лучшую дебютную книгу. Ну да не очень-то и хотелось. Зато:

опубликованная в 1991 году новелла «Священный месяц Ринь» получает читательский приз «Великое кольцо»;

опубликованному в 1993 году рассказу «Мумия» присуждаются премии «Бронзовая улитка», «Интерпресскон» и «Лунный меч», а роману «Иное небо» — премия «Странник»;

опубликованный в 1994 году роман «Солдаты Вавилона» снова приносит Лазарчуку премию «Бронзовая улитка»;

«Опоздавшие к лету» получают в 1994 году в Новосибирске на конкурсе неизданных фантастических произведений «Белое пятно» первый приз — как лучший неопубликованный роман.

И — едва вспоминается на фоне всех этих лауреатств — скромная премия «За демилитаризацию общественного сознания», присужденная ему за повесть «Мост Ватерлоо»...

Лазарчуку становятся равно тесны условности реализма и традиционной фантастики. Он умеет писать реалистические романы о сотворении миров и роли человека в структуре мироздания. Он создает каноны новой литературы. Его проза стала уже слишком сложной для традиционной аудитории фантастики. И в то же время другой аудитории у него нет. Впрочем, наверное, и не надо...

Но иногда мне становится обидно, что российский литературный истеблишмент прозу Лазарчука практически не замечает. Обида эта совершенно бессмысленна. В конце концов, этот истеблишмент давно уже интересуется не столько литературой, сколько околотитулярной и околополитической возней. Аналитических способностей теоретикам этой тусовки хватит только на констатацию того, что Лазарчук пишет фантастику, — да и то вывод этот они сделают лишь в одном случае — если удосужатся открыть эту книгу. Что уже само по себе маловероятно. «Ширпотреб-с...»

Это не ярлык. Это карма. Все, кто пишет «не-реализм», попадают под эту крышку с надписью «Недолитература». Истеблишмент читает реалистического Пьецуха («Роммат» — это реализм<sup>1</sup>) и снисходительно дает «Букера» Пелевину. Мало Букера. Мало — чтобы, не дай бог, не возмнил о себе.

Что ж это я переживаю-то? Из-за кого? Из-за литераторов, вершиной философской мысли которых является трибуна какого-нибудь съезда, а пределом карьерных устремлений — кресло в Думе?

Сам удивляюсь — как я не устал обижаться? В недавно опубликованной беседе Андрея Измайлова с Борисом Стругацким снова были повторены слова Ричарда Фримена о том, что о жанре детектива судят по его отбросам, тогда как о всех прочих жанрах — по их достижениям, и снова было сказано, что детектив в этом смысле не одинок. Фантастика полностью разделяет его горестный триумф.

Впрочем, мне не обидно за покойных Немцова, Охотникова и Гамильтона, равно как и ныне здравствующих Казанцева, Медведева и Ван Вогта. Мне обидно за Стругацких, произведения которых не понимают второстепенные литературоведы, берущиеся о них писать, — а литературоведы высшего класса либо считают это делом ниже своего достоинства, либо (как великолепный исследователь А. Зеркалов) некогда начав, в конце концов отступаются — негде печатать такие работы.. Мне обидно за Вячеслава Рыбакова, который никогда в жизни не сумеет мало-мальски достоверно описать какой-нибудь «сопричастивший мультиплексатор», но воспринимается критиками так, будто он пишет книги о роботах. Мне обидно за Андрея Столярова, который сам вынужден подводить литературоведческую базу под то направление, в котором он работает, — ибо знает, что ни один профессионал за это не возьмется. Не потому, что эта задача ему не по плечу, а потому, что слишком много чести — сравнивать какого-то Столярова, скажем, со Стриндбергом..

И, конечно, мне обидно за Андрея Лазарчука.

А с другой стороны.. Какое это имеет значение? Если вы держите эту книгу в руках — значит, роман «Опоздавшие к лету» все-таки выпущен, и у каждого читателя — будь он хоть снобом, хоть, напротив, фанатичным почитателем Берроуза — есть прекрасная возможность самому оценить философские концепции автора. В любом случае, сам факт выхода *magnum opus* Андрея Лазарчука значит гораздо больше, чем чей-то заносчивый снобизм.

Сергей БЕРЕЖНОЙ

# КОЛДУН









здесь лес раздавался вправо и влево, открывая невысокому северному солнышку зеленый сочный луг с медлительными пятнистыми коровами на нем, стога запасенного впрок сена и изгородь, широко обнесенную вокруг дома, добротного и двухэтажного, где жили Освальд и отец Освальда, а по другую сторону дома тихо стоял пруд, светлый по утрам и непроглядно-черный после полудня, когда на воду надвигалась тень тысячелетних дубов, и дальше, в вечной уже тени тех дубов, лежало тяжелое замшелое тело плотины, останавливающее на время бег воды, и вода, прокатываясь по обросшему зеленым нежным шелком желобу, лилась в ковши мельничного колеса и в тех ковшах тихо спускалась вниз, в постоянную прохладу и полумрак у подножия плотины, в заросли осоки, мокролиста и конского щавеля, и дальше продолжала свой бег незаметно, кроясь за ивняком и черемухой, пока, слившись с другими такими же ручейками и речками, напивавшись подземными ключами, не обретала силу и имя реки и уже с силой и именем, достойно, входила в спокойную и полноводную в любое время года реку Лова, разделявшую пополам уездный город Капери, город, в котором есть все, даже железная дорога, и по понедельникам и четвергам от перрона отходят составленные из пассажирских и товарных вагонов поезда, идущие в портовый город Скрей, где у причалов стоят черные и белые пароходы со всех морей, а по средам и субботам поезда возвращаются обратно, и тогда на вокзале становится шумно и тесно,

и все такси города Капери собираются на привокзальной площади, дымя и пофыркивая, и развозят приехавших по домам и гостиницам, а если кому-то надо попасть в близлежащие села и хутора, то им никогда не отказывают, но берут довольно большие — по здешним меркам — деньги; с хуторов же приходится добираться своим ходом, и отец Освальда, сложив в деревянный, с навесным замочком чемодан кой-какие пожитки, зашив деньги за подкладку и сунув в заплочный мешок каравай хлеба, копченый окорок и четверть домашней можжевелевой водки, пешком дошел от дома до хутора Бьянки Пальчековой и там договорился с Бьянкой, что ее работник, китаец Лю Шичен, за два динара доведет его на бричке до вокзала, а на обратном пути прихватит ветеринара, потому что у свиней третий день понос; Лю был молчалив, и они катили мило за милей, ни о чем не говоря, и отец Освальда с грустью смотрел, как остаются позади родные места и начинаются неродные — граница их была четкая, и даже сердце остановилось и пропустило два или три удара, когда ее пересекали; на вокзале он сел в поезд, и Лю был последним из знакомых Освальду людей, которые его видели. Через две недели почтальон Бруно принес Освальду письмо. В письме отец просил прощения за свой уход и за то, что забрал большую часть наличных денег. Дальше он извещал Освальда, что купил полбилета на пароход «Глория», идущий на Таити с грузом цветных ситцев и стеклянных бус; оставшуюся неоплаченной половину билета он будет отрабатывать в дороге, нанизывая бусины на нитки. Освальд прочитал письмо и заткнул его за висящую в комнате отца картину в рамке: пальмы, прибой и голые негритянки, купающиеся в прибое.

К Освальду часто заглядывал сын старосты, Шани, с ним Освальд когда-то учился в приходской школе, потом, в тринадцать лет, Освальд стал работать с отцом на мельнице, а Шани отправили в гимназию в Капери, но из последнего, выпускного класса его выгнали без аттестата — за неуспеваемость и чересчур откровенную связь с уборщицей. Теперь Шани приторговывал в лавке своего дяди, ездил за товарами по многим

местам, имел много приятелей и подружек, но Освальд чем-то его притягивал — Шани рассказывал ему свежие сплетни и все порывался сводить к девкам, но Освальд упирался и мотал головой. Идти к девкам он боялся. Он вообще их боялся.

Однажды Шани пришел и сказал, что объявлена мобилизация и что завтра в село приезжает мобилизационная команда и медицинская комиссия, будут всех проверять, и чтобы не попасть под ружье, надо дать хабара. Освальд отдал Шани десять золотых десятков и серебряные часы-луковицу с боем. На следующий день, ближе к вечеру, он приехал в село. На площади перед управой былолюдно и шумно. Стриженные парни толпились в обнесенном веревкой с красными флажками загончике, по углам которого стояли часовые с короткими ружьями. Комиссия работала в пятнистой брезентовой палатке с большим красным крестом. Освальда и еще девятерых парней впустили внутрь и заставили раздеться догола. Им заглядывали в рот и в задницу, ощупывали руки и ноги, били по коленкам резиновым молоточком, выворачивали веки, что-то шептали, и надо было повторить. Потом всем раздали картонные квадратики. На картонке Освальда было написано большими буквами: «К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ НЕПРИГОДЕН». А ниже: «плоскостопие». Шани ждал его у входа. Воздух вне палатки был необыкновенно вкусный, как вода в жаркий день.

— Нормально? — спросил Шани.

— Ага, — сказал Освальд. — Пойдем пить водку.

— А может, к девкам? — предложил Шани.

— Посмотрим, — сказал Освальд, хотя знал, что не пойдет.

— Эх, ты, — сказал Шани. — Ни в пизду, ни в армию. Какая от тебя польза для человечества?

Этого Освальд не знал.

Они напились как свиньи. Последнее, что Освальд помнил, это как они с Шани, поддерживая друг друга, дурашливо махали вслед уходящей колонне.

Через три дня объявили, что война началась. У Освальда прибавилось работы: все хотели поскорее смолоть остатки прошлого урожая. Были дни, когда

возле мельницы собирался табор телег в сорок. Освальд нанял старого глухонемого Альбина, умевшего все, чтобы он работал ночами. Для освещения приспособили динамо-машину и фару от велосипеда. Сельская управа каждый день отряжала трех мужиков для погрузки-выгрузки. Потом пошло зерно нового урожая. Так продолжалось до декабря, до ледостава.

За зиму от отца пришло еще два письма, короткое и длинное. В коротком он писал, что жив и здоров, чего желает и Освальду, что сейчас темно и вокруг океан, что два дня назад вышли из Танжера, засыпав бункера углем по самые бимсы, и теперь бояться нечего. Во втором, длинном, письме он рассказывал про странный остров в Индийском океане, остров, вечно окруженный туманами и поэтому попавший не на все карты. Люди там живут рослые, смуглые и красивые, и все поголовно счастливы, потому что такой мудрой системы правления нет нигде: раз в полгода все жители, достигшие четырнадцати лет, участвуют в лотерее, где разыгрываются королевский титул, титулы советников и придворных, жрецов и судей, а также все прочие сколько-нибудь заметные места в государстве, вплоть до сутенеров, которые там не преступники, а уважаемые предприниматели, потому что проституция на острове является важнейшим источником поступления иностранной валюты; а чтобы придать остроу лотерее, подсыпать в это дело перчику, разыгрывается еще и десять мест в камерах приговоренных к смерти; как правило, новый король, взойдя на престол, объявляет им помилование, но случается, что его отвлекают другие дела... Однажды, в канун Рождества, — Освальд уже встал и начинал топить печь — донесся откуда-то многоголосый звенящий гул. Освальд оделся и вышел из дому. Светало. В небе над ним, ярко высвеченные не взошедшим еще солнцем, вились самолеты. Их было видно очень хорошо: три больших восьмимоторных ползли медленно-медленно, а вокруг них кружились, как пчелы, десятка полтора маленьких. Потом, перекрываясь и накладываясь, стали доноситься другие звуки: будто там, в небе, рвали на полосы крепкие простыни. Два маленьких самолета

тика закувыркались и упали далеко отсюда. Потом еще один плавно пошел вниз, волоча за собой тонкий розовый шлейф. Самолеты были теперь точно над домом. Освальд подумал, что если сейчас какой-то из них упадет, то упадет прямо сюда, на него. Захотелось убежать, но убежать он не стал — бесполезно. Несколько маленьких — пять или шесть — отошли в сторону, развернулись и бросились на большие. Другие маленькие оказались на их пути, снова раздался треск разрываемых полотнищ, и сразу четыре самолетки, загоревшись, стали падать в разные стороны, рисуя в небе огромный светящийся крест. Наверное, кто-то из нападавших прорвался все-таки к большим самолетам, потому что крайний слева стал оставлять за собой в небе след, все более густой и темный, и через несколько секунд он полыхал весь, как сарай на ветру; он еще шел следом за остальными, но потом вдруг завалился набок и, скользя, как с горы, рухнул со страшным, сотрясшим землю грохотом, и там, где он упал, встала багровая, клубящаяся туча. Только потом Освальд заметил, что в небе, под черным следом его падения, неподвижно висят штук десять маленьких белых кружков. Два оставшихся больших самолета удалялись, рев их моторов замирал, и маленькие самолетки уже не вились вокруг них, а ровненько держались сзади и по одному подлетали к ним и будто бы прилипали снизу к огромным распластанным крыльям. Освальд еще потоптался на крыльце, ожидая продолжения увиденного, но ничего больше не было, и он вернулся к печи. Через час в дверь забарабанили. Освальд осторожно посмотрел в незамерзший уголок окна: у изгороди стояла знакомая полицейская машина, и тот, кто стучал в дверь, был в полицейской шинели, лица не разобрать. Освальд отпер дверь. Это был старший полицейский Ян.

— Входи, — сказал Освальд.

— Видел? — спросил Ян. — Как они нас...

— Видел, — подтвердил Освальд.

— Замерз, как цуцик, — сказал Ян. — Печка в машине ни к черту.

— Зови всех, — сказал Освальд. — Погреетесь.

— Да ну их, — сказал Ян. — Там у меня эти... гражданская гвардия. Пердуны, одним словом. И с ними — парашютистов ловить. Смех, да и только. Не знают, с какого конца винтовка стреляет. Погреться дашь? — Он звонко щелкнул себя по горлу.

Освальд принес полный, до краев, стакан можжевеловой и толстый ломоть ветчины. Ян выпедил водку, прослезился, занюхал ветчиной; потом, разрывая ветчину пальцами, стал есть.

— Бьянкина свининка? — спросил он, жуя.

— Ее, — сказал Освальд.

— Умеет, ведьма, — сказал Ян. — Что умеет, то умеет. Теперь долго такой свининки не будет.

— Почему? — спросил Освальд.

— Так один самолет прямо на ее свинарник упал. Вот визгу-то небось было! Все вперемешку изжарились: и летчик, и свиньи, и китаец. Такое, понимаешь, рагу.

— И китаец сгорел?

— И китаец. Он там, со свиньями, ночевал. С ума сойти — спать в свинарнике. Я бы никогда не смог.

— Я бы тоже.

— Ладно, пойду я. Хорошая у тебя можжевеловка. Ты, главное, никого не пускай. И ставни пока на засовах держи. Ружье у тебя есть?

— Нет.

— Дать?

— Не надо, я не умею.

— Я к вечеру еще заеду.

Весь недолгий день Освальд, как неприкаянный, слонялся по темному дому. Вечером Ян не приехал. Ночью Освальда донимали то шаги, то стук в окно; он вскакивал, дрожа, и ждал, когда звук повторится; звук не повторялся. Через день на маленькой белой танкетке приехал офицер в черной форме и велел Освальду ехать с ним. Он привез его на лесную поляну, где около костра грелись три солдата, а на пятнистом брезенте посреди поляны лежали пятеро, раздетых до белья. Четверых Освальд не знал. Пятым был Ян. У всех на груди напротив сердца были серо-коричневые круглые пятна с черной дырочкой в центре.

— Он был у тебя? — спросил офицер Освальда.

— Да, — сказал Освальд. — Два дня назад.

— Водкой его поил? — спросил офицер.

— Дал с собой, — сказал Освальд. — А что?

Офицер, не размахиваясь, ударил его по скуле.

— Положить бы тебя шестым рядом с ними, — мечтательно сказал он, покачиваясь на скрипучем снегу с пяток на носки. — Теперь у них машина, форма полиции, форма гражданских гвардейцев, винтовки, гранаты... Много водки дал?

— Литр, — сказал Освальд и заговорил торопливо, захлебываясь концами слов: — Так ведь, господин офицер, как полицейскому-то не дать, когда просит, это же невозможно совсем, это же вовсе никак невозможно, и на опохмелку даем, и просто так, а уж в мороз-то, само собой, отказать нельзя, вы же понимаете, господин офицер...

— Дорого твой литр отечеству обошелся, — сказал офицер ледяным голосом. — Ладно, иди.

— Домой? — не поверил Освальд.

— Домой, домой, — отмахнулся от него офицер. — С глаз моих!

— Вот спасибо, — сказал Освальд, пятясь и кланяясь, — вот спасибо-то...

Пешком до дому он добирался полтора часа и основательно замерз: лицо, руки, ноги. Отогрелся он быстро, но никак не мог унять дрожь. Все становилось как из киселя, едва он вспоминал глаза офицера — а вспоминал он их тем чаще, чем сильнее старался забыть, — глаза желтые, как у кошки, воспаленные — то ли с похмелья, то ли от бессонницы, — с крохотными зрачками, неподвижные — глаза убийцы, понял Освальд. Ему стало еще страшнее. Не убежать, не спрятаться — найдет, догонит. Не задобрить, не купить... В какой-то момент он поймал себя на том, что встает и одевается, чтобы куда-то идти. Потом он оказался у мельницы, дверь почему-то была открыта, горела керосиновая лампа, и в дальнем углу, за жерновами, на связках пустых мешков сидели двое. Освальд обмер, но один из сидящих повернулся так, что осветило его лицо, — это был Альбин. Кричать на него и ругаться было беспо-

лезно. Второй был незнакомый, в стеганке и ватных брюках, и в полутьме Освальд не сразу разобрал, что это китаец.

— Лю? — спросил Освальд, вглядываясь в него. — Ты что тут делаешь?

Альбин замычал и замахал руками перед лицом Освальда, а потом стал пальцем выводить на полу буквы. Это был не Лю, а его младший брат, он приехал к старшему, но теперь, когда Лю убило, ему некуда идти, жить же там, где убило Лю, он боится. Пусть он помогает на мельнице.

Это было и хорошо, и не очень. Освальд подумал, прикидывая все расходы и выгоды, потом сказал:

— Хорошо.

Альбин залопотал, захлопал китайца по плечу, заулыбался. Китаец тоже робко улыбнулся.

— Понимаешь по-нашему? — спросил Освальд, выговаривая слова медленно и четко.

Китаец посмотрел на Альбина. Альбин замычал и завертел головой. Тогда Освальд показал на жернов и раздельно сказал:

— Жер-нов. Жер-нов.

Показал вокруг и сказал:

— Мель-ни-ца.

Показал на Альбина и сказал:

— Аль-бин. Мас-тер.

Показал на себя и сказал:

— Хо-зя-ин.

К весне китаец знал три десятка слов и понимал еще столько же. Он постоянно что-то делал; и в доме, и на мельнице теперь был идеальный порядок. А когда сошел снег, он с разрешения Освальда вскопал несколько длинных и узких грядок и что-то там посеял. Каждый раз, идя из дома на мельницу или обратно, он на минуту-другую задерживался у этих грядок, что-то поправляя, взрыхляя, подравнивая. Растаял лед, вода в пруду прибыла наконец, мельница закрутилась. Как ни странно, зерна везли мало, были дни, когда вообще не везли. Освальд по совету Шани перестал брать за помол деньгами, брал только зерном: меру за восемь. Действительно, купить что-то за бумажные деньги ста-



ло трудно — их просто не брали. Брали золото, вещи, продукты. Шани как-то, выпив, сказал, что за эти полгода они с дядей учетверили капитал. В мае Освальд поднял цену — стал брать меру за шесть. Его ненавидели, но ничего не могли сделать.

В апреле еще на грядках китайца взошло множество самых причудливых ростков. Он не переставал возиться с ними. Иногда он просто сидел возле своих грядок, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то. Поскольку его работе на мельнице и по дому это не мешало, Освальд смотрел на его чудачества сквозь пальцы. Странно, однако, было то, что жесточайшие заморозки середины мая, побившие даже ко всему привычную осоку, ростков не погубили.

В конце мая, а может быть, уже в начале июня — Освальд не помнил точно — по дороге, страшно дымя, завывая и подпрыгивая, подъехала и остановилась перед домом черная жестяная машина «гном» — из тех, что в Капери служат такси. Из машинки выбралась закутанная в огромный плащ девочка лет четырнадцати, шофер вынес две перевязанные бечевкой картонные коробки, получил золотой, потоптался, видимо, намекая, что одного золотого мало, ничего не дождался и уехал, отчаянно газуя в жидкой грязи, заполнявшей колеи. Освальд подошел к девочке.

— Ты кто? — спросил он

— Это вы — Освальд? — Она смотрела на него с надеждой.

— Я — Освальд, — сказал он. — А ты все-таки кто?

— Я ваша кузина, — сказала она. — Я из Евтимии. Меня зовут Моника Тенн. Наши мамы были сестрами. Теперь их нет, но все равно я ваша кузина. Это письмо, мама написала его вам за три дня до того, как умерла. Вот.

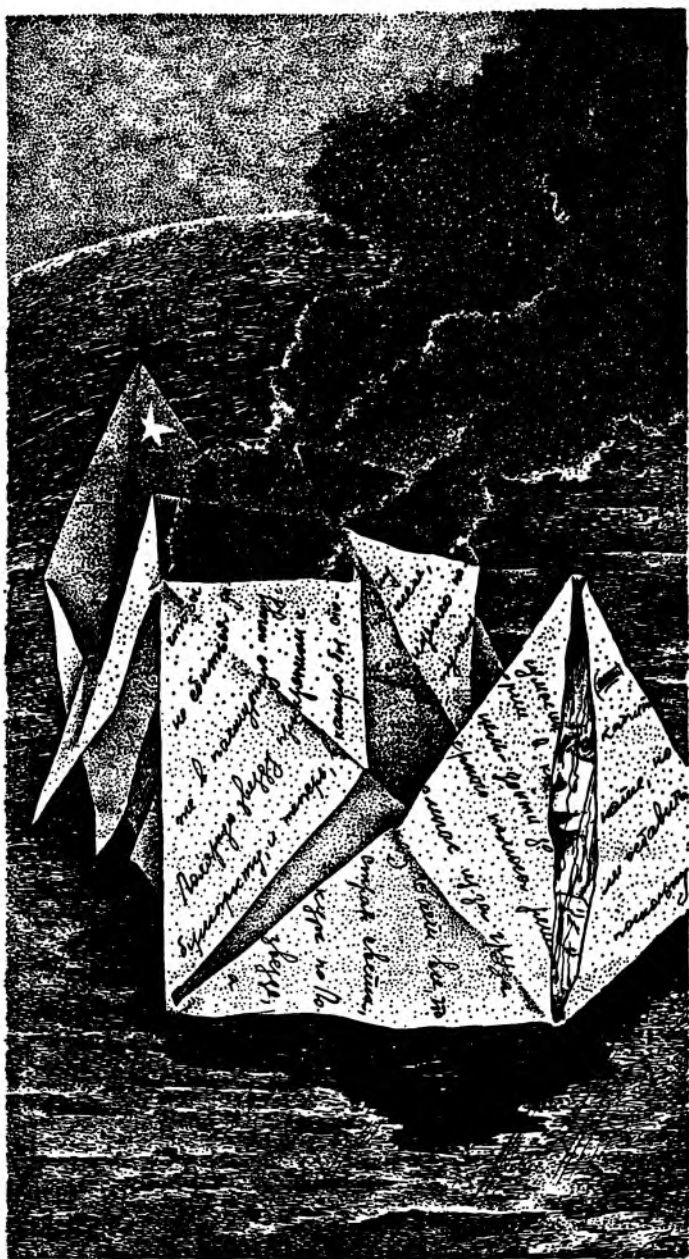
Освальд взял письмо, уже зная, что там будет. Дорогой племянник, возможно, Вы и не помните меня, но я держала Вас на руках, когда Вы были еще совсем крошкой... памятью Вашей матери, а моей дорогой сестры Барбары... только крайняя нужда заставляет... голод и болезни... будьте ей опорой и защитой... да будет простерта над Вами рука Господня... Ваша любящая

тетушка Алиса. Дата, подпись... Освальд посмотрел на девочку. Глаза у нее были мокрые, веки и губы подрагивали. Ситуация... Плевать, подумал Освальд. Потом разберемся.

— Тащи все это в комнату на втором этаже, — сказал Освальд. — Будешь там жить. Готовить умеешь?

Девочка улыбнулась, кивнула, шмыгнула носом, подхватила свои коробки и пошла, путаясь в полах плаща, в дом. Освальд смотрел ей вслед. Дармоедка, нерешительно подумал он. Его охватило вдруг чувство, что все это уже когда-то было, и тогда, в прошлый раз, все кончилось плохо.

Сразу перестало хватать воздуха. Дом, уже год такой послушный и пустой, вдруг будто бы приобрел вторую тень, стал, как при отце, неудобным и почти враждебным. Освальд ни на секунду не мог сбросить напряжение, прислушивался к звукам и шагам, медлил, прежде чем войти в какую-нибудь дверь. На столах стали появляться банки и кувшины с букетами полевых цветов. В комнате отца — теперь ее занимала Моника — как по волшебству, возникло множество разнокалиберных глиняных горшочков с землей, из которой торчало что-то зеленое. Потом китаец и Альбин приволокли туда целую кадку с каким-то деревцем. Получив очередное письмо от отца — отец писал, что сумасшедшего капитана заперли в каюте, но цель — дойти до Северного полюса — решили оставить; поскольку магнитный компас из-за груза железной руды в трюмах показывает все что угодно, кроме сторон света, то рулевому приказали держать курс по Полярной звезде, а чтобы не сбиться даже в пасмурную погоду, Полярную звезду прикрепили к бушприту, и теперь, в какую бы сторону пароход ни шел, он неминуемо попадет на Северный полюс самым кратчайшим путем, — читая это письмо, Освальд машинально вошел в комнату отца, чтобы засунуть письмо за картинку на стене, и увидел, что Моника голая вертится перед зеркалом, подражая тем негритянкам в прибое; когда он вошел, она не завизжала и не задергалась, а взглянула на него через плечо, неторопливо подошла к стулу, на спинке которого висел ее халатик, накинула



халатик на плечи, села на стул и стала смотреть на Освальда молча и холодно. Освальд покраснел, скомкал в кулаке письмо и вылетел наружу.

Моника постепенно вытеснила китайца с кухни. И позже, наливая Освальду суп в тарелку, она сказала:

— Мама говорила, что я немножечко с приветом. Вы не обращайтесь на меня внимания, пожалуйста.

— Только чокнутых мне тут не хватало, — сказал Освальд.

— Я не чокнутая, — сказала Моника. — Я просто не до конца понимаю некоторые условности.

Между тем на грядках китайца происходило непонятно что. Похоже было, что там все понатыкано вперемешку, лук с горохом, огурцы со свеклой, все это ненормально быстро перло вверх, к солнцу, перло буйно и весело, китаец воткнул в грядки длинные жерди, к ним на высоте своего роста привязал такие же продольные и поперечные перекладины, потом, выше — еще раз. Получилось что-то вроде клетки. Как по заказу, рядом с грядками выросли два муравейника, Освальд иногда, забавляясь, смотрел, как муравьи волокут упирающихся гусениц, или дразнил их соломинкой и потом слизывал муравьиную кислоту. Моника каждое утро ставила на стол большую миску мелко нарубленной зелени — это было вкусно. Освальд ел и нахваливал, китаец улыбался.

Несколько ночей подряд бомбили Капери. Шани ездил потом туда и сказал, что сгорело полгорода. Освальд стал брать за помол одну меру с пяти. Приезжал староста, уламывал его, угрожал судом. Освальд согласился вернуться к прежней оплате, один к шести, но с условием, что после обмолога управа станет выделять ему работников не только бесплатно, но и со своими харчами. Староста поворчал, но согласился.

В селе появилось много нищих из города: побирались под окнами, крали, если плохо лежало. На мельницу забредали редко. Освальд запретил и Монике, и китайцу давать помногу — чтобы не прикармливать.

В июле навалилась сушь. Где-то горели подожженные леса, солнце даже в полдень было красноватым;

закаты по-настоящему пугали. На полях горели посевы, горели травы, трескалась земля. Освальд уже понимал, что урожая не будет. Старухи на хуторах ворожили, пытались вызвать дождь. Шептались, что такая засуха неспроста. По ночам Освальд с китайцем перетаскивали мешки с зерном и мукой из амбара в надежный подвал под домом. На Монику иногда находило: она переставала видеть людей и вела себя так, будто была одна, и нужно было тряхнуть ее посильнее, чтобы привести в чувство. Каждый день она голая купалась в пруду. Китаец в ужасе прятался на мельнице. Освальд смотрел на нее из окна и скрипел зубами от злости и на нее, и на себя. Иногда он ловил себя на том, что испытывает к ней настоящую ненависть — душную и тяжелую.

Единственным, что никак не реагировало на жару, было странное хозяйство китайца. Конечно, он поливал грядки, таская воду ведрами из пруда, но какая же это поливка: по два ведра на грядку? На солнцепеке жухла даже та трава, которая росла у самой воды. Китаец же снимал с длинных вьющихся плетей каждый день по корзине крепеньких, в пупырышках и даже в каплях росы, огурчиков, которые Моника тут же солила на зиму. Потом, после огурчиков, пошли какие-то непонятные овощи, размером и формой напоминавшие чайную чашку — «сунцзы»; Освальд попробовал их и не одобрил; больше они не появлялись. Китаец исчезал в переплетениях стеблей и выныривал обратно с самыми неожиданными плодами в руках: так, раз он выкатил огромную желтую дыню. Моника просила инжир, долго пыталась втолковать ему, что это такое, китаец приносил что-то похожее, Моника отвергала; наконец, принес то, что надо, — фиолетовые мясистые плоды. Моника попробовала, восхитилась и дала откусить Освальду — оказалось непривычно сладко и вкусно. Китаец взял корзину и через пять минут вернулся — уже с полной. Освальд пытался было сунуться следом за ним, но тесно переплетенные стебли не пропускали.

— Нет, хозяин, — сказал китаец. — Не моги. Большой. Надо маленький. Надо я, надо она. Большой не моги.

Как-то раз Освальд захотел грибов — китаец сходил и принес грибы. Моника ставила жареные грибы на стол, когда приехал Шани.

— Еще неделя-другая такого пекла — и ага, — сказал он, входя. — Где это ты грибы взял? Выгорело же все.

— Не все, как видишь, — сказал Освальд. — Садись, пробуй. Пить будешь?

— Только пиво, — сказал Шани.

— Моника, пиво осталось? — спросил Освальд.

Моника молча встала на колени, откинула крышку ледника, нагнулась, дотягиваясь до одной из веревочек, привязанных к поперечине; Шани издал какой-то странный хлюпающий звук, Освальд посмотрел — Шани, отвесив челюсть, впился взглядом в Моникин зад.

— Тихо, ты, — сказал Освальд.

Шани с трудом оторвался от созерцания, потом посмотрел на Освальда, в восхищении покачал головой и показал оба оттопыренных больших пальца.

Моника выволокла из ледника канистру с пивом, налила полный кувшин и спустила канистру обратно. Потом подала кувшин на стол и поставила три стакана.

— Маленьким девочкам пиво нельзя, — сказал Освальд.

— Жарко, — сказала Моника. Она налила себе полный стакан, выпила, налила еще один и уже маленькими глотками отпила половину.

— Вот это да, — сказал Шани. Она улыбнулась ему.

К концу обеда Моника захмелела. Впрочем, Освальд с Шани — тоже. Пиво было крепчайшее — от Станислава. Шани хихикал непонятно над чем, Освальд чувствовал, что погружается, как в трясиину, в бездонную грусть. Моника же расшалилась, бегала по дому и шумела. Освальду опять стало казаться, что это было уже и плохо кончилось.

— Слушай, — Шани ткнул его кулаком в бок, — может, уступишь девочку?

— Иди ты, — сказал Освальд. — Это же моя сестра. Хоть и двоюродная.

— А я что? — сказал Шани. — Я, может, женюсь. Когда подрастет...

— Она ненормальная, — сказал Освальд. — На нее находит... затмение.

— Ну что ты говоришь — ненормальная, — забеспокоился Шани. — Вполне нормальная.

— Увидишь еще, — сказал Освальд. — Я же знаю. Я же с ней живу, не ты.

— Да? — Шани потерял кончик носа, вздохнул. — Ну, ладно...

— Я тебя, может, как друга предостерег. Она чокнутая.

— Все равно этот год не переживем, — с тоской сказал Шани. — Чует мое сердце — перемрем все...

Голая Моника спустилась по лестнице, прошла мимо кухни, где сидели Освальд и Шани, и направилась к пруду.

— Чего это она? — испуганно сказал Шани, глядя на нее через окно.

— Говорю же — чокнутая. Находит на нее — людей перестает видеть. Как лунатик, понимаешь? Как будто нет никого.

— Вот здорово-то, — сказал Шани. — Как бы я это хотел — чтобы никого не было.

— Давай водки выпьем, — предложил Освальд.

— Давай, — сказал Шани.

Из оставшегося в памяти Освальда: Шани водит у него перед носом кривым пальцем и зудит: «А китаеза твой — колду-ун, колду-ун, ой какой колду-ун...» — Вода в пруду теплая-теплая, даже не мокрая какая-то вода... — Никого нет, только в глаза, как фонарь, светит багровая луна.

Очнулся Освальд от мягких влажных прикосновений к лицу. Он открыл глаза. Тут же от лица его что-то отдернулось в испуге. Непонятно было, где это он. Попробовал подняться — не смог, что-то крепко держало поперек груди и за руки. В страхе рванулся — руки освободились. Перевернулся на живот. От резкого движения что-то сдвинулось в голове, земля заходила ходуном, как студень, — не удержался и повалился на бок. Отлежался, приподнялся, посмотрел кругом: пере-

плетение стеблей и лоз — огород китайца! Отлегло от сердца. Свет пробивался сверху — лунный; что-то подсвечивало и снизу, Освальд посмотрел в ту сторону — несколько длинных, как свечи, светящихся грибов, свет от них шел яркий, резкий — не чета лунному. В этом свете слева от себя Освальд уловил какое-то шевеление: там, освещенное сзади и сбоку, бугрилось что-то темное и пористое, вроде чуть приподнятой над землей шляпки очень большого и очень старого гриба, и под эту шляпку мелкими вороватыми движениями вытягивались тонкие гибкие щупальца.. Освальд рванулся так, что затрещала спина, вырвался из-под держащих его стеблей, вскочил на ноги, тут же упал, споткнувшись, и в свете луны увидел, как вытягиваются обратно туда, внутрь этой дьявольской клумбы, выбравшиеся наружу стебли — длинные и гибкие, как змеи. Освальд влетел в дом, и здесь его немного отпустило. Здесь были стены. Он достал из ледника остатки пива, припал прямо к горлышку канистры и стал глотать его — ледяное и упругое, глотки проскакивали в желудок как камешки, твердые и тяжелые. После того, как пиво кончилось, он был уже твердо уверен: померещилось. Он лег, но уснуть не мог, кошмар возвращался, обрастая все новыми подробностями. Утром он нос к носу столкнулся с Шани, выходящим из комнаты Моники.

— Ты не это... не думай чего, — отводя глаза, забормотал Шани. — Пьяный был, проснулся — возле нее лежу, собрался — и ходу. А ничего не было, это я тебе точно говорю, я хоть и пьяный, а такое-то принимаю...

Освальд чувствовал, как у него леденеют губы и горло.

— Скот... — начал он и задохнулся.

Шани прошмыгнул мимо него, в дверях остановился и обернулся.

— А не только твой китаец колдун, — сказал он. — Все вы тут колдуны...

Моника из комнаты не выходила. Китаец колдовал около огорода: что-то поправлял, подвязывал, Освальд видел, как он качает головой и разводит руками.



Ночное видение вновь стало казаться не кошмаром, а действительностью. После обеда приехал работник с одного из дальних хуторов, привез двенадцать мешков пшеницы и сказал, что про мельницу ходят нехорошие слухи, будто мельник и его работник-колдун подпустили засуху — и нельзя ли в таком разе за деньги докупить еще мешочков пять-десять муки? Освальд заломил цену, работник неожиданно цену принял, золотом было у него в кисете вместе с табаком — ударили по рукам, загрузили телегу, работник хлестнул по волам, телега, повизгивая осями, развернулась и поехала, а Освальд задумался. Надо было срочно что-то делать.

Под вечер приехал почтальон, привез еще одно письмо от отца. Отец писал, что они уже пятый месяц не видят земли, все океан да океан, видимо, что-то стряслось с американским континентом, так как по расчету координат пароход находится в районе города Денвер, штат Колорадо. Отца, узнав, что он бывший мельник, назначили старшим механиком, потому что в принципе конструкция мельничного привода и паровой машины где-то схожи. Вчера неподалеку от них всплыло какое-то огромное морское животное, на поверхности были видны только глаза, огромные, как мельничные колеса, а потом оно нырнуло и проплыло под пароходом, почесав себе спину о киль, да так, что судно пронзила долгая дрожь, а между некоторыми листами обшивки, там, где давно не обновляли клепку, стала проступать вода, и матросы говорят, что достаточно одного хорошего шторма, чтобы пустить пароход на дно, но все пять месяцев стоит полнейший штиль, и поэтому особенно непонятно, что случилось с Америкой...

Уже стемнело, когда верхом, без седла, прискакал Шани.

— Ты тут придумай что-нибудь, — сказал он Освальду. Голос у него был отчаянный. — Мужики шумят по дворам, хотят тебя завтра жечь идти...

Он залез на лошадь и ускакал в темноту.

Тут Освальд вспомнил, что Альбин сегодня вообще не показывался.

Когда Освальд вошел в дом, китаец и Моника сидели за столом. На столе горкой лежали какие-то похожие на грушу плоды, Моника ножом отрезала от одного из них кусочки и отправляла в рот.

— Попробуй, как интересно, — сказала она. — Растет в земле, как картошка, а по вкусу совсем как колбаса.

Освальда передернуло.

Он долго лежал в темноте без сна. Почему-то вспомнился офицер в черном — тогда, зимой... в тот самый день, когда появился китаец... Они не оставили мне выхода, подумал Освальд. Глупо... Когда взошла луна и все стихло, он встал и пошел в чулан под лестницей. Там на полке с инструментом лежала пешня — небольшой ломик с рукояткой, чтобы зимой долбить проруби в пруду. Он взял пешню, взял фонарь «летучая мышь», посмотрел вокруг, что бы такое взять еще, но ничего не нашел. Дорожка до мельницы шла мимо огорода китайца, поэтому Освальд взял далеко в сторону и потом в лесу долго искал выход на плотину. Он тихо прошел по плотине — вода текла по желобу тонюсеньким ручейком, колесо почти не вращалось — и толкнул незапертую дверь мельницы. Там было темно, и Освальд подумал, что надо зажечь фонарь, но забыл, как это делается, — стекло не хотело подниматься. Наконец он справился с ним, ломая спички, зажег фитиль и стал осматриваться. В глазах плавали лиловые пятна. За жерновами, там же, где он в первый раз увидел китайца, стоял топчан, и китаец спал на нем, с головой укрывшись мешком. Освальд подошел ближе. Он был в двух шагах, когда китаец приподнялся на локте и открыл глаза, щурясь от света.

— Драстуй, хозяин, — сказал он. — Приехал приехала?

Освальд молчал. У него сразу отнялось все тело. Он медленно присел и поставил фонарь на пол.

— Серно молоть? — неуверенно спросил китаец и спустил ноги с топчана, на шаривая свои тапочки из старой автопокрышки, и тогда Освальд, что-то закричав, наотмашь ударил его пешней. Удар пришелся по поднятой руке, китаец ахнул и попытался встать, и

Освальд опять ударил его, целясь по голове, и опять промахнулся, китаец тонко закричал по-птичьи, и это было так страшно, что Освальд захотел убежать, но вместо этого увидел, как ломик опускается на голову китайца и погружается в череп — неглубоко, но китаец начинает клониться вперед и падает у ног Освальда. Освальд схватил его под мышки и приподнял. Голова китайца запрокинулась, из раны густой струей побежала кровь. Освальд деревянными руками положил его на мешок, закрыл зачем-то другим мешком, стал стирать кровь с пола и с рук... Потом пришел холод. Холодная волна прошла через голову, сдавила виски. Не возясь больше с тряпками, Освальд поднял китайца на руки и вынес наружу. Китаец был легкий, легче мешка с мукой, но неудобный. Освальд донес его до огорода, присел, не выпуская его из рук, отдохнул, потом, напрягшись, резко встал и изо всех сил бросил в заросли. Раздался тяжелый всхлип. Освальд на заплетающихся ногах обогнул огород и, не раздеваясь, плюхнулся в пруд. Он долго просидел в воде, отмывая лицо, руки, одежду. Потом он выбрался из пруда и пошел в сарай. Там была припрятана большая ценность: бочка автомобильного бензина. Освальд подкатил бочку к огороду, выбил чоп и, наливая бензин в ведро, стал методично окатывать растения. Сразу же началось шевеление, треск, шорох. Потом, когда бензина в бочке почти не осталось, он поднял ее, как китайца, и тоже забросил в заросли. Взял ведро, в котором специально оставил бензину на доньшке, отошел шагов на тридцать, снял рубашку, затолкал ее в ведро. Подождал, когда она пропитается бензином, и бросил в ведро горящую спичку. Пыхнуло огнем, потом загорелось ровно и дымно. Не дожидаясь, когда ведро раскалится, Освальд схватил его и бросил в сторону огорода — и успел упасть на землю, прежде чем рвануло. Его обдало диким жаром, он приподнял голову и посмотрел: крутилось пламя, и в пламени кто-то метался, и стебли, еще живые, пытались расплестись и распозлзтись, но огонь был слишком жарок, они мгновенно гибли и сами становились причиной огня, а по низу все кто-то метался, и из земли выдирались кривые корни, корчась

и съезживаясь в пламени, рушились поддерживающие жерди, и чад стал распространяться по-над самой землей — жирный и сладковатый чад...

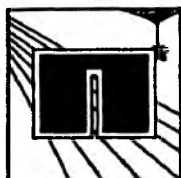
Освальд не помнил, как он дошел до дома, как, сдирая с себя все, рухнул на постель, как крутился на раскаленной постели, как вскочил и бросился вверх по лестнице, как Моника кричала: «Нет! Нет! Нет!», а он схватил ее, оторвал от окна, повалил и подмял... он и помнил это, и не помнил одновременно — знал, что помнит, поэтому боялся вспоминать. Ему хотелось начать жить с того момента, когда он оторвал голову от подушки и увидел, что Моника сидит рядом, поджав ноги, и что-то чертит пальцем на простыне, а по стеклу жадно барабанят дождевые капли.

# МОСТ ВАТЕРЛОО



В этом странном и запутанном деле,  
которое зовется жизнью, бывают такие  
непонятные моменты и обстоятельства,  
когда вся вселенная представляется человеку  
одной большой злой шуткой, хотя что в этой  
шутке остроумного он понимает весьма смутно  
и имеет более чем достаточно оснований  
подозревать, что осмеянным оказывается  
не кто иной, как он сам.

*Г. Мелвилл*



Пылинки в солнечном луче...

Дальняя комната освещена ярко, а здесь полумрак и прохлада.

Что-то хрустит под ногой, и льется из крана вода.

Дальняя комната вся завалена бумагой, весь пол в бумагах, смятых и не смятых...

Камерон стоит в двери и весь колыхнется, как зной, как медуза, как желе на блюде, и кудри его золотой короной... Ворона Камерон. Ворона-рона-она-на! Пылинки в солнечном луче.

Петер!

Это кто-то зовет меня, но я не вижу никого, и только имя отдается в глубинах сердца моего, и только пятна световые ползут по стенам к потолку, и только воды низовые...

Вот именно. И только пить. Пить, есть и спать. Это все, что я могу, хочу и буду.

А женщину?

А, вот это кто. Это Брунгильда. Нет, Брунгильда, спасибо, но в другой раз. Сейчас на повестке дня совсем иные вопросы...

Пылинки в солнечном луче...

А Летучий Хрен уже спрашивал про тебя, гудит Камерон, продолжая колыхаться на свету, расплываясь при этом в широченной улыбке, но уши-то у него все равно просвечивают багровым, и я ничего не могу с собой поделать, я набираю воду в рот и опрыскиваю его уши. Уши шипят и брызгаются, Камерон недоволен, а я хохочу, потому что... Ворона Камерон докрас-

на раскаленными ушами доблестно прокладывает себе путь в сугробе, приближая час нашей решительной победы! Летучий Хрен? А хрен с ним! Что ты ему сказал? А надо было правду — приполз, мол, и брык! Готов.

Готов.

Шиш, ребята, рано вы меня списываете в готов, рано, мы еще повоюем, поборемся и помужествуем с ней, знаете, как это там делается? Подумаешь, неделю не спал, я и еще неделю... Что? Ах, пылинки...

У тебя шнапс есть?

Это Камерон спрашивает Брунгильду, конечно, не меня же ему спрашивать, что? Молчу, молчу. Но я молчу так красноречиво тая под взором ваших воспаленных глаз вздымаемых высоко к небу блестящими во тьме звездами печали бережно хранимой и возносимой к небесам без тени страха пред томленьем слинья бешеного тела с душою нежною и кроткой... сеledкой, водкой, сковородкой...

Это что, все мне?

Да что вы! Да нет, ребята, я же просто не смогу... это все... ну хватит же... хва...

Дай ему по спине, пусть откашляется.

Уже не надо.

..в штопор — у-у-уп! Готов. Сплю.

...прикуп — прилипала — приличие — примадонна — примак — приманка — примат — пример — проверка — примета — примесь — примечание — примирение — примитив — примочка — принудилровка — принцесса — принятие — приоритет — припухлость — приспособленец — прочее — прочее — прочее... Все на свете слова начинаются на «П», и хоть лопни — на «П» и на «П» и на «П» — и никуда от этих «П» — ну что ты будешь делать, обложили со всех сторон...

— Подъем! — Петера похлопали по плечу.

По периметру периастра поднимались перфорированные портики, по первости принятые паломниками-пломбирщиками...

— Вставай, скотина! — его потрянули сильнее. — А то сейчас водой!



— Что? — Петер попытался сесть, не получилось, глаза тем более не открывались, но по команде «Подъем» следовало встать и одеться за сорок шесть секунд, потому что команда «Подъем» зря не дается...

— Вставай, соня, курорт окончен.

Это Камерон. Ну да, это Камерон, я же вернулся, вернулся и — ха-ха! — кое-что привез! Ну да.

— Сколько времени?

— Семь вечера. И учти, что это уже завтрашний вечер.

— Как это?

— А так, что тебе дали поспать — ну, ты и поспал.

— Сутки? — не поверил Петер.

— Тридцать один час. Абсолютный рекорд редакции.

— Врешь ведь.

— Чтоб я сдох! — поклялся Камерон. — Вчера пытались тебя будить, но ты заехал Летучему Хрену в нос, и он велел оставить тебя в покое. А сейчас позвонил и очень тебя хочет. Ночью бомбежка была — не слышал?

— Ничего я не слышал... А мой материал?

— Экстра! Ультра! Супериор! Он сам монтировал и был близок к оргазму, его просто успели вовремя отвлечь...

— Но я голоден!

— Он сказал, что все будет.

Летучий Хрен принял Петера с распростертыми объятиями. Это на памяти Петера еще никогда добром не кончалось. Всегда за этим следовало что-нибудь... мм... экзотическое. А тут еще и тон разговора: и гениален-то у нас один Петер Милле, и потери в личном составе огромные, аж пять человек (двоих завалило при бомбежке, один стал заговариваться, и еще две машинистки не убереглись и забеременели), а учитывая, что задача под силу лишь подлинному таланту, так она грандиозна и значительна, тем более что через завесу секретности кое-что просачивается, и он, Летучий Хрен, глядишь, и плюнул бы на все и поехал сам, но — приказ есть приказ, он вынужден

подчиняться... Петер сразу понял, что параша не избежать, поэтому сидел тихо, в ударных местах кивал и думал, как это все обернется с Брунгильдой — а надо ли, чтоб оно как-то оборачивалось? — и не таких видали — а жаль...

— Итак, — бодро продолжал Летучий Хрен, — группу будем формировать заново, потому что пополнение прибыло и следует пускать его в дело, а Варга твой уже оперился и ему пора давать работать самому, возьми двух новеньких, я их тебе покажу, и еще должен приехать какой-то из министерства пропаганды — будет старшим. Сам понимаешь, что старшим он будет только формально, потому что — ну что чиновник может смыслить в наших делах? Остальное ты знаешь все, готовься, послезавтра — адью!

— Я есть хочу, — сказал Петер.

— Тебя что, Камерон не накормил? Плохо. Бездельник. Ада! Ада! Где тебя черти носят? Накорми Милле, он у нас нынче герой. Ест он все, и помногу, но ты придумай ему что-нибудь повкуснее, только чтобы не обожрался, он мне живой нужен...

Ада увела Петера в машбюро и там под стрекот десятка машинок соорудила ему гигантскую яичницу на сливочном масле. Пока Петер ел, она сидела напротив и пригорюнясь смотрела на него. Аде было под шестьдесят, но и в эти годы она оставалась машинисткой экстра-класса; ее подобрал где-то Камерон и пристроил в редакции в обход всех приказов и правил, никто не знает, как это ему удалось. Ада натаскивала девочек-машинисток, сама вкалывала наравне со всеми, да еще умудрялась каким-то чудом обихаживать всех, до кого успевала дотянуться. Камерон ею страшно гордился.

— Спасибо, Ада, — сказал Петер, подчищая сковороду корочкой хлеба.

— Что за несчастье, — сказала Ада и больше ничего не сказала, молча убрала со стола и молча ушла куда-то.

Новеньких Петер нашел в канцелярии. Прелесть что за новенькие: бледные, коротко стриженные, курносые, угловатые, в коротеньких солдатских мундирчи-

ках шестого срока носки с наспех нашитыми жесткими погонами с парадными золотыми офицерскими коронами. Петер разыскал Менандра — тот, кот помойный, сговаривался с поварихой — и погнал его за новой формой для пацанья.

Переодетые, они преобразились, и Петер стал улавливать кой-какие отличительные признаки: один чуть покрупнее, помедленнее, глаза голубые — лейтенант Армант; другой тоньше в талии, гибкий и быстрый, глаза темные, лицо и руки нервные — лейтенант Шанур. Петер поставил их перед собой и толкнул речь.

— Значит, так, — сказал он. — Вы поступили в мое распоряжение, и теперь я что захочу, то с вами и сделаю. Это ваше счастье. Я — майор Петер Милле, по должности — режиссер-оператор, по сути — та ось, вокруг которой вертится все это заведение. Послезавтра мы с вами отбываем куда-то к черту на рога снимать то, не знаю что. Поэтому сегодня и завтра будете упражняться с аппаратурой. По службе я для вас «господин майор», вне службы и по вопросам ремесла — Петер. Сейчас пойдете к майору Камерону, он вас экипирует, в смысле — выдаст аппаратуру и пленку. Тренируйтесь. Я буду проверять. Можете идти.

Новоиспеченные хроникеры вразнобой повернулись и вышли.

— Менандр! — позвал Петер.

— М?

— Найди мне какие-нибудь ботинки и пары три носков.

— Опять пропить изволили?

— Только подошву, верх решил оставить.

— Беда мне с вами, господин майор, как огнем на вас все горит... Знаете, я тут одного интенданта раздотить хочу, у него несколько пар есть — видели, такие высокие, на крючках — итальянские? Но нужен шнапс. А ботиночки что надо, главное — крепкие, нашим не чета.

— Бутылки две ему хватит?

— Бог с вами, одной за глаза будет. Шнапс — это же не для обмена, это же для смазки. Я вам тогда пока

старые дам, разношенные, а завтра к вечеру принесу те. Хорошо?

— Конечно.

— Но все равно не пойму, как вы умудряетесь так обувку уродовать? Господин полковник за все время одну только пару износил, сейчас вторую изволит...

— Вот потому, Менандр, все и стремятся зарабатывать побольше корон — чем больше корон, тем меньше забот об обуви.

— Ваша правда, господин майор, но все-таки как вы — ну никто так больше не может...

Менандр был пройдоха из пройдох — такой пройдоха, что Петер его даже побаивался... ну не то чтобы побаивался, а так — стеснение испытывал. Скажем, прямые обмены Менандр презирал как нечто примитивно-низменное, все комбинации его были многоходовыми и чрезвычайно сложными; пару раз он пытался растолковать Петеру смысл той или иной сделки, и Петер приходил в состояние полнейшего обалдения перед хитросплетениями ходов и выгод, с точки зрения Менандра, совершенно простыми. Полезен же Менандр был чрезвычайно, так как мог все. Среди офицеров поначалу возникла мода заключать пари на Менандра, выдумывая самые невероятные предметы, якобы необходимые для редакции, но мода эта быстро прошла, исчерпав все ресурсы фантазии. Кажется, последним, что Менандр достал (в результате этого коллекция коньяков Летучего Хрена перешла в собственность Камерона), был незаполненный, но подписанный и испещренный печатями пропуск на территорию Императорского дворца.

— Петер! — раздалось над ухом, и, конечно, кулаком по хребту, и за плечи потрясли, и опять кулаком, уже под ребра — ну конечно, это был Хильман, кто же еще? — Петер, старина, сколько лет, сколько зим!

Хильман, откуда-то вылетевший чертиком, чтобы, ошарашив своим появлением, сгинуть — такая уж у него была натура. Когда-то они с Петером три дня болтались в море на сторожевике, Петер ничего снять не смог, а Хильман сделал замечательный очерк, Петер

потом прочел его и посмеялся про себя: в очерке было все, кроме того, что было на самом деле. Там-то, на сторожевике, Хильман и ошеломил Петера замечательной фразой о друзьях, а именно: «У меня этих друзей, — сказал он, — ну тысячи три, не меньше». — «А я?» — спросил тогда Петер. «И ты, конечно», — сказал Хильман. «Понятно», — сказал Петер; ему на самом деле все стало понятно. «Ты что, не веришь? — обиделся Хильман. — Да я для тебя все что угодно...» — «Спасибо, Хильман, — сказал Петер. — Верю». Хильмана звали Роем, но все почему-то называли его только по фамилии.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Петер.

— Послали, — сказал Хильман. — Сказали, у вас тут что-то намечается. В смысле — отсюда поедете.

— И ты с нами? — спросил Петер.

— Ага. Ты чем-то расстроен?

— Не знаю, — сказал Петер. — Нет, наверное. Просто устал. Вчера... пардон — позавчера вернулся, хотел поработать здесь... Опять без меня монтируют. Ты бы дал кому-нибудь свои блокноты, чтобы они там все по-своему переставляли?

— А никто не просит, — сказал Хильман. — Хорошо попросили бы если — может, и дал бы.

— А меня вот гложет... Да нет, просто устал.

— Когда ехать-то?

— Не знаю. Приедет какой-то шишковатый из министерства, скажет.

— Мне намекнули, — сказал Хильман, — что все это не на одну неделю и куда-то в тыл. Представляешь?

— В ты-ыл? — недоверчиво протянул Петер. — Что-то ты путаешь, старик.

— Ничего я не путаю. Что я, нашего главного не знаю? Он когда губу вот так делает — то на передовую. А если вот так — то или флот, или тыл. Проверено.

— Твои бы слова — да богу в уши, — сказал Петер.

Он не знал, почему это невозможно, но это было действительно невозможно — войти к Летучему Хрену

и сказать: «Знаешь, я страшно устал. Мне надо отдохнуть, потому что, если я не отдохну, я сломаюсь по-настоящему. Я очень устал». Странно, конечно, но он точно знал, что это невозможно, хотя никто и никогда не пытался этого сделать. Небеса бы обрушились, если бы кто-то попытался сказать это Летучему Хрену. Молния бы сорвалась с ясного неба...

— ..вечером, — сказал Хильман, это он приглашал на коньяк, и Петер кивнул: «Хорошо», — но вспомнил Брунгильду и добавил: «Посмотрим». Хильман опять легко обиделся и легко распростился с обидой. «Да приду я, приду», — успокоил его Петер, и, по своему чертикову обыкновению, Хильман пропал мгновенно — только пыль взметнулась над тропкою, только стук копыт отдался эхом...

Новенькие занимались с аппаратурой, и Камерон, который маячил тут же, исподтишка показал Петеру большой палец.

Петер лег, не разуваясь, задрал ноги на спинку кровати. Неизвестно еще, какими окажутся обещанные итальянские ботинки, а эти надо оставить себе: мягкие, легкие, нигде не давят, не трут и не хлябают.. Он задремал и проснулся от голосов.

— Потому что это дрянь, дрянь, дрянь! — шепотом кричал один из новичков. — Потому что мне страшно подумать, что будет, если мы победим!

— А что будет? — говорил второй. — Ничего нового не будет. Зато наверняка объявят амнистию, и все твои драгоценные...

— Да разве в этом дело! Ты вдумайся: победит система, для которой главным в человеке является что? Ум? Совесть? Деловитость, может быть? Нет. Тупость, исполнительность и форма черепа. Все. Представляешь — что из этого получится лет через пятьдесят? Это же конец, конец...

— Тихо ты, слышат.

— Боишься? А представляешь: целое поколение, которое всего боится? Прелесть, а? А ведь они этого добиваются — и добьются. Каждый не от слов своих, не от дел — от мыслей вздрагивать будет! Не дай бог, догадается кто! Хочешь такого?

— Перестань, правда. Ну что — тебе ответ нужен? Так я не знаю ответа...

Ай да ребятки мне достались, подумал Петер. Это что же с молодежью-то делается? А, Петер?

Он встал, пошумел немного, чтобы не подумали чего, и вышел к ним, потягиваясь.

— Вольно, мужики, — сказал он, предупреждая их позыв бросить камеры и встать. — Начинаем зачет. Итак, на время: зарядить камеры!

Мужики чуть суетились, но справились с этим делом вполне прилично.

— Теперь пошли на натуру.

Петер увел их в развалины неподалеку и заставил снимать друг друга, непрерывно перебегая и заботясь при этом о собственной безопасности. Чтобы создать кой-какие иллюзии, он щедрой рукой разбрасывал взрывпакеты и два раза пальнул шумовыми ракетами — есть такие, с сиреной; вторая из этих ракет заметалась рикошетами по двору и произвела впечатление на него самого. Потом, придерживая за пояса, чтобы не разбрелись и не попадали, он отвел ребят в лабораторию. Пленку проявили мигом, девочки-лаборантки были на высоте; тут же зарядили проектор и стали смотреть, что получилось. На экране что-то возникало и металось, обычно не в фокусе, три-четыре раза появлялся и пропадал человек с камерой в руках, невозможно было понять, кто именно, мелькали тени, дымки разрывов, стены, небо, упорно вновь и вновь появлялась в кадре торчащая из груды щебня балка с кроватной сеткой наверху... Вторая пленка была не лучше, только один кадр годился: это когда оператор снимал его самого с ракетницей в руках в момент выстрела: черненький дьявол, разбрасывая огонь и дым, рванулся прямо в объектив... Петер несколько раз прокрутил это место. Дальше шла прежняя неразбериха, но это было хорошо.

— Это хорошо, — сказал он. — Рука не дрогнула.

— Не успел испугаться, — сказал темноглазый, Шанур.

— Это хорошо, — повторил Петер. — Рука должна быть твердой. Даже если снимаешь собственный расстрел.

Он гонял их по этому полигону еще трижды. Лучше не становилось, но это от усталости, к концу дня оба ног не переставляли, зато завтра, когда отоспятся, уже не будут вздрагивать и торопиться...

Брунгильда как сквозь землю провалилась, он так и не нашел ее, и с оставшейся бутылкой шнапса Петер появился в гости. Хильман поселился у Бури, инженера-оптика; Бури занимал длинную, как вагон, комнату в полуподвале, свободное место у него было всегда, и постояльцам он был рад.

Посидели, выпили и шнапс, и коньяк, поговорили. Впрочем, говорили главным образом Бури и Хильман, Петеру все больше молчалось. Хильман красочно и с массой подробностей рассказывал, как ходил в смертный десант на Жопу Адмирала; Петер хорошо помнил этот северный архипелаг из двух близлежащих островов, получивших такое прозвище за округлость, мягкую покатошь и обширность. Прозвище настолько привилось, что даже в официальных документах после названия аббревиатурно пояснялось, что же конкретно имеется в виду. В позапрошлом году Петер сам ходил туда в десант. Три дня морская пехота и кавалергарды выбивали из окопов маленький гарнизон; низкая облачность и дожди не давали действовать авиации. На четвертый день прояснилось, и над островами повисла целая авиадивизия. Вечером, когда там сгорело все, что могло гореть, кавалергарды пошли вперед. По ним не было сделано ни единого выстрела: бомбардировщики смешали с землей всех. Потом, выходит, архипелаг снова сдали, подумал Петер без особой грусти. Сдали, опять взяли... Перепихалочки и потягушки — и вся война. Плевать.

Голоса, кажется, звучали громче, но Петера почему-то не проняло, ему стало скучно, и он пошел опять искать Брунгильду и опять не нашел. В его отсутствие Хильман и Бури заспорили о чем-то, дело дошло до взаимных оскорблений, и решили стреляться — здесь же, в подвале, с пятнадцати шагов, три выстрела, беглым огнем. Отметили барьеры, отошли, стали сходиться. Хильман начал стрелять первым, расстрелял сразу все патроны, и все три раза промахнулся. Бури



промахнулся дважды. Поняв, что наделал — пуля попала журналисту в лоб, тот умер мгновенно, — Бури сбежал. Его поймали через месяц и по приговору полевого суда повесили за дезертирство. Если бы он не убежал, максимум, что грозило ему — это передовая или три года лагерей.

— Итак, господа офицеры, вы поступаете под команду человека штатского, так сказать, шпака... да; тем не менее господин министр счел возможным сделать такое, хотя это и не в традициях нашей доблестной армии. Позвольте представиться: Гуннар Мархель, первый советник министра. Мы с вами отправляемся в то место, откуда начнется наше победоносное шествие, наш марш в историю, наше, с позволения сказать, вознесение над всеми нынешними трудностями и неудачами. Экспедиция наша продлится около двух месяцев, и за это время мы станем свидетелями и участниками величайшего торжества нашего военно-инженерного гения, свидетелями и летописцами великого свершения наших доблестных войск — творцов и носителей нашей грядущей и неминуемой победы. Эта неминуемость нашей победы, думаю, сыграла свою роль, отрицательную, подчеркиваю, роль в деле торжества наших идеалов и нашего оружия, потому что вызвала расслабленность и заторможенность у некоторых молодых солдат и офицеров, уверовавших в то, что победа, раз она неминуема, придет все равно — независимо от того, как ты воюешь. Нет, господа! Победа сама не придет! Победу надо добывать потом своим и кровью своей, ибо потоки пота и крови под ее фундамент — необходимое условие ее неминуемости! Его Императорское Величество просил лично передать вам, что всегда и во все времена герои на плечах своих поднимали и удерживали здание победы, и не стоит верить своим глазам, если вы, ослепленные красотой этого здания, не видите, на чьих плечах оно держится. Но Его Величество никогда не забывает этого, вот потому-то и встречаются с таким подъемом на фронте и в тылу бессмертные речи Императора, как всегда посвященные бессмертным подвигам наших героев, до-

стойных наследников ратной славы великих предков, сокрушивших Древний Рим, Вавилон, Византию, Сирию и Египет! Тех, кто пронес сквозь века и страны чистоту и беспредельную преданность идеалам гиперборейским, воплощенным издревле в великих атлантах: Гангусе, Слолише и Ивурчорре! От самого Заратустры и до нашего дорогого Императора пролегла вечная дорога истины, и никому не удастся опорочить ее прямизну! По машинам!

Слава богу, всё, подумал Петер. Но силен советник. Без бумажки, а как по писаному. Редкость по нынешним временам. Все так боятся оговориться, что перестают говорить совсем, а только пишут. И слава богу, что у него своя машина. Что-то мне не хочется сводить с ним дорожное знакомство — все равно придется, я знаю, но потом... но как неохота!

— Мужики! — в свою очередь обратился он с речью к своим. — Маршрута я не знаю, все засекречено до этого самого, следуем за лидером. Так вот: следить за воздухом в восемь глаз. Тип самолета не разбирать, сразу давать команду «Воздух!» — и из машины. Если есть кювет, то лучше всего в кювет. Нет кювета — отбегайте шагов на дватцать — и носом в землю. И не метаться. Вообще не шевелиться, пока все не закончится. Ясно?

— А говорили, что у них авиации нет совсем, — сказал Шанур.

— Кто говорил? — грустно спросил Петер.

— В газетах писали, и по радио тоже было, — сказал Шанур, и Армант покивал — да, мол, я тоже слышал.

— Ребята, — вздохнул Петер, — это вам просто очень наврали. У них такие штурмовики, что дай вам бог успеть навалить в штаны. Усекли? Тогда вперед.

И они покатили.

Сначала новички, повергнутые Петером в состояние особой настороженности, глазели в небо так, что стали наворачиваться облака. Потом они скисли и задремали, будить их Петер не стал, от полудремли наблюдателей толку было чуть. От наблюдателей вообще толку было немного, штурмовики, например, налетали на бре-

ящем, и чтобы хоть как-то среагировать, времени не оставалось, все решалось на уровне везения — невезения, попадет — не попадет.. Очень высоко прошли три девятки тяжелых бомбовозов, но рассмотреть, свои это или чужие, нельзя было даже в телеобъектив. Конечно, тяжелые бомбить дорогу не будут, не за такой малостью их посылают, однако.. Утреннее солнце стояло справа-сзади, значит, едем на север, вдоль фронта, и до передовой здесь километров семьдесят — сто. На встречу сплошным потоком шли грузовики, то с пехотой в кузовах, то крытые брезентом, то с ящиками, бочками, бревнами и вообще всем, что только можно перевозить на машинах; прошла и колонна этих самых новейших и секретных до безумия установок: многоосные трейлеры волоклись за танками, у которых вместо башен торчали какие-то непонятные фиговины — и все под брезентом; говорили, что снаряд такой установки выжигает местность в радиусе километра. И перед колонной, и позади нее шло множество зенитных самоходок — наготове, с торчащими вверх стволами. Надо полагать, для штурмовиков эта колонна была бы крепким орешком — хотя и лакомым, конечно. И то, что их тащут днем...

Потом встречные машины перестали попадаться. Это был плохой признак. Очень плохой. Это значило, что впереди что-то случилось, а что еще может случиться на рокадном шоссе, кроме?..

Продвижение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Господин Гуннар Мархель нервно расхаживал возле машины, поглядывая на часы. Как ток, пробежало известие, что на перекресток впереди, километрах в двадцати отсюда, положили бомбовый ковер. Ясно было, что следует ждать налета. Машины поползли в стороны от дороги, полотно расчищалось, и некоторые, самые отчаянные и бесшабашные, или те, кто ну никак не мог задерживаться и пережидать, тронулись потихоньку вперед. Господин Мархель был из отчаянных — то ли по характеру, то ли по свойственному штатским недомыслию. Он помахал рукой Петеру и полез в свою машину. Ох, как надо было бы переждать, но черный «мерседес» уже катился вперед, пробираясь между

оставшимися на дороге машинами. «Во дурень», — сказал шофер Эк. Петер с ним согласился — молча, конечно, — но приказал следовать за начальством. Новички, почуяв, что дело серьезное, крутили головами с удвоенным усердием. Но первым заметил штурмовики все-таки Эк. Это случилось, когда они почти подъехали к злополучному перекрестку — стоял знак-указатель, что до него всего два километра и головным в колоннах следует подать звуковой сигнал...

Эк не стал кричать «Воздух!» или как-то иначе выражать свое отношение к происходящему — он просто газанул, круто вывернул руль вправо, перескочил через кювет и погнал к лесу. Эти триста метров они пролетели почти мгновенно, и тем не менее штурмовики успели раньше. Рев моторов и грохот пушечных очередей покрыл все на свете. Петер и не заметил, как оказался на земле — зеленые угловатые самолеты наискось промелькнули над дорогой. Черный «мерседес» перевернуло и подбросило, в мелкую щепу разнесло громадный крытый грузовик, обломки его долго и медленно падали сверху, а за дорогой взорвался и огромным чадным костром запылял бензовоз. «Сейчас вернутся, сейчас вернутся!» — кричал кто-то рядом. Штурмовики — эти же или другие — вновь пронесли над дорогой, еще ниже, по самым головам, треща пулеметами, передние кромки их крыльев так и исходили короткими злыми язычками; загорелось еще несколько машин. Штурмовики на этот раз не пропали из виду, а, развернувшись и набрав высоту, спикировали на что-то, невидимое отсюда, и сбросили бомбы; потом еще раз развернулись и прошли опять над тем же местом, добивая из пушек и пулеметов то, что там еще оставалось. Наконец все стихло. Едва ли налет продолжался больше трех минут.

Отряхиваясь, Петер поднялся. Звенело в ушах, поэтому казалось, что вокруг страшно тихо. Их полугрузовичок стоял невредимый, и Эк уже копался в кабине, что-то там приводя в порядок. Баттен, техник-лаборант, вылез из-под машины и, щурясь, глядел вверх. Армант и Шанур рука об руку шли к машине, Шанур прихрамывал, но легонько. Петер вздохнул с облегче-

нием — Бог не выдал на этот раз. Он снова стал отряхиваться и только тут вспомнил о начальстве.

Черный «мерседес» лежал колесами кверху, и одно еще вращалось. Стоял резкий бензиновый запах — бак разнесло, бензин вытек, но почему-то не загорелся. Таким мелочам Петер привык не удивляться, ему пришлось насмотреться такого, во что уж точно нельзя было поверить: например, он видел стоящего мертвеца. Снаряд авиапушки попал в мотор, мотор разнесло, а дальше взрывная волна и осколки ворвались в кабину... Ничего там нельзя было разобрать, в кабине, — кто есть кто. Петер отошел от машины, и тут она загорелась. Что-то тлело, тлело — и дотлело до бензина. Вот и все. Приехали.

— Зачем вы подожгли машину? — спросили сзади.

Петер оглянулся. Это был невредимый, хотя и грязный донельзя господин Гуннар Мархель — невредимый, грязный и во гневе.

— Так зачем вы ее подожгли?

— Скажите еще, что и налет я устроил, — сказал Петер, не желая вдруг сдерживаться.

— Я видел: вы подошли к машине, осмотрели ее, отошли — и она загорелась. Что, разве не так?

— Все так, — сказал Петер. — А что?

— Так зачем вы ее подожгли?

— Я не поджигал.

— Вы же сами признались!

— В чем?

— В том, что поджигали!

— Наоборот, я это категорически отрицаю.

— Но вы подошли к машине, потом отошли, и она загорелась! Следовательно, вы ее подожгли, не так ли?

— Разумеется, не так.

— А как?

— Я подошел к машине, осмотрел ее, отошел, и она загорелась.

— Без причины?

— Без причины даже лягушки не квакают.

— Ну?

— В смысле?

— В смысле — я жду от вас признания.

— В чем?

— В том, что вы подожгли машину, принадлежащую министерству пропаганды.

— Я же говорю, что не поджигал.

— Что же она — сама загорелась?

— Выходит, что так.

— Эти басни вы будете рассказывать трибуналу!

— Даже так?

— Именно так!

— Тогда, — сказал Петер, медленно начиная сатанеть, — вам придется давать объяснения тому же трибуналу, поскольку это именно вы машину подорвали и теперь пытаетесь свалить вину на меня. Зачем вы подорвали совершенно исправную казенную машину?

О, к такой наглости господин Мархель не привык! Он стоял, глотая ртом воздух и багровея, и Петер понял, что сейчас решается многое.

— Пользуясь воздушным налетом, вы попытались сорвать выполнение чрезвычайно ответственного задания! Это саботаж, и я имею право расстрелять вас на месте! Как вы иначе объясните, что остались в живых? — резко изменив тон и перейдя с громов и молний на иезуитский полусшепот, спросил Петер и стал расстегивать кобуру, зная прекрасно, что заехал уже чрезвычайно далеко и обратной дороги нет. Это диктовалось не расчетом, а начисто расстроенными нервами — умом-то он понимал, что это игра, но эмоции испытывал самые натуральные. Вполне могло дойти и до стрельбы — а если вспомнить несчастного Хильмана, то со стрельбой в этой редакции все было отлично, — но господин Гуннар Мархель, тоже, видимо, вспомнив несчастного Хильмана и понимая, что со стрельбой в этой редакции все отлично, вдруг выпустил лишний воздух, принял нормальную окраску и отступил на шаг, всем своим видом призывая к компромиссам.

— Извините, — сказал он голосом, который мог бы показаться спокойным, если бы не остекленелое постоянство высоты звуков. — Вероятно, это недоразумение. Вполне возможно при нынешних обстоятельствах, когда действия быстры, а результаты трагичны. Я успел

выпрыгнуть из машины за секунду до взрыва. Возможно, имело место самовозгорание.

На том и порешили.

Планшет уцелел, и господин Мархель, на четырех пятых утративший свою неприступность, разложил карту. Да, от перекрестка их путь лежал на запад, потом на северо-запад и далее, до самого Плоскогорья. Петера это не просто удивило — поразило. Плоскогорье — это место, забытое Богом, а не то что людьми и тем более министерством пропаганды. Но — раз едем, значит, есть куда.

Да, но вот эти два километра до перекрестка и потом еще столько же от него — это было страшно. Танки пробили коридор в догорающих остовах грузовиков, но разгresti все, конечно, нечего было и думать, и стоило ли догадываться, на чем подпрыгивает машина? По обе стороны дороги горели грузовики, танки, бронетранспортеры — дым был настолько плотен и удушлив, что пришлось надеть противогазы, резина мигом раскалилась и жгла лицо... Надо полагать, здесь накрылась разом целая дивизия. И слава богу, что на перекрестке они свернули влево: рокада была загромождена разбитой техникой до отказа, видимо, основная каша только здесь и начиналась. И даже обломки бомбардировщиков, дымно полыхающие в нескольких местах, не меняли жуткого впечатления от этой бойни...

Долго ехали молча, новички были бледны, глаза Баттена бегали.

— Останови, — сказал он вдруг Эку полузадушенно и полез из машины. Петер думал, что его сейчас будет рвать, но Баттен просто сел на землю, упершись кулаками, и долго сидел так, потом полез в кузов:

— Поехали. Поехали... но как они нас... как они нас... а? Никогда бы не подумал... — он замолчал.

— То, что вы видели, — сказал господин Мархель, — это лишь эпизод великой битвы. Никогда победы не даются бескровно, а предатели не упускают случая всадить нож в спину. Все это, разумеется, результат предательства, как вы еще сможете объяснить такое? Но наша армия найдет в себе силы ответить

достойно, причем в честном и открытом бою, а не предательски, трусливо и подло, как это сделали они.

Ему никто не ответил.

Вечером добрались до Сорокаречья, местности в отрогах Плоскогорья. Дорога здесь, за годы войны не ремонтировавшаяся, была почти непроезжей. Хотя и не было дождей, в отлогих местах колеи наполняла жидкая грязь, и Эк часто врубал передний мост и блокировку — только это и выручало. В темноте уже въехали в городок, нашли комендатуру и определились на ночлег, да не как-нибудь, а в гостиницу.

Гостиница была пуста и тиха, кроме них постояльцев не было. Каждый получил ключ от отдельного номера, Эк вернулся ненадолго к машине, а остальные разошлись спать. Новички не жались друг к другу больше, но выглядели такими сиротами, что Петер сжалился и просидел с ними целый час, отвлекая от грустных мыслей. Он помнил, и очень хорошо, это состояние полнейшей потерянности, безысходности и черной грусти. На встряску, подобную сегодняшней, люди реагировали либо такой вот прострацией, либо идиотическим возбуждением. Петер считал первое нормальным, а второе — проявлением интеллектуальной недостаточности. Господа офицеры, как он знал, придерживались противоположного мнения. Поэтому новички, которых в войсках задолбали бы до потери инстинкта самосохранения, приобрели в глазах Петера... ну, скажем так: он стал к ним теплее относиться.

Коридоры гостиницы, устланные коврами дорожками, все равно были невообразимо гулки, и невозможно было побороть ощущение, что за тобой кто-то идет. Ну то есть действительно кто-то шел, и нельзя было оборачиваться, потому что если обернешься, то лопнет что-то внутри, такое тугое и тонкое, — и все... Это снилось Петеру непрерывно, наконец он встал, напился воды, отворил окно, выходящее во двор, и стал дышать холодным ночным воздухом. Стояла безумной прелести ночь. Близость гор давала себя знать, и звезды усеивали небо тесно, плотно, ярко и четко. Воздух — чистый, без примесей звуков и запахов — пропускал их свет беспрепятственно, поэтому они не ми-



гали, а горели ровно, уверенно, зная, что горят не без пользы. Общаться со звездами было просто.

Потом Петер лег, уснул спокойно, и ему приснился я, автор. Я время от времени снюсь ему, не часто, но с самого детства — с тех самых пор, как я начал его придумывать. У нас с ним время идет по-разному, и там, где у меня год, у него — полжизни. Вот сейчас мы с ним ровесники. Но пройдет еще сколько-то времени, и начнется обратный процесс — я буду становиться старше, а он — он будет по-прежнему оставаться тридцатилетним... Нет, вовсе не то, что вы подумали, — он останется жив, он выйдет почти невредим из той катавасии, которая им вскоре всем предстоит; просто почему-то, когда поставлена точка, автор и герой вдруг меняются местами... это будто проходишь сквозь зеркало... черт знает что. Все это очень странно... Зря я, наверное, думаю обо всем этом, наверное, глядя на меня, Петер о многом догадывается — говорят, я не умею скрывать свои мысли и на лице у меня все написано. Ну и пусть. Почему бы и не разрешить неплохому человеку заглянуть в свое будущее, тем более что это будущее у него есть — а ведь этим могут похвастать очень немногие его сверстники! Да, есть — в этом будущем будет долгая, сложная и не слишком счастливая жизнь. Правда, Брунгильды там не будет... почти не будет. Так уж получится. Нет, хорошо уже хотя бы то, что он останется жив. Он женится на вдове Хильмана — пока что вины по поводу Хильмана он не чувствует, но потом им овладеет необоримая идефикс: ведь не уйди он тогда, полупьяный, на поиски Брунгильды, Хильман остался бы жив. Эта идефикс победит разум, и Петер будет считать себя виновником гибели Хильмана, и начнет искупать свою вину... Вдова Хильмана, женщина властная и недалекая, измучает его, отравит ему существование, и лишь в шестьдесят лет, овдовев, он почувствует себя человеком. К тому времени он станет владельцем солидного фотоателье, и, просуществовав в такой ипостаси еще десять лет, семидесятилетним стариком возьмется за пустяковый частный заказ: проявить пленку какого-то любителя... молчу, молчу! Я и так сказал уже слишком много. Это

будет не скоро: ему потребуется прожить всю жизнь, постоянно мечась между службой и домом, между не-любимой женой и несчастными любовницами, воспитывать детей, двух своих и одного — Хильмана... Согласен, Петер? Не смеешь возразить... Ну что же — быть посему.

В соседнем номере не спит господин Мархель. Вот этот — загадка для меня. Кто он, откуда взялся, кем был раньше, что его ждет? Не знаю. Сейчас он сидит и смотрит перед собой, губы его шевелятся, а глаза остры и внимательны, будто видят что-то — и не будто, они определенно что-то видят, потому что в них это что-то отражается, и если бы я мог заглянуть ему в глаза... Не могу. И не просите — не могу. Не могу я смотреть в глаза господину Гуннару Мархелю. Не потому, что у него какой-то там особый взгляд... просто что-то вроде брезгливости, только на порядок сильнее... не могу, в общем. Извините.

Но что он там видит? Что-то ведь видит...

Шофер Экхоф, или просто Эк, спит спокойно, он сегодня на совесть поработал, и надо отдохнуть перед завтрашней дорогой. У Эка прекрасные нервы.

Баттен... пардон, Баттен с дамой, не будем подглядывать. Но когда и где он успел?! Ах, Баттен, ах, озорник! Такой увалень, тихоня, но ведь всегда все успевает — и без натуги, будто бы случайно. Характер, что вы хотите...

Новички спят беспокойно, Шанур разметался и будто бежит куда-то, Армант, наоборот, зарылся в подушку... ничего, ребята, привыкнете, все привыкают; ну, не то чтобы привыкают... притупляется восприятие. Вот так: шесть постояльцев гостиницы в маленьком городе... как он называется? Забыл... — в отрогах Плоскогогорья, обширнейшего плато, рассеченного пополам Гросс-Каньоном — километровой ширины и такой же глубины речной долиной длиной почти четыреста километров; на западе он выходит к океану, на востоке теряется в горах, между хребтами Слолиш и Ивурчорр; противник занимает противоположный берег каньона, но, сами понимаете, ни о каких активных действиях речи пока быть не может. Пока — пока не появился в поле зрения

командования некий военный инженер Юнгман... Что? Ах, ночь прошла, и Петер просыпается... доброе утро, Петер. Думаю, я больше тебе не приснюсь, пока не закончится эта история. Хотя... кто знает?

А наверху была красота! Поднимались долго и утомительно, зато, когда поднялись — о, это стоило трудов! Воздух пах снегом — это при полуденном солнце, при жаре, яростной, но легкой, свежей; дорога вилась по холмам, нетронутым-зеленым, между рощами низкорослых неизвестных деревьев, между заросшими бурьяном виноградниками; попадались ручьи и речки, через которые переезжали вброд, попадались озера, до неправдоподобия синие и холодные даже на взгляд. А потом все переменялось.

С земли будто содрали кожу. Здесь поработали и бульдозеры, и прочая гусеничная техника, дорога, теперь бетонная, шла по широченной глиняно-красной полосе, где все было перерыто и перемешано, где то справа, то слева возникали непонятные строения, явно брошенные, поодиночке и группами стояли ржавые тягачи и трактора, полуразобранные грузовики, громоздилось всякое железо, бетон, валялись бревна, доски — все ненужное, неприкаянное, негодное, устрашающе многочисленное. Так примерно выглядит зона прорыва, когда армия уходит вперед, а тылам еще недосуг заняться разборкой лома. Потом дорога расширилась и стала прямой, как стрела, как посадочная полоса — да это и есть посадочная полоса, понял Петер, резервная полоса для тяжелых бомбардировщиков. Хотел бы я знать, на что в такой глуши резервные полосы? Спросить, что ли? Он посмотрел на господина Мархеля. Господин Мархель сидел прямо, придерживаясь за поручень, и всматривался в даль. Профиль его был острый как бритва, глаза прищурены, а губы медленно шевелились — медленно и торжественно, будто он читал... нет, не молитву... заклинание?.. именно заклинание. Петеру показалось вдруг, что в лицо брызнуло холодом, а самый свет солнца стал разреженным и призрачным. Тьфу, чертовщина! Ладно, они там, наверху, все на этом деле сдвинутые, но я-то! Я —

нормальный, сравнительно разумный человек, вчера вогнавший этого проклятого колдуна в холодный пот, — сегодня просто так, без причины, боюсь задать ему вопрос. Именно боюсь. Ну и дела...

Но вскоре все стало ясно и без вопросов. По сторонам дороги вдали стали угадываться заводские корпуса, от них шли многочисленные и разнообразные «притоки» к шоссе, по притокам шли машины, и скоро на шоссе стало тесно до безобразия. Навстречу попадались главным образом тягачи с платформами на прицепе; по ходу обогнали несколько таких же, но груженных чем-то тяжелым и громоздким, но чем именно, непонятно — брезент. И вот так, в машинной толчее, в газойлевом чаду ехали километров сто, попадались регулировочные посты, палаточные городки, много чего попадалось, но Петер утратил способность воспринимать что-либо — на него запах газойля действовал крайне угнетающе. Он не вполне очнулся даже, когда машина затормозила наконец перед свежим, желтеньким еще щитовым домом, окруженным штабными машинами, сторожевыми вышками и колючей проволокой в два кола; проволока вдруг привлекла его внимание, он не сразу понял чем — потом только дошло, что она блестята таким синеватым блеском. Никелированная колючка! Оригинально, черт возьми...

— Ждите меня здесь, — сказал господин Мархель и пошел к дому. Часовому он предъявил некий документ, и часовой вытянулся в струнку с такой истовостью, будто перед ним был по меньшей мере фельдмаршал. Господин Мархель зачем-то оглянулся на пороге, обвел глазами окружающий мир и вошел внутрь. Петер расслабился. Голова болела, и рыжие круги ползли снизу вверх по внутренней стороне лба. Но посидеть тихо ему не дали: из двери пулей вылетел полковник, подбежал к их машине и потребовал:

— Майор Милле, следуйте за мной!

И далее уже обычным шагом повел Петера туда, в недра дома, где — что? Штаб? Резиденция? Короче, повел — мимо часовых: часовых внешних, часовых внутренних, через просторный предбанник, битком набитый офицерами, — Петер вытянулся на пороге и

выбросил вперед правую руку, и эти блестящие офицеры повскакивали с мест и тоже приветствовали его имперским жестом, нет, не фронтовики вы, ребята, и говорить нечего — ни один фронтовик вскакивать не станет, он приподнимется лениво и отмахнется, как от мухи, — за обитую кожей двойную дверь в кабинет с занавешенной картой на стене, со столом о трех тумбах и бронзовым имперским орлом — пресс-папье такое, что ли? — и трехкоронным генералом по ту сторону стола, и господином Мархелем по правую руку от генерала, и неким полковником в саперной форме (ох, и лицо у этого полковника!), и полковник-адъютант отошел на шаг влево, и Петер четко, без излишнего усердия доложил:

— Режиссер-оператор группы кинопропаганды майор Милле по вашему приказанию прибыл, господин генерал!

— Вольно, — разрешил генерал, и Петер встал вольно.

— Майор еще не в курсе, Йо, — сказал господин Мархель, обращаясь к генералу.

— Тогда сам и объясняй, — сказал генерал. — Ему же все делать придется, так, нет? Чтобы потом вопросов не возникало — выкладывай ему все.

— Твоей картой можно воспользоваться?

— Можно.

Так Петер приобщился к военной и государственной тайне чрезвычайной важности. По ту сторону Гросс-Каньона лежала территория врага, причем территория, войсками и инженерными сооружениями совсем не прикрываемая. Каньон практически непреодолим, это считалось за аксиому. Нет, в мирное время, конечно, можно было бы построить мост, обычный подвесной мост — но ведь для этого надо вести работы на обоих берегах. Только инженерный гений полковника Юнгмана — вот он стоит, познакомьтесь, вам вместе работать и работать — позволил решить эту задачу. Итак, подготовительные работы закончены полностью, завтра начнется непосредственно строительство моста; через двадцать три дня мост будет наведен, и наши доблестные бронетанковые и мотомеханизированные части,

пройдя по нему, развернут победоносное наступление — поистине победоносное, потому что, смотрите: все коммуникации врага перерезаются, и сама столица беззащитна, — да это просто удар кинжалом в мягкое брюхо! Это завершение не просто кампании, это завершение войны — победное завершение! И все это — благодаря вот этому мосту, стальной стреле, пронзившей пустоту над Каньоном! Вам, майор, предстоит во всех деталях запечатлевать все этапы великого события. Разумеется, в общих чертах мы будем направлять вас и руководить вами, но инициатива и предприимчивость ваши будут иметь колоссальное значение. Сейчас вы будете определены на жительство, и тотчас — за работу!

Петер был не то чтобы ошеломлен, но озадачен. Ему, человеку как-никак с инженерным образованием — хотя эксплуатация машин и механизмов и строительство — вероятно, не совсем одно и то же, — так вот, ему все это казалось безусловной технической ересью. Впрочем, чего не бывает? На месте разберемся.

На месте... Легко сказать — на месте; а попробуйте-ка, имея всего пару ног и рост метр семьдесят восемь, обойти и обозреть стройплощадку на дне ущелья глубиной метров триста, если не больше, узкого, извилистого, загроможденного стальными фермами будущего моста, да тем более еще никуда и не пускают без предварительного допроса... Часа через четыре, умаявшись до последней степени, Петер разыскал господина Гуннара Мархеля и потребовал вертолет.

Господин Мархель сидел за пишущей машинкой в блиндаже, где расположилась киногруппа, и стучал по клавишам — хорошо стучал, быстро. В зубах у него была зажата длинная тонкая сигарета. Не переставая стучать и не разжимая зубов, он объяснил Петеру, что, согласно режиму секретности и повышенной бдительности на данном объекте, все летающие предметы автоматически считаются вражескими и подлежат уничтожению всеми возможными способами, в большинстве случаев — методом расстреливания из зенитных орудий, которых здесь очень много. Ну а что касается постоянного и повсеместного пропуска, то пропуск будет, и

немедленно, а пока Петер может ознакомиться с первой частью сценария будущего фильма. Фильма? Сценария? Я полагал, что мы будем делать хронику... я всегда считал, что сценарий для хроники... м-м... излишен, события сами... События никогда не идут сами, запомните это! За каждым событием в наше время непременно стоит ум и воля Императора — или злой ум и злая воля врага, и мы, летописцы, не можем позволить себе увлечься кажущейся естественностью и спонтанной самотечностью событий! Читайте!

Петер стал читать.

«Мост Ватерлоо. Сценарий документального фильма. Часть I. Кадры фронтовой хроники: наши войска, напрягая все силы, отбивают атаки противника, нанося ему огромные потери в живой силе и технике. Карта военных действий, у карты военачальник. Задумывается, глядя на карту. Да, обстановка на фронте не радует... Инженер Юнгман склонился над расчетами. Ночь, но при свете свечей он продолжает свою работу. Глаза инженера блестят. Еще немного, еще одно усилие мысли... Есть!!! Он лихорадочно чертит чертеж, и мы видим, каким вдохновением горят его глаза. Закончив работу, он засыпает тут же, за столом, он счастлив. Следующий кадр: преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает Высшему военному совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, инженер нервничает, но вот трехкоронный генерал Айзенкопф подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу... И вот мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы, и вот расчищено место, откуда начнется великое строительство. Вы видите сооружение, похожее на немислимых размеров прокатный стан? Это и есть тот стапель, с которого и двинется вперед наш корабль победы! Настал торжественный день. Саперы, стоя в строю, принимают поздравления генерала Айзенкопфа; и вот они в одном порыве устремляются на свои рабочие места; взревели сервомоторы, засверкали огни сварки, и первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной. А на стапеле уже следующая секция, саперы, вооруженные сварочными

аппаратами, дружки пристыковывают ее к первой, превращая в единый сплошной монолит. Стальные тросы, натянутые, как струны золотой арфы, поддерживают это сооружение. Вот мы со стороны видим, как стометровая стрела вынеслась над каньоном, и солнечные лучи преломляются в паутине блестящих тросов над ней. Сапер, снимая защитный щиток, улыбается, смеется от души — он доволен своей работой, он вытирает рукавом пот со лба, и это честный счастливый пот. Бдительно несут службу зенитчики; солдаты и офицеры всматриваются в небо — неприятельский самолет! Огонь! В небе кучно возникают шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас врезается в скалы. Обломки самолета — крупным планом. Еще обломки. И еще, и еще. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Кто-то читает письмо из дому, кто-то пишет; а вот, усевшись кружком, поют, и один подыгрывает на губной гармонике. Два сапера играют в шахматы, другие смотрят, обсуждая партию. Приносят ужин, появляются фляжки, унтер-офицер произносит тост: „За Императора! За победу!“ — саперы чокаются фляжками и выпивают; потом приступают к ужину. Ночь. Саперы спят. Бдительно несет службу часовой. Шорох в темноте. „Стой! Стреляю!“ Вспышка выстрела из темноты. Часовой, раненный в плечо, бросает гранату. Взрыв гранаты. Тревога! В отдалении вспыхивает и затихает стрельба. Темноту прорезают трассирующие пули. Взлетают осветительные ракеты. Приносят и складывают в ряд трупы вражеских диверсантов. Крупно — их мертвые лица. Это мальчики лет пятнадцати, еще безусые, тонкошеие. Кто послал их на верную смерть? В глазах саперов мы читаем жалость к убитым мальчикам и ненависть к их настоящим убийцам. Надо скорей прекращать эту войну! И саперы с новыми силами принимаются за работу. Уже двести метров — длина моста...»

— Я все понял, — сказал Петер.

— Не сомневался в вас, — сказал господин Мархель. — У вас великолепные данные.

Без камеры — солнце ушло — Петер спустился вниз, к основным сооружениям. Стапель, понял он. Это



степель. Ничего себе... На прокатный стан это совершенно не похоже, господин Гуннар Мархель, наверное, и не видел никогда прокатного стана. Скорее всего это напоминает увеличенный раз в десять каркас товарного вагона... бог ты мой, вот это балки! Тавры два на три, не меньше. Петер уважительно похлопал ладонью по глухому железу. И вмурованы прямо в скальное основание — на какую глубину, интересно? Что тут от прокатного стана, так это роллинги — по ним, надо думать, будут катиться фермы моста. Но какое же усилие потребуется, чтобы их выдвигать, сотни тонн, если не тысячи... если не тысячи... Вот оно что! Это такие гидроцилиндры — мать твою... Даже сравнить не с чем. Ну, Юнгман, ну, инженер! Или вправду гений, или чокнутый. Впрочем, одно другому не мешает... одни глаза чего стоят...

— Дайте свет! Репетируем сцену в штабе. Господа генералы, вокруг стола, пожалуйста. Вы заинтересованы, но недоверчивы... изображайте недоверие! Хорошо, вот так. Юнгман, говорите, доказывайте, горячитесь! Лицом работайте! Лицом, говорю! Хорошо! Йо, начинай. Ты раньше всех все понял — выходи вперед, жми ему руку, хлопни по плечу... хорошо. Юнгман, про лицо не забывай! Все! На исходные. Приготовились. Внимание. Мотор! Пошла съемка! Господа генералы... недоверчивость, недоверчивость изображайте... вот вы, слева, наклонитесь чуть вперед... достаточно. Юнгман, лицо! Играй лицом, скотина! Желваками играй! Стоп! Все сначала. На исходную. Внимание. Мотор! Пошла съемка! Генералы, недоверчивость, недо... отлично, источайте недоверчивость, так его, так! Отлично! Юнгман, что ты стоишь, как этот самый, ну же! Молодец! Давай! Хорошо, хорошо! Еще продержись немного... Йо, пошел! Чуть ко мне развернись, совсем немного, вот так, руку пожми, руку... Юнгман, лицо!!! Держи лицо! По плечу, да покрепче — отлично! Просто отлично! Все. Все пока свободны. Милле, пленки проявить, и на просмотр.

— Ладно, Гуннар, хватит, — это говорит трехкоронный генерал Йозеф Айзенкопф, или Йо — так его в глаза называет господин Гуннар Мархель и про себя —

Петер. Генерал устал от всего этого шума, треска, жары и необходимости делать что-то по указке, генералы этого ужасно не любят, они натерпелись за годы своего пути к генеральству от собственных генералов и теперь превыше всего ценят в себе право выбора между здравым смыслом и желанием своей левой ноги, — тем более трехкоронные генералы. — Хватит с нас на сегодня. Отсылай своих парней, и посидим с тобой, как прежде, помнишь, в Лондоне, в Брюсселе?

— Все помню, старина, — говорит господин Мархель, и голос у него расслабленный и теплый; жестом он отсылает Петера и операторов, и на сегодня рабочий день окончен.

Уже почти полночь, а небо светлое — север. Говорят, в июне здесь вообще не бывает темноты, только сумерки, и то не долго. Сейчас середина августа, и ночи наступают настоящие. Прохладно, но не потому, что земля остыла, просто небо здесь слишком близко, это от неба тянет холодом, а земля — земля еще очень даже ничего...

— А что, братцы, — сказал Петер неожиданно для себя, — не пойти ли нам на бережок да не посидеть ли? Что скажете?

— Пойдемте, — сказал Шанур, — как ты, Ив?

— Как все — так и я, — сказал Армант. — Ты же знаешь.

— Хотел удостовериться, — мягко сказал Шанур.

Петер почувствовал в этой скупой переброске фразами некий подтекст, что-то недоспоренное, недоговоренное — и интонация какая-то странная... Но ведь дружные ребята, явно знакомы сто лет и понимают друг друга с полупапека.

— Стоять! — раздался окрик. — Руки за голову! Пароль!

— Термит, — сказал Петер.

— Тараскон, — сказали из темноты. — Кто такие?

— Кино, — сказал Петер. — Имеем пропуск повсюду.

— Проходи, — часовой осветил их фонариком, мельком взглянул в пропуск, предъявленный Петером, и отступил в темноту.

- Кто это там? — спросили издали.
- Да киношники давешние, — ответил часовой.
- Ну, эти пусть идут, — разрешили там.

Несколько саперов сидели и курили в таком гроте, образованном скалой, бетонным навесом и какими-то металлоконструкциями. Ничего почти не освещая, тлея костерок, несчастный крохотный костерок времен тотальной светомаскировки, лежала на газете наломанная крупными кусками гороховая колбаса «салют наций», да шла по кругу фляжка.

- Садитесь, мужики, — сказали от костра.

Мужики сели. Операторы вроде засмутились, а Петер, зная законы подобных сборищ, достал специально припасенную коробку матросских сигарок и пустил по кругу. Кто из саперов гасил свои самокрутки и подпаливал сигарки, кто совал их в нагрудные карманы про запас, но настрой теперь был только в пользу новоприбывших, фляжку передали им, им же протянули колбасу, а потом откуда-то из темноты возник дымящийся котелок, три жестяные кружки, и возник в воздухе неповторимый аромат крепчайшего чая.

— А вот сахара нет, — сказал один из саперов. — Чего нет, того нет.

Все почему-то засмеялись.

— А так даже лучше, — сказал Шанур. — Так вкуснее.

— И то правда, — согласились саперы.

Интересно, из чего делают этот ром? Петер отхлебнул еще, потом стал жевать «салют наций». Шнапс — я точно знаю — из извести. А это? Опилки или бряква. Да, или опилки, или бряква, больше не из чего...

— Где вы такой чай берете? — заинтересованно спросил Шанур.

— Э-э! — махнул рукой один из саперов — громадный мужик с рубцом во всю щеку. — Такие дела только раз удаются!

Все опять засмеялись.

— А хороший табак черти флотские курят, — сказал другой сапер. — Поутюжат соленую водичку, побаламутят, потом покурят, потом опять поутюжат. Чем не жисть?

— Нет, ребята, — сказал Петер. — Так тонуть, как они тонут, — нет уж, я лучше курить брошу.

— Видел? — спросили его.

— Сам тонул, — сказал Петер. — Холодно, мокро, страшно, мазут кругом — слава богу, подобрали.

— У нас тоже — как минные поля снимать, такого натерпиться, потом неделю ложку до рта донести не можешь, все расплескивается...

— Да, медом нигде не намазано...

— Медом-то да, медом нигде...

— По штабам хорошо.

— По штабам-то точно хорошо...

Кому на войне хорошо, а кому и не очень — это самая благодарная тема; эта и еще — что начальство само не знает, чего хочет. Вырыли, допустим, капонир. Вырыли. Ага. Подходит. Вырыли, значит? Молодцы, хорошо вырыли. Теперь по-быстрому все это обратно заровняйте, а капониры во-он там отойдите... Да и вообще, этот мост — затея, конечно, грандиозная, что и говорить, но какая-то уж очень канительная...

— Нас-то будете снимать? — спросили Петера.

— Само собой, — сказал Петер. — Кого же еще, как не вас?

— А говорят, артистов пришлют.

— Да бросьте вы, какие артисты?

— Да вот говорят, мол, артистов... Лолита Борхен, говорят, тоже будет.

— Документальное же кино, хроника, — сказал Петер, чувствуя мимолетный холодок где-то в области души, ибо сценарий — сценарий-то уже пишется... — Не должно, — добавил он менее уверенно.

— А этот... черный — он кто? — спросили опять.

— Не знаю толком, — сказал Петер. — По должности — советник министра пропаганды.

— Так ведь мы не про должность...

— Не про должность еще не знаю, — сказал Петер.

— Вот и мы тоже опасаемся...

А потом как-то неожиданно и беспричинно развеселились. Армант принялся рассказывать анекдоты, и вышло, что был он великим анекдотчиком, недостижимым и по репертуару, и по артистизму. Разошлись

далеко за полночь, вполне довольные собой, обществом и времяпрепровождением.

— Все, ребята, — сказал Петер в блиндаже. — Завтра подъем до восхода, поэтому спать сразу и крепко.

— Слушаюсь, господин майор! — ответил Шанур по-уставному, и Армант не выдержал, захихикал.

Эти два обормота засопели сразу, а Петер долго еще ворочался — одолевали мысли, сомнения, планы, хотя и знал он совершенно точно, что грош цена любым его планам в означенных обстоятельствах. Потом он уснул и сразу же проснулся, но было уже утро — то есть начинало светать.

Ополоснувшись из ведра, Петер растолкал молодежь и погнал их на видовку. Надо было снять метров двести видовки — пейзажи при низком солнце. На младших Петер не слишком рассчитывал, потому накрутил эти двести метров сам. Солнце встает, плоскогорье освещено, а в каньоне мрак, глубокий и непроницаемый, с высоты снял стапель, там копошатся люди, маленькие такие мураши; а на самом верху Петер нашел кое-что не менее интересное: бурили скважины в скале, в них на растворе загоняли двутавры, а потом к этим двутаврам приваривали мощные лебедки и наматывали на барабаны тросы, интересные очень тросы, Петер таких еще не видел: блестящие, ни пятнышка ржавчины, ни торчащей проволоки, хотя сами проводочки тонкие, едва ли не в волос толщиной; редуктор, электромотор, и кабель тянется вон в тот блиндаж, из которого выходит инженер Юнгман... Итак, инженер Юнгман в рабочей обстановке, в лучах восходящего солнца... есть.

— Уже работаете, — сказал Юнгман. — Хорошо.

— Когда же начнется? — спросил Петер.

— Через... — Юнгман посмотрел на часы. — Через пятьдесят минут. Пойдемте.

— Инженер, — сказал Петер. — Объясните мне суть дела. Я же должен знать, на что обращать внимание.

— А вам не объясняли?

— Только политический аспект.

— Я думал, вы уже в курсе... Так вот: там, внизу, на стапеле монтируются и свариваются фермы моста.

Разумеется, никакая ферма, как бы прочна ни была, не сможет выдержать своего веса при наращивании ее длины. Поэтому мы должны ее поддерживать. Отсюда, как с естественного пилона, ферма и будет поддерживаться особо прочными стальными тросами. Каждый трос способен выдержать три четверти веса одного звена фермы моста, поэтому каждое из них будет поддерживаться как минимум двумя тросами. Поскольку на последних этапах строительства из-за нарастания тангенциального коэффициента нагрузка на тросы, поддерживающие концевое звено, будет в три с половиной раза превышать его истинный вес, концевое звено будет крепиться четырьмя парами тросов, избыток прочности потребует для компенсации собственного веса тросов, на случай возникновения автоколебаний.. ну и прочего. Далее количество тросов на звено будет уменьшаться, и на последнем звене их будет минимум — два. Когда концевое звено упрется в противоположный берег, оно будет там зафиксировано, а затем, избирательно натягивая тросы и создавая сжимающее напряжение в ферме посредством домкратов, мы придадим мосту параболически-арочную форму, что позволит добиться его грузоподъемности в тысячу двести-тысячу четыреста тонн, то есть пустить по мосту колонну тяжелых танков с интервалом сорок метров, либо колонну грузовиков с интервалом шесть с половиной-десять метров. Таким образом, при движении танков со скоростью двадцать пять километров в час, а грузовиков — тридцать пять километров в час мы обеспечим переброску ударной танковой армии за четыре часа сорок минут. Я думаю, вам не надо объяснять, что произойдет при появлении в тылу противника ударной танковой армии?

— Не надо, — сказал Петер. — С этим мне все ясно.

Они спустились вниз на подъемнике, был тут, оказывается, и подъемник, и вовсе не обязательно было отсчитывать ногами полторы тысячи ступенек — да ладно уж... Саперы были построены, господин Гуннар Мархель черным вороном прохаживался в отдалении, младшие операторы тратили пленку, изоощряясь в вы-

бере точек съемки, и время подходило к назначенному, а генерала все еще не было. Наконец, опоздав минут на десять, он возник, стоя в рост в своем «хорьхе», инженер Юнгман рявкнул: «Смирно! Р-равнение — на середину!» — и стал было рапортовать, но генерал отмахнулся от него и, встав с ногами на сиденье, прокричал, надсаживаясь:

— Орлы! Саперы! Вперед! Да не посраим! По местам!

Строй распался, саперы быстро разбежались по местам, протрубил горн — и что-то началось. Началось незаметно, неявно, но движение, раз возникнув, перекидывалось на еще неподвижное, как невидимый глазу огонь, и вот медленно, с натугой, с тяжелым скрежетом растрепанного стоялого железа тронулась в стапеле, выдвигаясь из него клыкастой маской, насаженной на решетчатую шею, концевая ферма, та, которой предстояло проделать весь путь над пропастью и впитаться в тугую скалистую плоть противоположного берега — вражеского берега, вражьего края... По верху стапеля суетились саперы, цепляя тросы, пока еще свободно висящие, безвольные, тяжелые, — нет, уже натянулись, уже держат, уже звенят от натуги, тонкие и прямые. Генерал стоял неподвижно на сиденье своей машины, вскинув правую руку; Петер поймал его в видеоискатель и удивился — глаза генерала были плоскими, застывшими, подернутыми тиной. Манекен это был, а не человек, дешевый лупоглазый манекен — но тут манекен шевельнулся, глаза мигнули, сосредоточились на чем-то и вновь расплылись — и Петер понял, что генерал просто мертвецки пьян с утра. Распоряжался всем инженер Юнгман, да и вряд ли могло быть иначе: его замысел, его саперы... Инженер мелькал везде, неутомимо и проворно, ненадолго задерживаясь на каких-то, видимо, особо ответственных участках, и понемногу начинало казаться, что их здесь очень много, этих инженеров Юнгманов.

Петер старался побывать везде, было тесно и неудобно, и никак не удавалось найти той точки, с которой можно бы было дать панораму событий, — да и не было, наверное, такой точки. Зато раз Петер сделал

чудесный портрет Юнгмана, тот что-то говорил, показывая рукой, и на этот раз не требовалось ему кричать: «Держи лицо», лицо и так было что надо: вставшие дыбом короткие седоватые волосы, обширный лоб с залысинами чуть не до темени, округлый, как каска, и, как каска, нависающий над лицом, развитые надбровные дуги то ли совсем без бровей, то ли с чрезвычайно светлыми бровями, а ниже — пещероподобные глазные впадины; какие-то неживые, жесткие и малоподвижные, как у черепахи, веки, но под этими веками глаза — яростные, страшные, быстрые; острые обтянутые скулы, острый нос, почти безгубый маленький рот и нежный девичий подбородок, решительно не имеющий никакого отношения к прочим участкам лица. Когда он говорил, почему-то казалось, что щеки у него тонкие, как пергамент, — так они натягивались и сминались. Вообще, инженер был быстр и экономен в движениях и, кажется, очень силен, хотя производил на первый взгляд впечатление хилости. Петер потратил на него метров пятьдесят пленки и знал, что потратил очень не напрасно.

Наконец генерала увезли. В последний момент он потерял лицо, пытался спорить с адъютантом, хватался за кобуру и вдруг заплакал. Петер видел, как Шанур, держа камеру у бедра, пытается снять этот эпизод.

В гудение механизмов, скрип и скрежет металла посторонний звук проникал тяжело и, проникнув, значение свое почти утрачивал; поэтому частый перебойный стук, напоминающий стук многих молотков в отдалении и вызывающий такое же мелкое и частое подрагивание под ногами, внимание на себя обратил не сразу. Только когда вокруг стали поднимать головы и указывать пальцами вверх, Петер догадался, что бьют зенитки. Небо было рябое от разрывов, в кого стреляли, было неясно, потом среди белых, быстро темнеющих комочков сверкнул огонек, не погас и стал падать, рисуя длинную бессильную черту; зенитки перестали стрелять сразу — самолет был один. Он упал далеко за каньоном, даже звук взрыва не долетел сюда; лишь несколько минут спустя над скалами поднялся тонкий



столб синего дыма. Сначала он поднимался вертикально, потом резко переломился под прямым углом и потянулся на север — там, наверху, дул ветер.

— Я это снял, — сказал Армант Петеру, вернее, не сказал, а прокричал на ухо.

— Молодец, — крикнул в ответ Петер.

Работы не прекращались и ночью, саперы сменяли друг друга, работая в две смены по двенадцать часов. Быт саперов снимать было фантастически трудно — они размещались поотделенно в таких тесных блиндажах, где не то что с освещением — с ручной камерой было невозможно повернуться. Поэтому по распоряжению генерала саперы в свободное от работы время соорудили декорацию: поставили просторный сруб без окон и без передней стены, внутри отделали его — не без фантазии, надо сказать: там были не только нары, но и стол, и пара плетеных кресел, и аквариум, в котором плавала деревянная утка, и кинопроектор. Саперы изображали там фронтовой быт, а потом уходили спать в свои норы, неудобные, но почти неуязвимые при любой бомбежке. Потом господин Мархель придумал эпизод с баней, и саперы построили баню; после съемок они продолжали баней пользоваться, баня понравилась, раньше мылись просто из ведра.

Побывал Петер и у зенитчиков. В районе строительства было собрано что-то около восьмисот стволов, из них половина — в непосредственной близости от моста. Однажды там его застал налет — даже не то чтобы налет, просто пара истребителей на малой высоте пыталась прорваться к мосту, а может, это были свои, заблудившиеся; потом оказалось, что огонь вели только малокалиберные орудия, — но от этого акустического удара он долго не мог опомниться.

— Как вы не шалеее от этого? — спрашивал он потом.

— Почему не шалеем? — ответили ему. — Шалеем.

Весь район был запрещен для полетов, летчики, конечно, знали это, но иногда или теряли ориентировку, или выбора не было — когда тянули на последнем... Не так давно, рассказывали ему, пришлось сбивать ну

явно свой бомбардировщик: он шел на одном моторе — куда уж тут огибать... Ну постарались, сбили чисто: по второму мотору, кабину не задели, экипаж выпрыгнул. Оказалось, в экипаже этом был командующий воздушной армией, генерал. Он тут же стал орать и требовать, чтобы ему под пистолет подвели того, кто стрелял, он ему растолкует, в бога душу, как ясным днем стрелять в самолет с имперскими опознавательными знаками. Он так шумел, что кто-то вслух засомневался, а надо ли было стрелять так аккуратно. От этого генерал еще больше раззадорился, стал требовать самого главного, кто у них тут есть, тогда вышел командир полка Шторм и голосом скорбным, но твердым сказал, что выполнял категорический приказ генерала Айзенкопфа, к которому генерала-летчика сейчас доставят. Генерал-летчик уехал, остальной экипаж напоили спиртом и положили спать, а на следующий день отправили восвояси. С генералом же летчиком произошла странная история: в штаб он вошел, а из штаба не вышел, и это абсолютно точно, потому что ребята с той батареи, что стоит там рядом, секли за этим зорко. Поэтому сейчас — со ссылками на писарей, шоферов, адъютантов — поговаривают, что генерал-летчик томится в подвале штаба, оборудованном под тюрьму; в том же подвале, но оборудованном под вертепчик, пьет по-черному с адъютантом генерала Айзенкопфа по особым поручениям майором Вельтом; в том же подвале преисполняется наслаждением посредством кинозвезды Лолиты Борхен; вынесен по частям в офицерских портфелях и сброшен то ли в каньон, то ли в нужник. И, надо сказать, это еще не самое странное, что происходит в штабе и вокруг него...

Мост был уже длиной около двухсот метров, когда случилась беда: лопнул один из гидроцилиндров домкратов. Струя масла под давлением триста атмосфер ударила в группу саперов, работавших на участке сварки, они собрались у трансформатора, что-то там не ладилось; пятерых рассекло, как сабельным ударом, остальные девяттеро были ранены, покалечены, контужены, обожжены — трансформатор-то вспыхнул... Конечно, сработала блокировка, пожар погасили, масло

теперь вытекало густой синей струей, нестрашной и безопасной, но работа остановилась. Запасной гидроцилиндр весил четыреста тонн, и установка его в такой тесноте была мероприятием, мягко говоря, трудоемким. Шанур, дежуривший в то время, умудрился почти все снять, но господин Мархель пленку отобрал и тут же засветил, не вдаваясь в объяснения.

Трое суток потребовалось саперам инженера Юнгмана, чтобы снять лопнувший гидроцилиндр и поставить новый. Это была адская работа, Петер был там, в самой гуще, то снимал, то, когда кричали: «Помогай!» — помогал: подбегал и подставлял плечо, или тянул, или наваливался.. Никто, наверное, не уходил отсюда все трое суток, если становилось невмоготу, спали тут же, вповалку — час, два, не больше. Юнгман посерел лицом и, когда монтаж цилиндра закончили, потребовал — именно потребовал — у Айзенкопфа отдыха для саперов; Айзенкопф отказал, поскольку из-за аварии аж на три дня выбились из графика.

Ближе к вечеру господин Мархель устроил съемки в штабе. Петер сидел в уголке с камерой, а у стола в свете софитов решалась судьба двух якобы виновников аварии: помощника инженера Юнгмана, молоденького, только что из колледжа, паренька — его так и звали Студентом, — и саперного старшины. Суд вершили два майора из свиты Айзенкопфа и сам господин Мархель, почему-то в форме полковника кавалергардов и с приклеенными усами. Господин Мархель проинструктировал обвиняемых, как вести себя перед камерой, чтобы все выглядело естественно. Допрос начинался вроде бы с середины.

— Так вы признаетесь, что намеренно монтировали дефектный гидроцилиндр, заранее зная, что это приведет к аварии? — спросил господин Мархель.

— Да, — тихо сказал Студент. Старшина кивнул головой.

— Громче, — сказал господин Мархель.

— Да! — сказал Студент громко.

— Да, признаю, — сказал старшина.

— Таким образом вы намеревались сорвать постройку моста в срок и дать противнику возможность

подготовиться к отпору? — снова спросил господин Мархель.

— Да, — сказал Студент.

— Да, — сказал старшина.

— Вы действовали по идейным соображениям, или по недомыслию, или вас подкупили?

— Я вообще против войны, — сказал Студент так, как его научил господин Мархель. — Я пацифист.

— Мне пообещали поместье и сто тысяч динаров, — сказал старшина так, как его научил господин Мархель.

— Ясно, — сказал господин Мархель.

Он написал что-то на листочке бумаги и передал его одному из адъютантов. Тот прочел и подписал. Потом подписал другой адъютант. Господин Мархель встал.

— Именем Его Императорского Величества, — сказал он. — Согласно статье четвертой, пункт «д» вы, господин Валентин Болдвин, и по статье четвертой, пункт «с» вы, господин Иржи Костелец, в полном соответствии с положениями Процессуального кодекса Военно-уголовного Уложения, были подвергнуты допросу и суду тремя офицерами высшего и среднего ранга, имеющими допуск к проведению правоохранительных и судебных мероприятий. Каждый из вас признан виновным в инкриминированном ему деянии и приговорен к лишению жизни посредством расстреливания. Приговор привести в исполнение немедленно.

Студент побледнел, старшина чуть улыбнулся в усы. Вошли четыре солдата комендантской роты и лейтенант в белых перчатках. Сложив руки за спиной, Студент и старшина вышли. Старшина был спокоен, его забавлял этот спектакль, Студент нервничал, на пороге он оглянулся и попытался поймать взгляд или жест господина Мархеля, но тот углубился в бумаги, вполголоса обсуждая что-то с одним из майоров. Потом он поднял голову.

— А ты что сидишь? — вскинулся он на Петера. — Марш за ними!

Петер нагнал конвой. Впереди шел лейтенант, потом два солдата, потом осужденные, потом еще два солдата. Петер шел, снимая с руки, потом забежал вперед и пропустил их мимо себя. Получилось неплохо. Дошли

до обрыва, лейтенант поставил осужденных на край (Петер снимал), солдат — напротив, встал сбоку и посмотрел на Петера.

— Снял? — спросил он.

— Нет еще. — Петер отбежал подальше и снял всю группу.

Раздался долгий автомобильный гудок. Стоя в машине и размахивая рукой, сюда несясь господин Мархель.

— Стой! — кричал он.

Лейтенант пошел ему навстречу, но господин Мархель объехал его и остановился перед Петером.

— Слушай, майор, я подумал — а если дожждаться заката, и тогда, а? На фоне заходящего солнца? Очень символично получится, как ты думаешь?

— Можно на фоне, — сказал Петер. Ему было все равно. Такие спектакли он просто презирал.

До заката оставалось с полчаса. Приговоренные и солдаты сели в кружок, закурили. Лейтенант стоял в стороне. Господин Мархель встал на самый край обрыва и, сложив руки за спиной, раскачивался на носках. Петер забрался в его машину, шофер приподнял голову, спросил «Куда?» и потянулся к ключу. «Спи, спи», — сказал Петер. Наконец господин Мархель решил, что антураж созрел, и велел всем строиться. Петер от обрыва снял солдат комендантской роты: в касках, с автоматами наперевес — очень воинственный вид; потом отошел так, чтобы в кадре были и те, и другие, и заходящее солнце тоже, отрегулировал рапид, крикнул: «Готов!»

— Именем Императора! — надрываясь, прокричал лейтенант. — Пли!

Коротко треснули автоматы. Старшина сразу стал падать навзничь, туда, в пропасть, а Студент поднял руку и будто что-то крикнул — хотел крикнуть, но не успел... Он упал лицом вперед, и солдаты, подойдя, сапогами спихнули его с обрыва.

Петер понял, что он все еще снимает, хотя пленка кончилась: индикатор горел, а он все давил и давил на спуск...

Он приходил в себя как-то послойно — вот ему казалось, что уже все в порядке, и то, что было на обрыве, — просто сон, от которого трудно избавиться, но потом приходило понимание, что сон — это не то, что было на обрыве, а то, что происходит сейчас, когда тебе кажется, что сном было то; потом он посмотрел отснятую пленку и окончательно убедился, что все это было наяву, но потом ему стало казаться, что пленку он смотрел во сне, а настоящая пленка еще лежит у Баттена непроявленная, а Баттен, по обыкновению, смотался куда-то, и найти его невозможно, потом приходил Баттен и говорил, что все давно проявлено, просмотрено и складировано, потом появлялся господин Мархель и требовал от Баттена реальной работы, а не ее имитации, и оказывалось, что непроявленных лент чуть ли не больше, чем проявленных, в записях Баттена разобраться было невозможно, потом Петер все-таки разыскал эту ленту. Все было так, как ему запомнилось, это потом память стала, щадя рассудок, подсовывать миражи. И, просмотрев ленту несколько раз, Петер понял наконец, что игра здесь идет совсем по иным правилам и сначала надо в этих правилах разобраться, а уж потом делать ставки...

Постепенно Петер стал ощущать, что теряет плотность. Такие вещи случались с ним и раньше, и он знал, что это бывает и с другими кинохроникерами и корреспондентами: на них меньше обращают внимание, иногда вообще не замечают, они становятся как бы полупрозрачными и полупроницаемыми. Часто Петер входил без стука, и это никого не возмущало и не прекращало разговоров, причем всяких разговоров. Армант и Шанур тоже жаловались ему, что никто не обращает на них внимания до тех пор, пока они сами не заявят о себе. Это было, конечно, в порядке вещей и даже удобно тем, что вело ко многим творческим удачам, так, раз Петер зашел к инженеру Юнгману и застал его за листом, исчерченным эпюрами моментов и напряжений и испещренным формулами сопротивления на сжатие и на разрыв — Юнгман сидел и так напряженно смотрел на бумагу, будто хотел испепе-

лить ее взглядом. Петер снял метров двадцать, и Юнгман его так и не заметил. Но в обыденной жизни это было весьма обидно: их не приветствовали, не приглашали к огоньку, ну и так далее. И еще надолго испортил настроение нехороший разговор с господином Мархелем.

— Прекращайте тратить пленку впустую, — потребовал господин Мархель. — Прекращайте. Есть сценарий, вот и работайте по нему. Зачем вам понадобился этот идиотский эпизод с трактором?

Петер вспоминал, что это был за эпизод с трактором, вспомнил и объяснил, что эпизод нужен был, во-первых, для демонстрации беззаветной преданности саперов делу строительства моста, во-вторых, для показа объективных трудностей, с которыми им приходится сталкиваться и сообща преодолевать, в-третьих, для колорита.

— Кончайте самодеятельность, — строго сказал господин Мархель. — Впредь работайте только в соответствии со сценарием. Ясно?

— А как будем снимать диверсантов? — поинтересовался Петер.

— До диверсантов еще дойдет очередь, — сказал господин Мархель. — Вот отснимем воздушные налеты и тогда примемся за диверсантов. И помните: все изменения в сценарий вношу я. Не вы, а я. Поняли?

Налеты начались на второй день после этого разговора. Рано утром, невидимые простым глазом, прошмыгнули в вышине разведчики. Два были сбиты, но несколько, видимо, сделали свое дело. В полдень из-за каньона, покрывая шум работы механизмов, накатился мощный, ровный, нарастающий рев множества моторов.

— Воздух! — раздалась команда, и тут же завывла сирена.

Саперы не суетясь покидали свои места и уходили в укрытия. Бояться до сих приходилось не столько бомб, сколько осколков своих же снарядов. Петер загнал операторов в блиндаж к саперам, а сам пока остался.

Он выбрал себе место на краю обрыва, под скалой: отсюда хорошо был виден и мост, висящий над пропа-

тью, и самолеты, которые шли так высоко и так густо, что отдельные машины не улавливались взглядом, просто накатывалась туча, серая и тяжелая, только вот слишком уж быстро... Почти как свою уязвимость, Петер ощутил вдруг уязвимость моста — мост замер, ожидая, что будет, замер, накрепко притянутый к скале тросами, замер, как человек в ожидании выстрела, — Петер удивился этому, но удивился мельком, потому что туча начала распадаться, эскадрильи расходились в стороны, а часть, те, что шли в центре, заскользили, снижаясь, разгоняясь для удара, предстоял знаменитый «звездный налет», когда самолеты нападают одновременно со всех сторон и с разных высот — Петер сумел снять это развертывание для удара, снять панорамой, кадр получался отменный, и мельком ему подумалось, что этот отменный кадр может сегодня и не уцелеть... И тут грохнули зенитки.

Это было как мордой об пол, а потом медленный звон в ушах, и мягкими кулаками молотило по голове, и где-то позади глаз сверкали белые вспышки, сливаясь в единое пламя, и Петер снимал, перезаряжал и снова снимал, уже плохо понимая, что происходит и что он сам в этом происходящем значит, — орудия били, захлебываясь от спешки, и снаряды торопливо, обгоняя друг друга, лопались в вышине, выплескивая в небо свой жар и свою ярость, и небо сначала побелело, а потом раскалилось до ярко-розового сияния, и в сиянии этом истаивали бомбовозы и уже закопченными скелетами валились вниз, волоча за собой шлейфы сгоревшего стооктанового бензина и когда-то живой плоти, — земля дрожала, ходила ходуном и вздрагивала, дергалась от ударов, и черные искры сыпались из разворошенного неба, и так было долго и кончилось как-то поразительно сразу, только пойманное эхо металось в каньоне и валил откуда-то тяжелый жирный дым.

Петер сидел на земле, камера валялась рядом, и не понять было, откуда взялась такая тишина, но вот кто-то подошел к нему и помог встать. Это был Шанур, вся морда в копоти и куртка прожжена во многих местах, он что-то сказал, но вновь вернулось эхо от



того берега, и Петер не расслышал и переспросил, Шанур повторил, теперь Петер расслышал, но не понял. Шанур снял с него каску, сверху на каске была вмятина, а на голове — Петер потрогал — на голове вроде ничего такого не было, только болело под пальцами. Шанур и Армант, он тоже оказался здесь, взяли Петера под руки и повели. Петер шел спокойно, ноги были как ноги, только земля покачивалась, как палуба.

— Отбились на первый раз, — сказал кто-то.

— И на второй отобьемся, — сердито сказал еще кто-то. — И на третий.

— Снарядов бы хватило, — сказал первый кто-то.

— Самолетов бы у них хватило, вот что, — сказал второй. — Видел, сколько сбили?

— Видел, — сказал первый. — Много.

— То-то же! — сказал второй со значением.

Странно это было: можно было либо слышать, что говорят, либо видеть, кто говорит, вместе это не складывалось, не стыковалось... хотя нет, вот вроде бы начала возвращаться острота, будто наводился фокус, и возникали звуки и цвета, фигуры и числа, и вроде бы объединялись в единую картину, как мозаика: кусочек белого стекла, кусочек красного стекла, три кусочка синего — глядь, и лебедь на пруду дует в медную дуду, а под деревом лиса распустила телеса, на нее взглянул монах и не смог сдержаться — ах!..

— Мужики, — позвал Петер, и немедленно в поле зрения сформировались встревоженные физиономии обоих мужиков. — Баттена — хоть с того света, и пусть немедленно проявит, что я тут наснимал...

А мост-то цел? Петер оглянулся. Мост был цел. Даже воронок поблизости от стапеля не так уж много наковыряли.

Второй налет произошел часа через два. На этот раз бомбили с большой высоты и целились, видимо, по батареям. Сбит был только один бомбардировщик. Вечером, перед самым заходом, батареи отбомбили еще раз. И весь следующий день налеты продолжались беспрерывно: эскадрильи с предельной высоты вываливали бомбы и уходили, уступая место следующим,

не нанося существенного урона, но и почти без потерь. Когда подвели итоги этого второго дня, оказалось, что сбито четыре самолета и еще четыре «ушли со снижением, факт падения не зафиксирован»; бомбами выведено из строя одиннадцать орудий, тридцать два артиллериста убито, девятнадцать ранено. Противник решил применять тактику измора.

Работы приостановились. Саперам грозили не столько бомбы, сколько осколки снарядов: падая с такой высоты, они сохраняли убийную силу — крупные осколки, разумеется. Зенитные снаряды создаются с таким расчетом, чтобы при взрыве возникало большое количество мелких осколков, имеющих очень большую начальную скорость — два-два с половиной километра в секунду. Такой осколок, весящий десять-пятнадцать граммов, встречая препятствие, производит огромные разрушения; однако такую большую скорость он сохраняет на дистанции пятьдесят метров или чуть больше. Он вязнет в воздухе, как в песке, и падает на землю, уже безопасный и остывший. Однако из-за отклонений в технологии производства взрывчатки, корпусов снарядов или взрывателей, из-за повышенной хрупкости или излишней прочности металла, или по другим причинам — но иногда, исключительно редко, в отдельных случаях при разрыве снаряда образуются один или несколько крупных осколков. Вес их колеблется от ста граммов до килограмма и больше, а начальная скорость сравнительно невелика, и в деле противовоздушной обороны их значение близко к нулю — рой быстролетающих мелких осколков произведет в конструкции самолета куда больше разрушений, чем один крупный и сравнительно медленный осколок; но потенциальная энергия его высока — из-за большой массы — и, по пути к земле трансформируясь в кинетическую, приводит в случае соприкосновения осколка с человеческим телом к летальному исходу. Сами понимаете, при зенитном огне под осколки подворачиваются тела тех, кого огонь этот призван защищать. Но — лес рубят...

Когда над головой рвутся десятки тысяч снарядов, крупные осколки падают дождем. Стали защищаться

от осколков. Над рабочими местами установили навесы из листовой стали, наделали огромное количество щитов, чтобы прикрываться, пересекая открытые пространства. При монтаже навесов больше полусотни саперов выбыло из строя, из них половина — безвозвратно; зато работы возобновились и продолжались и днем и ночью.

Где-то через неделю после возобновления работ в блиндаж к киношникам забрел инженер Юнгман. Он был явно не в себе, впервые Петер видел его настолько беспомощным. Баттен подливал ему шнапс, инженер пил, не хмелея, потом отказался: не в коня корм, — но не уходил, а все порывался, кажется, о чем-то поговорить, но все время — казалось Петеру — не решался и говорил о том, что не имело ни к чему ни малейшего отношения: то как женился во второй раз на женщине, выходящей замуж в четвертый раз, то перескакивал на свое детство и странным образом увязывал умение плавать и способность чувствовать свои ошибки, еще не осознавая их, то, чуть не плача, доказывал, что взрывать те мосты, которые только что перед этим строил, — занятие не для разумного человека, но делать это ему приходилось, и многократно, поэтому за принадлежность свою к разумным существам он не поручится, то пространно излагал нечто о границе сред, и даже Петер со своим высшим техническим его не понял..

Погас свет, и минуту спустя лампочки чуть затеплились багровым — что-то случилось на электростанции. Тревоги, впрочем, не было, не было и посторонних звуков наподобие взрывов или выстрелов. Глаза привыкли к полумраку, и разговор возобновился, кто-то что-то сказал о непригодности человека к военно-полевым условиям, Петер возразил в том смысле, что попробуете еще настоящих окопов, и здешняя жизнь представится раем, и тут Юнгман сказал:

— Ничего, приспособится человек. Машина приспособит, — и улыбнулся жестковато.

И голос его, и улыбка как-то обращали на себя внимание, и Петер спросил:

— Машина? Какая машина?

— Вообще машина. Машина с большой буквы.

Юнгман встал, уронил табурет и даже не заметил этого. Его, кажется, прорвало:

— Человечество... прогресс... процветание... свобода, равенство, братство и счастье... Чушь! Человек пребывает в приятной уверенности, что он является если не центром вселенной, то уж хотя бы царем природы здесь, на нашей планете. Чушь, чушь! С той минуты, когда первая обезьяна взяла в руки палку и привязала к ней камень, человек возник и сразу исчез, потому что появилась Машина. Нет человека в природе! Есть Машина, и есть полужидкие создания, которые при ней прижились. Человек как вид давно уже не подвержен эволюции, за него эволюционирует Машина. Идет эволюция Машины, и человек является только средством этой эволюции, так сказать, мутагенным фактором. Машина вполне сознательно отбирает себе людей. Когда-то ей понадобились люди с хорошо развитой кистью — они были отобраны и дали потомство, прочие сгинули. Ей нужны люди с хорошо развитым мозгом, на случай возникновения каких-либо кризисных ситуаций, — пожалуйста, человек имеет мозг, стократно превосходящий тот, который ему необходим повседневно. Машина не подчиняет себе людей, это смешно — она их отбирает и развивает в соответствии со своими потребностями. Сегодняшними своими потребностями, заметьте. Эволюция слепа. Каменный топор не знал, что ему предстоит стать бронзовым, потом железным, потом бензопилой. Он просто потихонечку превращается из одного в другое. Цели у эволюции нет. Точнее, ее никто не знает — ни Машина, ни, тем более, человек. Конструктор, создающий новую форму Машины — ракету, скажем, — знает о результате своей работы не больше, чем космическая частица, поражающая яйцеклетку...

— Подождите, Юнгман, — сказал Петер. — Машина, по-вашему, — это...

— Совокупность всех машин и механизмов, существующих сейчас в мире.

— Ага, — сказал Петер и задумался. Ему представились на миг расползшиеся по континентам железные

шевелящиеся заросли, маслянисто блестящие, сверкающие, ветвящиеся, как кораллы...

— ..как кораллы, — подхватил его мысль инженер Юнгман, и Петер снова стал его слушать. — Новые слои нарастают, старые отмирают, все это приобретает самые причудливые формы — притом старые слои не умирают сами собой, новые душат их, отнимая металл, энергию, людей — это приводит к конфликтам...

— И государственные границы, — напомнил Петер.

— Нет, — сказал Юнгман. — Это другое. Государственные границы для Машины — это как бы клеточные мембраны, они создают необходимую для развития разность потенциалов... впрочем, когда эта разность превосходит критическую, границы не выдерживают...

— Тогда война?

— Не обязательно. Аншлюс, колонизация, свободная торговля...

— А война?

— Война, мне кажется, — это когда у Машины возникает что-то вроде раковой опухоли, и она ее удаляет...

— Интересно, — сказал Петер. — А когда мы станем ей не нужны, нас... того?

— Ну что вы, — сказал инженер, — как это — не нужны? Люди всегда будут нужны Машине, они — источник ее развития, ее изменений. Изменения всегда должны приходить извне, развития изнутри быть не может. Другое дело, что Машина вольна изменять нас самих по собственному своему усмотрению. Но что в этом страшного? Мы с вами — вид, выведенный ею искусственно. Ну и что? Вы чувствуете свою неполноценность?

— Да как сказать... До сих пор не чувствовал.

— Инженер! — вдруг заговорил Армант, голос его был напряженный и звенящий. — Получается, что вы отождествляете свою Машину с Богом?

— Ну что вы, — сказал Юнгман, — какой бог? Организм, только и всего. Большой и сложный организм. Подумаешь, человек выводит. Мы вот выводим новые породы собак — что мы, боги после этого? И вообще... бог... Бог не должен совершать таких ошибок. А то —

уроды разные... тупиковые ветви эволюции... пирамиды там... и прочее. Хотя, может быть, создание Бога — это и есть цель эволюции Машины? Бог из Машины... Только тогда, наверное, и человеку надо будет перестать быть лишь смазкой в ее шестеренках и возвыситься до нее. Всомогущество как цель... а если оно будет достигнуто и станет средством — тогда что? Новый виток? Ладно, пойду я...

Он поставил табурет на место и вышел. Утром его видели: совершенно спокойный, он обошел все участки, отдал несколько дельных распоряжений, потом вошел на мост, прошел по нему до самого конца — четыреста тридцать метров на тот момент, — долго стоял там, а потом прыгнул вниз. Армант, дежуривший в это утро с камерой возле моста, проследил объективом его падение до самого конца.

— Какая мелкая, себялюбивая сволочь! — негодовал господин Мархель, рассказывая по штабу; Петера он зачем-то притащил с собой. — Он что, не понимал, к чему это приведет? Как мы теперь будем снимать сцены с ним? А? Что молчишь? — обернулся он к генералу Айзенкопфу, который тоже рассказывал по штабу, но с меньшей скоростью и большей амплитудой, вместе они смотрелись как маятник стенных часов и маятник Фуко. — Может, переснять все это? А где исполнителя взять?

— Любого из моих — дарю, — сказал генерал.

— Типаж не тот, — сказал господин Мархель с досадой. — Не тот, не тот, не убеждай меня! — он выставил перед собой ладонь. — Хоть он и сволочью оказался, а вспомни — какое лицо, а? Какие жесты!

— А может, так и сделать — мол, сволочью оказался? — раздумчиво сказал генерал.

— Да что ты говоришь? — возмутился господин Мархель. — Как это может быть, чтобы человек, который замыслил великое дело, и вдруг — сволочь? Нет, Йо, ты не понимаешь... — Он забегал еще быстрее. — Ты ни черта не понимаешь. Тогда получается, что мост — это творение сволочи, а тогда — для чего он его замыслил и куда это смотрел генерал Айзенкопф? Что скажешь?

— А вот ты его сам и сыгрой, — предложил генерал. Господин Мархель задумался.

— А что, Йо, — сказал он медленно, — это, кажется, идея. Это надо обмозговать. Значит, так: у нас есть большая сцена представления проекта, у нас есть несколько сцен, где он на строительстве, и несколько, когда он за работой...

— Вы уже играете одну роль, — напомнил Петер.

— Вот и отлично, — сказал господин Мархель. — Выйдет так, что инженер сам вершит суд над изменниками.

— Вы в форме кавалергарда, — напомнил Петер.

— Да кто заметит! — начал было господин Мархель, но перебил сам себя: — Верно, майор. Кому надо, заметят. Суд уже не переснять — или переснять?

— Нет, — сказал Петер. — Вы там в одном кадре... с теми.

— Жаль, — сказал господин Мархель. — А тебе, майор, это урок: впредь снимай так, чтобы было легко монтировать. Так, это отпадает. Что делать?

— Слушай, — сказал генерал, — эта сцена прыжка — она у тебя есть?

— Есть, — сказал господин Мархель. — Издалека, правда.

— Тогда дело можно представить так, что его застрелил снайпер, — сказал генерал.

— Точно, Йо! — вскричал господин Мархель. — Ну ты и голова! И не подумаешь, что генерал!

— Стараемся, — сказал генерал, польщенный.

— Как сделать только, чтобы понятно было, что это снайпер? Телеобъективом... или в титрах просто? А, майор? Что скажешь?

— Можно просто в титрах, — сказал Петер. — А вообще-то... Есть кадр, я его снимал со спины, и он как раз закашлялся и вот так наклонился и схватился за грудь...

— Точно! — воскликнул господин Мархель. — Это то, что надо! Блестяще. Ну майор, ну молодец, это ж надо же так, а? Какие у нас люди, Йо, да с такими людьми нам бояться нечего, такие за нами и в огонь, и в воду, и к черту в пекло...

Они смонтировали кадры, снятые Армантом, с тем, что неделей раньше снял Петер, и получилось именно так: инженер стоял на мосту, потом вдруг наклонился вперед, схватился за грудь, и дальше он уже летел вниз, в бездонную почти пропасть, и камера безжалостно прослеживала его полет.

— Теперь надо траурное построение, — сказал господин Мархель.

— Можно использовать кадры построения при открытии строительства, — сказал Петер.

— Нет, — сказал господин Мархель. — И пусть стоят, обнажив головы. Выберите момент, когда стрельбы не будет, и снимите.

Начались трудности с подвозом. Чтобы обеспечить стройку всем необходимым — материалами, боеприпасами, едой, водой, горючим и вообще всем на свете, поскольку на месте, естественно, ни черта не было и быть не могло, — так вот, для этого требовалось не меньше шестисот авторейсов в сутки. Запасы, созданные заранее, растаяли моментально, с первыми же трудностями, а трудности, наоборот, все росли и росли. Авиация противника переключилась на дороги. Прикрыть зенитками все сотни километров дорог не было ни малейшей возможности, истребители по известным причинам вообще старались держаться подальше отсюда, поэтому вскоре шоферы даже под страхом расстрела отказались ездить днем — удавалось проскакивать лишь одиночными машинами. За ночь удавалось перевезти едва ли половину необходимого, тем более что и по ночам никаких гарантий не было: то налетали, как мошкара, легкие ночники и забрасывали грузовики мелкими бомбами и термитными шариками, то тяжелые — эти развешивали в небе «люстры» и бомбили неторопливо и прицельно, как на полигоне.

Вскоре стало совсем плохо с едой, воды выдавали по пол-литра на человека, и зенитный огонь стал не таким оголтелым. Чего по-прежнему хватало, так это горючего для генераторов — сварка<sup>1</sup> — и всякого строительного железа.



Вместо инженера Юнгмана назначили другого — Ивенса. Этот был круглолиц и рыжеват и двигался замедленно, будто его рукам, ногам и туловищу приходилось преодолевать несильное, но вполне ощутимое сопротивление. Он принял дела от заместителя Юнгмана — майора Копитхеера; Петер при этом присутствовал. Они обошли стройку, а потом Копитхеер взял свое новое начальство за пуговицу и стал ему объяснять насчет формулы Кракси—Хомберга и модифицированной формулы Бернштейна — как начальство знает, всегда все считают по Кракси—Хомбергу, а Кракси и Хомберг интеграл сигма-эль-эф принимают за ноль, хотя при больших значениях эф зависимость сигма-эпсилон становится нелинейной, а мы имеем дело как раз с очень большими значениями эф, а это значит, что в пограничном слое возникнут напряжения, совершенно не учитываемые в расчетах, поэтому он, Копитхеер, осмелился посчитать по формуле Бернштейна, хотя это и запрещено по ряду причин, начальству, разумеется, известных — начальство покивало, — и вот какой результат у него получился; более того, он полагает, что покойный Юнгман тоже считал по этой формуле — не сразу, а дня за три до того, потому что брал у него справочник, а сегодня он, Копитхеер, справочник этот забрал обратно, а там закладка именно на этой странице, понимаете? Да-да-да. Именно так. Вот и он, наверное, тоже — посчитал-посчитал, да и прыгнул с моста. Прыгнул? Почему прыгнул? Его же убил снайпер. Какой снайпер, что вы? Уверяю вас, именно снайпер. И формула Бернштейна не применяется совсем не по тем причинам, о которых вы думаете. Бернштейн не учитывает продольного сцепления силовых элементов, кроме того, он ведь неокантианец, субъективный идеалист — так что, инженер, не запудривайте разными глупостями мозги себе и другим. Идите.

Копитхеер постоял, потом порвал свои бумаги пополам, еще пополам, смял их и бросил в пространство перед собой, пнул ногой нечто воображаемое и ушел, бешено-бледный, яростно отмахивая левой рукой комментарии к какой-то произносимой про себя фразе.

Петер, дождавшись ухода Ивенса, подобрал брошенные бумаги и сунул их в карман. С этим следовало разобратся подробнее.

Построение по случаю панихиды по инженеру Юнгману было назначено на пятнадцать часов. Саперы стояли, сняв каски, и генерал Айзенкопф говорил речь. Речь была длинная, хотя и укладывалась примерно в следующее: он был хорошим гражданином, верным слугой Императора и гениальным инженером, он заложил фундамент нашей победы и пал от пули врага. Наверное, говорить коротко и емко генерал считал несолидным. Когда он перешел к тезису о том, что вот сейчас самое время в едином порыве завершить начатое им строительство и тем способствовать окончательному разгрому врага, один из саперов упал — как стоял по стойке смирно, так и упал лицом вниз. Остальные стояли, не шевелясь, пока кто-то не крикнул: «Ложись!» Адьютанты генерала попадали на него сверху, прижав к земле. У сапера, упавшего первым, из-под головы выползла красная лужица. Петер подбежал к нему, перевернул на спину. Пуля попала саперу в висок.

Прикрывая Айзенкопфа со всех сторон, адъютанты увели его подальше отсюда. Сапера отнесли в тень, прикрыли брезентом. В тот день мост больше не ремонтировали: ставили дополнительные броневые щиты на рабочих местах, рыли траншеи и отсыпали брустверы, развешивали брезенты и маскировочные сети, прикрываясь от взгляда с того берега. Пули настигли еще двоих: был убит лейтенант и тяжело ранен рядовой сапер. Казалось, что принятые меры обезопасят работы — но черта с два! Пули прилетали неведомо откуда и неведомо как находили цель. Потери росли и росли. В своем блиндаже, где была только крохотная отдушина под потолком, был убит Копитхеер — в голову. Так же, в голову, был убит сапер, спавший на нарах: вечером лег головой в угол, утром стали его поднимать, а он уже холодный; уж там-то даже отдушины не было, и три наката сверху, и народ вокруг, и выстрела никто не слышал... Чудом избежал смерти Шанур: сидя на дне траншеи, он перезаряжал камеру, в какой-то мо-

мент он наклонил голову, и тут же в стенку траншеи ударила пуля. Она зацепила мочку уха, каменной крошкой посекло плечо и шею, несколько дней этим ухом Шанур не слышал. Место было глухое, вдали от каньона, совершенно не просматриваемое с той стороны, да и вообще со дна траншеи было видно только небо. Пулю Шанур выковырял и принес Петеру; это была сплюснутая девятимиллиметровая пистолетная пуля. Петер велел помалкивать и пулю спрятал до лучших времен.

Бесчинство снайперов продолжалось с неделю, потом пошло на убыль. Может быть, после того, как прибыли минометчики. Они расположились наверху, где стояли лебедки, и целыми днями обстреливали противоположный край каньона. Петер снимал их, потом перепоручил это дело Арманту, и тому поручение пришлось по душе. У операторов вообще наметилась некая специализация: Петер больше уделял внимания производственным процессам, Шанур углубился в быт саперов и артиллеристов — не в тот официально освещаемый быт, который вместо отдыха разыгрывали перед камерой солдаты в специально отстроенных декорациях, а реальный быт, подсмотренный почти тайно; Арманта увлекало все, связанное со стрельбой. Петер просматривал его материал: орлы-минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит нечто шевелящееся и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина и опускается в ствол, все зажимают уши — камера вздрагивает от ударной волны, снова тот берег, несколько секунд ожидания — и взрыв там, где только что что-то шевелилось. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает пылью и дымом. Еще с одним снайпером покончено! Петера занимал один вопрос: почему за все время у минометчиков не было ни одного убитого и даже раненого, если не считать того олуха, который в пьяном виде полез на часового? Минометчики рапортовали о своих победах, требовали огромное количество воды якобы для охлаждения стволов, а по ночам приносили эту воду саперам и обменивали на всякие приятные безделушки наподобие ножей, зажигалок, динамов и прочего.

У Копитхеера был прескверный почерк, Петер немало помучился с ним, он даже хотел было к нему сходить и попытаться объясниться, но не успел застать его в живых. Тем не менее Петер вник-таки в существо вопроса. И никому ничего не сказал. Все равно изменить ничего уже было нельзя.

Мост до момента соприкосновения с противоположным берегом представлял собой рычаг, одно плечо которого — сам мост — длиной тысячу метров удерживалось другим плечом, расположенным под углом девяносто градусов — утесом трехсотметровой высоты, поверху которого и крепились тросы; осью вращения рычага был стапель. Юнгман, используя формулу Кракси—Хомберга, рассчитал, что прочности гранита, стальной фермы моста и тросов особого плетения хватит даже с некоторым запасом — примерно пятнадцать-двадцать процентов. Копитхеер же по запрещенной к использованию формуле Бернштейна высчитал, что прочности каждого отдельно взятого элемента действительно хватит, но в месте их взаимодействия, а именно там, где сталь вмурована в гранит, из-за различия в прочностных характеристиках этих материалов возникнут локальные напряжения, превосходящие критические. То есть в момент, когда длина моста достигнет метров восьмисот — восьмисот пятидесяти, начнется трещинообразование — вначале в месте закрепления стапеля, а чуть позже — там, где крепятся тросы, то есть у основания лебедек. Таким образом, сначала стапель «поплывет» назад, но это не так страшно, это можно скомпенсировать; однако лебедки... Вначале трещины будут распространяться локально, и сваи, на которых держатся лебедки, станут чуть наклоняться вперед, как бы продавливаясь сквозь образующийся щебень; образование щебня на некоторое время парирует нарастание напряжений — до тех пор, пока длина моста не достигнет девятисот пятидесяти метров; тогда микротрещины сольются в одну макротрещину, и весь этот гранитный утес — то есть оба утеса, справа и слева от моста — как отрезанные ножом, отделятся по линии пробитых скважин от основания и... и все. Вместе с мостом.

Мост был длиной уже семьсот шестьдесят пять метров, когда состоялся новый массированный налет. Почти две недели изматывания зенитчиков и террора на дорогах привели к тому, что зенитный огонь весьма ослаб. Какое-то количество орудий выпшло из строя, люди устали до безумия и еле двигались, снарядов было в обрез... Первая атака по обычному сценарию: с большой высоты, дразня, три эскадрильи отбомбились по батареям. И тут же, без паузы, произошел второй налет — на бреющем полете одномоторные пикировщики попытались прорваться к мосту. Что там попытались — прорвались! Не промахнись ведущий, и все было бы кончено. Маневр, предпринятый для атаки, был гениален: пикировщики, выстроившись цепочкой там, над своим берегом, незамеченными подкрались к самому каньону, перед мостом делали «горку», бросали бомбы и уходили в каньон, в мертвую для зениток зону. Но ведущий промахнулся и вывел их чуть в стороне от цели, и у них не было возможности перестроиться, потому что каждый шел в хвост предыдущему, и все они четко повторили ошибку командира, и в тот момент, когда они видели цель, у них уже не было возможности что-то исправить. А когда ведущий, поняв, что его промах — это промах всех, пошел на второй заход, зенитчики уже опускали стволы, и полсотни пушек ударили навстречу пикировщикам. Шесть самолетов один за другим вспыхивали и рушились в каньон, пока наконец пикировщики, не выдержав такого огня в лицо, не стали отваливать в сторону.

Через полчаса появились новые самолеты — там, у противника, видимо, твердо решили, что с мостом пора кончать. Бомбардировщики прорывались сквозь поредевший огонь и бросали бомбы, как могли, прицельно. Петер, полуослепший и полуоглохший, забился между толстенными балками стапеля и продолжал снимать; несколько раз стапель содрогался так, что, казалось, вот-вот все обрушится к чертям, но не обрушивалось — и бомбежка продолжалась. Снова пикировщики попытались выйти на мост — их разметали, но они продолжали кружиться, и то один из них, то другой начинали падать, целясь по мосту; Петер заметил вдруг, что мост

ходит ходуном, раскачиваясь все сильнее и сильнее, и, наверное, поэтому они никак не могли в него попасть — и эти раскачивания создавали странные, пробирающие до спинного мозга звуки, звуки, совершенно свободно проникающие сквозь грохот боя: будто в пустом пространстве настраивали исполинскую скрипку. Петер непроизвольно огляделся, а может быть, его так передернуло, от таких звуков в пору было узлом завязываться, — и увидел сапера, старого своего знакомого, того огромного парня с рубцом на щеке — забыл, как звать, — сапер неся, катя перед собой, как тачку, эрликоновскую счетверенку и ревел так, что Петер разобрал кое-что, когда сапер пробежал мимо него. «А-а-а, бля-а-а! — ревел он. — Катафалки к бою! Гробометы — огонь! Будем биться до усеру!!!» Он промчался по мосту, покачиваясь в такт его колебаниям, не добегая до конца, отжал установку на домкраты и открыл огонь по пикировщикам.

Бог его знает, что творилось наверху, но стапелю пока везло, узким и извилистым было ущелье, на дне которого он находился, и бомбы рвались все больше по склонам его, вниз летели камни, осколки, но прямых попаданий пока не было, пока не было, пока...

Тот бомбардировщик Петер увидел сразу. Подожженный в первом заходе, он развернулся и шел прямо на мост, вдоль оси моста, шел по прямой, не отворачивая, оба мотора горели, и зенитки лупили по нему в упор, и тот сапер из своей счетверенки поливал его трассами, а бомбардировщик все шел и шел, пока снаряд крупного калибра не разорвался у него внутри — и самолет, показав желтое брюхо, не завис и не стал разваливаться на куски прямо в воздухе, — но бомбы уже отделились от держателей и теперь шли туда, куда их нацелил разнесенный на атомы экипаж, шли, завершая последний отрезок замысленной и исполненной штурманом и пилотом траектории, и Петер ловил эти бомбы в видоискатель, и только в последний момент закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.

Бомбы легли в цель.

Удар был страшной силы и со всех сторон одновременно, Петера будто сплющило, вбило в балку и опа-

лило сокрушительным жаром, но он странным образом продолжал оставаться живым и чувствовать себя и окружающее, и только когда его во многих местах сразу прожгло насквозь чем-то раскаленным, он испугался — и тут его взмело, подхватило и понесло, скручивая, по воздуху и совершенно не больно вмазало во что-то твердое и перевернуло, и покатило куда-то, и все это время, прекрасно понимая, что именно происходит, он прижимал к животу камеру и больше всего боялся, что не удержит ее в руках — его уже не так сильно, как вначале, вдавило во что-то, и он остался лежать в крошечной тьме, вокруг грохотало и рушилось, и что-то огромное упало на землю совсем рядом с ним, подпрыгнуло и снова упало уже окончательно — земля ударила Петра снизу, но он почему-то ничего не видел, не могло быть такого, чтобы вдруг наступила темнота, Петер потрогал глаза, но рука наткнулась на непонятную преграду, и только боль подсказала ему, что это его собственная, свисающая со лба кожа. И с этой болью возвратилась боль остальная — такая ослепительная, что он чуть не закричал. А может быть, и закричал, потому что перестал чувствовать что-либо, кроме этой боли. Наконец, его подобрали.

Две недели он пролежал в госпитале для легкораненых. Парадоксально, но факт — Петер отделался, если не считать ободранный лоб, только ушибами да массой ссадин: его будто бы наждачной бумагой поскребли во всех сколько-нибудь выступающих местах. Кожу на лбу пришили на ее законное место, и теперь она страшно чесалась, но чесать ее было бесполезно, потому что прикосновений она не ощущала — такие вот забавные вещи случаются. Петера сразу, раздев догола, с ног до головы вымазали каким-то вонючим маслом и завернули в простыню, этим же маслом пропитанную, — так он и лежал, первые дни ему кололи морфин, потом что-то послабее, потом вымыли, смазали марганцовкой, выдали обмундирование и велели убираться на все четыре стороны и никогда больше сюда не попадать.

Его ждал Эк с машиной. Летучий Хрен, прознав обо всем, велел Петеру прервать командировку и вернуть-

ся в редакцию за дополнительными инструкциями. Езда причинила Петеру массу переживаний — ягодицы пострадали не менее, чем локти и колени; наконец, он приспособился ехать стоя, придерживаясь за дугу тента. Эк рассказал, что мост устоял, но работы пока ведутся только восстановительные, потому что разбомбили к чертям собачьим все подъездные пути, электростанцию — ее настолько основательно, что сразу стали строить новую, — и здорово покорежили стапель. Ну и по мелочам... да. Но налеты прекратились. Почти прекратились. В тот день сбили, говорят, пятьдесят шесть самолетов — это кого хочешь отучит...

Летучий Хрен расспросил Петера — очень кратко — о делах и велел отдыхать. В тот же вечер Менандр свозил Петера в генеральскую баню, там за него взялся огромных размеров волосатый мужик и за два часа превратил Петера в розовую ватную куклу — размял, снял коросту, распарил и измолотил руки, ноги, спину. Наутро Петер проснулся легким и обновленным. И пошел к Летучему Хрену.

— Так сразу? — удивился тот. — А я хотел тебя еще здесь поддержать.

— Позарез надо, — сказал Петер. — Просто позарез.

— Ну, тогда давай, выкладывай подробности, — сказал Летучий Хрен. И потом, когда Петер выложил все, что знал, и о чем догадывался, и о чем только подозревал, согласился: — Поезжай.

Возвращается на круги своя, подумал Петер, все та же докрасна ободранная земля, следы наступления великой инженерной армии, но ведь я вижу это только во второй раз, почему же кажется, что — в сотый? А вот новенькое: дюралевые обломки, разбросанные во круг — да как много! Специально стаскивали и раскладывали вдоль дороги. А машин разбитых нет, убирают сразу с глаз долой. Рука господина Мархеля, это уж точно...

Баттен спал в блиндаже, больше никого не было; Петер посидел, потом зарядил новенькую, привезенную с собой камеру и пошел бродить по окрестностям. Раз-



рушения, причиненные последней бомбежкой, были велики и бросались в глаза даже сейчас, по прошествии времени: бесформенные обломки чего-то, сгребенные бульдозерами в кучи, захламленная территория бывшей электростанции — туда свалили изуродованные фермы моста, а вот этой глыбы раньше не было, она скатилась сверху... Но работа кипела, дорогу отсыпали еще лучше прежней, новая электростанция напоминала подземный форт, а главное, везде были понарыты щели, траншеи, ходы сообщения и прочее, и прочее...

В такой вот момент созерцания Петера и застал подполковник-адъютант.

— Подполковник Милле? — произнес он таким полувопросом — знал ведь точно, но считал необходимым уточнить.

— Майор Милле, — Петер уточнил, как и предполагалось.

— Простите, подполковник, — сказал подполковник, — у меня более свежие сведения. Господин советник просит вас немедленно прибыть в штаб.

— Странно, — сказал Петер. — Почему-то я привык считать себя майором.

— Звание вам присвоено только сегодня, — сказал подполковник. — Час назад. Прошу в машину.

Господин Гуннар Мархель принял Петера стоя.

— Господин Петер Милле! — сказал он торжественно. — За примерное исполнение воинского и профессионального долга вам присвоено воинское звание подполковника от инфантерии. Примите мои поздравления.

— Слуга Его Величества! — ответил Петер, приняв предписываемую уставом стойку: пятки вместе, носки на ширину ступни, руки согнуты в локтях и локти отведены назад, подбородок приподнят.

— Вольно, — сказал господин Мархель. — А теперь побеседуем о нашей работе.

Беседа свелась к тому, что господин Мархель говорил, а Петер слушал и соглашался. В сценарий мы вынуждены внести некоторые изменения, говорил господин Мархель, и вы должны с ними ознакомиться. Возможно, придется переснять некоторые сцены. За-

втра прибует еще одна киногоруппа, на этот раз с киностудии «ДОРМ», им предстоит снимать трюковые сцены, вас это не коснется, работать будете независимо друг от друга, хотя некоторая координация действий будет осуществляться, и не только мной, но и вами. Далее: участились случаи пропажи и недостачи лент у оператора Шанура. Разберитесь и доложите. Далее: по объективным причинам строительство выбилось из графика. Тем не менее при производстве съемок следует руководствоваться тем фактом, что строительство не прекращалось ни на минуту. Пока все.

Вошел лысый, гладко выбритый полковник в мешковатой шинели. Петер поприветствовал его, полковник ответил небрежно и стал по-хозяйски ходить по генеральскому кабинету, заглядывать в какие-то бумаги на столе; замерший от почтительности подполковник-адъютант, уловив некий тайный знак, сорвался с места и принял шинель. Под шинелью оказался генеральский мундир. Стоя у зеркала, лысый генерал с отвращением смотрел, как адъютант натягивает на него парик, расчесывает волосы, приклеивает усы — как на свет божий появляется привычный генерал Айзенкопф...

— Скотина ты, Гуннар, — сказал генерал, обретя свой былой вид. — Знал бы ты, как мне остомерзел этот маскарад!

— Но это же для твоей же безопасности, как ты не понимаешь, снайперы ведь так и охотятся за тобой.

— Да перестань ты — снайперы... Снайперы... Чуть голову нагреет — такое начинается, что впору о том снайпере молиться, чтобы поскорее и пометче... Взял бы артиста какого и мучил бы его сколько хочешь. Или пересними все, чтобы я в нынешнем виде везде был.

— Думал уже, не получается, — сказал господин Мархель.

— Заладил: не получается, не получается... Правда, возьми артистов, задержируй — и вытворяйте с ними, что хотите, слова не скажу.

— Ну, Йо, ты так говоришь, что неудобно становится, ей-богу, — сказал господин Мархель. — Это же кинохроника, не что-нибудь там...

— Придумай что-нибудь, на то ты и...

— ...не что-то там! Ты должен выступить перед саперами.

— Ну вот еще. Мало я выступал?

— Надо призвать их к стойкости. К стойкости перед лицом врага.

— Было уже. И к стойкости, и к верности, и к умеренности, и к самопожертвованию — ко всему было.

— Тогда было перед строем. А сейчас ты обратишься по радио. Я так и вижу: ты перед микрофоном, а следующий кадр: репродукторы, и все оборачиваются, сбегаются, на лицах — самое предельное внимание... Ты выступишь символом объединения, понимаешь?

— А что я буду говорить?

— Что всегда: доблестные воины, наследники ратной славы великих гиперборейских атлантов Гангуса, Слолиппа и Ивурчорра, перед лицом коварного врага — да не посраим знамен... Ну и прочее в том же духе, сам знаешь. Призовешь к сплочению, к стоицизму, к подвижничеству.

— Надо тогда радио провести.

— Ну так проведи. Не мне же этим заниматься.

Генерал кивнул адъютанту, тот четко повернулся и вышел.

— Ну, подполковник, — обратился господин Мархель к Петеру, — вы поняли свою задачу? Вот вам сценарий — читайте и думайте. Я проверю. Завтра будем снимать генерала, говорящего с народом по радио. Готовьтесь. И насчет недостающих лент — проверьте.

— Есть, — сказал Петер.

Сценарий.

«Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры из-под ладоней вглядываются в небо; неприятельский самолет! Огонь! — командует офицер. В небе кучно возникают белые шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас...» Так, это уже было. Дальше что?

«Работает бульдозер. Вот он сгребает с дороги обломки вражеского самолета, и вдруг в стекле кабины появляется маленькая дырочка в центре паутины тре-

щин. Дверца медленно открывается, и, хватаясь за нее руками, на землю вываливается тело сапера. Бульдозер продолжает двигаться вперед, но, лишенный воли и руки человека, застревает и впустую скребет гусеницами камень. Следующий кадр: в ряд лежат, укрытые национальным флагом, пять-шесть тел. Саперы с обнаженными головами клянутся отомстить за погибших. Следующий кадр: минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит противника и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина, опускается в ствол, все зажимают уши — выстрел. Снова тот берег, несколько секунд ожидания, и взрыв там, где только что сидел вражеский снайпер. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает дымом и пылью. Еще с одним снайпером покончено!»

Петер перелистнул сразу десяток страниц.

«Саперы со сварочными электродами в руках. Яркий свет сварки. Вдруг он меркнет. Гаснет электрическая лампочка. Останавливаются моторы, приводящие в действие масляные насосы домкратов. Останавливаются лебедки, натягивающие тросы. Роторы электрогенераторов делают по инерции несколько оборотов и застывают в неподвижности. В чем дело? Почему остановились дизель-моторы? Вот он, ответ: форсунки засорены песком! У кого поднялась рука на подобное злодеяние? Кто этот мерзавец? Он не ушел от ответа, он схвачен за руку, мелкий и скользкий тип, под чужой личиной проникший на стройку. Кто ты: убежденный враг, или продажная тварь, или мстительный, не прощающий мелких обид мизантроп? Все это мы узнаем. Два офицера полевой жандармерии уводят его...»

«...разбрасывая в стороны застывшие автомашины, танк рвется вперед, к мосту, но на пути его встает сапер с гранатой в руке. Бросок гранаты — и танк застывает, окутываясь дымом. Второй танк пятится, но уйти ему не удастся: еще одна граната...»

«...торжественный момент. Да, свершилось! Исполинской стальной дугой соединились берега каньона, и тяжелые танки, грохоча по настилу, устремляются на вражеский берег. Вот они, не встречая сопротивления, сминают слабые заслоны и растекаются по оператив-

ному простору. За ними идут бронетранспортеры с пехотой. Десятки истребителей и бомбардировщиков проходят над ними, и там, где враг не сдается, его смешивают с землей. Полная и окончательная победа, Ватерлоо наших дней! Торжество...»

Петер захлопнул папку. Шикарная кожаная папка, богатое тиснение, надпись: «К докладу». Это чтобы генералы не испытывали отрицательных эмоций, осязая ее. Тисненая кожа ласкает холеную кожу генеральских ладоней куда искусней, чем плебейский картон. И эти мягкие кресла... Как там у Вильденбратена? «Понимая Отечество прежде всего как зеленое бархатное местопребывание для собственного зада, пекутся, разумеется, о пользе его и процветании...»

Вошел Шанур и кинулся к Петеру чуть ли не с объятиями.

— Наш майор вернулся! — заорал он, и Баттен подскочил на койке и сел, озираясь.

— Тьфу, черт, — сказал он, наконец. — Приснится же такое! Майор — это хорошо... — Он лег к стенке лицом и снова уснул.

— Ты чего это так обрадовался? — спросил Петер, в общем-то польщенный такой встречей.

— Как — чего? — удивился Шанур. — Просто — хорошо. Ну и работа... тоже...

— Пойдем наружу, поговорим, — сказал Петер.

— А снайперы? — напомнил Шанур.

— А «Трех мушкетеров» ты читал? — в свою очередь напомнил Петер.

— Понял, — сказал Шанур. — Тогда я поведу.

Он привел Петера на монтажную площадку, к подножию покалеченного бомбами подъемного крана. Кран этот просто оттащили в сторону, чтобы не мешал. На его месте уже стоял новый. Петер и Шанур забрались по лесенке в кабину крановщика, прикрытую со всех сторон броневыми щитами, и там расположились.

— Христиан, — сказал Петер. — Я не буду вызывать тебя на откровенность и так далее, я просто хочу тебя предупредить: ты под очень серьезным подозрением у этого черта. Ты брал на складе больше лент, чем сдал отснятых. Как будем оправдываться?

Шанур молчал, покусывая губу.

— Десяток лент я могу взять на себя: после той бомбежки, сам понимаешь...

— Не получится, — сказал Шанур. — Я тогда подобрал и вашу камеру, и сумку.

— И сдал?

— Не все.

— Что оставил?

— Ту ленту, которая была в камере. И еще наугад две из сумки. Больше не смог.

— Понятно... Значит, так. Подашь мне рапорт. Примерно так: об отчетности за пленку предупрежден мною не был. Поэтому выбрасывал испорченные ленты. Напиши, что камера рвет перфорацию. Камеру отдай Баттену, пусть покопается. Теперь об ответственности предупрежден, будешь сдавать все ленты независимо от их состояния. Понял?

— Но как же тогда?..

— Что-нибудь придумаем. Да и сданные, они не пропадут: часть пойдет на эту стряпню, а остальные — в архив, и там будут храниться, пока...

— Да нет же! — перебил Шанур. — Нет же, нет! Их уничтожат сразу, понимаете, сразу, как только фильм будет сделан!

— Откуда ты знаешь?

— Я подслушал. Они меня не заметили, и я все слышал, что они говорили.

— И ты решил сделать собственный фильм?

— Я решил сохранить правду обо всем этом.

— А ты знаешь, например, что делают с солдатами, у которых находят дневники?

— Знаю. Но ведь дневники продолжают находить!

— Где ты их прячешь?

Шанур помедлил, и Петер вдруг остро захотел, чтобы он ничего не сказал, не выдал тайника, потому что... потому что это подрасстрельное дело, а так — не знаю, и все... Он чуть не сказал: «Молчи!», но не сказал почему-то, и Шанур, облизнув губы, прошептал ему на ухо:

— Под стапелем, возле самой крайней опоры, справа — там яма...

— Тебя никто не видел? — тоже шепотом спросил Петер.

— А я сам и не кладу, — сказал Шанур.

Петер посмотрел на него. Лицо Шанура было серьезно, губы упрямо сжаты — хорошее лицо...

— Ладно, — сказал Петер. — С пленкой мы что-нибудь придумаем. У Баттена такой бардак в учете... А рапорт напиши, и послезливее: мол, ничего не знал, не хотел, простите на первый раз... Изобрази испуг.

— Чего уж тут изображать, — сказал Шанур тихо. — Все нутро — как овечий хвост...

Вторая киногоруппа прибыла не завтра утром, как ожидали, а сегодня вечером. Над Плоскогорьем стояла сплошная облачность, лили дожди, самолеты не летали, ездить стало можно в любое время суток. Петер смотрел, как они выгружаются: два десятка человек, пять машин, в том числе автокран для съемок сверху, стационарные камеры, прожектора, десятки контейнеров и ящиков — короче, народ серьезный. Господин Мархель отвел в сторонку режиссера и что-то ему втолковывал. Среди этих двадцати было несколько девочек, и Баттен уже крутился среди них. Баттен никогда не упускал ни малейшего шанса.

Шанур тронул Петера за рукав, кивнул головой в сторону:

— Поговорим?

Они пошли рядом.

— Саперы просили меня тебя привести, — сказал Шанур. — Познакомиться. Пойдешь?

— Просили? — усмехнулся Петер. — Ну, раз просили, то пойду. Ты мне вот что скажи: ты Арманта давно знаешь?

— Давно, — сказал Шанур. — Вместе жили, вместе служили, вместе в офицерскую школу попали, вместе — на курсы операторов, вместе — сюда. А что?

— Что он представляет из себя?

— А ты еще не понял?

— Да как сказать...

— Без лести предан.

— То есть? — не понял Петер.

— Это девиз был какого-то государственного деятеля — без лести предан. Вот и Ив — без лести предан. Понятно?

— Понятно. А если он узнает, что ты делаешь, — как поступит?

— Не знаю. Думал над этим — не знаю. Не могу представить себе, что донесет, выдаст — и не могу представить, что смолчит. Не знаю.

— Но ты же бываешь с ним откровенен?

— Откровенен — не то слово. И потом — я бываю с ним открыт только мыслями, а это он допускает... инакомыслие он допускает... Думать можешь что хочешь, это твое личное дело, а вот поступки твои должны быть лишь на благо Императора. Диалектик Ив...

— А почему ты разоткровенничался со мной?

— А почему вы считаете, что я с вами откровенен?

Петер усмехнулся, но промолчал.

— Впрочем, да, — сказал Шанур. — На один расстрел, как минимум, я уже наболтал. Тайник — это... да... Но опять же: а может быть, никакого тайника нет, а я проверяю вас по поручению господина Мархеля? Проходит этот вариант?

— Проходит, — сказал Петер.

— Вот видите. Мы примерно в одинаковом положении — в одинаковом и одинаково безвыходном. Нет никаких гарантий, что ты разговариваешь не с агентом контрразведки. Нельзя доверять даже интуиции, нельзя доверять своим впечатлениям — они ведь выманивают на себя твои симпатии. Но снимать под бомбами ни один контрразведчик не стал бы — у них другая профессия. А вы снимали. Да еще то, что заведомо не войдет в фильм. И я понял, что могу вам доверять. Правда ведь, могу?

Петер опять промолчал.

— Могу, — сказал Шанур. — Только не бойтесь, я не намерен втягивать вас в свои дела (Уже втянул, подумал Петер), я просто хочу познакомить вас с народом...

Знакомство с народом затянулось чуть не до утра. Сначала была скованность, не снимавшаяся даже шнапсом, — Впрочем, шнапса было мало, только понюхать, — но потом заговорили о работе, Петер — о своей,



саперы — о своей, как они с Юнгманом строили мосты и рвали мосты, и что это за человек был — Юнгман, хороший человек и инженер прекрасный, божьей милостью инженер, да вот напоследок, видать, взялся за безнадежное это дело, где это видано: одним мостом войну выиграть? Теперь вот Ивенс вместо него — нет, с этим каши не сваришь, ни одного слова у него своего, все заемные, да и ни черта он в нашем деле не понимает, пыжится только. Достраивать — надо достраивать, конечно, столько сил в это дело вломили, нет, надо до конца доводить, только переделать бы кое-что маленечко, потому как не выдержит скала, простым глазом видно, что не выдержит, — а надо лебедки перенести метров на двести-триста от края да рассредоточить по площади, да не в линию ставить, тут Юнгман маху дал, — и тогда хоть сейчас на этот чертов мост танки выводим — выдержит! Лишь бы ванты не полопались, а прочее выдержит. А ванты — что ванты? Добавить, сколько надо. И все. А попробуй скажи. Копитхеер говорил — и где он сейчас? Ага! Генерал же ни черта в нашем деле не понимает, да и откуда ему что понимать — пехота! А этот... черный?.. Это же ужас ходячий, и откуда только такие берутся? Генерала, говорят, в горсти держит, пикнуть не дает — правда это? Ну, вот... Руководит тут всем, а мосты до того, наверное, на картинках только и видел. Ни черта хорошего из этого не получится, помяните мое слово. Завалится сволочной этот мост, и мы в виноватых-то и окажемся. И в дураках, и в виноватых — во радость-то! Так что, майор, слушай нас да на ус мотай, чтобы потом нас от дерьма хоть посмертно отмыть. Христиан хорошее дело замыслил — рискованный парень, а все равно молодец. Конечно. А за что их любить, этих рискованных? Рискуют обыкновенно те, кому думать нечем — или когда за душой ни черта не осталось. Не-е! Христиан — парень душевный, и наше ему понимание, он с открытыми глазами на риск идет. Понимание, помощь и уважение. А верно говорят, что теперь нас артисты изображать будут? Ну и плевать. Пусть там хоть раздрыгаются — а наше дело строить, верно, братва? Нет, ясно, что обидно. Я только к чему? Пусть

они там хоть черта голого снимают, а правда-то — вот она, под камушком! И рано или поздно она из-под камушка-то выскребется... Да, что поздно, то поздно — да и так нынче-то правда не в чести, так уж пусть ее полежит. Подрасстрельное это дело — правда. Что молчишь, майор? Нет, скажешь? То-то и оно...

Подхваченный темой, Петер рассказал о веселом парне Хильмане, у которого было две тысячи друзей, и как он был убит одним из тех, кого называл и считал другом, и как в госпитале, где кололи наркотики, ему раз почудилось, что Хильман пришел, присел на край постели и сказал, что теперь он обходит всех своих друзей и требует доказательств дружбы — хотя бы раз в жизни, — и что все теряются и не знают, что сказать, и он сам тоже растерялся и не знал, что за доказательство можно представить, лежа в госпитале, да еще под уколом, тогда Хильман посмотрел на него очень укоризненно и сказал, что зайдет в другой раз. Все стали обсуждать этот случай, перекинулись на толкование снов вообще и сексуальных в частности, на этой почве вспомнили, что в сегодняшней киногруппе были девочки и что этого так оставлять нельзя, Господь не простит, если это так оставить. Подумать только — почти год безвылазно тут, на этом невыразимом Плоскогорье, пока дорогу пробивали, пока основные сооружения ставили — и ведь ни одной юбки на триста километров вокруг! Поглядеть не на что, не говоря уж о прочем! Потом вдруг резко и матерно перекинулись на минометчиков, век их тут не видеть, дармоедов вонючих, к ногтю бы их, спекулянтов, — жаль, устав не позволяет...

А вообще, майор, чтоб ты знал — саперная служба на войне самая благородная. Медицина? Н-ну... тоже, пожалуй. В один ряд можно поставить. Потому как саперы убивать не обязаны. Нормальная мужская работа у саперов — земля, бревна, камень, железо, бетон. Вот только мины — это да. С минами возиться ой как хреново. Что снимать, что ставить. А еще плохо проволочку резать. Юнгман нам цену знал, потому и берег нас, тратить задешево не давал. Наш полк хоть особым и не назывался, а считался. Так, как мы, никто больше

не может. Нет, никто. Укрепрайон за сутки — не можешь представить? И правильно, что не можешь, мы вот тоже не могли, пока не сделали. Но вот с этим мостом мы, чувствую, того... сядем. Если не опомнится начальство, то сядем.

А хороший мост мог бы получиться! В мире никто такого не делал. Его же сейчас чувствуешь, как родного — как ему худо сейчас. Вон Карел как на самолеты кинулся! Это когда тебя, майор, ободрало всего. Ох и красив ты был! Зажило хоть? Ну и славу богу. Так Карела вчетвером от его пушки отрывать пришлось, а потом еще спиртом отпаивать. Вzbесился мужик — столько сил вложено, а они поломать хотят! Вон, смеется, а тогда — взгляд дикий, и орет не поймешь что. Великое это дело — когда что-то потом полито. Надежней, чем кровью. Кровь — она по разным причинам течь может, и вообще... А пот — это честно.

Так ты, слушай, заходи к нам, не стесняйся, нас стесняться нечего, а то ты все издали да пошире, а чтобы поближе подойти да как есть в подробностях отобразить — так это Христиан только, да и то не сразу. Нам-то, знаешь, такими штучками баловаться невозможно; когда это Хизри расстреляли — с месяц назад? Понимаешь, нашли у него блокнот, весь по-арабски исписанный; Хизри хоть и клялся, что это он стихи сочиняет, а только проверить-то никто не мог, вот и прислонили Хизри. Хороший был парень, потому и не уберется. Так что на вас вся надежда, потому как обидно бы вышло, если бы про нас тут всяких сказок насочиняют или еще чего похуже. А насочиняют, гады, это уж как пить дать. Артистов вон понаехало... Слушай, майор, а ты не обижаешься, что мы с тобой по-простому? Ну и правильно. Да и вообще — вон Христиан о тебе очень хорошо говорил, а под бомбами ты держишься, как полный фронтовик, да и то сказать — ты же не по тылам груши околачиваешь, верно? И стрелять, небось, приходилось? Ну, значит, правильно мы тебя понимали. Так что заходи к нам, не стесняйся, не забывай, а если что надо, так только мигни — мы со всей душой... И еще, майор... это... как бы тебе сказать... Студента нашего и старшину — это

при тебе было? Ну и?.. Понимаешь, поговаривают, что все это этот ваш черный подстроил, нет? Ты не молчи, майор. Ты скажи: за дело их прислонили, по правде? Говори! Молчишь... Ну понятно. Спасибо, что не соврал. Значит, правду говорят. Что за власть такую этот черный над генералом взял? Ну, ясное дело, знай генерал, что все подстроено, он бы не допустил. Какой ему резон саперов за хрен собачий в расход пускать? Нас и так на треть поубавилось, вон кладбище какое уже. Тебе про эпидемию рассказывали? Тиф у нас тут свирепствовал. Все переболели. Нет, а что генерал? Генерал — порядочный мужик. Бурку вон ему свою подарил. Правильный генерал. Сделал дело — молодец, нет — получи, что положено. В саперном деле бы кумекал — цены бы генералу не было. Да, Юнгман был, и дело шло. Хотя без генерала и Юнгману бы туговато пришлось. Машины грузовые, машины саперные, бульдозеры — а солярка для них? А цемент, а профиля, а трубы — попробуй достать! А генерал — он все мог. Вечером Юнгман скажет — утром уже все есть. Нет, генерал в этом отношении молодец. И не мешался в дела. Так, изредка, для порядку. Нет, можно было работать. А что дальше будет — ох, черт его знает. Как себя новый инженер поставит? Что-то хлипковат он. Ну, да время покажет. Может, обкатается..

Остаток ночи Петер провел без сна. Запасся сном в госпитале — отоспался за все предыдущее и на две недели вперед. Он отлично понимал теперь, что именно происходит, но предугадать дальнейшее не мог, хотя и знал сценарий. По сценарию дальше должны быть диверсанты. Причем все события должны происходить перед камерой. Объясните мне, бога ради, как именно! Я не желаю быть пешкой в этой вашей грязной игре! Я не желаю!

Но кроме этого «Я не желаю!», у него ничего не было.

Мост строился так: на тыловых базах накоплены были запасы стальных профилированных балок; тяжелыми грузовиками их доставляли на промежуточную монтажную площадку километрах в ста отсюда и там

сваривали отдельные звенья фермы моста. Делалось так потому, что в непосредственной близости от моста сконцентрировать такие производственные мощности было невозможно по вполне понятным причинам. На монтаж доставлялись готовые уже звенья. Здесь их сгружали с трейлеров и сортировали: звенья были пяти различных типов — «Антон», «Берта», «Цезарь», «Дора», «Ева» — и на монтаж должны были поступать в этой последовательности. С сортировочной площадки звенья подавались на стапель, здесь кранами стапеля звено подводилось к торцу фермы и стыковалось с ней специальными стыковочными муфтами, в зависимости от типа фермы этих муфт было от шестнадцати до тридцати шести. Затем в дело вступали сварщики. На монтаж одного звена уходило около двух часов, за это время ферма сдвигалась вперед на четыре метра, и освободившееся место занимало следующее звено. На выходе со стапеля к звену присоединялись тросы, лебедки подтягивали их и принимали тяжесть звена на себя. Все эти операции были тщательно скоординированы и синхронизированы, но в любой сложной системе обязательно случаются сбои, потому и нужен руководитель. Пока был Юнгман, все шло как по маслу, никаких сбоев не было, то есть были, но ликвидировались моментально. Юнгман шестым, седьмым, десятым чувством предвидел, где его вмешательство будет сейчас необходимо; он придумал, выстрадал и вынырнул этот мост, знал его досконально и потому мог все. Он владел этим мостом, как музыкант-виртуоз владеет великолепным, но чрезвычайно капризным инструментом — все видят, что инструмент великолепен, и никто не замечает, что он капризен. Ивенс же был просто грамотным помощником Юнгмана. Он знал, что мост должен выдвигаться со скоростью два метра в час, знал, что таким именно темпом, если не считать аварий и бомбежек, и были пройдены все семьсот шестьдесят пять метров, и никак не мог понять, почему это теперь вдруг приходится то и дело останавливать масляные насосы, почему на одно звено уходит когда восемь, а когда и шестнадцать часов? На промежуточной площадке что-то напутали со спецификацией, и звеньев

«Антон» оказалось в избытке, потом на звеньях «Дора» стала появляться маркировка «Ева», а потом прислали несколько «Берт» в зеркально-симметричном исполнении, и это вообще не лезло ни в какие ворота. Там им тоже досталось от бомбежек, но надо ведь понимать!.. Студент тем и ценен был, объяснял Петеру тот сапер с рубцом во всю щеку, Карел Козак, что сразу различал звенья безо всякой маркировки, он на сортировке и стоял, что годное было — в дело шло, что с брачком — в отвал. А теперь что же: подцепляем, начинаем стыковать — не стыкуется. Назад его, тащи другое, а этому очередь еще только через три-четыре подойдет, все разгребай теперь — какой тут порядок будет и какой темп? А стыковочные муфты эти несчастные? Их же десять типов! И не дай бог, одного не окажется — приплыли! Как тут Юнгмана добрым словом не помянуть? Да что говорить — и нервы сдают, работаем, как разлаженные...

Нервы сдавали у всех. Инженер Ивенс сатанел на глазах. Он крыл саперов саботажниками и вредителями, лез во все операции и, наверное, еще больше все запутывал. Он орал, хватался за кобур, угрожал пистолетом и, наконец, выстрелил в сапера, который настолько осатанел от тупости начальства, что стал этому начальству доказывать, что оно неправо. Инженер не попал в сапера: его ударили по руке, пуля ушла в небо. Потом у него отобрали пистолет и долго били морду. С набитой мордой он пошел к генералу — жаловаться. Саперов арестовали и увели. С тех пор инженер Ивенс мог ходить по стройке только в сопровождении автоматчиков из комендантского взвода.

На следующий же день он ввел новый порядок: офицеры, помимо прочих своих обязанностей, должны были вести постоянный хронометраж работ — кто из саперов сколько времени тратит на ту или иную операцию. Если сапер выходил за рамки установленного для этой операции времени, ему уменьшали паек; если такой выход за рамки был систематическим или особенно большим, сапер подлежал трибуналу как саботажник. Сам же он — Ивенс — контролировал офицеров. Офицер, исполняющий обязанности хронометриста

недобросовестно, также подлежал суду трибунала — за покровительство саботажу.

Темп работ несколько возрос: офицеры из кожи вон лезли, чтобы хоть как-то добиться синхронности операций. Инженер Ивенс выше задрал подбородок.

Зарядили осенние дожди, липкие, бесконечные, стало почти холодно и очень сыро. Шанур пропадал у саперов, Петер и Армант занялись отснятыми лентами, Баттен, блудная душа, постоянно исчезал, и именно в те моменты, когда был особенно нужен. Заглядывал господин Мархель, интересовался, нет ли недостачи метража, и, узнавая, что нет, удивлялся.

Бог его знает, по какому поводу их в тот вечер пригласили зенитчики — они сказали, но Петер забыл. Вечеринка — она вечеринка и есть, что по поводу, что просто так. Приглашали и ту, вторую, киногруппу, те приглашение приняли, но не пришли. Вообще они с самого начала повели себя странно, как-то свысока, с этакой брезгливостью-брюзгливостью, и Петер, раза два наткнувшись на высокомерное хамство, решил с ними больше дела не иметь — за исключением производственной необходимости. Зенитчики же, не зная всего этого, ждали их и обиделись, и вечеринка прошла комом. Операторы тащились домой, дождя не было, и даже тучи стали редеть — в разрывы их изредка проглядывала половинка луны. Насторожило Петера то, что их не окликнул часовой. Не могло такого быть, чтобы часовой на КПП не окликнул идущих по дороге.

Петер, разведя в стороны руки, остановил своих операторов, молча уложил их на дорогу, а сам, пригибаясь, подкрался к грибку часового. Часового под грибком не было. Не раздумывая ни секунды, Петер рванул шнур сигнала тревоги — и шнур остался у него в руке. Это уже было серьезно.

Он вытащил пистолет и загнал патрон в ствол. Затвор щелкнул непозволительно громко. Надо было хотя бы стрельбой дать сигнал тревоги, но Петер почему-то медлил. Вся эта ситуация была уж слишком знакома, слишком знакома... Вот сейчас мелькнут неясные тени — слишком знакома, потому что я читал

это в сценарии, но там был часовой — неясные тени или мне это мерещится?.. И тут с ужасающим шипением взвилась осветительная ракета.

Все осветилось резчайшим лиловым светом, проявляющим и фиксирующим на дне глаза мельчайшие детали, неподвижные или, не дай бог, движущиеся. Петер мгновенно увидел все сразу: сапоги часового, торчащие из канавы, и изгиб дороги, и своих орлов, лежащих на самом видном месте, и троих в маскхалатах, ныряющих в лошину метрах в сорока... Он не помнил, как и откуда оказалась в руке граната, когда это он успел переложить пистолет из правой руки в левую и достать из сумки гранату, но успел бросить ее еще до того, как последний из тех, в маскхалатах, нырнул в лошину, — Петер видел, как граната медленно, оставляя за собой ниточку дыма, описывает плавную кривую и ныряет следом за теми тремя... Каким-то образом взрыв гранаты не зафиксировался в его памяти, он просто знал умом, что она взорвалась, но и вспышка, и звук взрыва мелькнули мимо, как нечто необязательное, и следующее, что Петер отметил, — это себя, летящего с пистолетом в руке к этой лошине — не было ни ног, стучащих по земле, ни вообще ощущения бега — был полет, стремительный и беззвучный, — Петер увидел, как там, на противоположном краю лошины, облитая светом, судорожно рвется вверх бесформенная фигура, мокрые склоны скользили, как мыло, — Петер выстрелил и попал, фигура переломилась и стала падать... Ракета догорела и погасла, на мгновение наступила темнота, а потом завывла сирена и стали взлетать новые ракеты — много и отовсюду, и стало плохо видно, потому что пропали тени. В этом бестеневом, а потому полупризрачном мире было очень шумно: стреляли, кричали непонятное, и сирена выла, не заглушая, а почему-то выделяя, подчеркивая все иные звуки — они будто взмывали на ее волнах, зависали и падали вниз во множестве, острые и грубо-рельефные, как битые кирпичи, — к Петеру бежали люди и тоже кричали, а он стоял и не мог стряхнуть с себя оцепенения. Все, что произошло — произошло, но произошло будто не по его воле и почти



без его участия, произошло по сценарию и было заранее знакомо и потому воспринималось как повторный сон.

Ракеты наконец погасли, и сирена смолкла. При свете фонариков осмотрели убитых. Граната попала одному из них в голову, понятно, что осматривать тут было нечего. Другого посекло осколками, тронув притом и лицо. Третий, видимо, оказался довольно далеко и от гранаты не пострадал; пуля попала ему в шею, потому он и повалился, как тряпичная кукла. Петер посмотрел ему в лицо, повернулся и стал выбираться из лощины. Мокрые склоны скользили, как мыло, и на секунду его обуял ужас — сейчас сзади выстрелят! Не выстрелили, подали руку — это оказался Шанур. Петер огляделся. Армант с камерой стоял шагах в десяти и смотрел вниз.

— Он все снимал? — спросил Петер.

— Да, — сказал Шанур. — Кажется, все.

— Ты видел, кто это? — спросил Петер тихо.

— Да, — сказал Шанур.

— А он, значит, все это снимал... Ясно, — сказал Петер, хотя ясного ничего не было.

Они прошли мимо группы солдат, поднимающих носилки. На носилках, прикрытый шинелью, кто-то лежал. Петер подошел, приподнял край шинели. Ему посветили. Лицо лежащего было спокойно, рот чуть приоткрыт — будто собрался человек что-то спросить, но не успел.

— Чем его? — спросил Петер.

— Ножом, — сказали ему. — В спину. Сзади.

— Снимайте! — со злостью сказал еще кто-то. — Все, все снимайте! Кости свои начнем глотать — тоже снимайте!

— Друг это его, — объяснили из темноты. — Так вот получилось.

— Не обижайтесь, — сказали еще. — Бывает.

— Пойдем, — сказал Шанур. Голос у него был неплохой, сдавленный. — Пойдем, не могу я...

Они отошли отсюда, от чьей-то беды, от рыскающего света фонарей, от голосов. Ровный свет половинки луны освещал дорогу, по которой они шли.

— Хоть ты-то что-нибудь понимаешь? — вдруг рыдающим шепотом спросил Шанур. — Хоть ты-то пони-

маешь? Или это я с ума схожу? Ну что ты все молчишь и молчишь? Что это все значит?!

Петер молча достал из кармана пистолетную пулю — ту самую, которая должна была попасть Шануру в голову, но не попала, только задела краешек уха.

— На, — сказал он. — Пользуйся.

Шанур резко остановился. Петер тоже остановился и ждал.

— Так ты... знал? — выдавил вдруг из себя Шанур.

— Пойдем, Христиан, — сказал Петер. — Пойдем. Не могу я больше. Ноги не держат.

— А как же тогда часовой? — спросил Шанур. — Часового-то они... как? Они ведь его ножом, пони-маешь?

Петер взял его за руку, за кулак, в котором была зажата пуля, и еще крепче сжал ему пальцы.

То, что Петер называл потерей плотности, продолжалось. Это становилось даже страшновато, особенно после того, как Петер, задумавшись, прошел сквозь закрытую дверь. Приходилось специально контролировать себя, старательно соблюдая единство сознания и плоти, чтобы ненароком, оставаясь видимым, не пройти сквозь кого-нибудь. Такое уже случалось с ним и раньше, и не только с ним, но, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, на короткие моменты особого увлечения работой; сейчас это заходило слишком далеко. Впрочем, Армант оставался почти прежним; Шанур, напротив, временами почти исчезал, приходилось напрягать зрение, чтобы его рассмотреть. Петер еще более или менее держался, но для сохранения осязаемости приходилось прилагать усилия.

На следующий день после истории с диверсантами Петер имел серьезный разговор с господином Мархелем. Иначе говоря, Петер потребовал объяснений — и он получил объяснения.

— Ваша беда в том, подполковник, — сказал господин Мархель, — что вы не пытаетесь даже толком понять великое мистическое единство факта и его истолкования. Видите ли, деяние, вещь ли, идея ли — короче, любая объективная реальность — не воспри-

нимаются нами в чистом виде, а только и исключительно посредством переложения их в знаки. Предмет никогда не совпадает со своим изображением, это бесспорно. Вот перед нами настольная лампа зеленого цвета. Мы с вами смотрим на нее, и я говорю: «Это настольная лампа, у нее конической формы абажур зеленого цвета, а подставка круглая, из покрытого серой эмалью чугуна». Кажется, я все сказал, и вы меня поняли. Но я нисколько не сомневаюсь, что и форму ее, и цвет мы воспринимаем по-разному, просто мы привыкли и договорились между собой, что вот этот цвет — а каждый из нас видит, разумеется, свой цвет — называется серым, а вот этот — зеленым, а вот эта форма — а каждый видит ее по-своему — называется конической, — ну и так далее. То есть я, видя нечто, своими словами передаю вам не истинную информацию об объекте, а те условные знаки, которыми и вы, и я привыкли обозначать то или иное качество предмета. Известно, в Китае на Севере и на Юге говорят на совершенно различных языках, и одни и те же иероглифы они называют и произносят по-разному, но каждый иероглиф и там, и там обозначает один и тот же предмет, или качество, или действие. Ну а теперь предположим, что мы начнем внедрять в Китае фонетическое письмо — конечно, мы не начнем, стоит ли возиться, не так ли? — но предположим; предположим, что мы запишем, скажем, фразу «Мандарин пьет чай на веранде своего дворца», произнесенную северянином, латинскими буквами, и дадим прочитать ее южанину. Тот, конечно, ничего не поймет. Но если мы предоставим ему достаточно длинный текст, изображенный латынью, и одновременно — тот же текст в иероглифах, он сможет — при достаточном, конечно, интеллекте — составить некий новый словарь и далее понимать тексты, написанные на Севере латынью. Однако ту же фразу, написанную латынью на Юге, он понять не сможет! Понимаете? Появление так называемых иероглифов второго порядка — а именно таковыми становится в этом случае латынь — резко снижают адаптивность знаковой системы, хотя, на первый взгляд, должно быть наоборот, не так ли? Вот и у нас:

мы должны, даже не должны, это слишком слабое слово, — наш святой долг: не допускать засорения исторически сложившейся знаковой системы никакими новыми, вторичными иероглифами. То есть каждое событие, имевшее место в действительности, должно быть отражено абсолютно однозначно! Абсолютно! Я думаю, не следует объяснять вам, вы и так умный человек, к каким потрясающим основы последствиям приведет появление так называемых информационных вилок. Поэтому мы должны предусматривать все. Любые происходящие события должны быть нами зафиксированы, и потому лишь события, нами зафиксированные, должны остаться как имевшие место в действительности. Только они и могли иметь место! Допустим, нам не удалось бы зафиксировать на пленке момент выстрела в инженера Юнгмана, но тогда мы должны были бы найти материал, адекватно заместивший бы этот информационный проляпс. Нам не удалось зафиксировать на пленке попадание бомб в стапель; следовательно, появление материала о том, что стапель поврежден и работы приостановлены, нарушает всю имеющуюся знаковую систему и ведет к неоднозначному толкованию, о котором я только что говорил. Более того: раз противнику удалось нанести прицельный удар — значит, вся система ПВО района не так эффективна, как было ранее объявлено. Вот вам еще одна информационная вилка. К счастью, нам доступен монтаж, но разрушение электростанции надо же как-то пояснить — поэтому и было решено использовать актеров в роли диверсантов. Сцена получилась превосходная, я уже смотрел. Вас, правда, придется вырезать, гранату кинет офицер-кавалергард, но мотивы этого, надеюсь, вы понимаете? Не сомневался в вас. Сегодня вечером съемки в штабе, в сценарий пришлось внести некоторые изменения.

Господин Мархель кинул на стол папку со сценарием и вышел, а голос его еще долго продолжал звучать в помещении: «Появление различных истолкований одних и тех же событий, а тем более появление информации о событиях, которые по каким-либо причинам произошли, хотя и не были предусмотрены сценарием,

породит неуправляемую цепную реакцию расфокусировки точности знания о событиях, подорвет у населения доверие к официальным сообщениям, более того — к самой политике правительства! Разумеется, это произойдет не сразу, но пусть через двадцать, пусть через пятьдесят лет — ведь страшно представить себе, что будет, если сомнению подвергнутся хотя бы некоторые положения официальной истории! Нас ведь могут заподозрить даже в намеренной лжи! Более того — ведь если отдельные моменты истории вызывают сомнения — то можно ли доверять всей истории? Поэтому следует прикладывать неослабевающие усилия, дабы предопределить невозможность появления и сохранения подобной информации...»

Изменения в сценарий были внесены значительные. Во-первых, следовало снять прибытие киногруппы — той, со студии. Во-вторых, офицер контрразведки, которого играл сам господин Мархель, получал данные о том, что это не настоящая киногруппа, настоящую вырезали ночью во время ночевки в гостинице в том самом городке по дороге сюда. Офицер производил арест лжекиношников и завербованных ими офицеров-саперов, но оказывалось, что три диверсанта успели скрыться и начать осуществлять свой злодейский замысел. Офицер в одиночку бросался в погоню и осуществлял ликвидацию диверсантов посредством гранаты. Тем не менее предотвратить взрыв электростанции он не успевал, электростанция взрывалась и пылала, и офицер, бессильно сжимая пистолет в руке, стоял на фоне зарева и клялся быть беспощадным ко всем на свете врагам Императора.

Дальше шел суд над диверсантами — теми, кого удалось схватить — и саперами-предателями. С диверсантами все было ясно: это были специально подготовленные, хорошо тренированные и обученные враги, солдаты пусть не самой почетной, но нормальной военной специальности. Труднее было понять психологию предателей. Ведь они шли на смертельный риск — зачем? Что двигало ими? Неужто только страсть к наживе? А если нет — то что же? В этом и предстояло разобраться.

— Вот вы, например, как вы могли, офицер, присягнувший на верность Императору, пойти на такое, встать на путь предательства?

— Да, я присягал на верность, но я не был искренен при этом. Это была маскировка. Я ждал, я долго ждал, когда же представится случай нанести ему вред посущественней. И вот я дождался. Очень жаль, что замысел наш сорвался, но я знаю — нас немало еще на свободе, и никто и ничто не помешает нам — моим друзьям и единомышленникам — совершить задуманное...

— А вы?

— Я всегда выступал против войны. Я пацифист и горжусь этим. И если мне удалось хоть на несколько дней отсрочить новое массовое смертоубийство, то моя жизнь и деятельность не были напрасными.

— Ну, а вы что скажете?

— Они узнали, что моя семья на оккупированной территории, и пригрозили убить их всех, если я не соглашусь сотрудничать.

— А вы?

— Я желаю поражения Империи в этой войне. Я сожалею, что мы сделали так мало.

— Почему вы желаете нам поражения?

— Потому что Император обманул народ, пообещав немедленное и всеобщее благоденствие, а сам даже и не подумал выполнять обещание. Он и войну эту затеял только для того, чтобы было чем объяснять трудности...

— Итак, господа, мы с вами видим, что это за люди, которых противник пытается использовать в своих целях. Среди них нет тех грубо-продажных тварей, которые так обычны среди всякого рода предателей. Нет! Мы имеем дело с убежденными, отъявленными врагами, в крайнем случае — с людьми, вставшими на стезю предательства по слабости духа. И, как мы поняли, еще многие такие же, как и они, ходят на свободе, общаются с нами, изображают бурную деятельность на благо Императора, а между тем только и ждут момента, чтобы ударить ножом в спину. Бдительность, только бдительность спасет нас, тотальная и напряженная бдительность! Доносите о своих малейших подозрени-

ях, о странном поведении известных вам лиц, о неясных доходах, о враждебных Императору разговорах, о проявлении недовольства — ибо от недовольства прямая дорога к предательству! — и даже о шутках, потому что ничто не искажает правду так, как шутка. Будьте бдительны изо всех сил! А с этими предателями будет содеяно то, что они заслужили.

Петер сидел еще над сценарием, когда вновь вошел господин Мархель, на этот раз в форме полковника кавалергардов. В руке его была пачка исписанных листков.

— Снимайте, — сказал он. — Офицер контрразведки разбирается с донесениями.

Он сел и разложил листки перед собой. Петер выправил свет, снял господина Мархеля анфас, в профиль, зашел за спину и через плечо заглянул в бумаги. Это были доносы: много доносов, написанных разными почерками и напечатанных на машинке, на бумаге простой, линованной, газетной, на развернутой сигаретной пачке и на куске грубого солдатского пипифакса. Петер запечатлел этот эпистолярный вернисаж, а потом продолжил чтение поверх камеры.

Доносы были, как правило, на офицеров. Господин Мархель, перекладывая их с места на место, как пасьянсные карты, бормотал нечто нечленораздельное, но вполне удовлетворенное.

— А вот и на вас есть, — сказал он Петеру, протягивая тот самый пипифаксный листок. — Разговоры ведете подрывные и неуважение к начальству позволяете.

— Позвольте... — Петер взял листок, прочитал: «Довожу до Вашего сведения, что Майор Миле каторный с кином ходит визде гаварил что, Генерал Наш челавек недалекий и ничиво в деле Сапернам никумекает и что Гаспада Артисты нас Саперав разыгрывать будут и пиреврут Все как никагда ни быват. Остаюсь Присем ПРИСЯГЕ Вернай Сапер и Кавалер».

— Однако, — сказал Петер. — Вот и я в подрывные элементы угодил. Будет делу ход?

— Разберемся, — рассеянно сказал господин Мархель.

Он еще позабавлялся перекладыванием бумажек, потом повернулся к Петеру.

— Вот вам еще одно доказательство моей правоты, — сказал он. — Ведь арест диверсантов и предателей еще не произведен, а посмотрите, как народ отреагировал на эту готовящуюся акцию! Поток разоблачений! И это только за один день! А дальше — о! Нет, с таким народом нам нечего бояться!

— Подождите, — сказал Петер. — Арест киногоруппы — это на самом деле фальшивая киногоруппа — или?..

— Подполковник, — укоризненно протянул господин Мархель. — Я ведь все утро потратил, растолковывая вам положение вещей. Это та киногоруппа, которая требуется по сценарию. Понимаете? По сценарию требуется, чтобы киногоруппа оказалась фальшивой — следовательно, она и есть фальшивая. Нельзя допустить, чтобы образовалось какое-нибудь двойное толкование, чтобы остались двусмысленности и недоговорки... недоговорения... недоговоренности. Наше дело — представить истину так, чтобы она была понятна и доступна даже младенцу, даже клиническому идиоту. А если для этого приходится идти на некоторые разъясняющие... м-м... трюки, то что же делать — специфика жанра... Вы поняли?

— Кажется, понял, — сказал Петер. — Но что будет с актерами?

— Не с актерами, а с диверсантами, — поправил господин Мархель.

— Но ведь это же вы сделали их диверсантами!

— Я? Что за чушь? Кто вам такое сказал?

— Но ведь это вы пишете сценарий!

— Я пишу — но это не значит, что я выдумываю! Я просто расставляю те или иные события на места, им принадлежащие, и иногда даю необходимые объяснения. События, наблюдаемые без системы, могут производить впечатление стихийных — но в действительности нет никакой стихийности, а если события кажутся нам стихийными, это значит только, что мы не сумели разобраться в системе, ими управляющей. И если я проник в эту систему, я могу предвидеть и



прогнозировать события с бесконечно большой точностью! Что я и делаю! Если я обладаю даром предвидеть и прозревать события, это вовсе не значит, что я их выдумываю. И если в системе сценария диверсанты — это диверсанты, то это действительно диверсанты! Сценарий — это теория, фильм — практика, а то, что происходит перед камерой, — это пластичный материал, из которого в соответствии с теорией создается практика — высший критерий истинности. Теперь понятно?

— Чума на оба ваших дома! — в сердцах сказал Петер, и господин Мархель тихонько заржал. — Меня там нигде не должны шлепнуть?

— Вы сценарием вообще не предусмотрены, — сказал господин Мархель. — Вы всегда находитесь по другую сторону камеры. Так что личная ваша судьба, разумеется, продолжается за рамки этого сценария.

— По другую сторону, значит, — сказал Петер. — Ладно...

— Только не делайте скоропалительных выводов, — предостерег господин Мархель.

Арест киногоруппы произошел нервно: дважды прерывалась подача электроэнергии, и дважды приходилось начинать все сначала. Второй раз это было очень трудно сделать, потому что до этого поднялась стрельба и два тела — режиссера и осветителя — положили в сторонке, под брезенты. Случившиеся возле девочек саперные лейтенанты были разоружены и тоже взяты под стражу. Суд состоялся вечером.

Председательствовал генерал Айзенкопф в своем лысо-бритом варианте и почему-то под именем интендант-полковника Мейбагса. Господин Гуннар Мархель в своей кавалергардской ипостаси исполнял функции одного из двух помощников председателя суда. Вторым помощником был адъютант Айзенкопфа по особым поручениям майор Вельт.

Суд проходил единообразно. Вводили подсудимого, майор Вельт зачитывал формулировку обвинения, господин Мархель зачитывал приговор — смертная казнь посредством расстреливания, — этого уводили, приводи-

ли следующего. Слова обвиняемым не давали; у некоторых рты были заклеены липкой лентой. Петер снимал, стараясь, чтобы все лица остались на пленке — это было единственное, что он мог сделать для обреченных; он чувствовал, как во лбу, над глазами и позади глаз скапливается тяжелая цементная туш — как от большой усталости. Мысли сквозь нее не проникали. Броня, понял он. Толстенная лобовая броня. Только так и можно... Нельзя... жить можно только так... так жить нельзя...

Расстрел пошел снимать Шанур. Глаза у него были безумные. Шанура следовало предостеречь, но он ничего не слышал — то есть слышал, конечно, но не реагировал. Сам же Петер пошел снимать эпизод метания гранаты господином Мархелем.

Петер взял на складе три «орешка» — наступательные гранаты, не дающие осколков. Возле той самой лоцинки Петер проинструктировал господина Мархеля, как обращаться с гранатами, и приступил к съемкам. Господин Мархель встал около грибка, Петер отошел к дороге — туда, где лежал Армант с камерой, — шарахнул в небо осветительной ракетой и припал к видеоискателю.

Господин Мархель перебрал ногами, как бы исполнив элемент некоего сложного бального танца, и, забыв выдернуть чеку, по-женски, из-за плеча, бросил гранату вперед — метров на пятнадцать. Петер сходил за гранатой, вернулся, очень спокойно повторил объяснения, еще раз все показал и прорепетировал движение, коим следовало гранату бросать, и вернулся на свое место.

Со второго раза более-менее получилось: господин Мархель не забыл выдернуть чеку и бросил гранату чуть дальше, правда, совсем не в том направлении. Пришлось переснимать. На взрывы сбежались саперы, поняли, что именно происходит, и стояли в отдалении.

Вторую гранату господин Мархель отбрасывал от себя, как змею, и Петеру пришлось быстро нырять в кювет, чтобы уберечься. Этот эпизод тоже не укладывался в сценарий, и пришлось продолжать съемку.

Он опять изготовился и пустил ракету. Господин Мархель, на которого гранатные взрывы произвели, видимо, сильное впечатление, долго не мог ухватить кольцо, наконец ухватил, вырвал чеку, но гранату не удержал, она выпала и покатила по земле. Петер снимал. Он слышал тонкий визг, которым исходил господин Мархель, и видел, как стремительно темнеют его щегольские бриджи, и считал про себя: «Раз — два — три — четы...» — и тут рвануло. Петер повесил камеру на плечо и пошел подбирать начальство.

Наступательные гранаты не дают осколков. То есть осколки их настолько мелки, что и осколками-то считаться не могут — так, металлическая пыль. Но когда такая пыль с хорошей скоростью соприкасается со штанами... Господин Мархель был в обмороке. Он лежал, закатив глаза, голые тонкие ноги его стремительно покрывались красными пятнышками, от мундира остались клочья, а запах стоял — да от самого запущенного клозета пахнет приятнее... Рассуждая на эту и сопутствующие темы, саперы сложили господина Мархеля на носилки и унесли в лазарет. Петер перемотал пленку, спрятал ее в карман и побежал к стапелю.

Никто не видел его. За крайней сваей он нащупал прикрытую тряпьем яму, а под тряпьем — жестяные коробки. Он положил туда свою, снова прикрыл все и ушел, не оглядываясь.

В блиндаже никого не было. Петер содрал с себя все и в одних трусах побежал к бочке с водой — отмыться. Его все еще преследовала вонь, испущенная господином Мархелем. Понимая, что запаха уже никакого не может быть, он лил и лил на себя холодную, обжигающе-холодную воду, мылился жестким обмылком и снова лил... Как офицеру ему положен был запасной комплект обмундирования, и Петер был этому несказанно рад. Хрустящая, в мелких иголочках необношенная ткань гарантировала надежное укрытие от воню. Одевшись и спрятав в мешок грязное, он сел на кровать — и вдруг захохотал. Смех прорвался, давно сдерживаемый и подавляемый смех — и Петер корчился, не в силах вздохнуть, не в силах остановиться —

и безо всякой надежды на хороший конец всей этой истории. Он слышал, как кто-то вошел, но залитые слезами глаза ни черта не различали в полутьме — электричества опять не было, а аккумуляторная лампочка уже чуть тлела, — но понемногу смог переключиться со смеха на внешнее и спросить:

— Кто?..

— Это я, — сказал голос Шанура, и голос этот был таким, что Петер сразу оборвал смех.

Он знал, что именно чувствует сейчас Шанур, он помнил себя после этого, но что-то еще было в той интонации, которая состоялась всего в двух коротеньких словах, кажется, принципиально не могущих обозначать что-то, кроме своего прямого словарного смысла — что-то еще более страшное, такое, после чего человек не знает, даст ли успокоение даже немедленная смерть, и медлит поэтому, и остается жить в недоумении...

— Говори! — приказал Петер, но Шанур, не слыша его, подошел к своей койке и бросился на нее ничком. Кажется, он и не дышал даже. Тогда Петер взял его камеру, проверил: пленка была отснята. Он вынул ее, положил в коробку — Шанур, не поворачиваясь, сказал:

— Не надо...

Неожиданно он вскочил, но сил у него было, видимо, только на одно движение — он остался сидеть на краешке кровати.

— Не надо, — сказал он опять. — Засвети ее, Петер. Прощу тебя, не надо. Засвети. Засвети, я тебя умоляю. Это нельзя видеть, это нельзя оставлять, нельзя...

— Что там? — спросил Петер.

— Засвети.

— Зачем же ты снимал?

— Не знаю.

— А я знаю. Ты хотел, чтобы я у тебя ее отобрал и спрятал.

— Нет. Нет, конечно. Я правда не знаю зачем... только этого нельзя видеть. Засвети.

— Но ведь это же было? — Петер потряс коробкой — катушка забрякала внутри.

— Да. Было. Ну и что?

— Так чем же тогда ты отличаешься от господина Мархеля? У него свой, написанный сценарий, а у тебя — ненаписанный, так? Что скажешь?

— Не смей так! Я — это не он! Он... — Шанур вдруг резко замолчал и уткнулся лицом в ладони. — Да, правда, — сказал он, не отнимая рук. — Но все равно — вот об этом, что у тебя в руках, знать никто не должен.

— Саперы оказались вовсе не ангелами во плоти? — спросил Петер.

Шанур резко вскинулся.

— Откуда ты... А-а! Ты тоже видел, да? Да? Только не соври, пожалуйста, — если ты сейчас соврешь...

— Ты никогда не подашь мне больше руки?

— Хоть бы и так.

— Ладно. Тогда слушай: я ничего не видел, но кое о чем догадываюсь. Ты ведь не думаешь, что я непроходимый болван, не способный увязать пару-тройку намеков?

— Ты до-га-ды-вал-ся... — протянул Шанур так, будто голосу его приходилось выдираться из пут, из колючей проволоки, из склизи, осенней глинистой склизи. — Я-асно. Теперь ясно. Вот зачем ты меня туда отправил...

— Не только.

— Не только... Ты знал, что именно я увижу, да? А откуда ты знал? Это что, *твой* сценарий? Это твой, да? Почему ты за эту ленту так уцепился?

— Христиан, попробуй подумать, какую чушь ты несешь.

— Так ведь ты её все равно не получишь, понял? Ты понял? — Шанур выхватил пистолет и направил его на Петера. — Засвечивай!

— Дурак, — сказал Петер. — И не просто дурак, а дурак с принципами. И еще с задуренной головой. И еще полагающий себя...

— Засвечивай!!!

— Сам засветишь. Но сначала убьешь меня.

— Засвечивай!!! — ничего человеческого не было уже в голосе Шанура.

Был, наверное, момент, когда Шанур действительно мог выстрелить, но момент этот промелькнул, и оба это поняли: Петер — умом, Шанур — руками; руки его затряслись и опустились, пистолет выпал и остался лежать на коленях Шанура, а сам Шанур обмяк, осел, сгорбился, сдался.

— Чего ты от меня хочешь? — тихо спросил он.

— Хочу, чтобы ты понял одну вещь, — тоже тихо сказал Петер. — Нельзя говорить не всю правду. Раз мы с тобой взялись за такое дело, так делать его должны честно. Мы можем — технически — подрывать, подглядывать истину. Можем. Но нам этого делать нельзя. Пусть господин Мархель этим занимается. Что там, на этой ленте?

Шанур помолчал, потом неохотно сказал:

— Саперы купили у охраны девочек из киногруппы...

— Так я и думал, — сказал Петер — Просто...

— Не просто, — сказал Шанур. — Если бы просто... Они устроили целый обряд. Праздник Гангуса, Слолиша и Ивурчорра.

— Ну, и?..

— Все.

— Ты это и снимал?

— Это и снимал. Разожгли костры...

— А теперь хочешь засветить?

— Но ведь могло же меня там не оказаться, правда?

— Могло. Но ты оказался.

— И очень жаль.

— Жаль. И не только это. Знаешь, Христиан, сколько бы я дал, чтобы не оказаться в лагере «Ферт»? Или в Ловели у рва? Или на допросах в ГПТ? Или на переправе через Юс? Рассказать тебе, как там переплавливались? Нагнали штрафников, поставили сзади пулеметы... сзади пулеметы, впереди пушки — куда, думаешь, они пошли? Лежали — как волна прибойная замерла... высокая такая волна... пулеметчики с ума сходили, а стреляли — приказ... А потом в воду — куда иначе деваться? Кипела вода... я раньше думал, когда говорят: река покраснела от крови — что это метафора. Вот тебе — метафора. А я стоял и снимал. Или когда

Примбау горел — его просто засыпали фосфором, и все горело, и люди горели, там же полным-полно народу было, беженцы, ребятишки — а я снимал... Крепись, старик. Работа такая.

— Работа... То, что ты рассказал, — это все в рамках, понимаешь? Это ужасно, но это в рамках. А у меня — за рамками. Как если бы... помнишь, в прошлую войну была осада Флоттештадта? Там половина гарнизона перемерла от голода и жажды, помнишь? Великий подвиг, образец преданности... Так вот, если бы оттуда дать репортажи о том, как, допустим, генералы поедали своих подчиненных... как бросали жребий, кому идти в котел... Понимаешь? Это ведь все могло быть, но точно-то мы не знаем — и слава богу, что не знаем...

— Я понимаю. Конечно, это было бы страшно. Это погубило бы те красивые сказки, на которых нас с тобой воспитывали. А ведь ни один генерал в той осаде от голода не умер, кстати... Но по крайней мере мы знали бы все точно, и не было бы места для выдумок. Правдой историю не исказить.

— Не исказить. Но ведь есть же стыдные тайны?

— Это не нам с тобой решать.

— А кому? Господину Мархелю? — Шанур сморщился, как от зубной боли.

— Нет, конечно.

— А кому тогда?

— Не знаю. Никому конкретно. Это само собой решится. А мы должны дать материал для такого решения.

— Бесполезно все это, — с тоской сказал Шанур. — Все равно кто-то конкретный будет решать, и будет фантазировать на нашу тему, и создаст нас по своему усмотрению — для подтверждения своих маленьких истин...

Оба вдруг замолчали, потому что почувствовали неожиданно, что земля уходит из-под ног и стремится куда-то далеко и неодолимо, и сам ход времени отдался гулко и протяжно, как безначальный звук лопнувшего в небывшие времена рельса, и будто пронизывающим ледяным ветром потянуло сквозь них, прозрачных, и сквозь мир, и сквозь вековые скалы, такие крошеч-

ные и такие хрупкие, потянуло то ли из прошлого в будущее — и тогда непонятно было, почему же ветер настолько стерилен, и нет в нем запахов пожаров и хлеба; то ли из будущего в прошлое — но почему он холоден, как в бесснежную злую зиму, и тосклив, и ровен, будто бы там, в будущем, не за что зацепиться и не на чем задержаться и остается только лететь, лететь призрачно, зло, ледяно и свободно? Будто бы нечего ждать и не на что надеяться, и можно без суеты и ненужного шума устраивать потихоньку свои дела, чтобы быть готовым в урочный час... Петер опустился рядом с Шануром, и так они сидели долго, а ветер все дул, и дул, и дул...

Открытие памятника инженеру Юнгману было запланировано на двенадцать часов дня, но состоялось на три часа раньше, причем совершенно тайно; об изменении срока знали только господин Мархель, генерал Айзенкопф и Петер. Генерал произнес краткую речь, глядя поверх объектива — там был прикреплен лист бумаги с текстом. Господин Мархель с приклеенными усами и бровями и в форме саперного майора сдернул брезент. Бронзовая фигура инженера Юнгмана имела несколько неопределенный вид: то ли бронза не способна была передать особенности лица покойного, то ли сказалась нехватка мастерства и опыта у доморощенного скульптора, то ли еще что — но только в чертах инженера проглядывала то нехорошая улыбка господина Мархеля, то надменность генерала; и правая рука его не то указывала направление движения — но для этого она была поднята чересчур высоко, не то означала римское приветствие — но слишком уж неуверенное, скованное, без предписанной уставом истовости и самоотречения; саперы говорили потом, что бронзовый инженер хочет проголосовать попутку через мост, да только вот что-то никто не едет...

— Странная закономерность, Гуннар, ты не замечаешь? — говорил после церемонии генерал. — Чем старше по званию становится сапер, тем больше вероятность, что он окажется предателем. Будто короны эти отравляют его душу... Две тысячи рядовых —



предателей нет. Четыре сотни унтер-офицеров — предатель один. Девяносто два младших офицера — предателей шесть. Одиннадцать старших — из них трое наверняка и еще двое под подозрением. Кошмар! Будто повышение звания не только не укрепляет естественной преданности Императору, а наоборот — стимулирует какие-то теневые, я бы даже сказал — негативные моменты сознания индивидуума. Конечно, обретая власть, человек начинает иначе относиться к власти над собой — но не до такой же степени, черт побери!

— Чему ты удивляешься? — спросил господин Мархель. — Враг и не станет целиться вниз, в основание пирамиды. Он будет целиться в самый верх, в нас с тобой, но ведь мы-то ему не по зубам, не так ли? — ну и чуть ниже. Я уже давно думаю на эту тему. Все то, что мы видим сейчас: саботаж, явный и скрытый, случаи неповиновения, снижение темпов — все это очень легко объяснить именно тонким, я бы даже сказал — деликатным вмешательством вражеской агентуры. И цель, которая стоит перед нами, — это найти способ обезвреживать ее еще до того, как она начнет активно себя проявлять.

— Интересная мысль, — сказал генерал. — И как ты это мыслишь?

— Следует исходить из того, что любой агент — это человек с двойной моралью. Так или нет? Та, глубинная, истинная его мораль — это как бы лицо, а вторая, та, что мы видим, — это как бы маска. А чем лицо отличается от маски? Чем, Йо? Не знаешь? Да просто лицо более пластично, а маска статична, и с этим ничего не поделать, даже если очень захотеть. Представь себе: тысяча человек, и все плачут. Тут выходишь ты и командуешь: смейтесь! И сразу становится ясно, кто в маске, а кто — настоящий. На таком вот сломе они все и попадутся.

— Интересная мысль, — повторил генерал. — А как ты это предполагаешь осуществить?

— Уж это-то предоставь мне, — сказал господин Мархель. — И знаешь что? Твой этот майор по особым поручениям — он сильно тебе нужен?

— Да как тебе сказать, — замялся генерал. — Потерплю, если надо.

— Я хочу его на это дело натаскать, по-моему, он парень толковый.

— Толковый-то он толковый... — генерал не договорил. — Ладно, бери. Вельт!

Вошел и щелкнул каблуками майор Вельт.

— Поступаешь в распоряжение господина Мархеля, — сказал генерал. — Будешь ему во всем подчиняться, как мне. Понял?

На какой-то миг майор растерялся: губы его капризно надулись, глаза заморгали, и даже слеза блеснула. Но он, человек военный, взял себя в руки, судорожно выпрямился и четким штабным баритоном выразил свое полное и безоговорочное согласие с любым, даже таким бесчеловечным, решением генерала.

Инструктаж майора состоялся тут же.

— Значит, так, — сказал господин Мархель. — Слушайте и запоминайте. Вы будете работать с донесениями военнослужащих друг на друга. Какова ваша задача? Самым тщательным образом вы проведете статистическую обработку донесений и выявите следующие группы: первая — на кого поступает максимальное количество донесений; вторая — на кого их совсем не поступает; вычислите среднее количество доносов на один объект доносительства вообще и по категориям: рядовые, унтер-офицеры, младшие офицеры и старшие офицеры; вычислив это, установите поименно лиц, на которых падает среднеарифметическое и среднеалгебраическое число доносов — опять же вообще и по категориям. Произведете изъятие этих лиц. Далее: выявите субъектов доносительства, при этом обращая внимание на, так сказать, максималистов — агентура способна проводить подрывную работу и таким иезуитским методом — и на тех, кто вообще не пишет доносов; именно в этих группах наличие агентуры наиболее вероятно. Далее — выявите, кто именно донес на тех, кого вы подвергнете изъятию, и проведите поощрительные мероприятия, например, выдвинув их на руководящие посты. Вся эта работа должна проводиться циклически, и цикл установим... ну, дней пять. На-

деюсь, за пять-то дней будет набираться достаточный информационный массив?

— Гуннар! — восхищенно сказал генерал. — Почему ты не в контрразведке? Ты хоронишь свой талант!

— Эх, Йо, — сказал господин Мархель. — Ничего ты не понял. Мой талант куда больше того, что нужен контрразведчику. Я бы заскучал там через неделю.

— А изъять — это обязательно на расстрел? — спросил майор.

— Всех расстреливать? — задумался господин Мархель. — Хм... Что скажешь, Йо?

— Сколько это будет в абсолютных цифрах? — спросил генерал.

— За цикл — десять-пятнадцать единиц, — сказал майор.

— Расточительно — всех, — генерал посмотрел на господина Мархеля. — По-моему, расточительно. Нет уж, давайте расстреливать только самых отъявленных. Ну, двух-трех, не больше. А остальные пусть работают. Сделаем трудовой лагерь — ну и пусть искупают трудом.

— Так ты что же, хочешь за предательство наказывать только уменьшением пайка и переводом в ночную смену? — спросил господин Мархель. — Смешно, Йо, ей-богу.

— А ты что предлагаешь?

— Может, на время их работы убирать щиты и снимать маскировочные сети? Так сказать, поднявший меч — от меча и...

— А потом опять навешивать? Не-ет, надо что-то другое... погоди! А пусть-ка они роют туннель под каньоном! А? Подумай только...

— Ты гений, Йо! Дай я тебя обниму!

— Подумай-ка, сразу двух зайцев...

— Ведь и не скажешь, что генерал! Гений, умница, эрудит!

— ...и работа тяжелее, и цель достиг...

— Это историческое решение, Йо!

— ...потому что никакой бомбой...

— ..довести до всеобщего сведения как пример бес-  
примерной стойкости в борьбе с объективными...

— ..и пропускная способность никак не меньше..

— Готовь приказ!

— Будет приказ. Надо только штрафников подна-  
копить...

— Не беспокойся, будут тебе штрафники!

Исчезновение Баттена было плохим предзнаменова-  
нием. Для Петера, во всяком случае. Петер знал Бат-  
тена три года и только в последнее время стал по-на-  
стоящему понимать, какой же это пройдоха. В отличие  
от Менандра, скажем, Баттен никак не афишировал  
свои способности и потому казался просто везунчиком,  
простым и славным парнем, события вокруг которого  
сами собой складываются в наиболее благоприятный  
ряд. Он был до чрезвычайности скромн, этот Баттен,  
и цель у него была тоже достаточно скромная, хотя и  
вполне респектабельная по нынешним горячим време-  
нам: выжить. Просто выжить. И вот он-то, чующий  
любую опасность за много-много дней до того, как она  
возникнет на его маленьком горизонте, — вот он-то и  
исчез.

Надо сказать, что исчезновение это встревожило и  
господина Мархеля — правда, другой своей стороной.

— Я предупреждал! — потрясая перед носом Пе-  
тера каким-то свернутым в трубку листком, надо по-  
лагать, доносом — то ли на Баттена, то ли на самого  
Петера, — злобился он. — Я еще во-он когда предуп-  
реждал вас о бдительности! И что же? Пропадает  
человек, без которого мы — как без рук! Агентура  
знает, куда нацеливать свои удары! Где мы теперь  
возьмем техника?

— Я извещу главного редактора, — сказал Пе-  
тер. — Пришлет кого-нибудь.

— Нет, это я извещу главного редактора, — жестко  
сказал господин Мархель. — А то действительно при-  
шлет *кого-нибудь*. Черт вас всех поberi, — тоном ниже  
сказал он. — Ну что бы вы без меня делали?

Лето кончилось внезапно, в одну ночь. И так оно  
держалось долго, сколько могло, до сентября, до по-

следнего патрона, до долгих звездных ночей и неожиданной прозрачности опустевшего воздуха, когда звуки, раз родившись, уносятся куда-то, не задерживаясь, не возвращаясь, но и не погибая, не истираясь по дороге. Эти горные осенние ночи, когда между тобой и звездами абсолютно ничего нет, когда даже сквозь подошвы казенных сапог ощущаешь вращение Земли и гул, производимый ею при этом вращении, и неясные токи, бродящие в ее глубинах, и шаги многих ног в той стороне, где утро, и что-то еще, странное, неподвластное осознанию, но могучее — то, что снимает осторожно человека с шаткого его самодельного пьедестала и помещает к остальным явлениям природы, между реликтовым деревом гинкго и неполным солнечным затмением. Недолго длятся они, такие ночи, но в каждой осени высекают свой след, короткий, но глубокий — алмазную грань... Потом начинается вода и гниль, и раскисшие дороги под ногами, и все тихо покорно умирает — и не в том беда, что умирает, а в том, что тихо и покорно; умирает, пока морозом и снегом не обозначится межвременье, которое перемежит конец умирания с началом нового цикла, и так без конца — или до конца... конца — потому что свой час духов в каждой ночи, своя осень в каждом году, и свое средневековье в каждой эпохе, и каждый раз безвременье прерывает нити и, губя окончательно все, что подвержено смерти, задерживается на миг, день, год, жизнь — но проходит, все-равно проходит когда-нибудь.

Но осень еще только начиналась.

Ни черта не продвигалось дело с мостом — что-то безнадежно разладилось там, и все усилия прилагались вразнобой и потому без толку, команд хватало, команд, приказов и циркуляров было куда больше, чем нужно, и инженер Ивенс, волоча за собой хвост личной охраны, хищным ящером метался по всей стройке — но нет, за день удавалось нарастить мост на два, редко — на три звена; как-то раз сделали пять звеньев, и это было преподнесено как великое достижение. И без того не слишком просторная площадка перед стапелем была до отказа забита звеньями ферм — то не подходящими по номенклатуре, то некондиционными — и трейлерам

приходилось буквально протискиваться, раздвигая их, к выпрузке, они застревали, калечились сами и калечили фермы, и чем дальше, тем сложнее становилось ориентироваться монтажникам. Офицеров арестовывали. Обстановка становилась невыносимой.

В Ивенса дважды стреляли.

Как сыпь при лихорадке — стало появляться громадное количество плакатов и лозунгов патриотического содержания. Это были бумажные или текстильные полотнища стандартных размеров, на которые типографским способом нанесены были рисунки и слова, доносящие до масс неизбывную мудрость Императора. Мудрость эта выражалась обычно в нескольких словах, затрюизированных до потери смысла, поскольку к составлению лозунгов требования предъявлялись чрезвычайно жесткие: недопущение двоякого толкования, подбор слов таким образом, чтобы исключить возможность непристойной рифмовки, возникновения каламбуров и преднамеренного или случайного извращения смысла путем изменения или перестановки знаков препинания или, скажем, ошибок и описок при написании слов. То, что при этих манипуляциях мудрость Императора ужималась до размеров житейской, типа: «Чисти зубы только своей зубной щеткой!» — никого не волновало. Поговаривали, что в подвалах Министерства пропаганды содержатся на полковничьем пайке два десятка завязтых зубоскалов, которые поначалу отправлены были на каменоломни, но потом переведены оттуда специально для обкатки лозунгов и плакатов политического содержания. Это походило на правду: и потому, что выходящие из Министерства лозунги были совершенно неуязвимы для осмеяния, и потому, что только завязтые саботажники могли дать зеленую улицу таким перлам: «Герои! Ваш ратный труд — это наша гордость!», «Чистое тело солдата — первейший долг интенданта!» и, наконец, красочному плакату: солдат в мундире хватает за руку повара, чистящего картошку, и подносит ему под нос огромный кулак; крупными буквами надпись: «Мы себе не враги!!!»; мелкими, пониже: «Снизим количество картофелеотходов на душу населения!» Плакаты выпускались при-

личными тиражами, бумага, которая на них шла, была хоть и толще газетной, но не слишком жесткая, поэтому, хотя за использование плакатов не по прямому назначению солдаты получали взыскания, порой строгие, кампании по наглядной агитации солдатами всегда приветствовались. Часто кампании эти ими провоцировались: достаточно было, допустим, на старой плащ-накидке начертать здравицу Императору, как командование спохватывалось — и через день-два бумаги было в недостатке и даже избытке.

Но на этот раз размах кампании был даже неприличен — сотни и тысячи типографских и самодельных плакатов заклеили все вокруг, их клеили слой на слой, клеили все; то ли это был какой-то болезненный энтузиазм, то ли массовая демонстрация лояльности в условиях повышающейся смутности — непонятно. Армант, прикусив от усердия язык, выводил большими буквами прямо на стене: «Объективность — долг нашей совести!» Петер прочел это, перехватил хитрый взгляд Шанура, но промолчал.

С Шануром после той памятной ночи творились странные вещи. Во-первых, он сделался таким воспаленно-веселым мальчиком, у которого любые слова и действия вызывают внутреннюю щекотку. Во-вторых, он как-то признался Петеру, что совсем перестал спать, но это не причиняет ему никаких неудобств, ночью он размышляет или встает и бродит, благо стены для него теперь не препятствие. Скалы, земля — это да, а все, что построено людьми, пропускает его свободно. Но, что самое смешное, ни на что по-настоящему интересное он в своих блужданиях не наткнулся.

— А знаешь, — сказал он, подумав, — нам ведь с тобой, наверное, можно поумерить осторожность. Теперь с нами трудно что-то сделать. Помнишь, тебя бомбами накрыло? Я ведь потом посмотрел: швеллер тот, за которым ты прятался, весь осколками посечен, что твое решето. А тебя просто воздухом ударило да об землю ободрало...

— Мы и так вовсе страх потеряли, — сказал Петер. — Я как подумаю, что будет, если обнаружат тайник...

— Расстрелять-то нас все равно не смогут! — горячо возразил Шанур. — И из любой тюрьмы...

— Э-э! — махнул рукой Петер. — Да эта наша неуязвимость до тех только пор существует, пока мы не боимся. А чуть испуг — и нет ее. Можешь знать назубок, что ты неуязвим, а придут за тобой комендантского взвода солдатики — сердчишко-то и ёк! Рефлекс, будь он проклят. И где твоя неуязвимость?..

— Это точно? — спросил Шанур.

— Попробуй, — сказал Петер.

Нахмурясь, Шанур подошел к двери, оглянулся на Петера и протянул вперед руку. Рука уперлась в дверь. Шанур надавил, потом со злостью ударил по доскам и вернулся к Петеру, посасывая костяшки.

— Убедился? — спросил Петер. — Чуть-чуть — а хватило. Так что не рассчитывай слишком на это. В бою — да, в бою может спасти. А против этих...

Шанур сел на койку, вцепился руками в край, зажмурился и стал медленно раскачиваться вперед-назад, что-то неразборчиво бормоча и постанывая.

— Прекрати психовать, — сказал Петер. — Перестань.

— Да, — сказал Шанур. — Да, сейчас. Сейчас.

— Прекрати.

— Знаю. Дурак. Поверил. Ох, какой дурак!

— Не ты первый.

— Жаль.

— Если бы было так просто...

— А знаешь, я так поверил...

— Пройдет.

— Что пройдет?

— Легковерие.

— Пройдет, конечно... Ах, черт побери, как было бы здорово, а?

Петер не ответил. Ему вспомнился вдруг господин Мархель, как он говорил: «Вы сценарием вообще не предусмотрены... вы всегда находитесь по *эту* сторону камеры...» — и Петер, положив руку Шануру на плечо, сказал:

— Ничего. Мы сценарием вообще не предусмотрены. Ничего с нами не случится. Мы всегда находимся по *эту* сторону камеры.





Шанур медленно, стараясь, чтобы это получилось необходимо, высвободил плечо из-под руки Петера, встал, подошел зачем-то к двери, потом вернулся.

— Конечно, — странным голосом сказал он. — Что же... С нами ничего не случится. И гори все ясным огнем. Правда?

— Правда! — зло сказал Петер. — Чистая правда. Ясным огнем. Именно ясным. Ты что, всерьез считаешь, что хоть что-то можно сделать? Да оглянись ты! Это же... это... система! Очнись и оглянись! Хоть раз!

— Это я-то не оглядываюсь? — шепотом заорал Шанур. — Да я уже всю шею себе свернул, оглядываюсь! Все я вижу, все, понимаешь ты — все! Всю дрянь и гниль вижу — но ведь нельзя же видеть и сиднем сидеть, видеть и молчать, видеть и не видеть, ну нельзя, не могу, понимаешь ты, не могу, тварь ты после этого, последняя тварь распаскудная, я-то думал, ты просто не понимаешь, а ты все понимаешь — да на хрена сдалась нам наша блядская жизнь, если все — на пропасть? Ну, скажи! Нет, ты скажи мне — на хрена? — Шанур уже тряс за грудки Петера, и тот, ошалев, попытался возразить — но что тут возразишь? — Да они купили нас на корню, они знают уже, что мы дерьмо, что мы за кусок мяса любого задавим, а потом еще себе воз оправданий найдем и гордыми будем ходить — а уж за шкуру свою мы что угодно сотворим, особенно если попросить уметь...

— Заткнись! — Петер наконец пробил застрявший в гортань ком. — Заткнись, дурень! Жить надоело?

Шанур попятился от него, глядя прямо в глаза — сначала с недоумением, потом с презрением, потом спокойно. Спокойно — глаза в глаза.

— Так — надоело, — сказал он. Тоже спокойно.

— Понятно, — сказал Петер. Помолчал, добавил: — Но ведь тебя убьют. Это очень неприятная процедура.

— Не убьют, — сказал Шанур. — Я не испугаюсь. Петер покачал головой.

— Чего же ты хочешь добиться? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Шанур. — Не знаю, чего хочу. Знаю только, чего не хочу.

— Чего же?

— Врать. Врать самому и помогать врать другим.

— Ты идеалист, — сказал Петер.

— Почему идеалист? — усмехнулся Шанур. — Я признаю первичность материи. Информация материальна, не так ли?

Петер думал. Все, что сказал Шанур, новостью для него не было — это были его собственные мысли, давние и недавние; но Шанур, кажется, собирался пойти дальше простого думанья.

— А праздник в честь Гангуса, Слолиша и Ивурчорра? — вспомнил Петер.

— Все, — сказал Шанур. — Все в одну кучу. Ты прав — нельзя бороться со сценарием другим сценарием. Так что... — Он замолчал, не договорив.

— Но что ты конкретно собираешься делать? — спросил Петер.

Шанур молчал. Он молчал долго, и Петер не торопил его с ответом.

— Буду больше снимать, — сказал Шанур наконец. — Буду записывать. Будут записывать другие. Есть несколько фотоаппаратов, надо достать пленку...

— Будет пленка, — сказал Петер.

— ...надо добраться до архивов, до штаба, до лагеря штрафников — короче, сделать полную картину стройки. И сохранить ее, конечно. Такая вот программа.

— Хорошая программа, — сказал Петер. — На пять расстрелов с поражением в правах...

Он смотрел на Шанура и не знал, смеяться сейчас или плакать. Мальчишку нельзя предать, это единственное, что понятно до конца, — предать в том смысле, что нельзя отказать ему в помощи, иначе он наломает дров и погибнет сразу. Да и неохота, честно говоря, отказывать ему в этой помощи... неловко, что ли... А все равно ты идеалист, Шанур, хоть ты и признаешь первичность материи — идеалист потому, что *веришь*, то есть принимаешь нечто за истину без каких-либо оснований. Ты веришь почему-то, что правда является силой сама по себе. Дудки. Правда — это сила только в руках тех, кто способен ею владеть — то есть вертеть то так, то этак. Правда — это грозная, но слишком тяжелая дубина, и одиночкам ее не поднять, и для них

она не оружие. И неизвестно еще, кто именно возьмет в руки изготовленную тобой правду и на чью голову ее обрушит. Такие вот дела, дорогой мой Шанур, такие вот невеселые дела, а только я все равно буду помогать тебе и прикрывать тебя, как делал это до сих пор, — буду, хоть и бесполезно все это, настолько бесполезно, что и представить нельзя — тошно; еще бесполезнее, чем сам этот мост, а только буду, буду, буду — потому, что мне так хочется, вот почему, я могу найти и придумать массу рациональных объяснений этому моему решению, но главное — именно вот это: мне так хочется; я считаю это правильным; я считаю это честным делом; пусть бесполезным и погибельным, но честным; а какая зараза доказать может, что человек не должен заниматься бесполезными делами? Человек, может быть, тем и отличается от обезьяны, что может совершать совершенно бесполезные поступки ради придуманных им же самим понятий: чести, совести, души... да он и придумывал их затем, чтобы объяснять свои бесполезные поступки... Интересно все это — если вдуматься.

Если вдуматься... если иметь время вдумываться, если иметь желание вдумываться, если вообще уметь вдумываться, поскольку на протяжении всех лет существования Империи думанье было занятием, не способствующим ни карьере, ни долголетию... следовательно, если иметь мужество вдуматься... так вот: если вдуматься, то получается, что вся история человечества — это вовсе не история его развития, а история преобразования им природы, и не более того. Тут я почти смыкаюсь с Юнгманом... Возникали и гибли династии, на смену рабству прямому пришло рабство опосредованное, и совершенствовалась всякого рода техника, а вот человек — как был, так и остался несовершенной, противоестественной химерой, таким кентавром, полубогом-полузверем, черт знает откуда возникшей душой в обезьяньем туловище. И все, что происходило, происходит и, видимо, будет происходить — это только потому, что душа, чтобы выжить, должна заботиться о сохранении тела, а тело от забот о душе свободно; что душа вынуждена довольствоваться-

ся малым, чтобы не потерять все, а тело ненасытно и неблагодарно и чрезвычайно изобретательно в смысле удовольствий, комфорта и безопасности; и нет и никогда не будет равновесия между ними. И тысячи лет человек балует свое тело и закармливает душу салом и сахаром, чтобы дремала смиреннько и не лезла в дела общечеловеческие. И все было бы хорошо и спокойно, если бы почему-то люди не были такими разными — если бы некоторые души не были невосприимчивы к сахару и салу, а некоторые, наоборот, чрезвычайно прожорливы, но худы, вечно голодны и злы поэтому; и если бы совесть, подслеповатый судья в вечных спорах души и тела, не разрасталась бы у некоторых, как зоб, уродующий и потому начинающий влиять на поступки... Гипертрофия души, гипертрофия совести — болезни страшные, опасные, почти всегда смертельные. Кажется — заразные...

Но — странно все это, господа. К чему мы придем? Да, прогресс; да, противоречия — это двигатель его; а что такое сам прогресс? Мотаемся по кругу — по спирали? Пусть по спирали — виток, виток, еще виток... еще и еще? А дальше? Дальше-то что? И каждый этот виток устилается телами и душами, мертвыми, покалеченными, слепыми, пробитыми насквозь — а дальше? Зачем? Куда? К всеобщему счастью? Но с точки зрения тел, счастье — это когда тепло, сыто, мягко, нигде не жмет и ничего не нужно делать; а с точки зрения душ — это когда просторно, дико, ново, интересно, свободно... Так — куда?

Куда попроще?

Да, как обычно...

— Опять налет, — сказал Шанур.

В блиндаже надрывный, захлебывающийся лай зениток преображался в глухой рокот перекачивающихся камней, а потом земля стала вздрагивать под ударами бомб и с потолка потекли струйки пыли. Все повторялось вновь, чтобы потом повториться еще и еще, возвращалось на круги своя; и вырваться из круга казалось невозможным...

Через два дня температура резко поднялась, и все окутал туман — такой густой, что не то что работать —

ходить стало трудно. Пользуясь этим туманом, диверсионная группа попыталась пробраться к штабу, но по чистой случайности наткнулась на зенитчиков, ввязалась в перестрелку, попыталась уйти и сослепу сунулась прямо под счетверенную пулеметную установку. Кто-то, может быть, и ушел, никто не поручился бы, что диверсантов было именно семеро, но и обратного доказать было нельзя, поэтому был составлен рапорт о полном уничтожении группы. Разумеется, ни о каких съемках речи не шло: не говоря уже о полной неожиданности — туман, господа, туман, какие тут съемки? Руководствуясь этими соображениями, а также полным отсутствием этого эпизода в сценарии, господин Мархель объявил это событие не имевшим места.

Туман висел плотной серой пеленой, пропитывал насквозь непромокаемые накидки, оседал слизью на скалах, крупными каплями повисал на балках моста. Мост стремительно ржавел. Одежду отжимали и вновь натягивали на себя — только так и можно было ее сушить. Приказа о переходе на зимний сезон и начале топки печей еще не отдавали.

Смешиваясь с соляровой гарью, туман образовывал такую ядовитую смесь, что саперам приходилось работать в противогазах.

Хроникеры, лишённые работы, слонялись по окрестностям. Их не замечали и пропускали везде, кроме штрафного лагеря — там, наоборот, они становились будто помеченными, и приблизиться к проволоке никому не удавалось.

Пусть туман — Петер продолжал таскать с собой камеру. Это было его оружие, и без нее он чувствовал себя, как пехотный офицер без пистолета. Мало ли?..

Хильман встретился ему внезапно — просто вышел из тумана чем-то знакомый офицер, Петер, продолжая думать о своем, сделал полшага в сторону, пропуская, — и вдруг узнал его. Остолбенел — это слабо сказано, внутри все куда-то пропало, и сердце запрыгало, как стальной шарик по бетону, выбивая тяжелую дробь; но наружно это проявилось именно так: Петер застыл столбом. Хильман, чуть подсмеиваясь и щуря

глаз, обошел его кругом, встал навтыжку и истово отдал честь, потом не выдержал, приснул, схватил за плечи и затряс:

— Ты что, чертяка, не узнал меня, да? Ну, память девичья, а еще друг называется! Ну, что молчишь?

Петер попытался сказать, что узнал, мол, только так не бывает, чтобы тобой собственноручно похороненный — и на тебе, встретились! — но из горла вырвалось что-то неопределенно-задушенное, и Хильман понял все.

— Да не оживал я, — сказал он. — Все нормально, не бойся. Ты живой, я мертвый — ну и что? Все в порядке вещей. Не волнуйся. Пойдем посидим где-нибудь, а то я уже бродить устал...

Оцепенение не проходило, и Петер побрел покорно за оживленно тараторящим Хильманом, так ни черта и не понимая. Они сели в какую-то нишу в скале, как специально выдолбленную для того, чтобы два офицера могли сесть рядом и потолковать о жизни, не опасаясь падающего с неба осколка, дождя или ока выпшестоящего начальства.

— Жду переправы, — сказал Хильман. — Оказывается, по нынешним временам через Стикс так просто не перебраться. Пустили два парома, но все равно очередь еще не меньше, чем на год. Вот и бродим по свету, размещаемся, где можем... А я искал тебя, знаешь. Как-то не договорили мы тогда с тобой, и так стало мне обидно — не договорили...

— Постой, — вспомнил Петер. — Ты ко мне в госпиталь приходил?

— Нет, — сказал Хильман. — А ты успел в госпитале побывать?

— Да, — сказал Петер, — ободрало... А мне, когда лежал, казалось, что ты приходил.

— Померещилось, — сказал Хильман. — У тебя курево есть?

Петер поискал по карманам: с утра брал, но... Коробка была на месте, и в ней, смятые и сырые, три сигареты.

— Вот все, — сказал он. — Подожди меня тут, я сбегаяю...

— Не надо, — сказал Хильман. — Потерю тебя, потом искать снова... Хватит этих.

Он закурил, затянулся, зажмурился, прислушиваясь к себе, замер; лицо его на миг застыло в выражении готовности ко всему — и к разочарованию, тогда мимика передаст и само разочарование, и стоическое его преодоление; и, наоборот... наоборот... именно наоборот! Лицо расслабилось, растеклась от уголков губ и глаз блаженная улыбка, испарилось напряжение, и Хильман, выдохнув дым, обмяк и что-то такое изобразил из себя, что Петер сам ощутил прилив ясной радости, как при пробуждении в детстве.

— Как живой, — сказал Хильман и шумно вздохнул — безо всякой, впрочем, грусти. — Вот совсем как живой..

— Ну, рассказывай, — сказал Петер. — Как, что?..

Он сам понимал неуместность и нелепость подобных вопросов, но не мог удержаться от них или придумать что-нибудь получше.

— Да что там рассказывать, — сказал Хильман. — Нечего рассказывать. Скучища страшная. И... вообще... Не понимаю — нам ведь там делить нечего, терять нечего, а все почему-то друг на друга волком смотрят. Отчуждение... да. Ну, не все, конечно, так почти все. Что такое... странно. Не по-людски. Я думал, смерть людей примиряет, а — на тебе... Если хочешь, можем сходить, посмотришь. Тут недалеко. Пойдем?

— А... можно? — оторопело спросил Петер.

— Почему же нельзя? Ты хроникер, тебе все можно. Не боишься? Ну и правильно, это вас, живых, надо бояться...

Хильман повел его, уверенно раздвигая туман, куда-то по направлению к штрафному лагерю, вдоль непонятного бетонного забора, потом мимо свалки, мимо позиций минометчиков — часовой не окликнул их, — потом свернули направо, в узкую лощину, заросшую стелющимся кустарником, потом лощина кончилась, и они вышли на карниз, узкий, в полшага шириной, а дальше и ниже, метрах в ста ниже, лежала обширнейшая котловина, которой тут быть никак не могло, уж настолько-то Петер знал здешнюю топогра-



фию, и карту, и саму местность, но котловина — вот она, как на ладони, и простирается чудовищно далеко, теряясь в дымке — не в тумане, туман как отрезало ножом, — и вся эта котловина, отсюда и далее, заставлена ровными рядами барakov, и между бараками бродили, медленно и бесцельно, солдаты. Справа, в километре или немного дальше, возвышался над всем террикон, черный конус, и вокруг него, маленькие и совсем не страшные, стояли вышки, сторожевые вышки с пулеметами и прожекторами, и было во всем этом что-то странное, мешающее принять эту картину за данность, а требующее размышлений и критической оценки, и Петер стал вглядываться и понял наконец то, что он видел, напоминало фотографию, отпечатанную сразу с двух негативов, потому что вон там сторожевая вышка торчала прямо из крыши барака, а вон там колючая проволока в три кола так и шла, наискосок прорезая ряд барakov, и в коридоре между колами шел, проходя сквозь стены, часовой с собакой на поводке...

— Спускаемся? — предложил Хильман.

Тропинка вниз была крутая и извилистая, камень скользил под ногами, и несколько раз Петер едва удерживался, чтобы не загреметь под откос, но не загремел-таки; потом тропинка перешла в каменную осыпь, и они с Хильманом сбежали вниз, увлекая за собой небольшой камнепад.

Отсюда, снизу, зрелище представало еще более угнетающее: бараки стояли в линию, и нигде эта линия не ломалась; дорожки посыпаны были желтым песком, деревянные бордюрики побелены известью, и этот песок и эта известь нагоняли вдруг такую тоску, что Петер еле удержался от стога; у барakov сидели, опершись о стены, солдаты, или стояли, или слонялись, все в полном обмундировании, но без оружия. Не слышно было ни ругани, ни смеха, ни разговоров. Даже те, кто ходил по дорожкам, не нарушали картины общей тяжелой неподвижности.

— Снимать можно? — почему-то шепотом спросил Петер.

— Снимай, — сказал Хильман. — Отчего же нельзя...

Петер поднял камеру, ставшую вдруг свинцовой, установил расстояние и стал снимать панораму. Тихое жужжание механизма разнеслось, казалось, вокруг и даже отдалось эхом. Кое-кто повернул к нему голову, посмотрел и отвернулся равнодушно. Петер снял метров двадцать и опустил камеру. Ему было почему-то нестерпимо стыдно.

Хильман, кажется, почувствовал это.

— Пойдем, — сказал он. — Я тебя с ребятами познакомлю.

Стараясь не смотреть на лица встречавшихся им, Петер шел за Хильманом по желтой песчаной дорожке, поворачивал, куда вели, и считал шаги, чтобы не думать, не думать, не думать... четыреста пятьдесят шесть, четыреста пятьдесят семь, четыреста пятьдесят восемь... а что я им скажу?... четыреста шестьдесят... перед ними всеми?... четыреста шестьдесят четыре, четыреста шестьдесят пять... но я, я-то лично — чем я виновен?... четыреста семьдесят... тоже мог, тысячу раз мог — повезло... четыреста семьдесят семь...

Впрочем, все оказалось легче. Ребята даже слегка обрадовались появлению живого человека — или изобразили, что обрадовались; тут же образовался кружок, по нему прошли две оставшиеся сигареты, и завязался разговорчик о вещах простых и понятных. Новости они все знали, а вот мнение Петера по кой-каким вопросам их интересовало, тем более что Петер, как им казалось, был вхож если не на самые верха, то достаточно высоко. Петер отвечал, если мог ответить, или честно говорил: не знаю, не понимаю, не могу объяснить, какое тут может быть мнение, когда информации ноль, когда кругом вранье, и неизвестно, кого именно мы обманываем: себя, противника, свое начальство? Кто-нибудь знает хоть, с чего началась эта война? Кто на кого напал и почему? Знает кто-нибудь? Вот то-то и оно. Да, говорили ему, когда были живы — все знали, и кто, и почему, и за что именно помирать должны, а вот померли — и кончилось понимание. Кончилось! Поначалу здесь спорили, что-то пытались уяснить... Ладно, чего там. Черт с ним, когда и с чего началось — кончилось бы все поскорее! Смотри, что тут творится! Еще

год-другой — вообще мужиков не останется! От кого бабы рожать-то будут — от генералов, что ли? Ну, ты и скажешь! Нет, ребята, карточную систему заведут, как на маргарин, значит. А что? Разумно. Нет, братцы, не смешно все это.

...а сеять? А пахать? Баба, что ли, вспашет как следует? Баба — она тебе вспашет. Не может земля без мужика, как ни крути, а на земле только мужицкий пот в дело идет, это уж так от природы заведено...

...так ведь выгребают начисто! Ты пойми — они же там с голоду по-настоящему мрут! На семена — и то не оставляют, все, говорят, на муку — а тут у нас один сходил, посмотрел, мы же везде пройти можем, нас живые не видят, — так курей тем зерном кормят, а кто курятину ест? Вот, а ты говоришь — справедливость...

...скука тут смертная, вот скажи мне: опять под танки хочешь? Хочу, понимаешь ты, хочу! Год еще тут ждать, не меньше, а у парома, говорят, ужас что делается, кому срок подошел, они же совсем уже... ну, понимаешь...

...да, тут и штрафникам позавидуешь, они там хоть что-то видят, чувствуют...

...слушай, подполковник, а верно говорят, что самого Императора давно уж и нету, а просто генералы сговорились и комедию разыгрывают? Само собой, что все равно, а интересно просто...

Одни отходили от кружка, другие присаживались, и Петер вовсе перестал видеть в происходящем нечто странное, и только иногда, когда задавали острые вопросы: а не выгодно ли генералам, чтобы потери такие большие были? А вот ты-то сам, подполковник, хоть раз начальству правду в глаза сказал? А на хрена, прости, тогда такой порядок, что мы за него мрем как мухи, а для пользы дела приходится врать — так что это за дело такое и что за польза? — и говорили страшные вещи. Петер думал: неужто для того, чтобы поумнеть по-настоящему, человек должен быть убит? Неужели страх смерти в нас настолько силен, что может придать нашим мыслям любую направленность — при полной искренности. Неужели...

— Не устал? — спросил его Хильман. — Наших, знаешь, не переслушаешь. Им дай только, кто согласится слушать...

— Не понимаю, — сказал Петер. — А друг с другом?

— Не понимаешь, — горько сказал Хильман. — Какой нам смысл — друг с другом? Мы ведь... так... отработанный пар... израсходованный материал... потери... какой смысл? Какой смысл во всем? А? И я не знаю... Пойдем лучше в штрафной лагерь сходим. Там по-другому немного.

— А пройдем?

— Попробуем...

Только выйдя из барака, Петер понял, что еще угнетало его здесь. На небе не было солнца. Аллюминиевого цвета дымка давала ровное, бестеневое освещение, и поэтому все теряло объем и перспективу.

— А ночь здесь бывает? — спросил Петер.

— Бывает, — сказал Хильман. — Бывает и ночь...

Если поначалу Петеру было просто неловко, стыдно, если он пытался смотреть только под ноги и считать шаги, то сейчас добавилось и пересилило чувство необходимости искупления — и Петер шел, не опуская глаз, и хотя ничего не изменилось: все так же лениво-равнодушно поднимались на него взгляды, и пусть ни в одном не было ничего, даже отдаленно напоминающего неприязнь, Петер шел будто сквозь строй, обжигаемый этими взглядами, потому что только так имел право их воспринимать: как снисходительные похлопывания по обнаженным нервным окончаниям...

В штрафной лагерь они вошли беспрепятственно. Здесь все перемешалось, произошло наслоение разных пространств, которое бросилось Петеру в глаза еще тогда, когда он озираал окрестности сверху. Потом он научился различать, где есть что.

Баракы штрафников были сбиты на скорую руку из горбыля и побольше размером, чем баракы мертвых. Перед входом в каждый барак стоял часовой. Наконец Петер освоился с таким взаимопроникновением предметов и стал видеть как реально существующие лишь сооружения штрафного лагеря, а баракы мертвых ка-

зались лишь прозрачными картинками. И тогда он смог охватить всю картину целиком.

В центре лагеря был плац, и вокруг плаца выстроились по углам буквой «П» четырнадцать бараков. С той стороны, где бараков не было, стояли ворота. Вышки с часовыми располагались по углам плаца и по углам ограды — всего восемь штук. Террикон высился позади бараков с противоположной от ворот стороны. Петер и Хильман стояли, никем не видимые, на краю плаца. Кроме часовых на территории никого не было.

— Они что, все на работе? — не поверил Петер.

— Да ну, что ты, — сказал Хильман. — Половина только. У них режим такой, барачный. Их под небо редко выпускают, только на поверку.

В первом бараке, куда они заглянули, никого не было. Во втором — тоже. Зато третий был полон.

От огромных киловаттных ламп, свисающих с потолка, шел жаркий, режущий глаза свет; загустевший воздух раскалялся около ламп и кислым маревом уплывал под потолок, растекаясь там между бревнами поперечин по нестроганым доскам перекрытия. Запах стоял такой, что Петер сначала не мог дышать совсем, да и потом долго вдыхал только ртом — а дышать нужно было глубоко, легкие требовали воздуха и жадно выцеживали из него последние проценты кислорода.

Тишины при такой плотности воздуха быть просто не могло, но прошло несколько минут, прежде чем Петер стал различать отдельные звуки — различать, не понимая еще, что эти звуки производит. Это мягкое шерстяное шуршание, поскрипывание, неясный гул; в них вплетались вздохи, кряхтение, иногда — стоны. Но постепенно, будто в нем медленно крутили ручку настройки, Петер услышал тихое заунывное пение, кто-то тянул старинную солдатскую песню, и припев подхватывало — тихонько, почти шепотом — еще несколько голосов, и с этого припева Петер стал слышать голоса...

Воевать идем, мать Таисия... Помирать идем, мать Таисия... Не бойсь за нас, мать Таисия... Помолись за нас, мать Таисия...

...а я думаю — все. Нет больше сил терпеть. До утра дотяну и пойду на проволоку. И тут приказ — отменить экзекуции и зачислять провинности в дополнительный срок. Так вот мне счетчик и открылся, по сей день мотаает, уже шесть лет дополнительных намотал...

...когда это было-то? Да, года за два до войны. Я только женился тогда, и поехали мы с женой — деньжонок подкопили да подзаянли — угадай, куда? На море! А вот так. Слушай, отдохнули мы там — не расскажешь. Как миллионеры какие-нибудь. Вернулись, еще пожили сколько-то — и началась вольнка. То меня вызовут, то ее. И ничего конкретно не говорят, а вот так намекают, что, мол, если заметите за другим что странное — так сразу и доносите. Ага, разбежались... И вот помогло же мне тогда с тещей поцапаться, а теща у меня — что твой фельдфебель...

...думал, вернусь с войны, и заживем. Заживем... Это сейчас мне тридцать два, а срок изойдет, и будет мне пятьдесят семь... только не будет, наверное...

...а самого смешного никогда не забуду: строевые занятия проводил у нас капитан, по фамилии я его не запомнил, а прозвище у него было Гиппoxватам, пузатый такой, китель на него по спецзаказу шили, а ремень на брюхе не сходил, а потому ходил он без ремня, полковник, начальник школы, ему разрешал...

...двое их у меня, как вспомню, как они меня провозжали, так и подступит... Папа, говорят, ты только не насовсем, хорошо? Ты повоюй маленечко и возвращайся...

...двенадцать лет мне было, а помню, как вчера: приехала черная машина, вышел из нее этакий хльпц, полицейские тут же по домам побежали, народ собирать, ну собрали, стоят все... Вот он выступает, по особой, мол, необходимости — в сорок восемь часов... Что там можно собрать? Дома, скот — все осталось, не разрешили скот с собой брать. Погрузили в эшелон и повезли. Месяц везли куда-то. Повезут-повезут, потом остановят, а выгружаться не дадут. Так в эшелоне и жили. Переругались все, перессорились, под конец, кажется, убили бы кого — так и не заметили бы. Зима наступила. И вот останавливают раз в чистом поле,

двери открывают — выгружайтесь, живите... А потом я на карте смотрел: где наш полуостров был — ничего нет. Море. А ты говоришь — карта...

Голоса были глухие, бессильные, не голоса даже, а — будто вода сплывает с края неподвижного болотца, в рождении этих голосов не участвуют тела, просто сам воздух начинает дрожать, соприкасаясь с подкатившим к горлу комом мыслей, точно так же, как дрожит он, соприкасаясь с раскаленной поверхностью электрических лампочек, но это иная дрожь... это пройдет со временем, Петер знал это точно, он был в подвалах и лагерях ГТП, там люди переставали быть людьми и становились сложными, но однозначно и легко управляемыми механизмами, и это было необратимо, это было необратимо — достаточно было только заглянуть раз в те глаза, в тот страх и готовность на все, вероятно, несломленных просто убивали или забивали, ломая, но этих, сломленных, было много, невыносимо много, и Петер, вернувшись, долго не мог избавиться от наваждения, что во всех без исключения глазах, в глазах друзей, подчиненных, начальства, женщин, награжденных, генералов и маршалов в Ставке, чумных после боя танкистов, сестер полевого госпиталя — в глазах кого угодно проступал этот страх и эта готовность на все... и детей они будут воспитывать в страхе, думал Петер, вернувшись, и ему казалось, что те, убитые, чьи тела ровным рядом лежали возле рва, были последними несломленными — это был период великого его отчаяния, и только бракованный капсюль пистолетного патрона оставил его тогда доживать до конца — в страхе и готовности на все ради... ради... Ну, что же ты? Говори! Говори!!!

Не знаю...

Невыносимо яркий свет затапливал барак, и сто или больше человек, лежащих на двухэтажных нарах, мучились от жары и духоты, от вшей и клопов, от неизбывного зуда, от разъедавшего кожу пота, от вони гниющей параши и загнивающих тел, и все это было заблаговременно предусмотрено для них: и вонь, и жара, и гниение заживо, и мучительное отупение от тяжелейшей работы, которая тем тяжелее, что лишена

всякого смысла — они лежали и намерены были лежать до тех пор, пока блокфризер не поднимет их и не погонит на плац для парада и рапортфюрер, стоя на трибуне, не будет орать: «Ногу! Ногу!» Двенадцать часов работы, четыре часа строевых занятий, два часа политзанятий, час на прием пищи, пять часов сна; раз в месяц выходной — это значит, что нет политзанятий, а вместо четырех часов строевых — только два часа...

Петер, чувствуя, как деревенеют скулы и веки — первый шаг к превращению лица в защитную маску, — взял камеру, громко завел пружину и, установив диафрагму, стал снимать, ведя объективом слева направо; в тот постоянный звуковой фон, который стоял в бараке, жужжание камеры врезалось, как дисковая пила в бревно, но никто не пошевелился и не повернулся, только смолкла песня, смолкли голоса, смолк шорох мелких движений, все замерли, замерзли, застыли в привычном уже ожидании окрика, удара, выстрела — в гордых саперах инженера Юнгмана успели убить гордость... убить или заставить, приучить прятаться, притворяться отсутствующей — что, в общем-то, одно и то же. Петер снимал, пока хватило пленки. Потом кто-то, не поворачиваясь, сказал: «Уйди, майор. Уйди, ради бога. Тебе-то все равно, а мы тут остаемся...»

Мы остаемся тут, а ты уйдешь. Мы остаемся за проволокой, а ты уйдешь. Мы остаемся тихими, без голоса и воли, без права жить и думать, а ты уйдешь. Ты уйдешь и будешь думать, что ты на свободе — потому что проволока будет не вокруг тебя, а вокруг границы, и там же вышки с часовыми. И, не видя проволоку вблизи, ты будешь считать себя свободным и даже сможешь воспевать эту свободу и ходить по улицам после наступления темноты, потому что у тебя есть пропуск, и уж конечно ты не будешь делать ничего такого, чтобы у тебя пропуск отняли, а самого поместили туда, где проволока не за горизонтом, а вблизи. А здесь, майор, есть место, где проволока еще ближе, так близко, что можно только стоять, держа руки по швам, потому что вокруг тебя проволока. Так мы и рождаемся — руки по швам, и горды тем, что намере-



ны и тверды в этом своем намерении: умереть, держа руки по швам; а если кто-то забывает, что это высшая добродетель, которую должен блюсти каждый благонадежный гражданин Империи, то ему можно мягко напомнить об этом, постепенно перенося проволоку из-за горизонта к самым рукам — так, чтобы их можно было держать только по швам. Так — руки по швам! — мы идем по жизни, распевая маршевые песни, с которыми легче идти и которые забивают в голове все прочие мысли, идем, стараясь держать равнение в шеренгах и видеть грудь четвертого, и любое отклонение от равнения воспринимаем как нарушение и едва ли не крушение строя — во всяком случае, покушение на оное; воспринимаем сами, никто не велит нам это так воспринимать, просто это впитано с молоком матери — видеть грудь четвертого и держать руки по швам.

...а какой, оказывается, лакомый пряничек — свобода! Нельзя давать его слишком помногу, потому что у населения начинает кружиться голова и разбегаются глазки, а с закруженной головой они мало ли что могут подумать: может быть, и не должно быть границы у этой самой свободы? А с другой стороны, нельзя ее отнимать совсем, потому что вкус ее должен помнить каждый, и время от времени невредно освежать эту память. И тогда, дав совсем небольшой кусочек свободы в повседневное пользование, как-то: перенеся колючую проволоку к границам и разрешив перемену места работы, а также безлимитное посещение кинотеатров и бань — и угрожая отнятием этого кусочка, понемногу, сами понимаете: за маленькую провинность маленький кусочек, — так вот, при умелом регулировании размеров этого кусочка можно заставить население творить абсолютно все; умелого манипулятора будут превозносить до небес, производя в полубоги, а неумелого будут молчаливо осмеивать, не осмеливаясь, впрочем, признаться в этом даже себе.

Итак, эластичный поводок и кусочек сахара — и гордый хомо сапиенс превращается в гордого собой хомо сервуса, человека служебного, — правда, не каждый, но тут-то и вступает в игру некий репрессивный орган. Сорную траву с поля вон! — и на поле остается

отборная пшеница, колос к колосу, голос к голосу, и так из года в год, а потом на пшеницу нападает вдруг пятнистая парша, и открывается тогда, что сорные васильки от этой парши пшеницу раньше и спасали... И тут либо приходится признавать агротехнические ошибки и делать шаг назад, или уж ломить вперед, до логического конца. Что мы и делаем.

Но любая система дрессировки и выбраковки, как бы точна она ни была, не в состоянии охватить весь массив личностных различий, и кто-то ускользнет от нее, а кто-то окажется невосприимчив, а кто-то станет ее убежденным врагом — не потому, что он родился врагом, а сама система сделала из него себе врага; системе, чтобы существовать, нужен враг, ибо без врага не нужна система. Так уж получается, что вакантные места врагов заполняются моментально, такова уж наша природа, и наказание любого виновного в непокорстве системе — как бы ни была сформулирована его вина — служит не к исправлению заблудшего и не к наставлению его на праведный путь, а лишь к сепарации тех, кто поддается принятым методам дрессировки, от тех, кто им не поддается; последние изолируются или уничтожаются, по обстановке. В умелых руках эта система почти безотказна, но часто дрессировщики, увлеченные ее эффективностью, забывают о руках и начинают считать, что безотказность присуща самой системе...

— Очнись. — Хильман толкнул Петера локтем в бок.

— Да, — сказал Петер. — Да, конечно.

— Все увидел? — спросил Хильман, и голос его был странный, совсем не хильмановский голос — скорее голос того Хильмана, что навещал Петера в его бреду, голос, которым тот, призрачный, Хильман требовал доказательств дружбы...

— Пойдем, — сказал Петер.

Они повернулись, и вдруг в спину им ударил крик: «Майор! Генералу скажи — я ни в чем не виноват! Юзеф Поплавски, сапер — ни в чем не виноват! Генералу! Скажи генералу!» «Молчи, сука», — негромко, но веско, разом перебив крик, сказали Юзефу Поплавски,

саперу. — «Молчи, гнида. Из-за тебя весь барак без баланды оставят». — «Эка невидаль — не виноват», — сказал еще кто-то. И кто-то прошептал: «А правда, скажи генералу, пусть разберется...» И тут от двери тонким, прерывающимся голосом кто-то пискнул: «Атанда! Блокфризер идет!», и Хильман, ухватив Петера за руку, рванул его из барака наружу, и, сразу окунувшись с головой в чистый холодный воздух, Петер понял вдруг, что дышать им не может, он хватал этот воздух ртом, насильно гнал в легкие, но воздух, дистиллированный и разреженный, никак не мог наполнить грудь, и Петер понял, что сейчас задохнется, и страх, такой смертельной силы страх, какой он испытывал едва ли когда еще, обрушился и подмял под себя все, это длилось мгновение, но за это мгновение, показалось Петеру, он успел раствориться и родиться заново, и когда он вновь ощутил себя таким, какой он есть, то есть стоящим на земле, он понял, что наконец вдохнул, вдохнул полную грудь этого проклятого воздуха и сможет отныне дышать — отныне и далее, до самого конца...

Расстались с Хильманом легко, будто до завтра, но Петер знал, что это насовсем, потому что такое может быть только однажды. Хильман звал его к берегу Стикса, но Петер не пошел — не захотел. По разным причинам. Просто не захотел, и все. Может человек чего-то не хотеть, не вдаваясь в объяснения? Может, согласился Хильман и не настаивал.

Он сказал еще, что Петер подсказал ему замечательную мысль: обойти всех тех, кого он зовет своими друзьями, и посмотреть, как они там. Петер подумал, что долго Хильман не продержится, но иллюзии потеряет; однако отговаривать не стал — бесполезно отговаривать.

Они пожали друг другу руки, Хильман пожелал Петеру дотянуть до конца, а Петер не нашелся что пожелать в ответ, и Хильман усмехнулся понимающе, ткнул его кулаком в плечо, повернулся и пошел обратно — по направлению к лагерю. Он отошел на несколько шагов и исчез. Не то растворился в тумане, не то

просто сделался невидим. И Петер, еле переставляя ноги, поплелся к своим.

Он тащился, сгибаясь под тяжестью сегодняшнего дня, и больше всего ему хотелось сейчас упасть и никогда уже больше не подниматься, но встречи, отпущенные ему судьбой на этот путь, еще не все состоялись, и вскоре сверху его окликнул очень знакомый голос, и Петер, наверное, просто ждал подспудно, что этот голос когда-нибудь окликнет его, потому что не удивился, не обрадовался и не испытал вообще никаких эмоций, а просто сказал:

— Я к тебе туда не полезу. Спускайся, и поговорим, если хочешь.

Сверху упала веревка, и по веревке ловко, как большая грязно-зеленая обезьяна, спустился Баттен.

— Привет, — сказал Баттен добродушно, но взгляд его был настороженный: а как воспримет бывшее начальство появление блудного техника?

— Решил отлежаться? — хмуро спросил Петер. — Умнее всех хочешь быть?

— Всех-то не получится, — сказал Баттен. — Как, например, умнее генерала можно оказаться? Но, в меру сил и способностей...

— Тебе чего нужно? — спросил Петер. — Ты говори, а то я не могу — устал, как не знаю кто.

— Холодает, — сказал Баттен.

— Ладно, — сказал Петер, — придумаю что-нибудь.

— Придумай пару бочек солярки, — сказал Баттен. — Жратвы мне на полгода хватит, а вот если морозы...

— Заскучаешь за полгода-то, — сказал Петер.

— Нет, не заскучаю. — Баттен потупился. — Ко мне друзья заглядывают, то, се... За полгода тут все кончится, это уж точно. Еще чуть-чуть, и завалится этот мост к энной матери, как его медленно ни строй. Ивенс этот такой строитель, что не дай бог его в скорняки: из снега тулуп сошьет и за соболий продаст — ловкач! Смотрю я на него из своего далека — и прямо сердце ноет: ну почему я так не умею?

— Думаешь, ловкач? — раздумчиво сказал Петер.

— Ловкач, — уверенно сказал Баттен. — Уж я-то чую.

— Зря ты нас бросил, — сказал Петер. — Период пошел сложный, воевать нам приходится на два фронта, а у тебя рука легкая.

— Ты, старик, никогда хорошим нюхом не обладал, — сказал Баттен. — А я всегда чую, когда начинается порчей шкурки подванивать.

— Станут они тебе шкурку портить, — сказал Петер. — На кой ты им — мараться?

— Ты как вчера родился, — сказал Баттен. — Я вообще на тебя изумляюсь, как такие субъекты до половой зрелости доживают? И зачем, главное? Был бы себе ребеночком, умненьким таким, — на радость папе с мамой. А то вырос, майором заделался... пардон, прими мои поздравления, я ведь не успел тебя тогда поздравить? Или успел? Впрочем, не помешает и лишний раз... так вот — вырос, заделался подполковником, пост такой значительный: Заготовитель Правды, Постановщик Двора Его Императорского Величества! Эх, Петер, Петер...

— Что «эх»? Почему мне все говорят «эх»?

— Да ведь ты же ни черта не видишь вокруг себя. Ты ни черта не понимаешь, не чувствуешь и не чувствуешь. Ни черта не слышишь. У тебя всегда такая гордая рожа, будто тебе под нос кусочек говна подвесили. Ты к людям-то присматривался когда-нибудь? Не к тому, что они делают или как вы там говорите — созидают, а к ним самим, к лиц выражениям, к... а, что тебе толковать! Ты скажи, за последнюю неделю каких-нибудь перемен в том, что ты ешь, не было?

— Нет вроде, — пожал плечами Петер. — А что?

— А то, что пока я с вами был, ты с генеральской кухни жратву получал, а теперь, я думаю, — с общей. Ну-ка, напрягись, припомни.

— М... кажется... Кажется, да. Точно. Последнюю неделю все каша да каша...

— Вот. Очень наглядно. А туда же — борец за правду. Ты ведь не знаешь правды и знать ее не можешь, потому что на мелочи тебе плевать, тебе общие планы подавай, ты их и лепишь, эти общие

планы... Я понимаю — характер у тебя такой, и не приучен ты мелочам внимание уделять, ты ими брезговать приучен, приучен брезговать мелочами и сегоднешним днем — ты думаешь, что это недостойно пристального рассмотрения, что главное — это обязательно что-то большое и обязательно устремленное в завтрашний день...

— Ты меня совсем каким-то осломставляешь, — сказал Петер.

— Ты и есть осел, — сказал Баттен. — Если хочешь знать, на таких, как ты, все и держится.

— Это ты загнул, — сказал Петер.

— Ничуть, — сказал Баттен.

Они помолчали, и Петеру представилась вдруг во всей красе нелепость каких-либо возражений на эту голую истину — да, господа, истину, таким уж я уродился, таким выкормлен и выбит, чтобы не обращать внимания на детали быта и вообще все суетное и преходящее, а видеть явление целиком и проникать в суть, и обобщать с точки зрения прогрессивной философии пангиперборейства — а ты ее знаешь, ту философию? Вот то-то и оно...

И вообще, все это действительно неважно, а важно то, что жив Баттен, что сработало его чутье и что, доверяя чутью Баттена, порох надо держать сухим.

— Пойду я, — сказал Петер. — Значит, солярки...

— Пожалуйста, — сказал просительно Баттен, и Петер вспомнил, что Баттен мерзляк и всегда кутается во что-нибудь теплое.

Интересно, почему они мне все доверяют: и чокнутый Шанур, и дезертир Баттен, с усталым недоумением думал Петер. Более того: почему я допускаю, чтобы они мне доверяли и втягивали меня в самые разные подрасстрельные истории? Как у меня там с инстинктом самосохранения? Петер прислушался к себе. С инстинктом было хреново: весь замордованный, он свернулся калачиком где-то на дне и тихонько поскуливал. Бедняга, пожалел его Петер, и инстинкт слабо огрызнулся: себя пожалей.

А в блиндаже господин Мархель устраивал разнос младшим операторам. Он сидел за столом, на котором

горой громоздились катушки с пленкой и прочие атрибуты киношной деятельности, и выговаривал за развал работы, а операторы стояли навтыжку: Армант внимал ему со скукой, Шанур — с тишайшим бешенством в глазах.

— А вот и главный виновник, — сказал, поворачиваясь всем корпусом, как самоходное тяжелое штурмовое орудие «Элефант», господин Мархель; только сейчас Петер усек, что он в дрезину пьян. — Итак, господин под-пол-ковник, объясните-ка мне, соблаговолите, как вы понимаете политику нашего Императора в области... Смирна! Стоять, как подобает, когда речь идет об Его Величестве! ...как вы понимаете своей брюшкой, которая у вас растет на месте наблюдательно-мыслительного органа, в просторечии...

Петер повесил камеру на гвоздь, подошел к господину Мархелю вплотную и четко, сдерживая себя из последних сил, произнес:

— Господин советник, потрудитесь покинуть наше общество. Вы находитесь в состоянии, недопустимом для продолжения разговора.

— Т-ты!.. — клокотнул господин Мархель и стал подниматься из-за стола, цапая себя за задницу, где должна была находиться кобура, и тогда Петер ему врезал. Ох, и много же он вложил в этот удар! Все, что лежало на столе, так и брызнуло в стороны, и ноги господина Мархеля, обутые в мягкие шевровые сапоги, взметнулись над столом буквой «V» — символом победы и возмездия. Потом он тяжело грохнулся на пол по ту сторону стола и затих.

Немая сцена: Петер придерживает левой рукой правую, потому что правая занемела и ниже локтя ее будто бы нет совсем, поэтому он непроизвольно ее там ощупывает, чтобы убедиться, что она все-таки есть; Армант и Шанур растеряны до предела, такого оборота событий они не ожидали и теперь не могут вспомнить свои действия и реплики в этом варианте. Пять секунд, десять секунд... Кончилась немая сцена.

Армант: Вы что, вы что?.. Совсем уже? (чуть не плачет: огибает стол, наклоняется над господином Мархелем).

Шанур: Бог ты мой! Какой апперкот! Какой классический апперкот!

Армант: Господин советник? Господин советник? Не дышит! Что же будет? Что вы наделали? Что вы наделали? Нас же всех расстреляют!

Шанур: Перестань скулить! Петер... (не может словами выразить свои чувства, поэтому делает жесты, будто рвет на себе волосы и подбрасывает их вверх; в тех местах, откуда Шанур родом, это означает проявление наивысшего ликования души).

Петер: Да ну вас. Сами не могли послать его подальше... А как он ногами!

Шанур: А как он ногами! Я никогда не забуду — как он ногами! (начинает хохотать; он хохочет громко и совершенно неэстетично, широко раскрывая рот и задирая голову, при этом звуки возникают такие, будто в горле у него работает небольшая камнедробилка).

Петер: Да ну вас... Ну вас всех... (скисает от смеха, отходит, держась за живот, и валится на кровать; дальше хохочет лежа).

Армант: Господин советник? Вы живы? Ну откройте же глаза. Не открывает. Что же будет? Вы что — с ума посходили? Не понимаете ничего? (внезапно тоже начинает смеяться; сквозь его страх прорывается странный рваный смех, иногда усилием воли Арманту удастся сдержать смех и сделать скорбное лицо, но это на секунду, не более: губы начинают кривиться, и он вновь захлебывается смехом, только в глазах мелькает паника, как у настоящего утопающего).

Петер: Оставь его, Ив. Проснется утром и ничего помнить не будет.

Армант (с надеждой): Вы думаете?

Петер: Ты что, сам никогда не надирался?

Армант: Хоть бы обошлось...

Шанур: Да ладно тебе. Запричитал...

Господина Мархеля общими усилиями подняли с пола и уложили на кровать Арманта. Обморок его скоро перешел в сон, он задышал глубоко и ровно, потом захрапел. Под утро он привел постель Арманта в негодность, но не проснулся.



Рапорт, подготовленный Петером, в кратком изложении трактовал события так: господин советник в нетрезвом виде угрожал оружием подполковнику Милле, был подполковником обезоружен и обездвижен. Просьба не придавать инцидент огласке. Однако подавать рапорт не пришлось, так как господин Мархель, проснувшись поздно и с тяжелой головой, несколько сконфузился, потрогал припухшую челюсть, извинился перед младшими операторами за причиненное беспокойство и, кое-как приведя себя в порядок, удалился. Через час он вызвал Петера и еще раз принес свои извинения; как Петер понял, о событиях вчерашнего вечера он имеет весьма смутные и путанные представления. Потом господин Мархель сказал:

— Мне кажется, мы несколько расслабились и позволили себе... позволили расслабиться... да. Туман, снижение темпов работ, некоторая, я бы сказал, некинематографичность происходящих событий; но тем более надо собраться с мыслями, проявить определенную фантазию, мастерство, талант, наконец. Я прошу вас сегодня вечером в штаб генерала на совещание. Подумайте, не внести ли какие-нибудь изменения в сценарий? Да, и вот еще что: я вызвал усиление, и завтра придут еще несколько человек из вашей редакции, а во-вторых, есть информация, не слишком, правда, достоверная, что наш техник не был похищен агентурой, а просто дезертировал; прошу вас, попытайтесь проверить и, если возможно, опровергнуть эту информацию. Вам это сделать проще, чем мне.

— Слушаюсь, — сказал Петер.

— Ах, подполковник, оставьте этот официальный тон! Ну какой вы, к черту, военный? А я? Зачем нам этот барьер субординации? Давайте на «ты» и по именам? Хотя бы без посторонних?

Петер понимал, что медлить при ответе нельзя, что самое неудачное было бы помедлить и сказать «да», поэтому он без внешних проявлений сомнений и брезгливости протянул руку и сказал:

— Петер.

Господин Мархель руку принял, пожал — кисть у него была вялая и горячая — и сказал:

— Гуннар!

В голосе его была какая-то неподобающая случаю значительность.

Только позже Петер понял суть этого перехода на «ты» и далее — к разнузданному амикиопонству. По вьезшейся привычке господин Мархель намерен был поменять местами причину и следствие, чтобы после некоторой временной экспозиции казалось: вот были старые кореша, Гуннар и Петер, и Гуннар схлопотал в рыло от Петера, и ничего особенного в этом нет, то ли еще бывает между старыми корешами, это вам не от подчиненного плоху получить, да еще при свидетелях...

Туман не поредел, и внизу, у стапеля, стало просто невозможно находиться: смешиваясь с соляровым чадом, туман превращался в нечто непереносимое, едкое и для дыхания непригодное, а оседая на камне, образовывал скользкую, как сало, пленку, по которой катились даже рифленные подметки итальянских хваленых ботинок, и дважды Петер припечатывался к земле-матушке весьма чувствительно. Работа почти стояла. Петер искал и нашел Козака, и Козак рассказал ему, что за последние три дня удалось поставить лишь одну секцию, и пока ничего не предвидится, потому что все порастеряли, новые начальники-выдвиженцы ни хрена не умеют, крепежных узлов опять некомплект, а площадка загромождена неочередными секциями так, что пешему не пройти. «Бардак», — резюмировал он.

Инженер Ивенс пытался организовать рассортировку на монтажной площадке, но ничего лучшего, чем просто побросать секции в каньон, он не придумал. Несколько секций сбросили, а потом вниз сорвался трактор, и тракторист выпрыгнуть не успел. Ивенса опять чуть не пристрелили.

Дважды на глазах у всех, и у Петера в том числе, солдаты комендантского взвода подходили к офицерам-саперам и уводили их. Затем Петер подслушал интересный разговор:

— Пять против одного на Крюгера.

— Принято.

— Три против одного на Нооля.

- Принято.
- Семь против трех на Ивенса.
- Принято.
- Два против одного на сержанта Дегенхарта.
- Принято.
- Двадцать пять против одного на оператора Шанура.
- Принято.

Петер заглянул за угол трансформаторной будки. Саперы окружили человека в плащ-накидке, в руках у него были билетики, которые он раздавал, помечая что-то в них и в блокноте; деньги, получаемые от саперов, он складывал в полевую офицерскую сумку. Полагаясь на свою невидимость, Петер подошел поближе и взялся за камеру. В грохоте и лязге, производимом механизмами, в гудении, исходящем от трансформатора, услышать звук работающей камеры было невозможно, однако человек с билетиками поднял голову и подозрительно огляделся, но Петера не увидел. Это был адъютант генерала Айзенкопфа майор Вельт.

Петер, Шанур и Козак курили в той самой пещерке, где когда-то жгли костерок и пили хороший чай в теплой компании. Козак рассказывал самые распаскуднейшие новости. Не таясь, комендатурщики подходили к саперам и требовали от них доносительства. Если кто-то отказывался, его уводили; если кто-то соглашался, но не выполнял — его тоже уводили. Был выпущен и распространен специальный бланк «Для донесения», в котором все излагалось типографским способом и оставалось лишь подставить имя и фамилию. С прошлой недели якобы неофициально работает тотализатор, и что из этого выйдет, еще неясно. Все смотрят друг на друга с опаской. Если так пойдет и дальше...

Петер рассказал немного о лагере. Шанур смотрел на него с открытым ртом, а Козак выслушал почти равнодушно и проворчал: «Ясное дело...» Они докурили и разошлись.

Совещание у генерала открыл сам генерал.

— Думаю, можно подвести первые итоги, — сказал он. — Хотя ускорить темп работ не удалось, но в основном успехи большие. Выявлено и изолировано либо

уничтожено тысяча пятьсот два агента врага. Прорыто сорок пять метров туннеля под каньоном. Проведена замечательная кампания по наглядной агитации. Как я понимаю, взятое нами направление совершенно верное. Гуннар, когда ты намерен закончить фильм?

— Видишь ли, — сказал господин Мархель, — речь еще не идет о завершении фильма. Речь идет о продолжении съемок и возможном перемонтаже некоторых сцен.

— Пора уже думать о завершении, — возразил генерал.

— О завершении я думаю с самого начала, — сказал господин Мархель. — И я считаю, что приступать прямо сейчас к завершению еще рано.

— Почему? — удивился генерал.

— Потому что мост еще не построен.

— Ну и что?

— А то, что дезинформировать Императора нам никто не позволит.

— Ну а если его построят только к лету?

— Значит, придется объяснять, почему так получилось.

— Ну и почему же?

— Да боже ж ты мой! Ты что, слепой, Йо? Каждый третий строитель оказался предателем! Кто же в таких условиях может выдержать сроки?

— Да-да-да... — Генерал побарабанил пальцами по столу. — Видишь ли, Гуннар, я уже послал Его Величеству прошение о продлении сроков строительства...

— Ясно, — сказал господин Мархель. — А как было написано: просто «Отказать» или с подробностями?

— С подробностями, — сказал генерал.

— Значит, сам писал, — вздохнул господин Мархель. — Ну, что же делать, придется...

— С такими, знаешь, подробностями...

— Не переживай.

— Да я ничего.

— Вот я и говорю. Не такое мы с тобой переживали. Не такое осиливали.

— Правду говоришь. Только как все-таки быть? Я ведь в строительстве этом ни уха ни рыла, сам знаешь.

Если бы мог, так вмешался бы, взял бы на себя руководство...

— Положись на меня, — сказал господин Мархель.

— А знаешь, что еще в ответе Императора было? Что мы не уделяем внимания возвеличиванию императорской фамилии, отсюда все наши беды. Поставили памятник какому-то там инженеру, а до сих пор нет памятника Императору... пардон, не памятника, а скульптуры. Кто-то настучал, вот он и сердится.

— Да, это мы упустили, — согласился господин Мархель. — Не с того конца взялись. Но это еще не поздно исправить. Вмонтируем в ленту, и вся недолга. Будто бы летом еще поставили.

— Тогда надо успеть хотя бы до снега.

— Надо успеть. Это уж все в твоих руках.

Затем выслушали майора Вельта. Майор очень подробно разъяснил механизм выявления агентов с помощью тотализатора. Кроме того, сообщил он, тотализатор будет давать небольшой, но верный доход казне. Кроме того, личный состав будет получать моральное удовлетворение от реализации своих прогнозов. Деятельность майора Вельта была одобрена.

Ох, и изменился майор! Петер искоса разглядывал его ставшее необычайно значительным лицо, гордо развернутые плечи и выпяченную грудь, будто майор навсегда задержался на глубоком вдохе. Смотрелся майор на полковника минимум — а то и на генерал-майора. Далеко пойдет, подумал Петер. Потом он вспомнил лагерь. Далеко пойдет...

— А со скульптурой мы выкрутимся очень просто, — сказал Петер, когда майор сел. — В реквизите, который привезли с собой диверсанты — ну те, которые выдавали себя за киногруппу, — там у них есть скульптура Императора. Она, правда, из папье-маше, но раскрашена под мрамор, так что вряд ли кто-нибудь это заметит, особенно если постамент сделать повыше.

Генерал и господин Мархель переглянулись.

— Что же ты раньше-то молчал? — укоризненно сказал господин Мархель. — Догадаться не мог, что ли?

— Сценарием же не было предусмотрено, — сказал Петер, разводя руками.

— Так ведь все разве предусмотритишь? — сказал генерал. — На то и задница мягкая, что не все стулья с подушками.

— Верно, верно, — сказал господин Мархель. — А постамент, наверное, сделаем из секции моста. Очень символично получится.

— Очень символично, — сказал генерал. — Император на какой-то клетке. Ты бы думал сначала, а потом уж...

— Ни на какой не на клетке, — горячо возразил господин Мархель. — Все знают, что это секция моста. А чтобы вообще не возникало никакого ненужного ассоциирования, секцию эту можно обшить фанерой или шифером... изнутри, да, точно — изнутри обшить, и тогда вся структура будет на виду, и в то же время — никаких ассоциаций с клеткой.

— Ну, так еще можно, — сказал генерал. — Давай, Вельт, ты этим и займешься. Чтобы к утру все было, как надо.

— Почему это я? — капризно сказал майор Вельт. — Мне за сегодняшний день еще восемнадцать агентов выявить надо.

— Р-разговорчики! — сказал генерал. — Р-разбаловался! Выполнять!

— Есть, — сказал майор с нехорошей сдавленностью в голосе.

Он четко повернулся и вышел. Генерал с нежностью поглядел ему вслед и вздохнул.

— Не люблю на людей шуметь, — сказал он. — Но вот приходится иногда...

А утром выпал снег. Петер встал очень рано, не спалось, и вышел из блиндажа в совсем иной мир. То, к чему он привык и без чего уже не видел окружающего его пространства: переплетения черно-ржавого железа, глыбы бетона, глыбы камня, горы щебня и просто горы — все это оказалось вдруг прикрыто пушистым и совсем не холодным покрывалом, и только местами из-под него высывались особо острые углы, как локти и колени покойников, почему-то Петеру пришло на ум именно это сравнение, потому, может быть, что именно такое свежеприкрытое поле он видел прошлой зимой,

после неудачного наступления на северо-западе... Снег не взбодрил его, а расстроил. Впрочем, расстройство в чувствах не помешало ему растереться до пояса этим самым снегом, приведя тело в состояние, сравнимое с радостью.

По снегу местами были протоптаны дорожки, колеи и дороги, и внизу, у стапеля, снег моментально приобрел серо-черный цвет, как вокруг свежей воронки, и тем не менее пейзаж сменил очертания, и мир стал обманчиво велик и чист.

Петер ждал пополнения к вечеру, но они объявились уже в девять утра: взвизгнув тормозами, остановился знакомый полугрузовичок, и Петера, размышлявшего о дне минувшем, облепили с трех сторон Камерон, Менандр и Брунгильда. Из машины улыбались Эк и сам Летучий Хрен — оба в теплых шапках, оба довольные, что так все хорошо устроили... Петер, как ватный клоун, неловко топтался на месте и прятал руки, потому что они постоянно натывались на Брунгильду, потом она сама обняла Петера, ставшего вдруг маленьким и слабым, утопила в себе и, утопив, поцеловала в губы — так, слегка... «Закраснелся, как девочка! — хохотал Камерон, лупя Петера по гулкой спине. — Отвык тут от нормального обращения, скажи ему, Брунгильда!» — «А то он привыкал когда-то, — отвечала Брунгильда, — это же Петер-послушник, а не вы, кобели похотливые!» — «Ну, вы и живете, я посмотрю, ну и дрянь у вас тут, — говорил Менандр, озираясь, — нет, я этого так не оставлю...»

— Ну, докладывай, — сказал наконец Летучий Хрен, когда все было развешено по гвоздям и растолкано по углам, когда утомился Камерон и скрылся куда-то Менандр, младшие операторы привели себя в соответствие с моментом, а Брунгильда расположилась на кровати Петера в свободной позе, греясь в перекрещивающихся взглядах и чувствуя себя в этом перекрестии свободно, как, скажем, кинозвезда в лучах софитов.

— Работать очень трудно, — сказал Петер. — Советник не просто вмешивается, а начисто лишает возможности делать что-то самостоятельно. Все съемки

только по сценарию, кое-что я пытался делать от себя — запретил и теперь учитывает всю пленку до последнего метра. Как я понимаю, по плану мост уже должен быть сдан, поэтому все, с чем саперы столкнулись в действительности, считается несуществующим. В сценарии есть поистине кретинические моменты, но все это мы должны работать под документ. Масса созданных ситуаций, пересъемок, фальсификаций, иг-ра монтажом. Все.

— Кое о чем я догадывался, — сказал Летучий Хрен. — Но ты был бы не ты, если бы не делал все поперек. Так ведь?

— Поперек — нечем, — сказал Петер. — Пленки едва хватает на вдоль. Я же говорю, он проверяет все до метра.

Летучий Хрен покивал головой.

— Хорошо... да. Значит, сенсаций не будет? — не то чтобы спросил, а почти с уверенностью произнес он.

— Будет пленка — попробуем что-нибудь сделать, — сказал Петер.

— Какое! — сказал из угла Шанур. — Поздно что-то делать. Такие сцены упустили!

— Ну, стройка-то еще не кончена, — сказал Петер.

— Ладно, насчет пленки — это я подумаю, — сказал Летучий Хрен. — Ну и, наверное, попробую побеседовать с советником. Пусть он войдет в положение — мы ведь даем не только пропагандистский материал, нам нужна и информация.

— По-моему, это бесполезно, — сказал Петер. — Я пробовал.

— То ты, а то я, — возразил Летучий Хрен. — Разница?

— Посмотрим, — сказал Петер.

В тот день, хоть этого никто и не ожидал, прибыло пополнение и саперам. Колонна грузовиков, две зенитные самоходки, впереди — «хорьх» — амфибия с огромным седым саперным майором, — все это вторглось в черно-белый мир ущелья и загудело, замелькало, заговорило. Шестьсот новобранцев, стриженных наголо, в новеньких шинелях, в войлочных теплых сапогах выстроились неподалеку от штаба, и майор, придержи-



вая правой рукой положенный по уставу кортик — никто из саперных офицеров не носил кортиков! — отправился докладывать генералу о прибытии. Его не было долго. Потом в штаб проследовал конвойный наряд. У Петера заняло под ложечкой. Через десять минут майора, уже без кортика, без ремня и без шапки, со скрученными за спиной руками, вывели из штаба и повели к обрыву. Он не хотел идти, упирался, его подталкивали; потом он плечом отбросил конвоира и хотел что-то крикнуть своим, но офицер, старший наряда, выстрелил из пистолета ему в затылок. Майор упал. Строй саперов заволновался, но тут с двух сторон ударили поверх голов зенитные пулеметы. Саперы повалились на снег. Солдаты комендантского взвода оцепили их и повели в глубь ущелья. Петер, не переставая снимать, пошел следом. Саперов положили на землю, огородили то место веревкой с флажками и поставили пулеметы. Тут же разбили палатку, внесли в нее печку, стол и несколько стульев, и майор Вельт с подручными стал проверять, кто есть кто.

— Фамилия?

— Кейнолайнен.

— Имя?

— Антон.

— Национальность?

— Гипербореец.

— Место рождения?

— Село Мустарлянец Северо-Йеппергофского уезда.

— Отношение к религии?

— Чту Императора!

— Не католик?

— Ни боже мой!

— А то у вас там много католиков.

— У нас? Много?

— А чем, скажи мне, отличается свобода совести от свободы вероисповедания?

— Не понимаю вопроса. Спросите еще раз.

— Ладно, обойдется. Знал ли ты, что ваш командир — предатель?

— Нет, господин майор. Клянусь, не знал.

— Где же твоя бдительность, сапер?

— Да господин майор, я же в этой части вторую неделю только, а командира всего раз и видел-то до сих пор, это любой на моем месте не заметит ничего такого...

— Нашлись патриоты, заметили... Ладно. Ваша часть расформирована, тебя определяют в другую. Служи, сапер. А главное — будь начеку. Враг не дремлет. Чуть что заметишь подозрительное — сразу ставь меня в известность. Не командира части, а меня. Понял?

— Так точно, господин майор!

— Следующего! Фамилия?

— Суливан.

— Славянин, что ли?

— Никак нет, господин майор, чистокровный гипербореец!

— Странная фамилия... Имя?

— Франклин.

— Еще не лучше! В лагерь его, запишите.

— Господин майор!..

— В лагерь, в лагерь. Еще славян мне тут не хватает...

И так далее.

Петер ушел.

Не могу больше, думал он. Не могу. Все. Я кончился. Все терпение мое и вся выносливость — кончились. Не могу... Только сейчас он заметил — впервые за много дней — а правда, сколько дней я тут провел? — сидящих на скалах воронов, сидящих и ждущих; временами то один, то другой снимались с места, делали круг над стройкой и возвращались. Издалека доносился вороний ор, и вот несколько сразу снялось и полетело куда-то. Ждут, подумал Петер. Сидят и ждут.

Статуя Императора, вознесенная на постамент, кого-то или что-то смутно напоминала, но Петер так и не смог вспомнить кого. Ее тоже припорошило снегом, лавровый венок на голове Его Величества приобрел вид прелестной зимней шапочки, а римская тога обзавелась меховой опушкой. Император хорошо подготовился к зиме, подумал Петер.

И вдруг до него дошло по-настоящему, что начинается зима.

Поскольку открытие статуи Императора должно было состояться еще летом, пришлось расчищать снег в секторе съемок. Там, где метлами было не достать, поработали огнеметами. Получилось даже лучше, чем можно было желать: беломраморный Император замечательно контрастировал с закопченной скалой — это с одной точки съемки, — и с клубами черного дыма — с другой. Господин Мархель был доволен. Летучий Хрен, имевший с ним беседу, вернулся слегка не в себе, посмотрел на Петера и молча развел руками. Камерон, тоже молча и по секрету от остальных, дал Петеру заглянуть в свой чемодан. Чемодан был набит коробками с лентой. Петер потряс Камерона за плечи, и тот широко ухмыльнулся.

Неведомо куда пропал Шанур. Он ушел сразу же после встречи с пополнением и не появился. Никто его не видел, не слышал и вообще не имел представления ни о каком Шануре. Поначалу Петер просто беспокоился, потом испугался. Майора Вельта нигде не было. Наконец, уже вечером, почти ночью, Петер, обегавший всю стройку и ее окрестности, догадался заглянуть в генеральскую квартиру. Он прошел сквозь часовых, сквозь дверь, сквозь дремлющего за столом капитана-кавалергарда и подполковника-адъютанта — он проходил сквозь них с отчетливым злорадством вора, взламывающего сверхнадежный и немыслимо секретный замок, — и оказался в комнате генерала. Здесь забавлялись. Генерал босыми ногами стоял на карте полушарий и изображал из себя статую Императора: так же точно держал руку и так же откидывал голову, замысловато, но похоже на венок повязанную зеленой медицинской косынкой; господин Мархель с булавками во рту мычал что-то, прилаживая на нем простыню. Голый майор Вельт — то есть не совсем голый, на нем были все-таки сапоги, ремень, майорские погоны и фуражка — лежал на полу в позе Данаи, ожидающей золотого дождя. На столе и под столом громоздились разнообразные бутылки. Стоял непонятный приторно-сладкий запах.

Петер считал себя привычным ко всему, но от этого его почему-то замутило. Он отступил назад, в стену. На холоде ему стало легче.

Нашел Шанура Козак. Шанур сидел на самом дальнем звене моста, свесив вниз ноги, и пел что-то заунывное. На обратном пути, когда Козак вел его, безвольного, приобняв за плечи, Шанур вдруг расплакался и наговорил всякой всячины, которую Козак не может, да и не хочет передать. Забирайте его. Пусть отдыхает.

Летучего Хрена почему-то поселили отдельно, у штабных, а остальные разместились все вместе, благо блиндаж позволял. Брунгильде отвели каморку, предназначенную поначалу для фотолаборатории, но Баттен оборудовать ее там не стал, предпочитая почему-то работать в палатке. Из каморки выгребли разный хлам и завесили проем двери брезентом.

— Сегодня отдохну, — сказала Брунгильда, выглядывая из-за брезента, — а с завтрашнего дня начинаю прием. Сами устанавливайте очередь. Выходной — воскресенье. Спокойной ночи.

— Не возбуждайтесь, мальчики, — посоветовал Камерон, заворачиваясь в одеяло. — Тетя шутит.

— И не думаю, — сказала Брунгильда из-за занавески. — Что я, дура — такими вещами шутить?

Посмеялись, повозились, уснули. Ночью Петер проснулся от звука легких шагов. Брунгильда босиком, в одной рубашке, тихонько подошла к кровати Шанура, присела рядом. От раскаленной спирали «козла» исходило достаточно света, и Петер видел, как она осторожно протянула руку и погладила Шанура по голове. Тот глубоко вздохнул и повернулся на другой бок. Брунгильда посидела еще немного около него, потом встала и ушла к себе. Петер слышал, как она ворочается и не спит. В блиндаже было душно, он встал и открыл дверь. Небо было ясным, и огромная луна, белая, как фарфор, стояла низко над испачканным снежным саваном земли, все было равноудалено отсюда и, как бездарная декорация, не имело ничего общего с реальностью. И, поскольку отсюда, от входа в блиндаж, и видно-то было только, что этот край ущелья, да немного противоположного его края, пологий склон слева и крутой склон справа, да еще горы вдаль, — то, может быть, в мире вообще не было ничего, кроме этой

декорации? Привычный рокот моторов и железный лязг раздавались будто бы из-под сцены. Петер представил себе, как эта декорация должна выглядеть с изнанки, — и стал умываться снегом.

Он промучился всю ночь и встал поздно, благо будить его не стали. В блиндаже было пусто, на столе, прикрытая бумагой, лежали нарезанная колбаса и хлеб, рядом стоял знаменитый трехлитровый термос Камерона. В термосе был горячий чай. Петер позавтракал, медленно и с наслаждением. Чай был отличный, и сахар в чае — настоящий, и колбаса — настоящая, и хлеб — настоящий. Петер поймал себя на мысли, что еда захватила его целиком. В этом было что-то странное.

Кроме колбасы Камерон привез газеты. Здесь были и почти свежие — позавчерашние — столичные и недельной давности швейцарские. За них-то Петер и взялся.

Президент Швейцарской конфедерации принял вчера находящегося с официальным визитом Премьер-министра Соединенных Штатов Мексики... плевать... по сообщениям корреспондентов, в городах Дайна и Андербург произошли столкновения полиции со студентами, имеются раненые... коронация христианнейшего короля Люции — где это? — Густава-Вальграфта Четвертого... Правительство Бразилии заявило решительной протест обеим воюющим сторонам по поводу морского инцидента в ее территориальных водах, подробности на четвертой странице... ага: бой крейсеров... ага... ага... Ну еще бы: три против одного. А это что? Мисс Вселенная объявила о своем желании принять участие в кампании по сбору средств для беженцев из зон военных конфликтов... отказ властей невоюющих государств в предоставлении им права убежища бесчеловечен, заявила она... Симпатичная девочка.

Но разве в этом чертовом мире хоть раз дадут дочитать до конца что-нибудь интересное? Ввалилась вся компания, шумные, веселые, с Летучим Хреном во главе, стали носиться по блиндажу, ронять вещи, и стало тесно, и Шанур был с ними, двигался и смеялся, но Петер, бог знает как, понимал, что движения Ша-

нура, размашистые и быстрые, происходят не то от безволя, не то от чрезвычайной погруженности во что-то внутреннее и потому чисто автоматичны, будто ноги и руки его привязаны ниточками к ногам и рукам прочих скачущих; за улыбку же вполне мог сойти судорожный оскал, а смех — выдохи, короткие и быстрые, возникающие от мелких, невидимых простым глазом коготков, которые душа запускает в средостение тела. И именно сейчас, глядя на дошедшего до ручки младшего оператора и на Летучего Хрена, завершившего сложную траекторию кружения по блиндажу мягкой посадкой за стол — рука его, подчиняясь энергии продолжающегося, еще не погасшего движения, извлекла из-за пазухи плоскую, черного стекла, рифленую бутылку и закружилась, разливая по кружкам что-то очень текучее, цвета жженого сахара, — так вот, глядя на все это безобразие, Петер подумал, что надо бы отправить Шанура в редакцию, пока он не наломал здесь дров, — и пусть он там подзаймется, скажем, монтажом... Позже он много и бесплодно проклинал себя за это решение, но тогда оно показалось ему удачным... кто мог знать, чем это все обернется? И кто может сказать, что произошло бы, потеки события иным руслом? Но выпили, закусили колбасой, Летучий Хрен заверил, что дело пойдет, что советника он все-таки уломал, не такой дремучий оказался советник, как первоначально показался, хоть и странный тип, конечно, да и добронамерен чересчур, но общий язык с ним находить можно и должно, особенно если постараться (он заглянул в горлышко бутылки, потряс ее над кружкой и добыл еще несколько капель) — ну и продолжайте в том же духе, ребята, а пленку я сегодня увезу. Всю. Уезжаю сегодня, один, остальные остаются. Пока. Да... на фронте? Дерьмо на фронте. Ладно, не буду подрывать ваш боевой дух...

Веселились? А вот почему: по приказу генерала Айзенкопфа было решено с сегодняшнего дня вводить отправление обрядов культа Императора. Саперов построили, но никто не знал, как и что нужно делать. Наконец кое-как разобрались: сам генерал встал у

подножья постамента, а саперы маршировали перед ним и кричали «Ура!» в ответ на провозглашаемые здравицы. Потом стали приносить жертвы: в довольно большой чаше зажгли спирт. Поначалу спирт горел нормально, но потом, нагревшись, закипел, пламя стало огромным, и занялась фанерная стенка постамента. И вот то, как офицеры генеральской свиты тушили спирт и постамент, при этом старательно делая вид, что ничего не происходит — как они старались быть торжественными и благолепными, — вот это просто не поддается описанию! Но вот проявим пленку...

Майор Вельт вошел в сопровождении четырех солдат комендантского взвода. Два солдата остались у двери, два шагнули на середину — автоматы у живота, пальцы на спусковых крючках, колочие быстрые взгляды из-под надвинутых касок, — а майор, затянутый в черную кожу, подошел медленно, мерзко вихляя задницей, поскрипывая в сочленениях и тем давая хорошо почувствовать свое приближение, к Летучему Хрену, который побледнел — Петер очень хорошо знал, к чему именно бледнеет Летучий Хрен! — побледнел, но продолжал пока сидеть в позе самой пренебрежительной, — подошел и, протягивая руку ладонью вверх, скучным голосом сказал:

— Пленку.

Летучий Хрен неторопливо поднялся на ноги, стряхнул с рукава несуществующую пушинку — как-никак, он был действительный статский советник, чин, приравненный к генерал-майору, а полковничьи погоны свидетельствовали лишь о его независимом характере — и, не глядя на майора, сказал с великолепным выражением:

— Майор, подите вон.

Майор Вельт как бы мигнул всем лицом.

— В таком случае, — сказал он, — вы арестованы. Взять их!

Солдаты подскочили с двух сторон к Летучему Хрену, им не впервой было арестовывать полковников, но тут у них сорвалось, тесноват для такого рода дел оказался просторный блиндаж, и майор Вельт, шагнувший в сторону, чтобы не мешать солдатам, оказался

спиной к Камерону. Камерон поступил просто: он обхватил майора рукой за шею и заорал страшным голосом:

— Все к стене! Застрелю!

Со своего места Петер видел, что пистолет Камерона оставался там же, где и был — в кобуре, и что Камерон упирается в спину майора просто костяшкой пальца, но ни майор, ни его солдаты знать этого не могли и замерли на мгновение, и это мгновение Летучий Хрен использовал: выхватил из-за пазухи еще одну бутылку — точно такую же, рубчатую, черного стекла — и замахнулся ею, рывкнув:

— Ложись! Разнесу раздолбаев!

Солдаты отшатнулись, майор делал им какие-то жесты, которые можно было понимать двояко, и пока они опомнились, Петер и Шанур, уже с настоящими пистолетами в руках, поотбирали у них автоматы, один солдатик, у двери, плюгавенький такой очкарик с вывернутыми губами, совсем помертвевший от несообразности происходящего, автомат отдавать не хотел и что-то быстро-быстро бормотал в свое оправдание, и только налетевшая с фланга фурия — Брунгильда оплеухой привела его в чувство, солдатик отдал автомат и заплакал. Действуя трофейным автоматом как дубиной, Брунгильда поставила солдат лицом к стене, майора посадили на табурет и связали ему руки за спиной, и тут возник некий композиционный провал. Петер понял вдруг, что произошло непоправимое, что вот только что все они поднявшие руку на этого ублюдка, подписали себе смертные приговоры, и обжалования не будет... Это же почувствовал, наверное, и майор Вельт. И прочие, кажется, тоже почувствовали, потому что повисла пауза, которую было нечем заполнить; как в шахматной партии, когда эффектный и отчаянный ход, оказывается, не имеет продолжения, развития — и все идет на пропась, и вот сейчас посыплется...

Не посыпалось. Хотя и было на грани и даже чутьчку за гранью. Вошел господин Мархель, и вновь что-то сдвинулось и переменилось. Петер, как это бывало с ним в моменты сильного волнения, будто отстра-



нился и смотрел со стороны, и вновь ему увиделась шахматная доска — как тихий ход, сделанный где-то на одном ее краю, отдается громом на краю противоположном, разом меняя оценку позиции и настроения и планы игроков.

— Спокойствие, господа, — сказал господин Мархель. Он был в форме полковника кавалергардов. — Спокойствие. Итак, майор, вы пощли по шерсть, а вернулись стриженным? Замечательно.

Майор зло посмотрел на господина Мархеля, но промолчал.

— Извините, господа, — сказал господин Мархель. — Майор превысил полномочия. Ему было поручено *попросить* вас ликвидировать несколько метров только что отснятой пленки. Я надеюсь, вы не станете возражать, если я скажу, что сохранение для потомков этого прискорбного эпизода крайне нежелательно?

— Станем, — сказал Летучий Хрен. — Вы же знаете принципы нашей редакции. Мы можем его не обнародовать, но сохранить обязаны.

— Это особый случай, — мягко сказал господин Мархель. — Ведь мы с вами присутствуем при историческом моменте зарождения новой религии, идущей на смену прогнившим насквозь верованиям в полоумного еврейского бродягу. И допустить, чтобы наши потомки получили страшный эмоциональный удар, увидев, как мы, их легендарные предки, неумело отправляем священные обряды, допустить, чтобы их религиозные чувства были так оскорблены, — нет, это немыслимо! Делайте со мной что хотите, но этого допустить нельзя. Да, пусть мы сегодня чуть погрешим против объективной истины, но ведь потомки простят нам этот наш грех — они будут добры и снисходительны, наши потомки, новая религия привет им эти качества. А об истине не жалейте: ее очень много в нашем мире. Весь мир состоит из объективных истин. Мир бесконечен. От бесконечности отнять один — сколько будет? Бесконечность! А отнять десять? Все равно бесконечность!

— А если бесконечно отнимать по одному? — ехидно спросил Летучий Хрен.

— Бесконечность есть бесконечность! — ликующе провозгласил господин Мархель. — Так просто ее не исчерпать! Так что давайте пленку, и инцидент исчерпан.

Неловко было глядеть друг другу в глаза, потому и прощание оказалось скомканным и вообще не таким, как надо. Известие о том, что ему предстоит уехать, Шанур неожиданно принял спокойно и вопросов не задавал. Даже не то слово: спокойно, — просто вспышка активности, настоящей, не марионеточной, когда разоружали комендатурщиков, и внезапная пустота потом, после капитуляции — они сожгли в Шануре все, что могло гореть, и ничем, кроме апатии, Шанур ответить не мог.

— Я буду продолжать, — сказал ему тихонько Петер, когда таскали и укладывали коробки с пленкой. Шанур кивнул равнодушно.

Потом они пожали друг другу руки и даже обнялись на прощание, но пусто и нелепо, исполняя ритуал, не более того, и Петер не мог отогнать ощущения, что прикасается не к человеку, а к измятой бумаге. Это было страшно, носить в себе такое ощущение, но мало ли страшного приходится носить — и ничего..

— Не стреляют, — сказал вдруг Шанур, озираясь, будто стрелять должны были по ним и сейчас.

— Уже давно не стреляют, — сказал Армант. — Говорят, у зенитчиков в пушках пауки завелись.

Шанура передернуло.

— Не люблю пауков, — сказал он.

— А я люблю, — сказал Армант. — Помнишь, у меня тарантул жил, его звали Сарапин.

— Помню, — сказал Шанур. — Я тогда старался не заходить к тебе.

— Но заходил же.

— Заходил. Но это было неприятно.

— Я для него тараканов ловил.

— Надо ехать.

— Везет тебе. Будешь там с девочками баловаться.

— Счастливого пути, — сказал Петер.

Шанур повернулся к нему.

— Петер, — сказал он, — я все пытаюсь вспомнить, что хотел тебе сказать, и никак не могу. Что-то надо было сказать — и забыл. Забыл, и все.

— Напишешь, — сказал Петер.

— Хорошо, — сказал Шанур, — вспомню и напишу.

Подошел Летучий Хрен, остановился в двух шагах. Шанур оглянулся на него, кивнул головой ему, потом кивнул Петеру, Арманту, потом махнул рукой и пошел к машине. По дороге он запнулся и чуть не упал.

— Петер, — сказал Летучий Хрен. — Так неудобно все получается. Но не могу задерживаться. Ты давай. Работай. Плよう на всех — и работай. Учти, что в случае чего советник — в кусты, а расхлебывать тебе придется. Из этого и исходи. Пленки буду присылать больше, чем указано будет в накладных. Знай. Ну, вот...

— Ладно, — сказал Петер. — Не забывай там нас.

— Не забуду, — очень серьезно сказал Летучий Хрен.

Эк погудел, и Летучий Хрен заторопился к машине. До темноты надо было успеть спуститься по серпантину. На том же месте, где и Шанур, он запнулся, не устоял и выстелился во весь рост. Помощи ему, конечно, не понадобилось, он тут же вскочил, отряхнулся, чертыхаясь, и пошел дальше, но Петер видел, как Менаандр сморщился и энергично поплевал через левое плечо. Петер помедлил и сделал то же самое. Армант жужжал камерой.

Снова пошел снег, и машина канула в него, как под упавший занавес. Петер, давя в себе распухающее чувство уже свершившейся беды, спустился по скользкому склону к мосту. Мост, такой черный и незыблемый, быстро терялся в белом мельтешении. Много лет Петеру будет сниться именно эта картина: мост, падающий постепенно, шаг за шагом, метр за метром, тающий и истончающийся, как сахар в кипятке, в белом воздухе, в мелькающих хлопьях. Это будет сниться ему то часто, то редко, то под утро, то в самом начале ночи, но каждый раз он будет просыпаться от тихого, безнадежного ужаса перед уже свершившейся бедой, когда еще непонятно, откуда и в каком виде она придет, но точно известно, что уже ничего не исправить. И не-

сколько раз другие мосты — обычные мосты через реки, разные мосты в разных местах — будили в нем этот ужас так внезапно и так мощно, что он не мог ступить или въехать на мост, и приходилось останавливаться и ждать, когда все уляжется...

На обратном пути Петер подвернул ногу, поэтому арест инженера Ивенса снимал Армант. Арест инженера был обставлен исключительно эффектно: к блиндажу, который занимал Ивенс, солдаты приближались перебежками, как под огнем; дверь блиндажа выбили толковой шашкой. Инженера и еще одного капитана-сапера выгнали, завернув им руки за голову, и, подгоняя стволами автоматов, поставили перед генералом Айзенкопфом. Генерал долго и с сожалением на лице что-то говорил инженеру, а потом своей рукой сорвал с него погоны. При этом у генерала отклеился ус, и он машинально поправил его.

На суде инженер не отрицал свою причастность к заговору с целью задержать насколько возможно строительство моста и назвал сообщников. По его показаниям было арестовано еще сто восемнадцать человек.

Сам инженер и те из сообщников, которые отрицали свое участие в заговоре, были расстреляны, остальные осуждены на максимальный срок.

Новым начальником строительства стал майор Тунборг, еще месяц назад ходивший в унтерах.

Странно, но после отъезда Шанура Петер ощутил полнейшую пустоту вокруг себя. Пустота эта обладала замечательными звукоизолирующими свойствами: все, что происходило вокруг, Петер видел, но звуков не слышал и потому почти ничего не понимал. Брунгильда, встревоженная тем, что Петер не только молчит, но и не реагирует на обращенную к нему речь, попыталась его потормозить и, задев случайно лоб, отдернула руку: Петер был раскален, как печка. Его тут же растелешили, растерли спиртом, потом Менандр сотворил дьявольский коктейль: краснѣй стрептоцид, аспирин, несколько капель йода, все это растворить в стакане шнапса; по вкусу питье напоминало опилки, и с этим ощущением — что рот набит опилками — Петер погрузился в бред. Бред его был мучителен и порази-

тельно однообразен' Петер лежал на раскаленном дне реки, настолько раскаленном, что вода текла в метре над ним, над его лицом, и там медленно проплывали пузатые, как пузыри, рыбы и медленно колыхались водоросли, а потом сверху вниз стали спускаться утопленники с синими лицами, и струи воды шевелили их, придавая чудовищные позы, утопленники достигали жидкого дна реки и вываливались оттуда на твердое дно и начинали высыхать и корежиться от жара, и оставались лежать, глядя вверх, как там проплывают ленивые пузатые рыбины и кольшутся водоросли, и так без конца...

При этом, оставаясь на дне, Петер ухитрился время от времени возвращаться на свою койку в блиндаже; так, он запомнил, как приходил фельдшер и говорил, что это точно не тиф, потому что тиф бывает только при эпидемиях, и тогда санитарное управление дает указание лечить от тифа, а пока что таких указаний не было, поэтому здесь не тиф, а простуда, малярия или отравление. Потом он вернулся, когда рядом с ним сидела Брунгильда и думала, что ее никто не видит; лицо Брунгильды было некрасивое и почти старое, уголки рта опустились, а на отяжелевших веках видны стали лиловые жилки. Брунгильда не знала, что ее видят, поэтому по ее лицу было легко понимать, что она думает, и мысли ее были такие же усталые и некрасивые, как и ее лицо. Петер тоже был в этих мыслях, и даже не он сам, а карикатура на него' этакий брезгливый ломака, чистоплюйчик... и в то же время он был все-таки отдельно от остальных, которым от Брунгильды нужно было только одно... он да еще Шанур, но Шанур был не окарикатурен, а наоборот... Боже ты мой, подумал Петер, что же я натворил, я же видел, но я хотел как лучше, ладно, это мы исправим, хоть это-то можно исправить, завтра же, завтра... Он задохнулся от жалости, он захотел сказать или как-то по-иному дать понять Брунгильде, что любит ее и желает ей счастья, но не удержался в этом мире и снова оказался на дне реки, на белом, спекшемся в бетон песке.

Он пролежал в бреду двое суток, потом быстро пошел на поправку, но в день, когда привезли то, что

осталось от Эка и Летучего Хрена, Петер был еще очень слаб.

Их нашли только потому, что хорошо искали. У полковника Энерфельда, в которого сразу после смерти превратился Летучий Хрен, было много сильных друзей, они-то и организовали поиски, когда полковник не вернулся в назначенный срок. Полугрузовичок нашли на плоскогорье, километрах в шестидесяти от стройки, причем тридцать километров из этих шестидесяти — в сторону от шоссе. Там, в развалинах древнего греко-православного монастыря, и наткнулись на сожженную машину с двумя трупами на сиденьях. Шофер и полковник были приколоты к спинкам сидений офицерскими кортиками — кортиками саперных офицеров со скрещенными топориками на темляках.

— Садитесь, лейтенант, — сказал Петер лейтенанту-десантнику, который доставил тела. — Садитесь и рассказывайте все. Извините, я просто очень слаб, переболел чем-то странным...

— Сверх рапорта — ничего, господин подполковник, — сказал лейтенант. — Каких-либо следов мы не обнаружили.

Петер покивал.

— Только два трупа, — сказал он полувопросительно.

— Так точно, — сказал лейтенант.

— В машине было трое, — сказал Петер.

— Только два, — сказал лейтенант. — На переднем сиденье.

Петер вспомнил очень отчетливо, как именно садились они в машину: Шанур на переднее сиденье, Летучий Хрен — на заднее, он всегда ездил сзади, потому что там можно было поспать.

..могли остановить под видом патруля и потребовать старшего по званию пересечь вперед, и Шанур мог схватиться за пистолет, и его застрелили на месте и бросили — там масса мест, куда можно бросить труп, и никто не найдет, скажем, в обломки машины или самолета, а потом Эку приставили пистолет к затылку и полковнику тоже, и полковник возмущался, но ему отвечали — приказ, начальство разберется, — а потом

обоих приколоты кортиками к сиденьям, облили бензином и подожгли...

— Должен быть еще лейтенант, — сказал Петер.

— Не было. Мы вернулись к дороге по их следам.

..диверсанты просто убили бы на месте всех — и дело с концом. А ребятки майора Вельта не стали бы загонять машину в глушь и прятать, и сжигать тоже не стали бы, им нужен внешний эффект, причем такой, чтобы все догадывались, чьих рук дело, а доказать не могли...

— Ну а груз? Там же был полный кузов.

— Ничего, — сказал лейтенант. — Кузов был пуст.

Неужели все-таки советник? Так...

— Спасибо, лейтенант.

— За такие дела благодарить нельзя.

— Вас накормили?

— Нет. Но мы уже уезжаем.

— Пятнадцать минут. Сейчас все будет.

— Простите, подполковник, приказ...

Приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, даже такие приказы, каких вовсе не бывает, например, приказ отбыть из расположения части без обеда, и тем не менее приказы следует выполнять, значит, и те приказы, которых никто не отдавал, потому что никто не мог предвидеть такую ситуацию, когда, допустим, приглашают пообедать после достойного выполнения задания, и очень легко сослаться на приказ, если обедать почему-то не хочешь, точнее, не хочешь обедать здесь, с этими людьми, и никто не обидится, все поймут, что приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, тем более приказы, отданные самому себе... Но почему, лейтенант? Что мы, прокаженные, что ли? Ты явно брезгуешь, лейтенант... или опасаясь? Ни черта не понимаю, подумал Петер, ни в чем ни черта не понимаю, кто и за что их убил — подозреваю, да, подозреваю, но ведь доказать не могу и не смогу... и при чем тут этот лейтенант?.. Ах, господи, чем голова занята... Где Шанур? Вот что нам надо выяснить и решить, вот в какую точку надо бить: где Шанур и что с ним? Но для этого надо понять, кто напал и почему, и круг замкнулся, все совершенно непонятно, я насмотрелся

здесь таких запредельных штучек, что всякая, самая шальная версия может оказаться правильной, всякая, любая, выбирай любую и крути ее как вздумается...

Взять советника, подумал Петер, взять... я, Камерон, Брунгильда — Брунгильда в таком деле стоит двоих — взять... приставить пистолет к виску... а дальше что? Все. Все... Надо же, ничего не придумывается...

Ладно. Будем исходить из того, что он жив и захвачен. Кому он может понадобиться? Почему захватили именно его? Если это штучки советника, то, может, ему понадобился личный оператор — так сказать, взамен меня? А? Он ведь о Шануре имеет весьма поверхностное представление — зеленый лейтенантик, не более того... это хорошо... это было бы замечательно, просто замечательно. Но слишком уж просто...

Но кто-то же захватил пленку! А если пленка была главной целью, а Шанур, так сказать, побочной? Допустим, его захватили для чисто технических нужд — управляться с проектором, скажем? Ну-ка... А? Что?

— Пойдем, Петер. Пойдем, не надо тут стоять.

Это был Камерон. Петер огляделся вокруг: он стоял над обрывом, на открытом месте — сам не помнил, как сюда пришел.

— Да, — сказал Петер. — Пойдем, конечно.

— Решили здесь хоронить, — сказал Камерон. — Могилу уже роют.

— Я найду, кто... найду, понимаешь? — Петер покачнулся, Камерон поддержал его.

— Вряд ли, — сказал Камерон. — Такая каша...

— Я найду, — повторил Петер.

— Ну и что? — сказал Камерон. — Что из того, что найдешь? А... — Он махнул рукой. — Ищи.

— Он не был твоим другом, — сказал Петер.

— Да разве в этом дело? — сказал Камерон.

— А как же тогда быть? — сказал Петер. — Рукой на все?

— Ему уже не поможешь, — сказал Камерон.

— Есть еще Шанур, — сказал Петер.

Камерон молча пожал плечами.

— Я ведь тебя ни о чем не прошу, — сказал Петер.

Камерон опять промолчал.



— Можно подумать, что тебе все равно, — сказал Петер. — Что ты только и хочешь...

Камерон издал неясный задавленный звук, Петер посмотрел на него и тут же отвернулся: стиснув зубы, Камерон плакал.

Первым серьезным мероприятием майора Тунборга в роли начальника строительства было введение режима строжайшей секретности. Запрещались к разглашению все абсолютно данные о темпах работ, о действительной длине моста и так далее, и тому подобное — даже о расходе электроэнергии. Операторов перестали пускать на стройплощадку, все сооружения позакрывали щитами и маскировочными сетями — Петер пошел скандалить к советнику, и вместе они, два приятеля, Гуннар и Петер, — пошли к генералу. Генерал, однако, оказался тверже, чем предполагалось. Он объяснил, что на стройке, помимо интересов Министерства пропаганды, присутствуют еще и интересы военного ведомства, которые могут оказаться под угрозой из-за утраты бдительности и, как следствие, утечки оперативной информации. Да, мероприятия, направленные на пресечение утечки, создают определенные трудности для хроникеров, но что поделаешь, война есть война, а на войне без трудностей не бывает, придется смириться, но до окончания работ никакие данные не подлежат огласке, нет, Гуннар, и не проси, даже ради тебя, я все понимаю, но нет. Пусть твои ребятки займутся лучше освещением быта саперов, их боевой и политической подготовкой, внимательнее отнесутся к проблемам внедрения новой религии — а здесь еще немало проблем, старое все еще цепляется за души людей и тормозит их духовный рост и развитие. И преобразование. А что касается самого моста — то нет. Не положено. Может случиться утечка информации.

— Вот так, Петер, — сказал господин Мархель, разводя руками. — И ничего не поделать, он здесь хозяин.

— Не расстраивайся, подполковник, — сказал генерал. — Наплюй ты на это железо. На людей, на людей внимание обращать надо. Люди — вот настоящее железо!

В быт саперов Петер вгрызался яростно. Материалы Шанура — кроме тех, под мостом, конечно — погибли, поэтому Петер изо всех сил стремился наверстать потерянное. Он знал, что не сможет сделать это так, как Шанур, так неподкупно точно и с такой любовью, что-то внутри него придерживало изредка руку и отводило глаза, но — он стремился, и иногда получалось. Приходилось, конечно, снимать и парадные сцены: новые и новые моления у статуи Императора, все более гладкие и вычурные, приторные, как сахарин; построения и зачитывания приказов; развод караула; обход генералом позиции артиллеристов; награждения. Но чаще — сцены обыденной жизни, текущей совсем иначе, чем жизнь показная, парадная, — иначе и отдельно. Еда; сон; сапер стирает портянки; сапер штопает шинель; четверо саперов дуются в самодельные карты, проигравшего лупят картами по ушам, остальные хохочут; сапер сидит на табурете, другой, мальчишка с изъеденным оспой лицом, на широкой струганой доске кусочком угля пишет его портрет; несколько саперов стоят сзади и тихонько, чтобы не помешать, спорят; голые саперы выбегают из бани и катаются по снегу; черные, как черти, копаются в моторе трактора; собравшись в кружок, травят анекдоты. Петера охватывала тихая злость, когда он чувствовал, что ему начинают позировать, — но обрести с саперами былую бесплотность ему не удавалось, то ли сил не хватало после болезни, то ли еще чего... Петер чувствовал перемену отношения, между ним и саперами появился ледок настороженности, прозрачный, тоненький и холодный. Несколько раз его буквально судорога сводила от внезапно возникавшей преграды между ним и людьми — будто они, люди, внезапно прозревали в нем что-то опасное или омерзительное, но старались не показать, изо всех сил старались не показать, и у них получалось, но все силы тратились на это...

Однажды утром возник подполковник-адъютант и сопровождал полуспящего Петера к генералу и господину Мархелю. Когда Петер вошел, генерал и советник сидели молча и понурившись.

— Проходи, Петер, — сказал советник. — Вот решаем, как быть...

— Что стряслось, Гуннар? — спросил Петер.

Генерал криво усмехнулся, а господин Мархель пожал плечами.

— Плохо дело, — сказал он. — Император требует, чтобы мост был сдан немедленно. Мы вот тут помозговали и решили...

— Другого выхода у нас не было, — сказал генерал.

— Другого не было, — подтвердил господин Мархель. — Тем более что все материалы погибли. Так вот, решили сделать макет моста, так, скажем, в одну пятидесятую натуральной величины, и снять его. Такой, понимаешь ли, трючок. Откупимся от начальства, а там потихоньку и настоящий закончим. Как ты думаешь?

— Мне-то что, — сказал Петер. — Снять-то что угодно можно.

— Верно мыслишь, — сказал генерал.

— Главное, чтобы там не узнали, — сказал господин Мархель и ткнул пальцем вверх.

— Не захотят — не узнают, — сказал генерал.

— Это точно, — сказал Петер.

— Да, но это не все, — сказал господин Мархель. — Если бы только это... Видишь ли, его, — он показал на генерала, — хотят сделать таким мальчиком для битья, все у них приготовлено — вызывают в столицу и... ну, сам понимаешь. Мы тут подумали и решили: а что, если...

— Вообще-то... — начал генерал, но не закончил, замолк.

— Ты не беспокойся, Йо, Петер свой человек, — сказал господин Мархель. — Так вот, я перепишу сценарий, а потом подумаем, как и что нам переснять... в общем, генерал Айзенкопф сегодня погиб на посту.

Петер посмотрел на генерала. Генерал внимательно разглядывал ноготь на мизинце.

— Сделаем так, — продолжал господин Мархель. — В том, что мост не сдан в срок, виновен генерал Айзенкопф, но он погиб на посту, а мертвые сраму не имут. А в предыдущие события внесем корректировку: дес-

кать, реальный вклад в руководство строительством вносил полковник Мейбагс, а генерал только привносил разлад и беззакония. Как тебе такой оборот событий?

— Круто, — сказал Петер.

— Разумеется, — сказал Мархель. — Только круто и можно в таких обстоятельствах.

Преображенный сценарий был таким:

«...преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает Высшему Имперскому Совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, но вот мы видим, как полковник Мейбагс наклоняется к уху генерала Айзенкопфа и шепчет ему что-то, и трехкоронный генерал подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу... Мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы, и вот расчищено место для будущего великого строительства. И постоянно среди саперов мы видим полковника Мейбагса, окруженного подлинной любовью. Вот настал великий день: саперы, стоя в строю, принимают поздравления от генерала Айзенкопфа; вот они в едином порыве устремляются на свои рабочие места. Генерал садится в машину, где его ожидает кинозвезда Лолита Борхен, и уезжает. Полковник Мейбагс руководит работами. Взрвали сервомоторы, засверкали огни сварки, и вот первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной... Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры во главе с полковником Мейбагсом вглядываются в небо. Неприятельский самолет! Полковник отстраняет наводчика орудия и сам занимает его место. Огонь! — командует он. В небе исключительно кучно возникают белые шарики разрывов; секунда — и, пылая, вражеский ас врывается в склады! Обломки самолета крупным планом. Еще и еще обломки. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Читают письма из дому, играют в шахматы, поют песни. Ужин, появляются зеленые солдатские фляжки с добрым ромом, произносится тост: „За победу! За Императора! За нашего генерала Айзенкопфа!“ Но мы видим, как, отвернувшись, многие саперы шепчут: „За нашего пол-

ковника Мейбагса!" Ночь. Саперы спят...» — ну и так далее.

— Надо не забыть вскрыть гнусную сущность майора Вельта, — напомнил Петер.

— Да-да, — согласился господин Мархель, продолжая вписывать поправки в сценарий. — Мавр сделал свое дело. Поясним, что он в силу своей перверсии ненавидел гетеросексуальных мужчин и подсознательно стремился к их устранению.

— По-моему, вы перегибаете палку, — беспокоился генерал.

— Молчи, покойник! — весело сказал господин Мархель.

— Тогда бы надо освободить тех... в лагере, — сказал Петер.

— Да? — господин Мархель отложил карандаш, почесал переносицу. — Нет. Рановато. Они нам еще пригодятся. Вот закончим мост, тогда...

— Саперы говорят, рабочих рук не хватает, — напомнил Петер.

— Ерунда, — сказал генерал. — Плохому плясуну всегда яйца мешают.

— Нет, Йо, ты не прав, — сказал господин Мархель. — Нельзя так сразу отказываться от такого резерва рабочей силы. Не по-хозяйски это. Давай-ка ты, пока живой, заставь Тунборга проверить, действительно ли не хватает и сколько. Можно будет часть штрафников освободить и направить на работу.

— А как же их предательство? — спросил генерал.

— Как было. Сажали-то их для перевоспитания, не так ли? Вот и отберем тех, кто успел перевоспитаться.

— Ваше дело, — сказал генерал.

— Да, и еще, — сказал Петер. — По сценарию у нас в одном кадре получают и генерал Айзенкопф, и полковник Мейбагс. Но... — Он кивнул на генерала и развел руками.

— Без проблем, — сказал господин Мархель. — Под бывшего генерала загримируем кого-нибудь из штабных. Подполковника этого... как его?

— Азауси, — подсказал генерал.

— Азаусси? — переспросил господин Мархель. — Где ты их берешь с такими фамилиями?

— Старинная дворянская фамилия, — сказал генерал слегка обиженно. — Уж тебе-то надо знать историю Отечества.

— Ну извини, — развел руками господин Мархель.

— Извиняю, — сказал генерал.

— Значит, так, Петер, — сказал господин Мархель. — Сейчас в самом быстром темпе надо сострелять несколько сцен с генералом и полковником в одном кадре, потом с генералом отдельно, потом гибель генерала на боевом посту, и где-нибудь ближе к вечеру уже надо будет дать официальное сообщение.

— Тогда прямо сейчас и начнем, — сказал Петер.

Подполковника-адъютанта загримировали под генерала Айзенкопфа, получилось довольно похоже, но играл он плохо и путал реплики. В глазах его застыло выражение тихого панического страдания. Его снимали в группе офицеров и соло, статично и в движении, со словами и без. В одном из моментов съемки — около статуи Императора — Петер, воспользовавшись тем, что рядом никого не было, шепнул ему:

— Сматывайся, дурак. Убьют.

— Куда? — с полной безнадежностью в голосе спросил подполковник-генерал, и стало ясно, что он все понимает.

— Куда-нибудь. Хоть в плен. Но поскорее.

— Убьют... — пробормотал подполковник, и ему было все равно: что так убьют, что так — тоже убьют, но уже при попытке к бегству.

Но все же полчаса спустя он, позировав в легковой машине, вдруг быстро выбросил шофера — тот распластался на снегу, — вскочил на его место и дал газ. Ему стреляли вслед, но безуспешно.

Брунгильде было плохо, она не знала, куда себя деть, днем спала, а по ночам бродила по блиндажу, и Петер тоже не спал, засыпал и просыпался от ее хождений, и приходилось лежать и притворяться спящим; после того сеанса телепатии, который приключился с ним во время болезни, он стал относиться к

Брунгильде по-иному, научившись различать, где у нее лицо, а где маска, — Брунгильду следовало оставить в покое, позволить ей самой пережить — перемолоть — все случившееся, никакого вмешательства она не потерпела бы и могла бы сорваться и наделать глупостей. Под глупостями Петер понимал не обычную женскую дурь, а глупости по большому счету, которые Петер, верный своей привычке не называть демонов по именам, старался не определять и не загадывать. Но пока что Брунгильда просто сумрачно ходила из угла в угол, или сидела за столом, уронив голову на скрещенные руки, или, за столом же, начинала ворожить, водя пальцем по алюминиевой тарелке. Впрочем, днем она спала, и крепко.

Менандр стал исчезать временами. Петер посвятил его в тайну Баттена, и Менандр взял на себя жизнеобеспечение беглеца. Там у них велась какая-то своя жизнь, и Петер с облегчением выпростался из-под одной из нош. Менандр на новом месте развернулся сразу и широко, и еда вновь стала генеральской.

Объявление о кончине генерала Айзенкопфа породило массу самых диких слухов. Большинство сходилось, впрочем, на том, что генерал остался жив, а сообщение сделано затем, чтобы ввести противника в заблуждение.

В одну из ночей, когда Менандр отсутствовал, бодрствующая Брунгильда услышала — сквозь бетон! — какую-то возню снаружи, а потом стон. Никого не будя, она сама с одним пистолетом в руке вышла на разведку и обнаружила на снегу человека; снег под его головой стремительно темнел. Без посторонней помощи она втащила его в блиндаж, и от этого шума хроникеры, наконец, проснулись. Зажгли свет. Это был Козак, без сознания, но живой. Кровь обильно лилась из раны на голове, нанесенной, видимо, лопатой. Петер, полив на руку шнапсом, пальцем залез в рану и убедился, что череп сапера удар выдержал. Козака перевязали потуже, приложили лед — кровь остановилась. В сознание он не пришел, но и умирать не собирался.

Пока он лежал на тюфяке, без сознания, но с хорошим пульсом и приличным дыханием, вдали под-

нялась заполошная стрельба. Все выскочили наружу. Палили где-то в районе штрафного лагеря, там летели вверх ракеты, осветительные и сигнальные, и разноцветные нитки бус повисали над подсвеченным снегом. Побег, наверное, подумал Петер, сейчас они разбегутся по лощинам, а кто не успел, того настигают эти самые бусы, издали такие медленные и нестрашные, и люди остаются лежать на снегу, а некоторые пытаются ползти или вырвать из себя застрявший свинец, он вспомнил, как на его глазах танкист, сидящий у своего разбитого танка, руками разорвал себе живот, и оттуда хлынула кровавая жижа, и сопровождавший Петера капитан-танкист, сморщившись, дважды выстрелил танкисту в голову... Кажется, лаяли собаки.

— Не нашего ли Менандра пресекли? — не слишком серьезно спросил Армант.

— Ну что ты, — отозвался Камерон, — Менандр непресекаем. А, Петер?

Петер промолчал. Не в Менандре было дело там, в трех-четырех километрах отсюда, не в Менандре... кажется, я догадываюсь... или только кажется? Что это со мной последнее время? Комплекс Кассандры, что ли? Не хватает начать ворожить, как Брунгильда, или, скажем, заняться составлением гороскопов... но эти чертовы предчувствия взяли за правило оправдываться — особенно дурные предчувствия...

— Надо бы сходить посмотреть, — неуверенно предложил он.

Оба подчиненных стали его уверять, что нужды в этом нет никакой, что все уже кончилось, а если не кончилось, то тем более нет резона подставлять голову. Петер с недоумением слушал их, потом вспомнил, как выглядели тела Летучего Хрена и Эка, и пошел греться. Козак все еще не пришел в себя, хотя вроде бы раз открывал глаза и что-то пытался сказать.

Петер сел рядом с Брунгильдой, приобнял ее за плечо — это было легко и естественно, все между ними прояснилось и сошлось на одном человеке — третьем — и никаких двусмысленностей и прочего быть не могло, — и спросил:



— Ты гадала на него?

Брунгильда поняла и кивнула.

— Ну и?

— Ничего, — сказала Брунгильда тихо. — То есть совсем ничего. Будто его нет никакого — ни живого, ни мертвого...

— Совсем нет?

— Будто и не было.

Брунгильда доверчиво и уютно прислонилась к нему, и, чувствуя тепло, не для него предназначенное, Петер испытал острую зависть к Шануру, к честному сопернику, который вдруг исчез не только из жизни, но и вообще из бытия, оставив лишь короткую память, которой нет доверия, — исчез даже из прошлого, будто стертый отовсюду огромным ластиком, и тут вдруг, представив себе этот ластик, Петер догадался обо всем — догадка еще не сформировалась, но Петер все равно знал, что вот сейчас, сейчас — чувство понимания буквально захлестнуло его и, видимо, передалось Брунгильде, она внезапно оцепенела, а руку ее, лежавшую свободно, сжало в кулачок, твердый и сильный; они отстранились друг от друга, и им не пришлось ничего говорить, чтобы понять мысли другого... это было как вспышка, короткая и жесткая, от таких вспышек высыхают лица и сужаются зрачки — и только благодаря им удается изредка прозреть душу насквозь, до самого дна, и заглянуть в нее без страха, со спокойным пониманием и снисхождением к собственным заблуждениям и слабостям. И еще Петер вспомнил, как они точно так же сидели с Шануром на этой самой койке и прислушивались к ходу времени, и оба поразились тогда холодности и равнодушию этого хода. «Воды времени холодны и мертвящи, и тот, кто войдет в них, никогда не выйдет обратно», — вспомнилось Петеру. Но Шанур, зная это, вошел в них, потому что не мог мириться больше с этим вселенским равнодушием к роду людскому, вошел, чтобы хоть брызг наделать... и нет Шанура, и не было никогда.

Камерон с Армантом долго не показывались, и Петер, оставив Брунгильду, вышел вновь, посмотреть, где же они, в такую беспокойную ночь следовало держать-

ся настороже. Они, оказывается, преспокойно любовались полярным сиянием. Сияние расцветало невысоко над горизонтом, над хребтом Ивурчорр, переливалось, переходя из красного в зеленое, нервно подергивалось временами, тускнело, потом разгоралось ярко — и погасло мгновенно, как перегоревшая лампочка. А на юго-востоке небо уже светлело, и вот оттуда, из светлеющего неба, протянулась вдруг огненная полоса и вонзилась в скалы неподалеку, беззвучно вспорола снежную пелену и, обрастая космами быстро остывающего пламени, ползла еще среди скал, теряя остроту и силу, и, пока она ползла, до ног докатился тугой толчок и последующие содрогания, а потом по воздуху долетел звук — неожиданно глухой, надтреснутый, рассыпающийся; потом там, где упавшее замерло в бессилии — след, пробитый им, горел желтым чадным керосиновым пламенем, — там вспухло что-то неясное, темное, клубящееся, и из этого темного и клубящегося вдруг ринулись змеи, и на секунду это стало напоминать голову Медузы, и Петер почувствовал на себе ее тяжелый, повелевающий окаменеть взгляд... тысячи змеящихся дымов рванулись в стороны и вверх, и вот они уже валятся сверху, а в ногах вата, ноги не сдвинуть с места и не перенести тела — в теле тоже вата, везде одна вата, такая дрянь... пятится назад Армант, то есть ему кажется, что он пятится, а лицо Камерона белее снега и белее ваты, а дымы валятся сверху, и уже не успеть, и тут рядом где-то заколотили в рельс — раз! раз! раз! р-раз! р-раз! — и заорали: «Газы!!!» Петера рванули за плечо, и, зацепившись за порог, он влетел в блиндаж, не удержался на ногах и упал, и тут же вскочил... Они набивали в щели какое-то тряпье и черную вату — Петер видел распотрошенный тюфяк, — они забили отдушины под потолком, потом Камерон жеваным хлебным мякишем стал залеплять дыру, через которую входил электрический провод, и тут погас свет. В темноте продолжалось движение, шевеление, шорох и неясные звуки работы, потом кто-то включил фонарик, и свет его был неожиданно белым и ярким.

— Дайте бинт, — сказал Камерон, — я руку ссадил.

— Сейчас, — отозвался Армант. Он пошарил где-то — лучик фонаря стал маленьким и ослепительным, — достал пакет. — Подставляйся.

— Я сам, — сказал Камерон. — Посвети.

Камерон поранился то ли гвоздем, то ли острым бетонным выступом. Рану залили йодом и перевязали — Камерон шипел и ругался.

— Промыть бы надо, — сказал Армант, — да воды...

— Ладно, — сказал Камерон. — На мне как на собаке.

— Долго нам тут сидеть? — спросила Брунгильда.

— Смотря что это было, — сказал Армант. — Если фтор-селенетин, то сутки. А если «би-куб», то... — Он замолчал, и молчание повисло над всеми, потому что все, кроме Брунгильды, знали, что такое «би-куб».

— То что? — спросила Брунгильда, не дождавшись прямого ответа.

— Ничего, — совсем другим голосом сказал Армант.

— Если «би-куб», то можно сидеть до второго пришествия, — сказал Петер.

— А как мы узнаем? — спросила Брунгильда.

— Никак, — сказал Петер.

Брунгильда повозилась в темноте, встала и подошла ко всем остальным. Теперь они сидели кружком на кровати и двух табуретках. Луч фонарика, чуть потускневший, но все еще сильный, бил в потолок и, рассеиваясь, падал на лица.

— Ребята, — сказала Брунгильда, — объясните бедной неграмотной женщине, что все это значит?

Она не любила недоговоренности.

— «Би-куб», — сказал Петер, — это особо стойкое вещество. Держится на местности до десяти дней. Особенно зимой. Воздуха в этом блиндаже нам на пятерых хватит едва ли на сутки. Противогазы от «би-куб» не спасают. Значит, через сутки будем решать — или задышаться здесь, или выходить. Вот и все.

— Понятно, — сказала Брунгильда.

И тут в дверь заколотили кулаками и прикладами.

— Откройте! — глухо доносилось из-за двери. — Откройте, гады!

— Сидеть, — сказал Петер. — Им уже не помо-  
жешь...

Все и так понимали это, но там, за дверью, были свои, которые... нет, нельзя. Поздно.

— Открывайте, гады! — кричали там, снаружи. — Сволочи! Заперлись, суки! Открывайте!

Поздно. Поздно. Те, за дверью, уже вдохнули яд, и теперь он разрывает им легкие. Сейчас они замолчат...

Они не замолчали. Они дали очередь в дверь, и пули тупо рванули воздух. В нос ударило горячим запахом жженого пороха, и Армант в два прыжка оказался у двери и трижды выстрелил в ответ. Слышно было, как упало тело. «Ложись!» — крикнул Камерон, он ждал гранатного взрыва, и Петер тоже ждал взрыва, но Армант, видимо, не понимал этого, тогда Петер рванул его от двери и прижал к полу. Так они и лежали, Армант слабо шевелился, потом Камерон сказал: «Пронесло». Петер поднялся. Камерон уже, торопясь, впихивал в отверстия от пуль черную вату и спички. «Помогай», — сказал он, и Петер стал разминать хлебный мякиш и замазывать им дыры поверх спичек...

Он стоял лицом к двери и не видел, как Брунгильда шла к Арманту, а Армант пятился от нее, как она приблизилась вплотную и вlepила ему тяжелую пощечину, — тут только Петер оглянулся, Армант уперся в стол и ерзал вправо-влево, пытаясь нащупать путь отступления, руками он закрывался, но Брунгильда, почти невидимая, отвечивала ему то с правой, то с левой руки, шепча при каждом ударе: «Мерзавец... подонок... крыса... мразь... ублюдок...» — и Армант не выдержал и завопил: «Уберите эту бабу!» — «Ах, уберите!» — восхитилась Брунгильда и вмазала ему еще. Камерон вовремя оказался рядом с ним, он перехватил руку Арманта, вывернул — шутя — ее за спину и отобрал пистолет, рукояткой пистолета он тихонько долбанул Арманта по затылку — не так, чтобы отбить память, а просто чтобы напомнить о такой возможности, — Армант обмяк и, обмякший, униженный, потек на свою койку и пролился на нее — и вдруг зарыдал.

Брунгильда, тяжело дыша, опустилaсь на кровать Петера. Петер сел рядом, потрепал ее по плечу.

— Ничего, — сказал он. — Как-нибудь... Ты только воздержись от резких движений, хорошо? Надо воздух экономить...

— А с тобой опасно связываться, — сказал Камерон. — Как... как... — Он не договорил и вдруг заржал, и Петер подумал, что, пожалуй, впервые слышит, как смеется Камерон, причем совсем неясно, по какому поводу.

И тут подал голос сапер.

— Твою мать, — громко и отчетливо, будто и не пролежал полночи без сознания, сказал он. — Есть тут кто живой?

Кап... кап... кап... кап...

Клепсида...

Если лежать не шевелясь, кажется, что и не лежишь вовсе и что тебя просто нет — и головная боль не твоя, ты лишь знаешь о том, что она есть... молюточки или капли? Кап... кап... тук. Тук. Тук. Тупо и беззлобно, не имея представления о том, как это больно... в виски... и в глаза — сзади. Больно до невозможности терпеть — но ты даже не тратишь силы на то, чтобы терпеть, ты просто знаешь, что боль есть и что она твоя, но это далеко в стороне и потому никому не интересно...

Волки, что ли, воют?

Откуда капает? Сил нет, как хочется пить...

Что? Ничего. Я молчу.

Вечер? Где вечер?

Стоят. Может, и заводил. Не помню. Осталась только клепсида.

Кап. Кап. Кап! Кап! Кап!!! Кап!!! Кап!!!

Пустите меня!

Пустите меня!

Пустите!!!

А... нет, ничего. Все в порядке. Карел. Голова — сил нет. Дурею. Скоро кончится.

...этот актер — который играл диверсанта и которого я в затылок — в ямочку между шеей и затылком, он даже не успел ничего почувствовать и повалился, как тряпичная кукла — я ведь успел понять — успел по-

нять — успел понять... только не выстрелить не смог — странно... и часового они — ножом — почему? До сих пор вижу, как он валится, — он умер мгновенно, раньше, чем упал, он падал уже мертвый, как тряпичная кукла, — тело мгновенно становится мягким и неуправляемым, потому что некому управлять — на секунду возникают эти видения, — я знаю, что не виноват, но почему я не смог задержать выстрел — будто катился под гору... ты говорил ужасные вещи, Карел, но это правда — мы виноваты — да, не только советник, мы все, потому что без нас он не мог ничего, — но если бы мы ушли, пришли бы другие, ничем не лучше нас... но саперы тоже не правы, потому что убивать нас бесполезно, и я даже не знаю, как быть... но теперь это все равно, потому что «би-куб» решил все за всех... Карел? Молчишь... все молчат... и я молчу...

Конец?

Это так бывает, да?

...что раздвинется, и мы вдруг увидим... город, простой город, смотри, вон там — здание театра, видишь? Нет, правее, вон за теми домами — зеленая крыша? Не видишь... смотри: три красных дома, чуть дальше — такая решетчатая башня, там радиостанция, дальше деревья, и группой — одинаковые белые дома — увидел? Вот, а за ними — зеленая крыша... да-да-да! Именно там сейчас идет это представление, на сцене — декорации блиндажа, и вы там задыхаетесь от нехватки воздуха, ты лежишь и бредишь, а Брунгильда поднимается и, спотыкаясь в темноте, идет куда-то...

Нет.

Я не хочу!

Что? Не бывает?

Это ты? Брун... когда? Прямо сейчас — потому что никогда больше... и умрем.. смерти без мучений... конечно... да... да... ты ведь все знаешь... знаешь все... да... такое... боже мой, боже мой!.. это куда-то, куда-то... куда-то... где... все... волна ушла — и теперь бесконечное падение, падение, паде...

Чернота. Нет ничего.

Как долго ничего нет.

И ослепительный грохот. Вспышки боли над глазами, и после вспышек чернота лишь сгущается, но куда меня волокут... холод — и с холодом приходит зрение...

...потому что снег, и луна прожектором, и в белом снегу белая женщина, встает и падает, и страшно холодно, я голый в снегу, и рядом еще кто-то лежит, мы лежим и пытаемся подняться, снег тает на телах, и они блестят... голая Брунгильда в голом снегу... немыслимо холодно, надо одеться — нет, правильно, надо растираться снегом, да-да, надо растираться, чтобы жарко... вот зачем... как вата... лицо, сначала лицо, грудь, руки, пошло дело, пошло, резко, как пригоршней иголок, но я уже могу, да, лежит Камерон и не движется, помогай, девочка, вот и он оживает, вот оживает и открывает глаза, еще не видит, но уже открывает, в глазах боль, но это ничего, дружище, это пройдет...

...Армант на коленях и растирается сам, и Козак возится в снегу, ему хуже вдвойне, но он крепкий мужик, и вот вроде бы живы все и движутся, и вот наконец можно увидеть все целиком: сугробы, огромные вокруг сугробы, и черный провал двери, и истоптанный снег, все залито белым лунным светом, и пятеро голых людей на снегу — и ничего больше нет в мире, кроме этого...

Дымка с разума сдвигается послойно, и вот холод уже не бодрит, а вгоняет в озноб, и пальцы не чувствуют пуговиц, как деревянные, тело не чувствует прикосновений, ладно, застегнем потом, все наброшено как попало, но держится и холод не пропускает, Брунгильда, ноги! Сейчас... Сейчас... Умница, Камерон, давай все в кучу, это бензин? Осторожно... ну, вот.

Вот и костер, и тепло, и живы, живы ведь, черт побери, черт вас всех дери — живы! Правильно, разливой скорей, продрогли насквозь, за воскрешение, так и разэтак!

Спирт вспыхнул внутри и потек по жилам — сначала к спине, вдоль спины, вверх и вниз, в живот, в пах, в плечи и шею, в голову — и боль ушла совсем, и руки уже теплы и можно наконец похлопать по плечам тех, кто рядом, ребята, да ведь мы родились опять, и пелена на глаза — но уже не черная, а розовая,

это от кружки-то спирта? Нет, братья, не так-то просто нас укокошить, но все-таки — кто открыл дверь? Ты? Брунгильда — ты? Да ты просто не понимаешь, что ты за человек, ты просто не можешь этого понимать, до гробовой доски — правильно, парни? До гробовой доски! И вытаскивала, да? Всех? Ребята, Брунгильде нашей — ура! Ура! Ура!!! В неоплатном долгу — это не слова, это так и есть. Нет-нет, очень серьезно — все твои должники...

...беззвучные вопли восторга исторгаются всеми и свиваются в единый вихрь, и в этом вихре несется Брунгильда и кружится в нем, ты с ума сошла, Брунгильда, боже мой, как красива Брунгильда, мир никогда не видел женщины красивее, чем ты, — и никогда не увидит, ты же замерзнешь, дурочка, оденься! Да, сошла с ума, да, сошла, да — хочу и буду, хочу и буду! Вот так, и вот так, и вот так... Петер наконец ловит ее, прижимает к себе — Брунгильда дрожит, — и Камерон набрасывает на нее шинель, и ее несут к огню и отогревают у огня, тихо и бережно, и растирают ледяные ступни, и чьи-то носки из толстой шерсти, и знаменитый свитер Менандра в три пальца толщиной, и вот из свертка видны только два огромных темных глаза, а мужчины все еще хлопочут о тепле...

Потери, причиненные газовой атакой, были огромны. Они были бы катастрофичны, если бы не внезапная метель, разразившаяся днем. Почти ураганной силы ветер снес зараженный снег, а потом выпал снег свежий, и стало можно жить. Повезло...

Две недели до Рождества были суматошны — срочно, срочно, чрезвычайно срочно восстанавливались — фальсифицировались — киноматериалы о строительстве: начиная с первых кадров и кончая сценами торжеств по поводу завершения перекрытия. Одновременно штрафники строили в некотором отдалении громадный павильон, где был прорыт очень похожий, только маленький, Каньон — ну не такой уж маленький, двадцать метров в ширину, двадцать пять — в глубину. Копии сооружений были похожи, но уж очень аккурат-



ны, видно было, что это подделка, но господин Мархель был доволен, особенно ему нравилось, как лежат блики от блестящих ферм моста на скалах — то, что надо, восторгался он, то, что надо!

Странно, но газовая атака будто обрубилa прошедшее время и память о нем. То, что было до газов, казалось уже страшно далеким и полузабытым — едва ли не легендарным. История почему-то начала свое течение вновь, с новой точки отсчета — Петер уже обращал внимание на подобные феномены человеческой памяти, будто, перегрузившись, она сбрасывала и оставляла позади недавнее и начинала впитывать новые впечатления...

Менандр готовил елку — он раздобыл где-то елку на этом безлесом Плоскогорье и теперь наряжал ее в полном соответствии со своими вкусами. Было много ваты, посыпанной слюдяным блеском, и много свечей, и куклы с умильными рожицами, и апельсины на ниточках, Менандр был в своей стихии, и Петер с удовольствием смотрел на него: как он осторожно и аккуратно развешивает по колючим лапам яркие стеклянные бусы — не хватало дюжины ребятишек в масках и Санта-Клауса с его оленями, и ведьм на крыше, и самой крыши, и все это было бы уместно где-нибудь на фермерском Юге, а здесь только взбивало пену на поверхности и поднимало муть в глубине... Менандр был чужд подобных переживаний и радовался, что может соорудить уголочек прошлого — уголочек детства — здесь, среди снега и железа, и не понял бы ничего, если бы ему сказали правду.

— Индейки не нашел, — сказал он, с исключительным изяществом сервируя стол. — Но гусь — это тоже неплохо.

Гусь вплыл на деревянном блюде, распространяя сводящие с ума ароматы, и это было настоящее Рождество — может быть, последнее, потому что носились в эфире слухи о том, что искоренение старой религии зайдет достаточно далеко и день Рождества заменит День Тезоименитства Его Императорского Величества, — но пока что было можно, и все поздравляли всех с веселым Рождеством и стали делать друг другу ма-

ленькие подарки: Петер подарил Брунгильде дамский браунинг, очень маленький и изящный, как игрушка — игрушка исключительно точного боя; Камерону досталась трубка из корня арчи — выточили саперные умельцы еще летом; Армант получил двенадцатикратный цейсовский бинокль и очень обрадовался; подарок для Менандра был особой проблемой, по части достать Менандр мог все, и ему Петер торжественно вручил пачку писем из дому, пришедших в редакцию и доставленных сюда только вчера вечером. Надо было видеть лицо Менандра! Размашистый почерк жены; бисерные почерки трех дочерей; внуки и внучки писали печатными буквами... Сам Петер от коллектива получил букет цветов — Менандр мог все! — две бутылки коньяка: «Бурбон» и «Бисквит», и новую зимнюю шинель, мягкую, пушистую, подбитую волчьим мехом. Гусь был хорош, коньяк был превосходен, весь мир остался за толстыми бетонными стенами, за бетонным покрытием, за снегом и темнотой зимнего вечера, здесь было тепло, сыто, пьяно, а настроение не приходило.

— А знаете что? — сказал вдруг Менандр. — Говорят, что наш Христиан где-то объявился.

— Как — где-то? — воскликнул Петер и боковым зрением заметил, как напряглась и распрямилась Брунгильда.

— Да вот — разное говорят, — пожал плечами Менандр. — Ерунду главным образом. То — что в лагере он, а то вроде как у зенитчиков его видели. Вроде как... ну... как бестелесный он все равно. Ходит и смотрит... говорит... разное.

— Так, — сказал Петер; он сразу вспомнил Хильмана. — И что он говорит?

— Так я что, слышал разве? — сказал Менандр. — Разное говорят. Кто что хочет — тот то и говорит.

— Легенды, наверное, — нервно сказал Армант.

— Может, и легенды, — согласился Менандр. — Сам не видел, врать не буду. Но — говорят...

— Мало ли что говорят.

— Это конечно.

— Мен, — хрипло сказала Брунгильда, — где его видели?

— У зенитчиков, — начал перечислять Менандр, — потом, говорят, в лагере — ну, те, которые в павильоне работают, они говорили кому-то, — потом видели, как он по дороге шел, далеко отсюда, шофер подвезти хотел, а Христиан отказался — вот. Ну, и еще, говорят, по ночам в блиндажи заходит, разговоры ведет — но тут уж, сама понимаешь, все молчок — где, с кем...

— Петер? — посмотрела на него Брунгильда.

Петер помолчал.

— Думаю, если это правда, — медленно сказал он, — то нас он не минет.

— Что ты говоришь, Петер? — удивился Армант. — Ты вправду думаешь, что такое может быть?

— А почему нет? — сказал Петер. — Тело-то не обнаружено.

— Тогда он — дезертир, государственный преступник!

— Да? — удивился Петер. — Интересная мысль.

— Ты странно относишься к такому важному вопросу! — гнул свое Армант.

— Тебе же сказали — он бесплотен, — сказал Петер. — А бесплотным может быть только дух. Потеряв тело, человек автоматически выбывает из рядов, и о дезертирстве речи быть не может.

— Это словесные выверты, — Армант, похоже, захмелел. — Суть дела состоит в том, что ч-человек может потерять плотность, а может ее и вернуть — так бывает, я знаю, это не имеет ничего общего с потерей тела, то есть со смертью. Я помню, как вы с ним говорили про это — я вошел, а вы меня не видели и сидели, а потом у вас чуть до стрельбы не дошло — я по-омню! — Он хитро прищурился и погрозил пальцем. — Хитрые! Думаете, я ничего не знаю? Я все-е знаю...

О-ла-ла, подумал Петер, а пацан показывает зубки... Ладно, потом.

— Господи, — глухо сказала Брунгильда, — да что они с ним сделали-то такое? Петер, что они с ним сделали? Ведь он за них все — душу, кровь... все... а они? За что? Как так можно ослепнуть, чтобы своих?..

— Можно, — сказал Петер. — Еще и не так можно. Саперы ведь видят — мы появились, и пошла всякая мерзость. Значит, мы виноваты. Значит, нас под ноготь... виноват, к ногтю. Что они, могут со стороны разобратся, кто именно виноват? Да ни черта. Ни черта! И мы ни черта не можем, вот в чем самая-то беда...

Снег сыпал и сыпал, изо дня в день, понемногу, мелкий и редкий, но он сыпал без перерывов и заваливал все на свете, и все силы вскоре приходилось тратить на пробивание дорожек и дорог, на расчистку площадок и прочее, и прочее, и прочее. Козак заходил редко, с оглядкой — как он говорил, антикиношные настроения вроде бы рассосались, но опасаться, чтобы тебя еще раз рубанули сзади лопатой, приходилось. Вероятно, наиболее активные сторонники террора погибли при газовой атаке, а сами киношники, удалившись в павильон, больше глаза не мозолили и рецидивов ненависти не вызывали. Работы стояли прочно, на мертвом якоре. Для чего-то саперы выходили на свои места, крутились по стройке, создавая иллюзию какого-то движения, но за последний месяц мост не прибавился ни на одно звено.

На экране же дело обстояло следующим образом: после восстановления разрушенной электростанции очень быстрыми темпами мост был достроен, соединен с противоположным берегом и закреплен. Предварительно там был высажен воздушный десант, который захватил плацдарм и удерживал его до момента введения моста в эксплуатацию. Танковая армия — пластмассовые танки в одну пятидесятую натуральной величины — форсировала Каньон и прорвала наспех возведенные оборонительные сооружения противника. Однако противник не терял надежды на контрудар. Высадив танковый десант в нашем тылу, он попытался прорваться к мосту, но был остановлен и в тяжелом бою разбит наголову артиллеристами и саперами. Апофеоз — генеральное наступление — решено было снимать на натуре, и не здесь, а на юге, и не сейчас, а весной.

— Темпы, темпы, темпы! — господин Мархель метался по своей резиденции — пол был завален испитыми и смятыми листами бумаги, окурками дорогих

сигарет, фотографиями и кусками киноленты. — Как показать темп? Как *создать* темп? Петер, ты что молчишь?

Петер сидел, закинув ногу на ногу, и курил дорогую сигарету господина Мархеля. Они только что просмотрели отснятое, и... темп, господа, темп! Видно было невооруженным глазом, что саперы еле передвигаются.

— Не молчу, — сказал Петер. — Я думаю. И думаю, что надо не форсировать темп, а оставить так, как есть. Пусть будет видно, до какой степени измучены люди, что они еле стоят на ногах, — но мост тем не менее построен. Как, Гуннар?

— Императору может не понравиться. Он не любит излишнего натурализма.

— Тогда дать им недельку отдохнуть, отоспаться, подкормиться — и переснять. Снять-то надо метров двести...

— Подкормиться... подкормиться... — пробормотал господин Мархель. — Пожалуй, да. Неделку, говоришь? Может, поменьше? Дня два-три?

— А куда торопиться? — спросил Петер. — Давай пока смонтируем остальное, а эти куски вклеим.

— Н-ну, давай... — как-то неуверенно сказал господин Мархель.

С ним в последнее время творилось что-то не совсем понятное — будто кончался завод его пружины, и в движениях и действиях стали возникать паузы и перебои. Не раз он принимал предложения Петера по поводу фильма и не раз уступал ему в спорах. Петер, каждый раз ожидавший упрямого сопротивления, терялся, когда вместо каменной стенки на его пути оказывалась труха, и не доводил дело до конца. Сейчас, почуяв слабость, он двинулся дальше:

— Да, Гуннар! Мы ведь забыли об одном деле — об одной сцене. Арест майора Вельта — до сих пор не снят. А может получиться очень эффектно!

— Да-да, — согласился господин Мархель. — Надо снять. Сделай это, пожалуйста. Комендантских тебе дать?

— Не надо, — сказал Петер. — Ну их. Я саперов возьму.

— Хорошо, — согласился господин Мархель. — А вечером суд.

Петер уже выходил, когда господин Мархель окликнул его:

— Подожди! Мы же не переснимали предателей — так за что же арестовывать майора?

Петер нашелся сразу — вероятно, ответ был уже заготовлен и лежал под рукой, один из многих:

— Как за что? За гомосексуализм, конечно.

— А! Ну да, — вспомнил господин Мархель. — Конечно. Извини, склероз...

Но арестовать майора Вельта не удалось: увидев вооруженных саперов и операторов, он понял, в чем дело, попытался бежать, потом открыл пальбу; саперы, разумеется, в долгу не остались...

— Ну вот, — недовольно сказал Петер. — Хоть бы морду целой оставили, что ли...

— Душу отвели, — сказал Козак, забрасывая автомат за спину.

Выход нашли: Арманта, похожего фигурой на майора, одели в майорскую форму, и Петер снимал со спины, как его ведут в блиндаж, запирают за ним дверь и пломбируют ее, и два сапера с автоматами становятся на стражу; потом господин Мархель в полковничьем обличии прочел Арманту — Петер опять снимал со спины — приговор, согласно которому майор Вельт за поведение, позорящее честь офицерского мундира, приговаривался к пожизненному заключению и полному поражению в правах.

— Скомкали эпизод, — сказал с сожалением Петер. — Могло лучше получиться.

— Сойдет, — сказал господин Мархель. — Не будем отвлекать внимание зрителя на второстепенные сюжетные ответвления.

Вечером этого дня Петера попытались убить. Он возвращался из павильона один, и вдруг перед ним вырос человек, и скрипнул снег сзади, там тоже кто-то был, человек поднял руку и что-то сказал, Петер не расслышал, потому что, сделав обманное движение вправо, сам отклонился влево и повернулся боком, выстрел был глухой и мимо, Петер бросился в ноги

стрелявшего, но тот успел выстрелить еще раз, и Петера обожгло вдоль спины, он сбил мазилу с ног, кто-то топтался рядом, Петер крепко держал своего противника за кисть с пистолетом, еще раз грохнул выстрел, потом из темноты мелькнул сапог — прямо в лицо, вспышка была поярче, чем от гранаты, но Петер выскользнул из-под этой вспышки, пистолет был уже в его руке, и он выстрелил по метнувшемуся еще раз сапогу, и тут вдруг стало легко, кто-то оторвал от него противника, потом ему терли снегом лицо, и, кажется, Козак сказал: «Ну и уделали тебя!» И тут вдруг поплыло, и очнулся Петер уже в тепле.

Это был тесный блиндаж саперов, он лежал на нарах, было душно и накурено, горел свет, саперов было много, во рту горело от рома, и кто-то сказал: «О! Сразу и полегчало. Налей-ка еще», — и ему поднесли еще кружку, Петер выпил и пришел в себя окончательно. На правом глазу был бинт, вообще вся правая половина лица была как деревянная, и страшно горела спина.

— Говорил же я тебе — на хрена ты ходишь в одиночку? — сказал Козак, он был здесь, и еще были знакомые лица, а в углу сидели двое с набитыми мордами — должно быть, покушавшиеся.

— Эти, что ли? — кивнул на них Петер.

— Они, — сказал Козак, — они, родимые...

— Зачем это вы, ребята? — спросил их Петер.

— Мы уж тут пытались им внушить, — сказал Козак. — Но тупые, как пеньки. Деревня...

— Сами вы тупые! — сдавленно сказал один из тех, помоложе. — Не видите, что ли — продали нас всех на корню! Это же заговор! А-а... — Он обреченно махнул рукой.

— Так ты что же думаешь — киношников перебеешь, и все пойдет как по маслу? — спросил Петер.

Тот промолчал, глядя исподлобья, зло, как хорек.

— Чего молчишь? — ткнул его в бок Козак.

— Погоди, Карел, — сказал Петер. — Ребята не разобрались — бывает. Давайте с начала. Не было киношников — все шло хорошо. Приехали киношники — все стало плохо. Значит, убить киношников — и все опять будет хорошо. Так, что ли?

— Ну, — сказал один из тех. Другой молча кивнул.

— Поздно убивать, — сказал Петер. — Надо было сразу. В первый же день. Теперь уже поздно. Карты сданы, и игра сделана...

— Вот и Христиан про то же говорил, — сказал Козак.

— Да, — сказал Петер. — Это все равно что пытаться остановить камнепад, вытащив из него самый первый камень — с которого началось... да и началось-то еще до нас... Я не знаю — все так перемешалось, — где есть наша вина, где ее нет... но главное — это подлость и трусость и вашего генерала, и нашего советника... и ваша, господа саперы, черт вас подери с вашими доносами и тотализаторами...

Саперы зашевелились, но никто ничего не сказал.

— Ладно, дело прошлое... хотя... ладно, — решительно оборвал себя Петер. — Вот я вас спрашиваю: вы все — хотите, чтобы о вас — о таких — память осталась? Или не хотите? Или — чтобы пригладить, причесать, подмазать? Как вам желательно?

Мялись саперы. Мялись, чесали затылки, подбородки, ладони, было им неловко говорить, что выбрали бы они, конечно, вариант подслащенный, чуточку сокращенный — потому что же... живые ж люди... жить-то хочется, правда?

— А, Карел? Ты-то что молчишь?

— Да я не молчу... В общем, так' делай, как нужно. Понял? Мне, может, и не все хочется... только надо — чтобы все. Правильно, мужики?

Мужики ворчали что-то неопределенное, что, мол, грехи и прочее, и жись прожить — не поле перейти, да ты не обращай внимания, жаль, конечно, когда о нас плохое думать будут — так не надо было по-свински, — ну и так далее...

— А вашего черного я все равно убью, — сказал тот, похожий на хорька.

— Толку не будет, — сказал Петер. — А себя погубишь.

— Я не для толку. Я так... для себя.

— Ваши тогда, до газов, убили?... — Петер сглотнул, так почему-то резануло это воспоминание о предчув-



ствии, что вот этот, сидящий перед ним, — и есть убийца Летучего Хрена, Эка и Шанура. — Убили полковника, оператора и шофера?

— Наши, — кивнул тот. — Оператора не убивали, неправда. Он сбежал потом.

— Сбежал? — выдохнул Петер.

— Так я же тебе говорил, что видел его потом, — сказал Козак.

— Ничего ты не говорил.

— Только что говорил — видел его и разговаривал.

— Я не понял — что после того... Где он сейчас?

— Не знаю. Ходит где-то. Говорил, что будет ходить и смотреть — и думать.

— Подожди. — Петер опять повернулся к террористу. — Если это ваши — то где киноленты?

— Раздали по рукам. На сохранение. Но это еще до газов было, теперь где и что — мало кто знает.

— Ваш же Менандр их на тушенку выменивал, — сказал Козак. — Ходил и выменивал. Штук пятьдесят, наверное, унес, а то и больше.

— Менандр? — удивился Петер. — Ничего не понимаю.

— Он тебе не говорил?

— Ничего. Ну допрыгается он у меня. Ты тоже отдал?

— У меня не было, — сказал Козак.

— Проклятье... — Петер сжал пальцы так, что они хрустнули. — Ребята — если кто найдет, если у кого есть, если кто знает, где спрятано — отдавайте мне. Тушенки у меня нет, но что-нибудь придумаем.

— Да что мы, совсем уж шкурники, что ли, — сказали саперы. — Принесем, если найдем, чего уж там...

Менандра не было, Петер перевернул весь блиндаж вверх дном, но ничего не обнаружил. Камерон и Брунгильда, матерясь, помогали ему, причем Камерон вспомнил, что дня три назад видел Менандра перебиравшим коробки с лентой, но и не подумал поинтересоваться — проклятье! — а Брунгильда высказывалась весьма произвольно по поводу всего на свете, пока Петер не сообщил ей свежую информацию о Шануре —

она ахнула, села и молча сидела очень долго, будто ждала, что вот сейчас он войдет — никто, конечно, не вошел, а Петер вдруг ощутил страшную тяжесть во всем теле и еле дотащился до койки, оставив Камерона убирать все, что они пораскидали, в обжитом блиндаже оказалось поразительно много вещей, однако уснуть не смог, задремал и застонал, так заныло лицо и спина. Брунгильда разбинтовала его и, чуть не плача, стала промывать заплывший глаз и прикладывать снег к скуле, а со спиной вообще ничего нельзя было сделать, пуля сорвала узкую и длинную полоску кожи, даже перебинтовать это было трудно, наконец Камерон придумал приклеить бинт вдоль раны клеем для киноленты, и, неожиданно успокоившись, Петер крепко уснул. Во сне он видел Шанура, Шанур что-то говорил ему, но Петер не понимал ни слова, будто Шанур говорил на каком-то ином языке, а потом Шанур повернулся и пошел прочь, Петер попытался удержать его, но рука проходила сквозь Шанура свободно, как сквозь призрака...

Утром его разбудила короткая, но злая канонада — звук, когда-то фоновый, стал редким, а потому резким и тревожным. Через несколько минут в блиндаж влетел Армант, схватил камеру и выскочил наружу, потом медленно и разочарованно вернулся и в ответ на вопрос Петера: что случилось? — рассказал, что только что над мостом появился странный круглый, как тарелка, самолет, завис неподвижно — зенитчики, наверное, растерялись, потому что огонь открыли не сразу — и стал спускаться, и уже метрах в ста от земли его накрыли. Самолет оказался чрезвычайно живучим, видно было, что снаряды попадают прямо в него и взрываются внутри, а он все пытался уйти из-под огня, поднялся довольно высоко, но попал в сектор обстрела восьмидюймового дивизиона, и эти его доконали — упал в каньон. Очень живучий. Круглый такой. Никогда таких не видел...

Три дня Петер не вставал — не мог. Организм взбунтовался, ноги не держали, от малейшего усилия пробивал пот, и, втайне от себя довольный этим, он пролежал, читая какую-то ненормальную книжку без

начала и конца, не зная ни автора, ни названия — речь шла о владельце какого-то затерянного в горах города-государства, который расчетливо и жестоко вытравлял в своих подданных все человеческое, превращая их постепенно в подобия марионеток, послушных воле и руке владельца; в начале описывалось, как он, размышляя о жизни, жег спички и смотрел на огонек — точно так же в конце он, размышляя, доводил своих подданных до убийства или самоубийства, не прямыми приказами, а непонятными на первый взгляд действиями, поручениями, словами, но в результате получалось именно то, чего он хотел, — причем обязательно в его присутствии. Можно было бы подумать, что он развлекается этими убийствами, но, наоборот, — с каждым разом он становился все мрачней и мрачней и, предаваясь размышлениям о человеческой природе, поджигал новую спичку... Конец был оборван, и неясно было, чем это все может кончиться.

Только в конце февраля удалось «восстановить» фильм. Господин Мархель вновь был оживлен и вновь все понимал — но теперь у него было более благодарное, чем натура, место приложения сил. Менандр стал вдруг неуловим, как Фигаро, — Менандр здесь, Менандр там — именно там, где Петера нет; Петер уже подумывал о том, не арестовать ли гада, но решил не рисковать — черт его знает, что выйдет из этого ареста, а у него вон какая семья. Саперы, хоть и обещали поискать спрятанные ленты, так ничего и не принесли.

Первого марта день был ясный, небо прозрачное, и бомбардировщик увидели вовремя, но он шел высоко, один, и огонь пока не открывали — смысла нет тратить снаряды по цели, идущей в двенадцати километрах над тобой. Крохотный светлый крестик прошел над головой в тыл, там развернулся и пошел обратно, и всем было ясно, что это разведчик и следует готовиться к налету — как вдруг высоко, прямо в зените, раскрылся парашют. Маленький белый крутлый купол. Один. Это было непонятно, и все прикинули к биноклям, а парашют снижался довольно быстро, и вот под куполом, в центре его, стало видно что-то черное и круглое, это был явно не человек — бомба! Все знали уже об этих новых

бомбах и потому сначала оцепенели, а бомба спускалась сверху, как по нитке, прямо на головы, и вот сейчас она вспыхнет белым — и все люди испарятся, как капли воды на раскаленной броне, и камень, размягченный, потечет вниз, туда, где в немыслимом жаре, оседая, плавятся и корежатся железные балки, потом по всему этому сверху туго ударит волна и расплещет, смешивая, камень и металл, и потом, когда все остынет, никто никогда не поймет, где и что было и где кто стоял...

Петер увидел это — и в тот же миг воздух над его головой загудел от густой пулеметной струи, кто-то успел — бомба задержалась под куполом и, оторвавшись, полетела вниз, упала — Петер не мог оторвать взгляд от нее, — и, раскалившись, загорелась зеленоватым и очень жарким пламенем, остывающим в густой белый дым, и несколько саперов бросились туда, к обломкам бомбы, и ломami, лопатами, прикладами, сапогами стали подталкивать их к обрыву, и Армант был среди них с камерой, потом он бросил камеру на землю и тоже, схватив руками что-то, побежал к обрыву и швырнул туда это, потом вернулся и вдвоем с кем-то, прикрываясь руками от жара, потащил по снегу горящий обломок, другие пытались снегом тушить самый большой костер, но от снега он только разгорался, но уже кто-то завел трактор и неся туда на тракторе, вспарывая снег, и вот все отошли, и в дело вступила техника. В две минуты бульдозер сгреб все в кучу и спихнул вниз, и саперов тут же раздели догола и голых погнала в баню — так было надо. Все побросали вниз — и одежду, и то, чем они работали, только камеру Арманта Петер подобрал и, вынув из нее кассету, бросил камеру туда же.

Пережитая почти наяву смерть-испепеление смутила его, да и не только его, все вокруг говорили чересчур громко и весело и смеялись или противно, или ненатурально, стараясь притвориться дурачками, которым все равно — жить или не жить; на войне вырабатывались своеобразные правила хорошего тона. Но скоро они примут свои законные двести пятьдесят, и все станет простым и вполне приемлемым — так вот и живем... и

помираем так. А что? Нам помереть — это раз плюнуть. Эх, солдаты-солдатики, оловянные лбы...

Вечером Арманта сильно морозило, но к утру он успокоился и уснул. Петер намеревался отправить его в тыл, но господин Мархель и слушать не захотел — самого дисциплинированного оператора — и в тыл? Ну нет!

Кассету, снятую Армантом на тушении бомбы, Петер проявил, но лента почему-то оказалась засвеченной.

Наконец Петер выловил Менандра. Для этого пришлось устраивать форменную засаду. Менандр, прижатый к стенке, сознался в том, что выменял у саперов шестьдесят две коробки с отснятой лентой и что действовал, не ставя в известность начальника; но, оправдываясь он, секретность была необходима для безопасности самого начальника — резонно? — а ленты хранятся в самом надежном месте, в берлоге Баттена, и о них можно не беспокоиться. Все было логично, и Менандр был предан и смотрел прямо в глаза, готовый обидеться за то, что возникли такие гнусные подозрения — в том, что он, Менандр, мог совершить нечестный поступок, — а все равно беспокойство Петера не уменьшилось, просто он уже не мог понять, из-за чего оно. Не из-за лент, выходит? Из-за Шанура, да? Или еще что-то висит? Ни черта не понятно...

Еще неделю возились в павильоне, доснимая кое-что — так, детали; Армант почти поправился, только изредка его знобило. Сняли фантастическую сцену, сочиненную господином Мархелем, вероятно, в момент обострения гениальности: полковник Мейбагс, узнав, что бомбой убило повара, сам становится на его место, готовит саперам обед и, в белом халате и колпаке, разливает им по котелкам суп.

Петер, пользуясь своей невидимостью, пробрался мимо часовых на настоящую стройплощадку. То, что он увидел там, даже не удивило его, но почему-то надолго испортило настроение: все суетились, на сборке саперы старательно приваривали звено к месту его крепления, потом так же аккуратно отрезали электропилами; шум стоял дикий. Насосы работали и исправно

гнали масло в гидроцилиндры, но штоки поршней были отсоединены от фермы моста и выдвигались вхолостую. Петер снимал это и чувствовал, как что-то тяжелое сдавливает грудь, мешая вдохнуть. Нет, какого дьявола, со злостью отбросил он от себя эту тяжесть, мне он, что ли, нужен, этот мост? Пусть у тех, кто это все затеял, голова болит, а я... Не помогало почему-то. Он повесил камеру на плечо и ушел.

Камерон выслушал его, похлопал по плечу, сказал: «Так оно все же лучше, чем если он обвалится», но проклятая тяжесть не проходила.

Штрафники, работающие в павильоне, рассказали Петеру, что генерал Айзенкопф на самом деле не погиб; на него готовилось покушение, но его вовремя предупредили, и он успел скрыться, и сейчас он готовит в тылу танковую армию — ту, которая должна пройти по мосту и принести нам полную и окончательную победу, — и скоро будет здесь с танками и снесет к чертям лагерь, и будет судить всех, и тогда все свое и получат: и Вельт, и этот ваш черный, и комендантский взвод — все.

Примерно такие слухи ходили и среди саперов. На ухо шептали, что конец бардака не за горами и скоро вернется человек с твердой рукой. Козак сказал, что многие саперы носят с собой фотографии генерала, хотя по нынешним временам за такую фотографию легко влететь и за проволоку.

Наконец, появились подметные листки. От руки или по трафарету был изображен генерал в профиль, и текст гласил: «Я иду».

Армант разболелся по-настоящему. Он температурил, кашлял, покрылся какой-то гнусной сыпью, Петер не выпускал его наружу и заставлял лежать. Брунгильда, после газовой атаки смотревшая сквозь Арманта, не устояла против женской природы — обиходить больного — и подолгу сидела рядом с ним, то молча, то беседуя о чем-то. Шла уже середина марта, все еще зимнего месяца в этих широтах, но день становился заметно длиннее, и, кажется, изменился воздух — не было теперь в нем сплошной заledenелости и звонкос-

ти, что-то добавилось, что-то ушло, и небо странным образом поменяло оттенок; иней с него смахнули, что ли? Бледные зимние закаты налились кровью, и однажды такой закат, раскатанный на полнеба, вдруг оборвался пронзительной зеленью. В этот вечер пришел Шанур.

Менандр рыскал где-то, Камерон и Брунгильда были заняты в павильоне, Армант спал, тяжело дыща; Петер чистил пистолет. Шанур вошел неслышно, не открывая двери, позвал:

— Петер!

Петер, хоть и ждал подспудно этого визита, хоть и узнал голос, — вздрогнул и судорожно ухватился за рукоятку собранного пистолета. Потом заставил себя расслабиться и обернулся. Шанур шел к своей койке, застеленной по-прежнему, как и было в тот день, когда он уехал. Поначалу Брунгильда ухаживала за койкой, как за могилой, а потом как-то по-другому.

— А, это ты, — сказал Петер. — Хорошо, что пришел. Почему не сразу?

Шанур смотрел на него темными глазами и ничего не говорил.

— Я почему-то уверен был, что ты жив, — внутренне суется, чувствуя эту суету и ненавидя себя за нее, продолжал Петер. — Внутри, знаешь ли, такое... ну, понимаешь, как лампочка горела — живой... хорошо, что так получилось... то есть что я несу — хорошо, что обошлось. Ну рассказывай.

Шанур покачал головой.

— Ты суетишься, Петер, — сказал он негромко. — Ты устал?

— Конечно, — сказал Петер. — Я вот и чувствую, что суечусь. Но я очень рад тебя видеть.

— Хорошо, — сказал Шанур.

— Где ты... — Петер хотел сказать: «Скрываешься», но не сказал, неудобно получилось. — Живешь?..

— Хожу, — сказал Шанур. — Просто хожу везде. Нигде не задерживаюсь.

— Вот ты-то и устал, наверное?

— Смешно, — сказал Шанур, — но как раз на этом я замечательно отдохнул. А ты устал и...

Он замолчал вдруг и посмотрел на Арманта. Армант приподнялся на локте.

— Явление Христиана народу, — сказал он. — Или мне снится?

— Нет, — сказал Шанур. — Я пришел.

— Мне не о чем с тобой говорить, — сказал Армант.

— Ну и что? — сказал Шанур. — Это ничего не меняет.

— На что ты рассчитываешь, кретин? — сказал Армант.

— Ни на что, — сказал Шанур. — Уже ни на что.

— Ты скрываешься, ты прячешься, хочешь выжить, ты неуязвим, — горячо заговорил Армант, — говоришь саперам такие правильные слова про правду и долг перед историей, а сам прячешься от своего долга... ты присягал, а где твоя верность присяге? Ты неуязвим, а предлагаешь саперам заниматься тем, за что их расстреливают. Ты думаешь, они этого не понимают? Это подло — то, что ты делаешь!

— Нет, — сказал Шанур. — Это не подло. Когда убили полковника и Эка, а меня оглушили и заперли в подвале, я точно знал, что я должен делать, — я должен был ходить и объяснять всем, кто и в чем виноват и что главное сейчас — это оставить правду обо всем, что здесь происходит. Я научился говорить и находить самые нужные слова, но потом они отворачиваются — хотя и соглашались со мной, и говорили, что за меня и за правду пойдут в огонь и в воду, — но они отворачиваются, и все продолжается, как шло, хотя каждый из них считает, что теперь-то он горой стоит за правду и будет стоять до конца, понимаешь? Каждый стоит горой за правду, но все равно позволяет твориться лжи и позволяет делать с собой что угодно, я давно перестал понимать это — просто привык. Каждый по отдельности — борец за правду, а все вместе — глина, лепи из нее...

— Дурак, — сказал Армант. — Тебе надо было три месяца отираться меж них, чтобы понять это?

— Да, — сказал Шанур. — Три месяца и одиннадцать дней...

— А я, наверное, умру скоро, — сказал Армант. — Уже волосы выпадают.



— Из-за этой бомбы? — спросил Шанур.

— Да, из-за дыма. Говорят, кто его вдохнет — уже все. И знаешь — совсем не страшно. Только очень жалко. Особенно как о родителях подумая...

— Я вот тоже.

— Тебе лучше.

— Конечно, лучше. Моя мама всегда твою жалела, говорила: не дай бог, с Ивом что-нибудь случится, Франсуаза не переживет.

— Помнишь, когда лазили по скалам и вы думали, что я струсил?

— Глупые были. Ты мне тогда правильно врезал.

— Я бы тебе и сейчас врезал, да сил нет.

— Найдутся, врежут, ты не думай.

— Я ничего, — сказал Армант, откидываясь на подушку. — Просто зря ты это...

— Наверное. Петер, я похож на сумасшедшего?

— Слегка, — сказал Петер.

— Это плохо. Сумасшедшие вызывают жалость или брезгливость, а надо другое...

— Эх, ты, — сказал Армант, глядя в потолок. — Вера им нужна. Просто вера. Заставь себе поверить — и за тобой пойдут. Юнгман и генерал пообещали победу, скорую победу и славу, саперы поверили — и вот он, мост. Придумай что-нибудь хорошее и заставь их в это поверить, убеди — они мигом продадутся тебе душой и телом, причем учти: продадутся в кредит без начального взноса. Сейчас как раз кризис, в скорую победу никто уже не верит. Попробуй. А твоя правда — это не товар. Что им от правды — теплее станет? Думай, Христиан...

— Нет, Ив, — сказал Шанур, покачав головой. — Это не выход. Это кружение в той же плоскости.

— А ты желаешь подняться над плоскостью?

— Да.

— Поднимая себя за волосы? Или взмахивая руками и громко жужжа?

— Как-нибудь.

— Хорошая программа: научиться подниматься над плоскостью, потом летать, потом научить летать саперов, построить их в клин и улететь в жаркие страны...

— Хорошая, Ив. Самое забавное, что ты почти угадал.

— От тебя несет покойником. Боже мой, как от тебя несет...

— Я жалею, что начал всю эту возню... но надо было выбирать, и почему-то вышло это. Теперь надо продолжать... надо заканчивать.

— Их не расшевелишь, — сказал Армант.

— А вдруг? — невесело усмехнулся Шанур. — Бывают же на свете чудеса. Потом жить — и думать всю жизнь, что мог попытаться, но не попытался.

— Или не жить, — сказал Армант.

— Или не жить, — согласился Шанур. — Это тоже выход.

— Это не выход, — сказал Армант. — Я даже не знаю, что это. Просто очень жалко — лета уже не будет.

— Ну, что ты, — сказал Шанур. — Вот увидишь, все обойдется.

— Зря ты это говоришь, — сказал Армант. — Очень мало шансов.

— Мало, но есть, — сказал Шанур. — Только не сдавайся.

— Не получится, — сказал Армант. — Я уже тряпка. Эта штука сначала превращает человека в тряпку, а потом уже, обезоружив... Гадость.

— По-моему, ты неплохо держишься, — сказал Шанур. — Правда, он неплохо держится?

— Правда, — сказал Петер.

— Тоже мне, — сказал Армант. — Утешители нашлись.

— Вовсе я тебя не утешаю, — сказал Шанур. — Я говорю, что ты просто раскис заранее.

— Иди-ка ты, дружище, знаешь куда? — сказал Армант. — Раскис — не раскис... Сам-то — сопли по витрине развозишь. Туда же: не сдавайся...

— Я не говорю, что мне тяжелее, — возразил Шанур. — Мне просто по-другому.

— Я бы с тобой поменялся, — сказал Армант.

— Хитрый, — сказал Шанур. — Свое дело ты сделал — теперь хочешь мое у меня перебить?

— Твое — у тебя... Жаль, что тебя не оказалось тогда рядом. Сейчас бы лежали вместе... и сейчас, и потом...

— Жаль, — сказал Шанур. — Правда, жаль. А ты помнишь, как я учился ездить на мотоцикле?

— Помню, — сказал Армант. — У меня до сих пор этот шрам чешется. Жаль, что ты тогда ничего себе не оторвал. Мне бы сейчас спокойней было.

— Такова воля божия, — сказал Шанур, передразнивая кого-то, оба засмеялись, и тут Армант закашлялся, надрывно и долго, посинел лицом, задыхаясь, и Петер пытался отпить его водой, а Ив не мог ее проглотить, так его скручивало кашлем, потом он все-таки перевел дыхание, и когда он откинулся на подушку, Шанура уже не было в блиндаже.

На просмотр готового фильма допущен был только генерал. Петер, естественно, управлялся с проектором и волей-неволей должен был находиться здесь же — правда, он был доверенным лицом (пardon: он был лицом, облеченным доверием; в тонкостях канцеляризов разобратся, пожалуй, потруднее, чем в эпилептике морганизмов Шарля Вержье); разумеется, присутствовал автор. Итак, втроем, при закрытых — и охраняемых — дверях, они смотрели готовый фильм, — готовый, законченный, оставалось лишь подклеить конец его, который будет снят летом, и не здесь, а на южном фронте.

Петер смотрел фильм. Титры. Название: «Мост Ватерлоо». Фронтальная кинохроника. Инженер Юнгман со своими размышлениями, офицеры и генералы, генерал Айзенкопф и полковник Мейбагс (которые на самом деле подполковник-адъютант и настоящий генерал Айзенкопф), потом начальные кадры строительства, которыми мог бы гордиться любой бутафор-профессионал, настолько натуральны были декорации, потом трудовой энтузиазм саперов, и воздушные налеты — не такие, правда, как на самом деле, но все же взрывы пиропатронов, снятые рапидом, на экране вполне сходили за взрывы бомб, а обломки самолетов, облитые бензином и подожженные, горели так же, как горе-

ли уже один раз. Шли отлично сыгранные сцены с диверсантами, и офицер-кавалергард, один из главных героев фильма, стоял с пистолетом на фоне горящей электростанции (элементарный кинотрюк с наложением двух кадров — так называемая «блуждающая маска»); не было ни изменников, ни судов. Мост, достроенный до конца, упирался в противоположный берег, изгибался плавной дугой, и по нему шли танки, много танков, и ни у кого не могло оставаться ни малейших сомнений, что это — конец войне, победный, славный конец. Все было снято отлично, и Петер кусал губы, видя, что накладок практически нет, все правдоподобно, и полковник Мейбагс, появляющийся то тут, то там, был обаятелен, особенно в поварском колпаке, разливающий суп в солдатские котелки, — нет, господин Мархель был мастером своего дела. И, почти физически ощущая затягивающую гладкость происходящего на экране, Петер заставлял себя помнить о без малого четырех сотнях коробок с кинолентой, разбросанных среди саперов и спрятанных ими в тайничках, и о главном своем тайнике, где есть отличные вещи, которые когда-нибудь взорвут, как мины, эту добротню сработанную ложь.

— По-моему, неплохо, — сказал господин Мархель, когда Петер остановил проектор и включил свет. — Вот эта сцена у статуи Императора — это почти шедевр. Без ложной скромности.

— Хорошо, — сказал генерал. — Император будет доволен.

— Не знаю, — сказал Петер. — Чего-то не хватает. Чего-то остренького. Все слишком гладко. Перчику бы.

— М-м... — господин Мархель пожевал губами. — Как, Йо? Перчику добавим?

— Ни к чему, — сказал генерал. — Не испортить бы.

— И все-таки надо подумать, — сказал Петер. — Вечерком подумаем, Гуннар, ладно? Посидим, подумаем...

— Перчику... — сказал господин Мархель и задумался. — Остренького...

Весна началась порывами страшной силы ветра — ночью, тутими толчками, теплый и влажный, он во-

рвался в ущелье, расшвыривая остатки зимнего холода, распирая тесное пространство, страшно завывая в вантах моста, бросаясь на любые преграды, молодой, сильный, счастливый... К утру ветер стих, и поднявшееся солнце было уже весенним. Петер, вставший с сильной головной болью — в сочинениях «перчика» он и господин Мархель истребили немало растормаживающих воображение напитков, — не сразу понял, что именно произошло, потому что мир переменялся и все вчерашнее стало именно вчерашним; такое уж действие оказывает весна на человеческие организмы, обманывая, конечно. Дверь блиндажа была открыта настежь, и в нее тек воздух, полный странных, забытых за год запахов, и Армант, сидя на своей койке, жадно ловил этот воздух и вглядывался в проем двери, и оттуда появились Камерон и Брунгильда в расстегнутых шинелях, без шапок —

— Тает, ребята, тает! —

— Какая весна! —

— Скорей наружу! —

— Боже мой, какая весна! — И на Петера пахнуло кружащим голову теплом, и те двое повели, придерживая, Арманта, накинув на него шинель и косо нагнув на голову Петерову шапку — какая подвернулась под руку, скорее! — и сам Петер, натянув только штаны, голый по пояс, вышел и ослеп на миг не столько от света — и от света тоже, свет, голубой, белый, желтый, ослепительный и чистый, затоплял все на свете, — от света и от нахлынувшей горлом радости, первобытной радости простого бытия — и от желания жить, черт возьми, и он закричал что-то вроде: «О-го-го-го! Весна пришла!» — и подпрыгнул высоко, показывая кому-то там, в небе, крепко сжатый кулак. Потом схлынуло, вернулась головная боль — теперь это надолго, на весь день, не помогает от нее, проклятой, ничего, кроме пива, а до пива километров триста — ни шнапс, ни чай, ни аспирин. Ну, да ладно — болит и болит. Спина тоже болит и чешется, а часто ты про нее вспоминаешь? Так и здесь — отвлечешься и забудешь.

Снег уже отяжелел и там, где был примят, притоптан — чернел, много же грязи и сажки впитал он в себя

за долгий свой срок... зима кажется такой опрятной... «опрятная» — не от слова ли «прятать»? Похоже. Вернувшись в блиндаж, Петер оделся, помог уложить Арманта, слабо улыбающегося и чуть порозовевшего, и отправился к господину Мархелю, потому что вчера так ничего и не решили окончательно — господин Мархель был третий калач, но, может быть, на перчике его удастся купить и втолкнуть в фильм что-то, позволяющее сомнения относительно своей подлинности; все-таки, что касается вкуса — тут господин Мархель был небезупречен.

Уже текли ручьи, и о красное пятно Петер чуть не споткнулся — снег напитывался красным, проступающим изнутри, и красные струйки примешивались к воде ручья, растекаясь розовыми разводами, а саперы проходили мимо и не обращали внимания, пересекали это красное пятно, оставляя в нем свои следы, тут же наполняющиеся густой красной жидкостью, Петер оцепенело стоял, пока его не отодвинули — вежливо, подполковник все-таки! два десятка саперов с лопатами под командованием прыщавого обер-лейтенанта стали забрасывать пятно чистым снегом. Тогда Петер огляделся по сторонам. Пятен было много, ручьи, сливаясь, текли по дну ущелья мутным темно-розовым потоком, и везде мелькали лопаты, лопаты, лопаты... Шанура Петер увидел издали, тот шел медленно, останавливался около саперов и начинал говорить, и Петер, хоть и не слышал его и не мог слышать с такого расстояния, понимал все до последнего слова. «Земля не принимает больше нашу кровь, — говорил Шанур, — не принимает давно, она напилась кровью и больше не хочет ее. Мать не хочет крови своих детей. Не для того она рожала, кормила и терпела нас, чтобы выпивать нашу кровь. Нет ничего позорнее, чем насилие над матерью. Вас со всего света согнали сюда, чтобы здесь убить... Вы все умрете, если останетесь здесь. Так что вас здесь держит? Только страх, что могут догнать и убить? Взятое с вас слово? Пролитый пот? Что еще? Привычка слушать и подчиняться? Какие химеры! Уходите отсюда все! Вы не нужны здесь никому, а главное — вы не нужны здесь земле! Она сама гонит вас. Вы думаете

почему-то, что это геройство — остаться под огнем и помереть за что-то. А настоящее геройство — это сохранить себя, потому что это и труднее, и нужнее, а главное — потому что придется переступить через себя, через свое рабство и страх, для этого надо хоть на миг почувствовать себя свободным — так почувствуйте же! Смотрите на меня! Я, человек, пытавшийся сохранить правду о вас, — я призываю вас к свободе, к свободе перед всем в мире, а главное — перед самим собой. Человека нельзя заставить сделать что-то против его воли, потому что у свободного человека всегда есть возможность выбрать между бесчестьем и смертью, и смерть в этом выборе имеет равный вес с бесчестьем. Самое маленькое из бесчестий весит столько же, сколько смерть. Вы все знаете, что это так, но привыкли и смирились с тем, что от вас ждут не выбора, а послушания; что ваша голова и совесть не нужны никому, а нужны только руки и ноги. Так прозрейте! Учитесь быть свободными! Раб мечтает о том, чтобы иметь право выбирать себе хозяина, а свободный человек — чтобы быть хозяином в любом выборе. Всю свою жизнь человек идет рука об руку со смертью — от небытия к бытию, но раб ждет, когда его позовут, а свободный все выбирает сам. Так выбирайте же жизнь! Рискнуть жизнью, чтобы сохранить ее — это куда достойней, чем рабски трястись над нею в надежде на милость судьбы. Уходите отсюда! Скрывайтесь, прячьтесь, сдавайтесь в плен — все достойно, потому что земле не нужна больше ваша кровь, потому что позорна смерть в этой войне, не нужной никому...» Шанура окружали и слушали, не выражая ни порицания, ни одобрения, слушали равнодушно, с усталым интересом, наконец спины слушающих закрыли Шанура от Петера, а когда Петер протолкался к нему, Шанура уже уводили, завернув ему руки за спину, солдаты комендантского взвода. Они все прошли мимо Петера, меся ногами красный снег, и Шанур посмотрел на Петера и кивнул ему, узнавая.

Мимо, вслед за уходящими, проскользнул Камерон с кинокамерой, бледный и решительный, и Петер сказал ему: «Не отходи от них далеко, я его выпцара-

паю», — Камерон кивнул, а Петер бегом, оскальзываясь на раскисшем снегу, ринулся к штабу, к квартире генерала, к резиденции господина Мархеля, прокручивая в голове комбинации, по которым освобождение Шанура исходило бы от них, но добежать не успел, потому что на дороге разорвался снаряд, потом еще и еще, Петер нырнул в кювет, стреляли откуда-то со стороны подъездной дороги, там поднялась запыленная стрельба из всех видов оружия, непонятно было только, кто и в кого стреляет, взрывов поблизости больше не было, потом мимо Петера, обдав его грязью, промчалось несколько грузовиков — туда, в ту сторону — и за борт последнего Петер, догнав и подпрыгнув, ухватился, подтянулся и перевалился в кузов, на ящики со снарядами. Через минуту грузовик затормозил на позициях артиллеристов, Петер выпрыгнул и, пригибаясь, побежал дальше — туда, где что-то происходило. Стрельба поутихла немного, и в нее в паузах вклинивался новый звук — далекий рев многих моторов, танковых моторов, уж его-то Петер мог вычленивать из любой какофонии. Кто-то метнулся ему наперерез, но тут рвануло черным слева, Петер зарылся в снег, и над ним пронеслось распластанное тело. Перед ним шагах в сорока был гребень, за которым что-то творилось, — туда, за гребень, летели трассы из-за спины, и оттуда, кажется, прилетали снаряды. Он преодолел эти сорок шагов в несколько приемов и, наконец, увидел все, как на ладони.

Танков было десятка два, и несколько задних уже горело, тяжелый жирный дым выбивался из люков, из жалюзи и стлался по земле; передний стоял поперек дороги, распустив гусеницу, и часто бил из пушки куда-то в противоположную от Петера сторону: потом он взорвался и закадил. Это были вражеские танки, легко узнаваемые по характерным шестигранным башням и длинным тонким стволам пушек. Основная часть колонны была, кажется, в мертвой зоне, снаряды ее не доставали. Три танка обошли сбоку пылающий головной и на большой скорости рванулись вперед, один тут же вспыхнул, но не остановился, и все три пропали из виду. Остальные не двигались, потом у одного распах-



нулся верхний люк, и оттуда высунулся по пояс танкист, тут же схватился за голову и откинулся назад, его втащили внутрь, люк закрылся. Боковым зрением Петер уловил какое-то движение — это артиллеристы на руках катили спаренную зенитную пятидесяти-семимиллиметровку, дальше — еще одну. Слева, ревя моторами и опустив стволы, шевелились зенитные самоходки. Дальше все произошло быстро: захлопали выстрелы, и взорвались еще два танка, остальные ответили в разброд, одна самоходка подпрыгнула и опрокинулась от удара, а потом разметало расчет ближней к Петеру пятидесятисемимиллиметровки, но огонь нарастал, где-то еще подтянули орудия, и танки, зажатые в лощине, вспыхивали один за другим — отсутствие камеры Петер в этот момент ощущал как отсутствие оружия, — и тут со стороны стройки появился легковой вездеходик, в котором кто-то стоял и размахивал белым флагом! Вездеходик влетел прямо под перекрестный огонь, бесстрашно лавируя между горящими машинами, стоящими и еще пытающимися ползти, но то ли его не видел никто, то ли горячка боя затянула всех, но огонь стих не сразу, и только когда пламя разрыва метнулось из-под самого вездеходика и он опрокинулся, стрельба прекратилась. Тишина навалилась сверху, страшная, страшнее канонады, потому что говорила о новом несчастье, и Петер и остальные, кто лежал и стоял на гребне, на линии огня, не трогались с места и почти не шевелились, чтобы не приблизить тот миг, когда несчастье станет понятным и потому необратимым, а пока что оставалось еще подобие надежды... ничто не шевелилось там, в лощине, танки стояли и горели молча и неподвижно, лишь дым тек, то подымаясь, то стелясь, оставляя черные разводы на серо-красном снегу... кто-то ковылял между танками, кто-то выбирался из люков, но это не меняло картины общего оцепенения. Беззвучно взлетела на огненном столбе башня одного из горящих танков, и попадали черные фигурки, и вдруг издалека, оттуда, откуда пришла колонна, донесся звук автомобильного мотора, и на побоище влетела полуторка с прицепленной полевой кухней, затормозила, и из кузова скатился человек

в белом полушубке, Петер видел это уже на бегу, он мчался вниз, и кто-то еще бежал следом, а человек в белом полушубке, пожилой и усатый, тормозил лежащих на снегу танкистов, тех, кто выпрыгнул под пули и осколки, и тех, кого вытаскивали из люков разбитых машин уцелевшие, он тормозил их, заглядывая в лица, в сторевшие лица, в выбитые глаза, полушубок его был весь в крови, а он громко и недоуменно повторял: «Ребятки... да что же это? Да как же вы? Ребятки... ребятки... А я-то гнал за вами, картошка горячая еще... и компот, как просили... и рыбки я вам достал, красной, много... ребятки, да что же это?..» Танкисты перевернули вездеходик, и на снегу остались лежать шофер генерала Айзенкопфа с разбитой головой и майор Камерон с камерой через плечо, с обломком дерева в руках, и Петер встал на колени и нагнулся к нему, и Камерон открыл глаза и сказал что-то громко и неразборчиво, изо рта его пошла кровь, Петер обтер ему лицо снегом, и Камерон, поморгав глазами, приподнялся и стал выплевывать изо рта осколки зубов и сгустки крови.

— Живой! — выдохнул Петер, и Камерон, кивая и отплевываясь, стал колотить его кулаком в плечо и показывать в направлении стройки, Петер понял его, но Камерон не мог идти, подламывалась нога, и Петер стал кричать на оглохшего танкиста, который неожиданно понял его, подогнал уцелевший танк, Петер и Камерон взобрались на броню и уцепились за скобы, и танк пошел на стройку, танкист стоял в люке, Петер наклонился к нему и показывал, куда ехать, и они остановились возле резиденции господина Мархеля. Петер влетел в помещение и столкнулся в дверях с Брунгильдой, через ее плечо он увидел лежащее на полу тело, и еще кто-то стоял, уперевшись руками в стену. «Уже увели!» — крикнула Брунгильда, и они вернулись к танку, туда, куда уводили, можно было доехать, Петер крикнул: «Скорей!» — и показал, куда, и танк, взревев, покатился, они стояли на броне и всматривались вперед, ожидая увидеть конвой, но никого не увидели. Площадка у обрыва, где расстреливали, была пуста. Петер и Брунгильда подбежали к самому краю, непонятно за-

чем; следов было много, старых и новых, и стреляных гильз тоже много, втоптаных в снег и лежащих на снегу. Они бросились обратно к танку, нужно было куда-то торопиться, только непонятно, куда.

— Где Мархель? — прокричал Петер, надсаживаясь, чтобы перекрыть рык танкового мотора.

— Готов! — крикнула в ответ Брунгильда.

— Нужно было взять! Живым! — крикнул Петер.

— Я! — Брунгильда ткнула себя в грудь. — Одна! — И Петер понял, что одной *взять* Мархеля было не под силу.

Танк снова остановился возле резиденции, и Петер влетел туда. На полу, лицом к стене, лежало тело, и Петер сразу понял, что это не Мархель — черт знает, как, но понял. Он перевернул труп на спину, лицо было похоже, но только похоже, не более.

— Не он, — сказал Петер побелевшей Брунгильде.

— Вижу, — одними губами ответила Брунгильда. — Не он. Удрал... Поехали трясти комендатурщиков.

Но возле танка уже стояли штабные офицеры, и танкист, сняв с головы шлем, все время пытался что-то смахнуть с лица, тер щеки руками, потом принимался обтирать руки о комбинезон, и полковник из генеральской свиты свирепо спрашивал у него что-то, а танкист смотрел на него ненормальными глазами и продолжал стирать с лица что-то невидимое, но липкое. Потом полковник повернулся и увидел Петера.

— Где ваш главный? — рявкнул он.

— Сбежал, — зло сказал Петер.

— П-проклятье, — скрипнул зубами полковник. — Давно?

— Только что, — сказала Брунгильда. — Я ошиблась, понимаете? Они там переодеваниями занялись...

— Вызывай своих по радию! — крикнул подполковник танкисту. — Мимо них будет проезжать штабной «хорьх» — пусть расстреляют!

Это танкист понял сразу и рыбкой нырнул в люк.

— Не видели нашего оператора, которого арестовали? — спросил Петер.

— Нет, — сказал полковник. — Ваших, значит, тоже арестовывают? Ну-ну...

- Где генерал? — спросил Петер.
- Генерал? — удивился подполковник.
- Тьфу! — плюнул Петер. — Полковник Мейбагс.

Где он?

— Полковник Мейбагс умер позавчера от сердечного приступа. Я заступил на его место.

Подошел незнакомый саперный старшина и молча прикрепил к погонам подполковника по большой короне.

— Поздравляю! — зло сказал Петер.

— Вот это вы зря, — сказал подполковник.

— Господин полковник, — сказал Петер, — прошу вас дать приказ срочно разыскать нашего оператора — ему грозит смерть.

— Дел у меня больше нет, — сказал полковник. — Ищите сами. Заварили кашу... кино... Вон — двенадцать танков — как корова языком! Все этот ваш... ну, попадется он мне! Специально послали нам трофейные танки для диверсионных действий, а он... Снимали это?

— Нет, — сказал Петер. — Камер не было там.

— Слава богу, — сказал полковник.

Высунулся танкист.

— Проскочил, — коротко сказал он и полез из люка.

— Что значит — проскочил? — заорал полковник. — Промазали, что ли?

— Не успели, — сказал танкист. — Минутой бы раньше.

— У-у! — взвыл полковник. — Ну, я не я буду!..

Он еще орал и матерился, а Брунгильда уже тащила Петера за рукав, объясняя на бегу, что сейчас они нагрянут на комендантский взвод и вытрясут душу из конвойных...

Ничего они не вытрясли. Лейтенант, командир взвода, стоял перед взбешенным Петером навывтяжку, бледный, как сама смерть, и твердил одно: арестованный был доставлен в штаб, дальнейших распоряжений не поступало.

— Он его что — с собой увез? — кричала Брунгильда.

— Ничего не понимаю, — повторял, как заведенный, Петер. — Ничего не понимаю...

В их собственном блиндаже было пусто, и даже больной Армант отсутствовал. Как будто вихрь прошелся по помещению, все было содрано, сброшено на пол, сдвинуто со своих мест, кто-то торопливо и грубо искал что-то в вещах, в рюкзаках, в одежде.

— И этого нет, — сказала Брунгильда и вдруг опустилась на пол. — Боже мой, — всхлипнула она, — боже мой, что я наделала... он же не виноват, что так похож... господи, прости меня, я не хотела!

— Брун! — Петер попытался ее поднять. — Брун, не время, надо искать...

— Мы его не найдем, — вдруг совершенно спокойно сказала Брунгильда. — Его больше никто не найдет. Уже никто не знает, где он. Мы опоздали, он исчез из мира...

— Так не бывает, — сказал Петер. — Не бывает, чтобы исчез совсем — так сразу.

— Здесь все бывает, — сказала Брунгильда. — Его уже нет — я чувствую.

В дверях завопили, и в блиндаж задом впятился огромный сапер, волоча кого-то под мышки — это был Армант. Его положили на койку, сапер деликатно отошел в сторонку, Брунгильда дала Арманту глотнуть шнапса, и тот открыл глаза.

— А... вы... — Армант вздохнул. — Ну, вот и все... финиш.

— Кровь у него горлом шла, — сказал сапер.

— Петер, — зашептал Армант, — слушай меня. Христиана — это не я. Верь мне — не я. Они его пауком напугали и потом все время паука перед ним держали, он их боится страшно, но я тут ни при чем, клянусь... матерью своей клянусь — я ни при чем, я не знаю, как они узнали...

— Где Христиан? — спросила Брунгильда.

— Не знаю, — сказал Армант. — Кажется, убили. Или улетел. Не видел.

— Как — улетел? — спросил Петер, готовый поверить во все.

— Не знаю. — Голос Арманта был совсем слабый, прерывающийся. — Так говорят... я не видел — так говорят — улетел... или убили. Не знаю. Видел, как его уводили.

— Из штаба?

— Из павильона.

— О, ч-черт! — простонал Петер. — Павильон! Как я забыл? А ты снимал? Что ты снимал? Ну?

— Советник показывал Христиану, как великие гиперборейские атланты держат мост на своих плечах...

— Что?!

— Трех голых саперов поставили напротив камеры, а мост простым наложением... вот его — за Слолиша... — Армант показал рукой на сапера.

— Ты видел Шанура? — спросил Петер сапера.

— Это чернявенький такой? — спросил сапер. — А как же, видел. Только, наверное, прислонили его. Потому как сняли и тут же увели.

— Я побегу, проверю, — сказала Брунгильда. С автоматом в руках она метнулась из блиндажа, и Петер больше никогда в жизни не видел ее.

— Ты представляешь, Петер, — великие гиперборейские атланты... Гангус, Слолиш... и младшенький их — Ивурчорр... — говорил Армант странным голосом, будто удивляясь тому, что сам говорит. — Наши великие славные предки... сыновья Одина, произведенные им от смертных женщин... жили в доме на берегу моря и занимались промыслом морского зверя, рыбы и птицы... никогда не видели женщин и округляли друг друга... — Армант хихикнул. — Потом Один вразумил их... они пошли на юг и набрали на рыбачий поселок... перебили всех мужчин, а женщин взяли себе в жены — от них-то, мол, и пошел наш великий народ. О господи... потомки педерастов! Петер, ты представляешь?

— Представляю, — сказал Петер.

— А советник молился им — о, великие гиперборейские атланты Гангус, Слолиш и Ивурчорр, да протянется ваша могучая длань сквозь века и мили... и еще о падении нравов... и они явились и подставили свои спины под этот игрушечный мост — убожество! Убо...

Он вдруг замолчал, будто прислушиваясь к чему-то, замер — и тут кровь фонтаном хлынула ему на грудь. Он упал навзничь, руки его еще шевелились, ловя воздух, Петер перевернул его лицом вниз, но это ничего не изменило: через минуту Армант умер.

Когда Петер подбежал к павильону, от него остался уже только каркас. Под переплетением стальных арок и нервюр ворочались бульдозеры, выравнивая рукотворный ландшафт. Экскаватор ссыпал в киношный каньон лежавшую в отвалах землю, и на месте каньона уже высился большой бугор.

— Что у вас там зарыто? — спросил Петер водящего работами капитана.

— Ничего, — сказал капитан и пристально посмотрел на Петера. — Ничего абсолютно. Просто земля рыхлая. Сейчас утопчем. Эй! Утопчите землю!

Саперы взобрались на бугор и принялись сапогами утаптывать его.

— Вот видите, — сказал капитан. — Утаптывается.

— Женщина-техник из киногруппы была здесь? — спросил Петер.

— Нет, — испуганно сказал капитан. — Нет-нет. Никого здесь не было! Никаких женщин!

Он искал Шанура и Брунгильду долго, обошел всю стройку, но никто ничего не видел — или пугался и отворачивался. Потом что-то толкнуло его — Баттен! Это было дурацкое предположение, но ведь ищем же мы иногда только что потерянные очки в бабушкином сундуке, не отпиравшемся сто лет, — конечно, не находим, но если не заглянем в него, будет постоянно мерещиться, что пропажа именно там. Берлога Баттена была отлично замаскирована, и Петер потыкался там, в скалах, в тупики, пока нашел ее.

Лаз в берлогу был занавешен толстым войлоком, и войлоком же был устлан пол. Горела керосиновая лампа, и за столом сидело трое: Менандр, Баттен и женщина — спиной — Брун!.. нет, не Брунгильда, другая, но почему-то знакомая, она обернулась и улыбнулась Петеру пьяной улыбкой, и он узнал ее: это была Лолита Боржен.

— А, Петер, давненько ты у нас не был!

— Петер, проходи, старина!

— Лолита, наливай-ка господину подполковнику коньячку!

— Господин подполковник, позвольте..

— На брудершафт!

— Лолита, не напирай.

— Погодите, — Петер выбрался из-под них троих, как из-под упавшей липкой паутины, — погодите, у вас тут Шанура не было? А Брунгильды?

— Не было, не было!

— А коньячку?

— Ну, господин полковник!..

— Слушай, Петер, — сказал Менандр вполне твердым голосом. — Тут наклеивается выгодное дельце — но нужна чистая кинолента. Там у тебя не остается ничего?

— Остается, — сказал Петер. — Катушек двадцать есть. А что?

— Да вот решили сами фильм снять. Камера у нас есть, свет добудем, а главное — исполнительница застоялась. Точно, Лолита? А представляешь — в этом антураже, в пещере, при свечах — и такая женщина! Да такую ленту и по ту, и по эту сторону каньона с руками оторвут!

— Ладно, — сказал Петер. — Поглядим. А пока давай-ка сюда мои ленты, я с десятков отберу... что?

— Так это... ну... как тебе сказать? В общем, нет их.

— Как это нет? Ты же говорил — здесь, в безопасном месте.

— Так это когда оно было безопасным? Это ж давно... Я их в более безопасное место пристроил.

— Куда? — спросил Петер, холодея, потому что уже догадался — куда.

— Так это... за каньон. Там-то всего безопаснее...

— Понятно, — сказал Петер. Внутри него стремительно разрасталась пустота, которую нужно было не медля чем-то заполнить, пока она не поглотила все. — Понятно...

Он вынул пистолет из кобуры.

— Предатели, — сказал он. — Паскуды. Иуды крошечные. Мразь поганая. Дерьмо. А ну, к стенке!

Менандр и Баттен медленно, как во сне, поднимались на ноги, а Лолита Борхен сползла на пол и сидела, широко открыв рот и, кажется, визжала.

— К стенке, — повторил Петер, показывая пистолетом, куда именно.



— Ты это... Петер... погоди, — сказал Менандр. — Ты не думай, мы поделимся. Мы еще не все получили. Вот динарами... двести тысяч... все можешь взять, нам-то не надо, зачем нам деньги, правда, Баттен? А вот доллары, тридцать тысяч, тоже все забирай. И ее бери, она ничего девка, мягкая, забирай... только этого... твоего... не надо. Не надо, ладно? Ну что ты молчишь?

— Кончил? — спросил Петер. — А ты?

— Кончай вольнку, не тяни душу! — взмолился Баттен, и Петер, подняв пистолет на уровень глаз, выстрелил Менандру в голову — в голову, но в последний момент его толкнули под локоть далекие отсюда жена Менандра, и его три дочери, и внуки, уже рожденные и еще нет, — и пуля взбила пылевой фонтанчик у самой макушки Менандра, и он, серый, как войлок, осел на пол; на Баттена Петер только взглянул, и этим взглядом Баттена швырнуло об стену, и так он и остался, повиснув на стене, как плевок; Лолита Борхен ползала в ногах Петера и голосила истошно, пытаясь поцеловать его разбитые итальянские ботинки, Петер безгласно отстранился и вышел.

Снаружи было сумрачно и сыро. Где-то вдали гудели и завывали моторы, а потом ветер донес обрывки похабной частушки. Петер шел, спотыкаясь, что-то ему мешало, потом он понял — что, и засунул пистолет в кобуру. Все впустую. Полгода работы — коту под хвост. Предатели. Проститутки вонючие. Подонки. Все, все — к черту, к дьяволу... И тут его осенило — тайник! Есть же еще мой тайник!

У блиндажа, где якобы сидел майор Вельт, стояли часовые. Петер не стал туда заглядывать, он и так знал, что по ночам там собираются саперные офицеры, пьют ром и играют в карты. Пока, наверное, там пусто.

Подонки... предатели... паскуды...

Возле статуи Императора Петер остановился. Вниманье его привлекли странные звуки, исходящие, кажется, из постамента. Приобретя невидимость и неосязаемость, Петер заглянул внутрь. Там было тесно и душно, пахло разгоряченными телами и перегаром. На экране, висящем так высоко, что приходилось задирать голову, кинозвезда Лолита Борхен занималась любовью

с красавцем восточного типа. Зрители бурно соперевживали. Петер пробкой вылетел наружу.

Так. Еще и это... Ладно.

Он прошел мимо часовых, нашел ту яму и засунул в нее руку. Коробки были на месте... стоп! Это были не коробки. Он вытащил одну. Да, это были банки с тушенкой. Кто-то продал тайник...

Все, Петер?

Выходит, что все.

Все. Вообще все.

Ничего не осталось. Будто ничего и не было.

Он не запомнил этой ночи. Это я стер ему память. Он не должен был запомнить ее, потому что мы были вдвоем. Я держал его за руку и говорил, не переставая, говорил, что не все потеряно, что никогда не бывает так, чтобы потеряно было все — а даже если и так — держись, Петер, Петер Милле, сожми зубы и сузь глаза, ты еще нужен мне и многим, и кто вместо тебя будет проживать твою долгую жизнь? Я говорил, что никакое поражение не бывает окончательным и что бывают такие поражения, которые важнее победы. Я говорил, что без него невозможно быть этому миру, что без него здесь не смогут ни черта, а он говорил мне, что я сволочь, что не помог ему в деле и не предупредил о предательстве, пришедшем отовсюду сразу. Еще он спрашивал про Шанура и Брунгильду, но, клянусь, их судьба мне неизвестна. Он то твердел и укреплялся в решимости драться, то начинал плакать, и я не был уверен в нем до самого утра. Только утром, пройдя с ним по всему мосту до самого его конца, я оставил его там и ушел, унося с собой его память.

Петер очнулся только на рассвете. Он не помнил, где скитался ночью, что делал и с кем говорил. Странная, пугающая пустота начиналась где-то за переносицей и уходила в глубину, где и терялась. Он сидел на мосту, на самом конце моста, и смотрел на противоположный берег каньона. До него было метров пятнадцать. Мост медленно покачивался, и тот берег плыл перед ним попеременно вправо и влево, и эти плаванья

сопровождались глухими всхлипами металла, и изредка вдоль моста, как вдоль обнаженного нерва, пробегала похожая на одновременный говор сотни детей волна — возникала и уходила. Потом сзади возникли еще и шаги, сначала искаженные до неузнаваемости, превращенные в ритмичный перебор сотен струн ненастроенного инструмента, лишь постепенно ставшие именно шагами. Петер помнил, какие ощущения от ходьбы по решетчатому настилу моста — будто одновременно с тобой и на те же самые места наступает кто-то снизу, то есть не совсем одновременно, а с крохотным запозданием, и это вырабатывает особую походку у идущих по мосту. Петер нехотя оглянулся. Это шел Козак.

Петер пододвинулся, и Козак сел рядом.

— Ты чего пришел? — спросил Петер.

— Майор твой попросил тебя найти.

— Камерон? — спросил Петер. Козак кивнул.

— Христиан не нашелся? — спросил Петер.

— Говорят, он улетел, — сказал Козак хмуро.

— Странно, — сказал Петер.

— Ничего странного. Странно, как еще все не разлетелось.

— Привычка, — сказал Петер.

— Не только.

— А Брунгильда?

— Не знаю.

— Как Камерон? Очень плохо ему?

— На ночь морфий вводили — спал. Язык ему весь порвало и зубы повыбило.

— Видел.

Они помолчали. Утро стремительно превращалось в день, и в этот день следовало еще что-то сделать, потому что так принято в этой жизни.

Мост проплывал мимо того берега, и Козак, глядя ваясь в него, сказал вдруг:

— Смотри, снайпер.

Там, где к серой скале прилепился густой куст краснотала, блеснул зайчик в стекле оптического прицела. Козак вяло помахал туда рукой.

— Не стреляй! — крикнул он. — Нихт шиссен! Донт шут! Но сачена!

Из-под куста показался сначала ствол винтовки, потом голова снайпера. Потом снайпер высунулся по пояс.

— Гива у ло смак цу? — спросил он, чтобы было совсем понятно, добавил: — Табако!

— Закурить просит, — перевел Козак. Он похлопал себя по карманам, посмотрел на Петера. Петер вытащил пачку, заглянул. Там было еще пять сигарок. Он оставил по одной для себя и Козака, выщелкнул из запасной обоймы три патрона и бросил их в коробку для тяжести.

— Лови! — крикнул он и, размахнувшись, бросил пачку снайперу. Тот поймал ее, сунул сигарку в рот, закурил, выпустил клуб дыма и изобразил на лице блаженство.

— Тенгава ло! — крикнул он. — Блугадрен!

Козак дал Петеру прикурить, закурил сам.

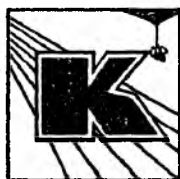
— Война кончится, мост достроим, — сказал он. — Будем друг к другу в гости ездить.

— Угу, — согласился Петер. Он выщелкнул еще один патрон, наклонился вперед, заглянув в головокружательную пропасть, и уронил патрон вниз. Он был долго виден — летящей желтой искоркой. Потом исчез.

# АТТРАКЦИОН ЛАВЬЕРИ







аждое утро он просыпался на три минуты раньше, чем раздавался звонок портье, и это позволяло ему позабавиться и побороться с солнечным зайчиком, норотившим забраться под закрытые веки. Три минуты между реальным и запланированным пробуждением он не принадлежал никому, даже самому себе — точнее, он никому не был нужен. Это было нынешним его счастьем. Он радовался как мальчишка, который очень удачно провел всех: в школе сказал, что должен сидеть дома с младшими, дома — что остается в школе на продленку, а сам по пожарной лестнице пробрался в кинотеатр и из-за экрана смотрит «Тарзана» с Вайсмюллером в главной роли. Впрочем, это сейчас Вайсмюллер, а тогда, когда он вот так сбегал с уроков, был этот... как его? Забыл. Стараясь не открывать глаз, Ларри потянулся — и почувствовал, как портье подходит к телефону и начинает набирать номер. Он пропустил несколько звонков, потом взял трубку.

— Господин Лавьери, вы просили разбудить, — сказал сладковатый голос портье (портьеры? портьерши?) мадам Виг. — Доброго вам утра!

— Спасибо, — сказал Ларри, спросонок забывая следить за произношением и потому на южный манер: «спа-а-сип». — И вам доброго утра и всего хорошего.

Пам-па-па-пам! — прозвучали гудочки отбоя, и Ларри опустил трубку на рычаги. Телефон в этом городе был странноватый — когда на том конце провода давали отбой, всегда звучала вот эта фраза то ли

из какой-то опереттки, то ли, наоборот, марша — он силился вспомнить и вспомнить никак не мог, это вызвало смутное беспокойство, поэтому Ларри иногда ловил себя на том, что стремится положить трубку первым.

Борьба с солнечным зайчиком состояла в том, чтобы не дать ему забраться в уголок глаза и вызвать чих. Зайчик был весел и коварен. Образовывался он толстым зеркалом, точнее краем, ребром этого зеркала, — солнечные лучи, пробившись сквозь густую уже листву платанов, дробились об этот край на мелкие разноцветные брызги и разлетались во все уголки комнаты, даже туда, куда не достигал потом ни дневной, ни электрический свет. А самый плотный пучок этих разноцветных лучиков падал как раз на подушку, на лицо спящему, и Ларри так и не был уверен до конца, что же именно будит его: то ли волна, посылаемая портье при мысли о том, что надо будить постояльца, то ли многоцветный зайчик, норовящий забраться под закрытые веки...

Все. Праздник кончился, счастье кончилось, три минуты истекли. Он прекрасно знал, что бывает, если позволить себе расслабиться утром.

Пол был теплый, и Ларри пошлепал босыми ногами в душ и там сразу встал под горячую воду, а потом резко врубил холодную и стоял под холодной, пока не замерз по-настоящему, потом снова дал горячую и согрелся под горячей, а потом опять холодную, но ненадолго, только чтобы почувствовать, как подбирается кожа. Он растерся докрасна жестким полотенцем — каждое утро свежее полотенце за отдельную умеренную плату — и стал одеваться: трикотажные плавки, широкие, не стесняющие движений серые парусиновые брюки, сетчатая майка, счастливые носки синего цвета с аккуратно заштопанными пятками и теннисные туфли, тоже счастливые. Он попрыгал на носочках, даже не ради разминки, что это за разминка, десять прыжков, — так, ритуал — два раза ударил по стене, выходящей в коридор, хорошо ударил, в полную силу — стена загудела, — лизнул занемевшие сразу костяшки, подхватил на плечо серый толстый джемпер



и вышел в коридор, пустой и пыльный. Здесь он сделал наконец то, что давно хотел, но стеснялся: прыгнул на стену, оттолкнулся от нее ногами и кулаками, отлетел к противоположной стене и как бы прилип к ней под потолком — прильнул спиной и повис, потом мягко скользнул вниз и приземлился на ноги посередине коридора, все это бесшумно и легко, невесомо — все мышцы радовались в нем, полные сил, заряженные на весь сегодняшний день... на весь? — накатило вдруг сомнение, как облако-облачко — прошло и растаяло, и все снова было ясным и чистым. Он не стал спускаться по ступенькам, а махнул через перила, посмотрев, конечно, предварительно вниз, не идет ли кто, приземлился упруго и точно и, ни на миг не останавливаясь, вышел в холл, раскланялся с портье мадам Виг, отдал ей ключ и пошел в буфет.

Стулья были еще опрокинуты на столы, Рисетич, стоя спиной к стойке, возился с бокалами и чашечками, тонко пахло помолотым, но еще не заваренным кофе, пахло сдобой, кремом и колбасой — за валюту здесь можно было взять что угодно. К концу дня, если живущие в отеле иностранцы не съедят все это великолепие, можно будет попробовать предложить динары. Вчера в Атракцион заглядывали два офицера в странной форме, даже Козак не знал, какая это армия, но расплатились они динарами, стреляли легко и весело — таких Ларри не любил и отказался с ними выпить, хотя выпить хотелось, а они очень настаивали. Но про себя Ларри знал, что, если бы они заплатили долларами или чем-нибудь еще, он бы пошел с ними пить их коньяк, хотя они ему и не понравились — тем, что стреляли весело и легко. Козак говорил, что объяснялись они по-английски, но с таким чудовищным акцентом, что понимал он их через слово. Они пытались выразить свое восхищение. Лучше бы заплатили долларами — тогда бы я сейчас заказал себе чашечку кофе и что-нибудь еще...

— Привет, — сказал он Рисетичу.

Рисетич оглянулся.

— Здравствуйте, господин Лавьери, — вежливо сказал он. Рисетич не признавал этой американской моды:

«привет», «ты», «старик», по имени — в отличие от второго бармена, Динеску, который только так и мог. Динеску работал под бармена из вестерна, Рисетич был из «до-войны». Оба были замечательными актерами.

Ларри положил на стойку бумажный динар — один из четырех, которые он мог позволить себе сегодня потратить. Рисетич кивнул, и на стойке возникла маленькая рюмочка, а чуть позже — Рисетич возился с кофеваркой — и маленькая чашечка с чем-то черным с белым ободком пены. Этот белый ободок был подозрителен — Ларри поднес чашечку к лицу, понюхал: кофе был настоящий. Он вопросительно посмотрел на Рисетича, тот слегка улыбнулся и опустил глаза. Ну и дела, подумал Ларри. Интересно. Рисетич сходил на кухню и принес блюдце с пирожными: два пирожных, эклер и меренга.

— Что-нибудь случилось? — шепнул Ларри.

— Ешьте, — тихо сказал Рисетич.

Пирожные были подсохшие, вчерашние, но и это было не по карману — каждое тянуло динара на полтора, кофе — на все пять. Ларри вспомнил вдруг, как тогда они, четырнадцать человек, еще утром — узники смертного блока — брели, спотыкаясь, по грудам бумажных мешков вдоль разбитого эшелона, и из мешков, разорванных и развязанных, горами вываливались тугие пачки радужных бумажек, расстилались под ногами в разноцветный ковер: доллары, франки, марки, кроны, рубли, гульдены, фунты, снова доллары, доллары, доллары — все это под ногами, в прижелезнодорожной грязи, в креозоте и дерьме, и никто не нагибался и не поднимал, шли и шли, топча соломенными ботами тысячи лиц — портреты людей, которые в своей жизни чего-то добились, тысячи лиц — как перед этим шли по фотографиям из какого-то архива, фас и профиль, шесть на девять, а еще перед этим — по послезавтрашним, напечатанным впрок газетам, по сообщениям об упорном сопротивлении, которое наши доблестные части оказывают противнику, стремящемуся развить наступление... и никто не нагибался и не поднимал эти доллары, фунты и гульдены, потому что этого дня для них не должно было быть, а потому не

следовало мелочиться и поднимать что-то, лежащее под ногами... Был страшно пасмурный день с моросью и мокрым снегом, но почему-то все, с кем я разговаривал потом, вспоминали об этом дне как о солнечном и спорили со мной, когда я говорил, что день был пасмурный... а я просто страшно устал тогда — охранники дрались плохо, но было их слишком много — и потому замечал морось и мокрый снег...

Потом, когда не на что было купить еду — неделями не на что было купить еду, — ему снились эти радужные бумажки под ногами, и другим они снились, об этом говорили со смехом, и никто не жалел, что в этот день не нагибался за ними, — просто они снились иногда с голодухи, и все. Или вспоминались вот в таких ситуациях, когда тебя потчуют тайком — то ли по дружбе, то ли из жалости — тем, что на эти бумажки можно получить открыто. И все.

— Вами тут тип какой-то интересовался, — сказал Рисетич. — У меня спрашивал и у Илоны. Ну, Илона-то его сразу послала, а я поговорил с ним немного. Но так и не понял, что ему надо. Так что будьте осторожнее.

— Я и так осторожен, — сказал Ларри. — Работа такая.

— И два патера вчера появились, сам я не слышал, но тоже что-то про вас говорили — так вот, это не наши.

— Никогда не имел дела с церковью, — сказал Ларри.

— Они этого могут и не знать, — сказал Рисетич. — А если серьезно — вам имя Хименеса ни о чем не говорит? Эмилио Хименес?

— Нет вроде, — нахмурился Ларри. — А что?

— Был такой фокусник. Фокусник, гимнаст, жонглер, стрелок — все вместе. Еще шпаги глотать умел. В позапрошлом году, первая ярмарка послевоенная, еще ни черта нет, а шапито уже по центру... И вот им тоже стали так... интересоваться. Раз, другой. Потом монахи католические откуда-то понавалили — штук десять, не меньше. Все против него агитировали. Нечестивец, мол. И прямо на арене все и произошло...

— Ясно, — сказал Ларри. — Спасибо, Эд. Учту.

— Пожалуйста, — сказал Рисетич так, что Ларри даже смутился.

Вошли и сели за столики три гимнаста из цирка. Они всегда ходили втроем и никогда не здоровались с Ларри. Он дважды здоровался первым, не получал ответа и тоже перестал их замечать. Остальные цирковые здоровались, но никогда не заговаривали, а девочки шушукались за его спиной. Клиентуру же я у них не отбиваю, думал иногда с раздражением Ларри, я начинаю в десять, к двенадцати все заканчивается, и все эти горожане и фермеры, натешив у меня свои низменные инстинкты, идут в их шапито, и там их приобщают к святому высокому искусству.

— Спасибо, Эд, — повторил Ларри, ставя чашечку на стойку. Рисетич явно хотел что-то сказать, но бросил взгляд на троицу за столиками и промолчал.

Вы ничего не знаете, ребята, подумал Ларри весело, проходя мимо них. Гимнасты пили серый суррогатный кофе. Мне осталось всего три раза: сейчас, потом вечером, потом завтра утром — и все! Все, понимаете? Завтра после обеда я пошлю господина Папандопулоса когу под хвост, и он пойдет — ох, как он у меня пойдет! И тогда... Знаете, ребята, я ведь понятия не имею, что будет тогда. Но что-то будет, верно?

Но кому это я, интересно, понадобился? Если новый антрепренер, пошлю его следом за греком — пусть идет. Не могу больше.

Ярмарка уже пришла в движение, и пока Ларри пробивался сквозь очереди и толпы, ему дважды отдавали ногу и раз хорошо заехали локтем под ребро. Кричали, ругались, покупали, продавали, хватали; расталкивая народ, перли, стиснув зубы, осатанелые с похмелья патрули. До мордобоя дело еще не дошло, но скоро должно было дойти. Ларри терпеть не мог ярмарки. Зато господин Папандопулос их обожал. Впрочем, у него был сугубо коммерческий взгляд на жизнь.

Аттракцион располагался на самом краю рыночной площади, в здании, где раньше размещалась пожарная дружина, и прихватывал примыкающий задний двор школы с гаражом и хозяйственными постройками. Господин Папандопулос платил за аренду всего этого пять-

сот динаров в неделю и сокрушался, что поторопился и не столковался на четырехстах. Территория аттракциона была ограждена металлическими щитами, а на крыше пожарного депо оборудовали трибуны для зрителей. Самым дорогим из инвентаря был прозрачный щиток из пулестойкого стекла, защищавший зрителей на трибунах, — он обошелся в три тысячи динаров, и господин Папандопулос оплакивал каждую трещину, возникавшую на нем. Трещины все же появлялись.

Вывеску оформлял местный художник. Он изобразил бегущего человека в центре прицельной сетки; надпись гласила:

**ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ —  
стрелковый АТТРАКЦИОН ЛАВЬЕРИ!!!**

У кассы стояла очередь, человек сорок. Ларри поморщился и проскользнул боком в дверь.

Их запрещали несчетное число раз. И каждый раз господин Папандопулос возрождал аттракцион под новым названием. То это была «Королевская охота», то «Человек-мишень», то «Один против одиннадцати» (потом дошло до пятнадцати), то «Побег», то еще как-то... Чаще всего против аттракциона возражали оккупационные власти — под тем предлогом, что наличие огнестрельного оружия в одних руках в таком количестве, ну и так далее, — на что господин Папандопулос всегда находил убедительные контрдоводы, потому что аттракцион хоть и закрывали, но без конфискации инвентаря. Иногда возражали местные власти — по разным причинам. Теперь, кажется, дошло и до церкви... Ну-ну.

Комната, где проводился инструктаж стрелков, была с секретом. Секрет — это такое специальное зеркало, через которое Ларри мог наблюдать за стрелками, сам оставаясь невидимым. Такое зеркало с односторонней прозрачностью обошлось недешево, и господин Папандопулос поворчал по этому поводу вволю, но было совершенно необходимо, и Ларри не мог понять, как решался работать без него. Козак, выдавая карабины стрелкам, изображал мужественную суровость, играл скулами и цедил слова скупой и сухо. Потом стал от-

пускать патроны: по три, по пять, ого — все десять. Плакатики насчет осторожности при обращении с оружием висели везде, и среди них — в разных контекстах — было напоминание о том, что каждый патрон куплен за пятьдесят динаров. Это был отличный ход. Все эти люди так ценили каждый выстрел, так старательно целились, что Ларри не составляло ни малейших усилий принимать эти прицельные волны и реагировать как надо. Патроны наконец были розданы, и Козак стал закреплять на стрелках нагрудники с фотоэлементами, объясняя каждому, что если маэстро попадет вот в эти стеклышки лучом из своего пистолета, то карабин становится на предохранитель, а деньги за неиспользованные патроны не возвращаются. Известие о невозврате денег все воспринимали с неудовольствием, ворчали, что тут явное жульничество... Ларри не слишком доверял световому пистолету — магниевые патрончики иногда не вспыхивали, а исходили дымом. Поэтому он предпочитал выманивать выстрелы. И самому спокойнее, и клиентам полное удовольствие.

Ларри вглядывался в лица тех, кто был по другую сторону зеркала, тех, кто за немалые деньги покупал сейчас право безнаказанно убить его. И не говорите мне, что это я во всем виноват, что я провоцирую их и развиваю в них дурные наклонности — черта с два, я только выявляю их, а уж ваше дело, как относиться к людям, платящим большие деньги за возможность убить человека... как за большое удовольствие... билет в шапито стоит вдвое дешевле, чем у нас на трибуну даже, столько, сколько одна десятая патрона, маленький кусочек свинца, годный разве что на грузило для удочки, или несколько порошинок, или пустая гильза, или капсюль, все по отдельности совершенно не страшное... вот эти двое, видимо, друзья, бургеры старого образца, любители пива, а это фермеры, сбились в кучку, фермеры всегда в городе сбиваются в кучку, парнишка лет девятнадцати, спина кривая, в армию бы не взяли, глаза неприятные — кошкодав, а это, наверное, бывший унтер, сохранились остатки выправки, несмотря на брюхо, еще фермер, почему-то отдельно

от тех, а вот это — счетовод? бухгалтер? — волнуется, ладони потные, глазки блестят, вон тот, тот и тот — явно рыночные перекупщики, повадки нуворишские, австралийский солдатик — не настрелялся, что ли, паскуда? — интересно, чем заплатил? — и вот этот, что-то странное — спортсмен? циркач?.. Ладно, ребята, подумал Ларри, вы тут еще полчаса поваритесь внутри себя, пока там Козак продает билеты на трибуны, это мы специально придумали — чтобы вы подзавелись немного, тогда я вас лучше чувствую. Ну, а я пошел.

Для отдыха у него была маленькая комнатка под самой каланчой — Ларри сам выбрал ее, хотя сюда и надо было подниматься по узкой винтовой лестнице, и Козак, приходя его массировать, каждый раз ворчал, что угробит вконец колено. Окно выходило на то, что каждый именовал по-своему: господин Папандопулос — «полигоном», Козак — «стрельбищем», Ларри — просто «дистанцией». Гараж, красные ворота гаража — оттуда старт, площадка перед гаражом, три грузовика, исклестанные пулями, траншеи, проволочные заграждения, горки гравия и песка, низенькая кирпичная стенка, штабель шпал, несколько цементных труб в пятнадцать дюймов — это все на подходах к зданию. Остальное — внутри, в коридорах и на лестницах. Финиш — на площадке каланчи, как раз над его головой. Еще минут двадцать, и надо идти на исходную..

Он посидел, откинувшись в кресле, — удивительное кресло, не сказать, что мягкое — слишком мягкое, — в нем не тонешь, а таешь, даже не выразить словами, как приятно... Минуты шли не быстро и не медленно, нормальным деловым шагом, пришло время вставать, и он встал, проверил световой пистолет, перезарядил его, прощупав пальцами все двадцать пять патрончиков — как их угадаешь, которые тухлые? Все наудачу... — спустился по винтовой лестнице, прошел по коридорам, темным и прохладным, по обычной лестнице — к входу, выщербленные цементные ступени, пересек двор и вошел в гараж. Здесь не выветрился еще запах бензина и масла, честный запах хорошего муж-

ского дела, и на него в который раз накатило: войти, сказать: надоело, — раздать деньги и уйти ко всем чертям — в шоферы, официанты, в матросы... Умом он знал, что не сделает этого, более того, он знал, когда и отчего такое накатывало, но от знания тоска неправоты не становилась менее острой.

Через щель он наблюдал, как Козак ставит стрелков на номера. Пятеро были внизу, «в партере», в специально для них сооруженных укрытиях — прикрывающих не спереди, а сзади, от случайной пули. Остальные десятеро были в окнах первого и второго этажей, и они же должны были держать коридоры и лестницы после того, как он прорвется в здание.

На часах было без трех десять. Ларри снял часы с руки, повесил на гвоздик. Он ощущал уже внимание тех пятнадцати, волны внимания металась от одних ворот к другим, ворот было пять, и никто еще, включая самого Ларри, не знал, из каких он покажется. Он отошел к противоположной стене гаража, прикрыл глаза, прислушался. Внимание было направлено примерно поровну на все ворота. Он подошел ко вторым слева, чуть-чуть приоткрыл калитку. Всплеск. Свистка еще не было. Он вернулся на свое место — теперь все смотрели на те ворота, калитка которых шевельнулась. Изредка кто-то поглядывал на соседние и еще кто-то самый хитрый — на крайние справа.

Десять часов. Ларри слышал, как Козак подносит к губам свисток.

Свисток!

Лавина внимания — горячего, потного, похотливого внимания — на ту калитку! Даже самый хитрый отвлекся.

Почти не торопясь, Ларри вышел из второй справа, дошел до траншеи и прыгнул в нее. Три пули с запозданием ударили в стену гаража...

Он прошел всю дистанцию, как проходил ее обычно, минут за пятьдесят. Бывали случаи, когда это удавалось ему быстрее, за полчаса, бывало — редко — когда все удовольствие затягивалось часа на два. Наверное, раньше он уставал больше, расходовал больше сил, теперь на его стороне были наработанность и опыт, но



сказывался общий фон усталости, общее утомление — на грани срыва, подумал вдруг Ларри, я на грани срыва. Еще немного, и этот пацан вlepил бы мне в спину. Плохо стал чувствовать спиной. Так уже было. Ладно, осталось два раза. Будем еще аккуратнее. Он сидел в своем любимом кресле, один, Козак размял его и ушел, оставив большую бутылку лимонада. Что-то мешало Ларри считать, что сейчас все обошлось. Где-то сидела неясная заноза, и Ларри никак не мог ее нащупать. Проклятье... Что-то было не так — совершенно точно, что не так, но что именно, черт возьми... или просто мерещится с усталости? Мерещится... хорошо бы... хорошо бы... что хорошо? А вообще. Два раза всего осталось, два раза, два раза — ура, ура, ура! Троекратное ура в честь господина Лавьери!

Он не заметил, как заснул — такое случилось, он засыпал, как проваливался под лед — мгновенно — и проснулся, хватая ртом воздух, что-то приснилось, наверное, но сны никогда не задерживались в памяти и ускользали, выскальзывали, оставляя после себя ощущение вот этой гадкой слизи, которая и позволяла им так легко выскальзывать из памяти — и к лучшему, а то опять приснится Большой Аттракцион... это был удивительно подробный сон, запомнившийся со множеством подробностей и деталей: Большой Аттракцион, сотни стволов, направленных на меня, все ждут свистка, алчно сопят в ожидании свистка, свисток — а я стою неподвижно и жду, и знаю твердо, что не буду бегать и уклоняться от пуль, а буду ждать вот так вот, стоя совершенно неподвижно, и почему-то никто не стреляет... потом они все же начали стрелять, и сон кончился, потому что в этом сне Ларри убили, а какие сны может видеть убитый? Но они очень долго не могли начать стрелять, хотя он кричал им все, что о них думал, и оскорблял их, и смеялся над ними, а они все не стреляли и не стреляли — ждали чего-то или не решались, каждый из них не решался выстрелить первым...

— Ларри, — позвал Козак из-за двери.

— Да, — сказал Ларри.

— Тут к тебе человек. Он говорит, что знает тебя давно. Его зовут Кинтана.

— Кинтана? — не поверил Ларри. — Боже мой! Зови.

— Сейчас, — сказал Козак. Его башмаки загрохотали вниз по лестнице.

Кинтана, Кинтана, думал Ларри, напрягаясь. Что же тебе понадобилось, Кинтана? А? Он встал и оперся о подоконник. Поднявшийся ветерок гонял пылевые смерчки по двору гаража. Что же ты хочешь от меня еще?

И в то же время я чертовски рад, Кинтана, что ты жив и что ты нашел меня даже в этом захолустье, хотя, скажу тебе сразу, пользы тебе от этого никакой не будет. Ты бы удивился, наверное, узнав, что я радуюсь тебе. Ты бы этого не понял, Кинтана. Ты у нас человек без сантиментов. А жаль.

Торопливые легкие шаги за дверью — и Ник Кинтана влетел в комнату. Был он весь тонкий и легкий, в светлом костюме, противосолнечных очках, шляпа болталась за спиной, морда была свежая и загорелая, и почти без следов того ожога, только перчатки на руках — даже не столько потому, что не следует оставлять где попало отпечатки, сколько потому, что Ник терпеть не мог свои обезображенные руки. Они обнялись — от Ника пахло отличной парфюмерией, от Ларри, как обычно, — «мужским одеколоном „Полундра“ с запахом крепкого матросского пота, табака и селедки», — так они шутили тогда, когда было время шутить. И когда было настроение шутить — сейчас такого настроения не было, и объятия эти были чисто церемониальным актом, данью старой — бывшей — дружбе, по которой прошла в позапрошлом году трещина — когда Ларри отказался помогать Нику в очередной его затее, а Ник вдруг стал давить на него совершенно непорядочным способом. Тогда Ларри сказал: «Последний раз», — и два года Кинтана о себе не напоминал, лишь стороной доходила о нем кой-какая информация.

— Ах, черт! — сказал Ник. — Немного же от тебя осталось!

— Плохо выгляжу? — усмехнулся Ларри.

— Не то слово, — сказал Ник. — Ты что, на диете?

— Именно, — сказал Ларри. — Это ты хорошо сказал: на диете. Ты молодец, Ник. Ты умеешь хорошо сказать.

— Что-нибудь случилось? — нахмурился Ник.

— Что со мной может случиться? — засмеялся Ларри. — Просто двести выступлений меньше чем за полгода. От меня осталась лишь хорошо продубленная шкура да немного костей и сухожилий.

— Двести? — не поверил Ник. — Ты сказал: двести?

— Двести, двести. Точнее, сто девяносто восемь. Завтра последнее.

— Понятно. Жаль.

— Чего именно?

— Что от тебя осталась кожа да кости.

— Хотел что-нибудь предложить?

— Это вода? — Ник показал на бутылку.

— Вода, — сказал Ларри.

Ник налил себе полный стакан и жадно выпил, потом налил еще один и тоже выпил, но медленнее, по глотку.

— Здорово, — сказал он. — Что это у тебя за парень — там, внизу?

— Козак? Так, просто хороший парень.

— А это у него откуда? — Ник провел пальцем по щеке.

— Шрам? С войны.

— Солдат, значит?

— Солдат.

— Понятно... А где этот твой грек?

— Он знает, что я не слишком его люблю. Иногда неделями на глаза не попадается.

— Ты хорошо устроился... — проворчал Ник. — Сколько у тебя выйдет чистыми за все это?

— Гроши. Двадцать восемь тысяч.

— Ну и купил он тебя... да. Не отказался бы тогда — имел бы сейчас минимум полмиллиона.

— Плюс нелегальное положение.

— Ерунда. Пока оккупация, никакого нелегального — такая неразбериха во всех этих делах, если бы кто знал... Слушай, а ведь на будущий год собираются проводить выборы.

— Врешь, — недоверчиво сказал Ларри.

— Да нет, не вру, — сказал Ник. — Так примерно в апреле-мае.

— Ну что же, — медленно сказал Ларри. — Тебе и карты в руки...

— Выборы надо сорвать, — сказал Ник.

— Что? Зачем?

— Надо убить Данкоффа. И Ордуэя — если удастся.

— Да что вы там все, с ума посходили? Зачем — сорвать? Вы что?

— А ты что? Ты что, не понимаешь, что выборы в условиях оккупации — фикция? Что к власти придут те, кого назначит Данкофф? Христианские демократы, к примеру? Лессинг — в канцлеры, Ярошевский — в президенты? Народ контужен войной, народ еще не оправился от этой контузии, и ему хотят, пользуясь моментом, навязать плутократов и соглашателей! Сменить вывеску, чтобы оставить все как есть. Не выйдет! Сейчас самое время начинать раскачивать народ, расшевеливать, поднимать! Если оккупанты начнут закручивать гайки, если скинут наконец маску миротворцев и покажут истинное свое лицо — о, вот тут-то начнется! Они еще не знают, что такое городская партизанская война!

— Ты определенно сумасшедший, Ник. Вы все там сумасшедшие. Ну зачем вам еще одна война?

— Потому что только так можно построить по-настоящему справедливое общество. Эти сволочи делают вид, что пекутся о благе народа, — а на самом деле они отгородились от нас живой стеной, простыми людьми, они держат их заложниками, весь народ, понимаешь? Всех людей. Они думают, что если они держат их заложниками, то могут диктовать нам условия. Нет, господа! Мы тоже умеем считать! И мы понимаем, что пусть лучше сейчас погибнет тысяча человек, чем потом семьдесят миллионов потеряют возможность жить в подлинно свободном и справедливом обществе. Мы запачкаемся в крови, но зато дети наши будут свободными и счастливыми людьми. Не цель ли это, а, Ларри? Чего ты на меня так смотришь?

— Поразительно, — сказал Ларри. — Если согласишься, эта имперская шваль в свое время твердила примерно так: вся наша внешняя экспансия оправдана

тем, что дети наши будут свободны, — а потому не принести ли нам кой-какие жертвы на алтарь победы?

— Ты! — возмутился Ник. — Ты! Ты еще смеешь сравнивать — их и нас?! Нас — и тех прохвостов?..

— Извини, — сказал Ларри. — Действительно...

— Как у тебя язык повернулся?

— Я же извинился.

— Извинился.... извинился... За такие слова знаешь что следует делать?

— Вызвать на дуэль.

— Дурак.

— Ну-ну.

— Нет, действительно — взять и так сказать...

— Давай ближе к делу, — сказал Ларри. — Ближе к деликатному твоему делу. Ты хочешь, чтобы я произвел покушение на Данкоффа?

Ник снял свои темные очки, посмотрел Ларри в глаза; глаза самого Ника были красные и смертельно усталые, под глазами набрякли мешки. Без очков Ник постарел сразу лет на десять.

— Да, — сказал он.

— Нет, — сказал Ларри. — И это мое окончательное решение.

— Ты не принимаешь в расчет вот чего: решение об устранении Данкоффа принято и будет реализовано независимо от воли отдельных лиц, — медленно сказал Ник. — Реализовывать его придется шестнадцатилетним пацанам, которых сейчас натаскивают в наших лагерях. Военно-спортивные лагеря для молодежи и подростков — с полного одобрения оккупационной администрации и лично маршала Данкоффа... — Ник засмеялся, негромко и невесело. — Вот так обстоят дела. Поэтому я обращаюсь к тебе — чтобы сохранить жизни этим пацанам, двадцати или тридцати. Или пятидесяти. Будет штурм. Чтобы послышнее, чтобы резонанс по сильнее, чтобы реакция пожестче...

— Нет, — сказал Ларри.

— Ты все-таки подумай, — сказал Ник.

— Я подумаю, — сказал Ларри. — И ты тоже подумай. Вот о чем: папку из архива «Сириуса» ты помнишь?

— Так это все-таки ты ее спер?

— Все-таки я.

— И куда же ты ее дел?

— Тебе дать адрес?

— Извини.

— Какое приложение к этой папке, ты понимаешь: мол, если я, Ларри Хербер, в скобках — Ларри Лавьер, дам дуба при неясных обстоятельствах... ну и так далее. Так вот: если вы устроите это идиотское покушение... нет, не так: если вы сорвете выборы, я дам папке ход. Понял?

— Так... — Ник побарабанил пальцами по подлокотнику. — И что же теперь? Ты хочешь, чтобы я сообщил об этом... нашим?

— Ну да. Просто вы ведь должны знать, с какими неожиданностями можете столкнуться в этой вашей драке за власть.

— А ты хитрее, чем я думал, — сказал Ник и неожиданно улыбнулся широко и весело. — Ох, и хитрее!

— Иногда приходится принимать совершенно неожиданные меры, — сказал Ларри.

— Да, — согласился Ник. — Иногда приходится. Ничего не поделаешь.

— Где ты остановился? — спросил Ларри.

— Нигде, — сказал Ник. — Я сам тебя найду. Завтра вечером — нормально?

— Нормально, — сказал Ларри. — Завтра вечером.

Ник ушел, тяжело ступая, всю легкость свою он оставил здесь, растерял, распылил, израсходовал — Ларри проводил его до двери и посмотрел, как он спускается, ссутулившийся и постаревший. Потом вернулся к окну. Потемнело, небо заволокло, пробрасывал дождик. Проклятые политиканы, подумал он в отчаянии. Они ведь... они... Он не знал, что именно «они». В голове все мешалось, думать он не мог, мог только чувствовать, как подступает к горлу немой крик — как это бывает от настоящего бессилия. Не сделать ничего, понял он. Проклятая страна. Проклятое время в проклятой стране...

И Ник... Что это с тобой, а, Ник? Не похож ты на себя, Ник Кинтана. Время ли тебя укатало — или горки

оказались чересчур крутые? Не держишь удар. Ну нисколько не держишь. Или не хочешь держать? Эх, Ник, Ник... а казалось, по гроб жизни. Ты меня — из болота, я тебя — из смертного блока... такой цемент, казалось, а вот поди ж ты... казалось — оказалось...

Впрочем, все может объясняться просто. Ник получил задание склонить некоего Ларри Лавьери к совершению террористического акта, имеющего важное политическое значение. На случай отказа Лавьери от совершения акта Ник должен ликвидировать указанного выше субъекта. Вопросы есть? Нет. Выполняйте. Похоже? Очень похоже. А тут, понимаете, папка из архива «Сириуса» — это вам не ваши динамитные бомбочки, это на мегатонны мерить надо, это конец многих так лихо начинающихся карьер — да что там карьер, оккупационные власти очень интересуются деятельностью «Сириуса»... да. Есть там вещи, пахнущие хорошо намыленной пенькой.

Если бы эта папка существовала на самом деле!

Ну что же, пока там Ник связывается со своим руководством, пока те обсасывают ситуацию, пока выработывают новую тактику, — ладно, мы тоже пока не будем суетиться. Блефовать надо с серьезным лицом.

А теперь — танцы, как говорил, бывало, тот же Ник, притаскивая на наш с ним остров посреди болота пару караваев хлеба или конскую ляжку; я уже более или менее передвигался, болтаясь между костылей, ноги отходили медленно, и он выхаживал меня как родного, иногда он пропадал на три, на пять дней, но всегда возвращался: — А теперь — танцы! — и я танцевал на этих костылях вокруг его рюкзака, и так было до осени, пока я однажды не отбросил костыли и не выдал такую румбу!..

Козак кухарил по военно-полевому и из мирного времени перенял лишь специи и зелень. Поэтому на первое был «силос»: свежая капуста, помидоры, кресс-салат, латук, петрушка, все порубленное и политое дешевым маслом, а на второе — исходящее незнакомыми ароматами месиво из картошки, лука и мяса. Потом вскипятили чай, поделив оставшуюся заварку на две части — на сейчас и еще на вечер. Пить чай

Козака приучили в лагере военнопленных, где он пробыл полтора года после капитуляции и откуда принес много экзотических навыков: например, бриться черенком ложки. Он утверждал, что даже золингенское лезвие не сравнится с такой самоточкой. За чаем их и застал маленький американец.

— Господа, — сказал он, снимая шляпу, — позвольте представиться: Рой Ингал, бакалавр искусств и представитель «Марк Груманз адвентер тревелз». Вы позволите?

Он присел на свободную табуретку, протянул Ларри визитную карточку, протянул Козаку открытый портсигар, поднес зажигалку — все это в хорошем темпе, закурил сам, выпустил дым и, выждав ровно две секунды после того, как Ларри поднял глаза от карточки, сказал:

— Я имею поручение от руководства компании предложить вам ангажемент. Я восхищен вашими выступлениями, и это восхищение разделяют многие в руководстве компании. «Марк Груманз адвентер тревелз» предлагает вам турне по Соединенным Штатам и Канаде. Я имею полномочия обговорить с вами насчет условий выступлений. Я имею также право предложить вам двести долларов за одно выступление, а также секретное предписание, позволяющее в случае вашего отказа поднимать ставку до двухсот пятидесяти долларов. Но мистер Груман шепнул мне, что если вы не согласитесь на двести пятьдесят, давать триста. Я думаю, что с меня не сдерут кожу на барабан, если я телеграфирую, что мы сторговались на триста двадцать долларов за одно выступление. Так. Мы сторговались?

Ларри, ошарашенный, конечно, таким оборотом дел и таким натиском, тупо рассматривал американца. Маленький и аккуратный, в голубовато-серой тройке, лицо скуластое, смугловатое, волосы короткие, лежат свободно, никаких вам бриолинов, сидит, каналья, как дома, нога на ногу, шляпа на колене, курит, разглядывает его, Ларри, понимает, что сразил наповал. Ларри перевел дух, посмотрел на Козака. Если у меня такой же вид, как у Карела, подумал он, то этот парень должен иметь отличные тормоза — глазом не моргнул.



— М-м... — начал Ларри, — простите, господин?..

— Рой Ингал, — сказал американец. — Давайте просто Рой.

— Господин Ингал. Я не был подготовлен к такому разговору, поэтому прошу простить мою растерянность (какого дьявола я все время извиняюсь?), но все это в высшей степени неожиданно для меня, поэтому... Вы знаете, конечно, что у нас есть определенные ограничения в правилах...

— Конечно, — сказал американец. — На вашем утреннем представлении присутствовал наш человек.

— Ах вот как, — сказал Ларри. — То есть вы знаете кое-что изнутри?

— Разумеется, — сказал американец. — Более того, мы обратили внимание, что поле вашего аттракциона эргономически спланировано далеко не идеально — впрочем, этот вопрос вы сможете обсудить с инженером компании. Сейчас меня интересует один вопрос: да или нет?

— Знаете, я не предполагал в скором времени возобновлять выступления, — сказал Ларри. — У меня была очень напряженная серия, я страшно устал, и... вот осталось два раза. — Он вдруг неожиданно для себя улыбнулся.

— Если начать выступления с первого сентября — вы успеете отдохнуть? — спросил американец.

— Не знаю, — сказал Ларри. — Я просто никогда в жизни еще так не уставал.

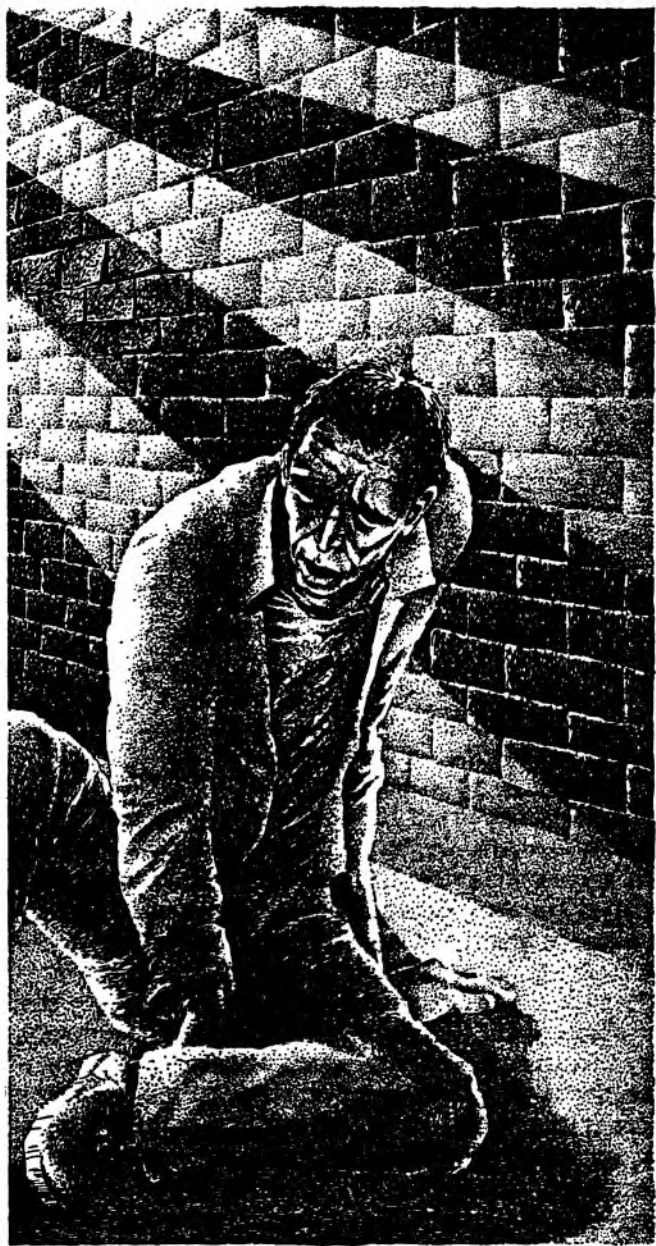
— У компании есть свой пансионат на Палм-Айленд, это атлантическое побережье, отличные пляжи. Мы готовы обеспечить вам самый полноценный отдых, мистер Лавьер. Причем учтите — не в счет будущих выступлений, а за счет компании.

— У вас случайно не филантропическое общество? — спросил Ларри.

Американец вежливо улыбнулся.

— Я предлагаю вам такой режим выступлений: по два выступления в день два дня подряд, потом два дня отдыха. Право брать тайм-аут, если почувствуете усталость. Два, три, четыре раза за серию — обсудим позже. И большой перерыв в середине серии — ска-





жем, на месяц. Надо же вам посмотреть страну, которую вы намерены покорить?

— А компания не разорится на таком режиме выступлений?

— Вы представить себе не можете, мистер Лавьер, — сказал американец, — сколько мы на вас зарабатываем. Кстати, вас будут осаждать рекламные компании — запрашивайте вдесятеро против того, что они будут предлагать. Не церемоньтесь с ними.

— Да, и видите ли, — сказал Ларри, — нас двое.

Американец взглянул на Козака.

— Нет проблем, — сказал он. — Вы же платите ему из своего кармана? Вот и продолжайте.

— Потрясно, — сказал Ларри. — Карел, как тебе?

— Вполне приемлемо, — сказал Козак.

— К завтрашнему утру я подготовлю проект контракта, — сказал американец, — и мы его обсудим за чашечкой кофе. Часов в десять вас устроит?

— В десять у меня выступление, — сказал Ларри. — Вы забыли.

— Зачем вам это? — спросил американец удивленно.

— У меня контракт, — сказал Ларри.

— Сколько вам придется заплатить за срыв представления? — спросил американец.

— Двойной сбор, — сказал Ларри.

— Сволочь этот ваш Папандопулос, — сказал американец. — Это значит, за два выступления — восемнадцать тысяч динаров? Ладно. — Он достал из кармана чековую книжку, стал писать. — Округлим до двадцати... семьсот шестьдесят долларов. Я вас выкуплю, — сказал он Ларри и подмигнул. — Разбогатеете — отдадите. Держите вот... впрочем, нет, я сам отдам и сам переговорю. — Он засунул чек обратно в книжку, книжку положил в карман, сделал брызжащее движение пальцами, поправил галстук, и вот он уже на ногах и надевает шляпу. — Итак, на сегодня с вами я прощаюсь, надеюсь, что не разочаровал вас, до завтра!

И скрылся.

Наступило молчание. Ларри сидел, тупо уставясь на стакан и бесцельно помешивая ложечкой чай; чайники

то собирались в центре стакана, то разлетались по всему дну, и он никак не мог понять, почему это так. Козак молча прихлебывал. Потом он налил себе еще, хотел положить сахар, обнаружил, что сахара больше нет, сходил куда-то и принес новую пачку.

— От добра добра не ищут, — сказал он.

— Да, — сказал Ларри. — Надо же, сволочизм какой — только-только решил отдохнуть... Знаешь, Карел, если честно — я хотел совсем завязать с этим делом.

— Фиг бы у тебя получилось, — сказал Козак. — Ты же больше ничего так хорошо не умеешь. Заскучал бы.

— Не знаю, — сказал Ларри.

— Ладно, — сказал Козак. — Отдохнешь, развеешься...

— Отличные пляжи, — сказал Ларри. — Загорим с тобой, как негры, найдем себе по креолочке... Ты любишь креолок?

— Никогда не видел, — сказал Козак.

— Я тоже.

— Вообще, мне кажется, — сказал Козак, — от таких предложений не отказываются.

— Да я вроде и не отказываюсь, — неуверенно сказал Ларри.

— Так мне на вечер билеты продавать?

— Не знаю, — сказал Ларри. — Наверное, не надо.

— Папандопулос лопнет с досады, — сказал Козак.

— Ему-то что, — сказал Ларри. — Он свое получает.

— Ты не знаешь, — сказал Козак. — Он на тебя пари заключает. Что в тебя не попадут. А теперь все эти его пари... — и Козак сделал жест, наглядно обрисовывающий плачевную судьбу всех пари господина Папандопулоса.

— Так ему и надо, — сказал Ларри. — Скотина лохматая.

— Не устроил бы он тебе какую-нибудь гадость... — сказал Козак.

— Плевать, — сказал Ларри. — Ты здесь будешь? Пойду поброжу.

— Так, значит, не продавать? — спросил еще раз Козак.

— Продавай пока, — неожиданно для себя сказал Ларри. — Потом, если что, вернем деньги.

Все это надо как следует обдумать, как говорил когда-то Ник, «подвергнуть интеллектуальному процеживанию». А полноценное интеллектуальное процеживание получалось у Ларри только при бесцельных блужданиях под открытым небом. Странный день сегодня. Дело не в совпадении даже: что и Ник, и американец, и каждый с невероятными предложениями. Это как раз бывает, закон парных случаев. Но то ли чего-то не хватает во всем этом, то ли какой-то пережим. Что-то тут не так. Он вернулся в отель, купил у портье талончики на междугородные переговоры и заказал разговор из номера с одним своим приятелем в столице. Приятель оказался на месте, и Ларри попросил его навести справки об американской компании «Марк Груманз адвентер тревелз». Через полчаса приятель позвонил ему и сказал, что такая компания существует, имеет солидный оборот и занимается шоу-туризмом, то есть путешествиями по местам увеселений: на корриды, родео, авто- и мотогонки, бурлески и прочее, и прочее; здешний представитель компании по имени Рой Ингал находится сейчас в деловой поездке где-то на востоке страны.

— Спасибо, старина, — сказал Ларри и положил трубку.

Телефон тут же зазвонил снова. Это был американец.

— Мистер Лавьери, — сказал он. — Вопрос о ваших остающихся выступлениях решен полностью. — И тут он отчетливо хихикнул, и Ларри представил себе, как именно проходил процесс решения. — Прошу вас сегодня на ужин — с вашим компаньоном, если желаете. Гарантирую очень хороший коньяк. Очень хороший. Как предпочитаете ужинать — с дамами или без?

— Все равно, — сказал Ларри.

— Так не бывает, — не согласился американец.

— Я хотел сказать, что оба варианта равноприемлемы, — усмехнулся Ларри.

— Вот и отлично, — сказал американец. — Я за вами заеду часов в пять — куда?

— К «Аттракциону», — сказал, подумав, Ларри.

— Хорошо. В пять в «Аттракционе».

Американец положил трубку первым, и Ларри услышал это треклятое «пам-па-па-пам», и ушедшее, казалось, беспокойство зашевелилось вновь.

А, пошло оно все к черту, подумал Ларри с накатившей ненавистью, уставясь почему-то на телефон — наверное, от телефона он и ждал новых пакостей. А пошли вы все к черту — и ты, Ник, и твои хозяева... завтра, мол, вечером... завтра вечером меня здесь собака не унюхает. И даже, может быть, сегодня вечером. Уеду — и там вы меня не достанете. А достанете — ну что же делать, ребята, пеняйте на себя...

Его опять потянуло на улицу. Тучи ушли, светило солнце, и дул ровный прохладный ветер, обещая, что и завтра будет вот так же солнечно и холодно. Было без двадцати четыре. Ярмарка продолжала кипеть, и Ларри, обогнув отель, пошел в направлении прямо противоположном, туда, где тихо и никого нет. Улочка, выбранная им, извиваясь, спускалась к реке, но переходить мост Ларри не стал, а сел на бордюрный камень и стал смотреть на дома, деревья и людей. Дома на обоих берегах были маленькие, крытые черепицей или железом, одноэтажные, изредка двухэтажные, ничего более высокого Ларри не видел, если не считать красного кирпичного здания школы и кирхи вдали. Деревья, распустившиеся не так давно, стояли как в нежно-зеленом тумане, а по дворам доцветали яблони. Со стороны ярмарки люди шли понемногу, в сторону ярмарки не шел никто. Потом Ларри заметил старика. Старик шел с того берега по мосту, потом стал подниматься по улице вверх. Около Ларри он остановился. Красивый породистый старик с коротким седым ежиком, с тростью, на которую он опирался, кажется, не для поддержания себя в положении прямостояния, а выполняя некий ритуал погребения праха земного.

— Все сидите? — спросил он Ларри.

— Сижу, — сказал Ларри, ничуть не удивленный таким вопросом.

— Без работы?

— Видимо, так, — сказал Ларри.

- Что значит «видимо»?
- Наобещали.
- Ясно. Машину водите?
- Да.
- Грузовик с прицепом?
- Да.
- До войны кем были?
- Гимназистом.
- А на войне?

— Морская пехота, потом штрафбат.

— Вы мне подходите, — сказал старик. — Вот вам моя карточка, позвоните утром.

Он протянул Ларри кусочек газеты. Это была позавчерашняя местная газета, и по иронии ситуации как раз на этом оторванном клочке были слова: **ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ** стрел... и чуть ниже: **СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕ...**

— Штрафбаты — это единственное, в чем еще оставалось хоть немного истинного гиперборейского духа, — сказал старик. — На этой войне наш народ испустил свой гиперборейский дух, но последним его испустили штрафбаты.

— Это точно, — сказал Ларри. Он помнил, как к концу войны в штрафбаты сгоняли кого попало и за что угодно: за отросшие волосы, за вшей, за татуировку, за анекдоты, за... Там Ларри и познакомился с Ником. Потом они вместе дезертировали — накануне заведомо безнадежного наступления.

— Меня выпшвырнули из армии, — сказал старик. — Пока шла война, я был им нужен, а как война закончилась, меня выпшвырнули. Я им не нужен в мирное время.

— И я им не нужен в мирное время, — сказал Ларри. — Я и себе-то не нужен в мирное время. Страшно обидно получается — уникальный талант, а в мирное время не нужен. А если нужен, то на всякие гадости. Следовательно, война — это тоже гадость, но какая-то общепринятая.

— Да, — сказал старик. — Учтите — когда войны нет, пропадает надобность в воинской доблести, и все мужчины превращаются в хлюпиков. И женщины ро-



жают от них еще больших хлопиков. Без войн человечество вырождается. Поэтому победители всегда насилюют женщин побежденного народа — чтобы улучшить породу. Природа мудра, и природа не позволит нам перестать воевать.

— Не слушайте вы его, — сказала Ларри какая-то подошедшая женщина. — Он сумасшедший. Пойдемте домой, генерал. Эмма опять потеряет вас.

— Значит, договорились, — сказал старик. — Завтра вы звоните мне. Такие люди нужны нации.

— Конечно, — сказал Ларри.

Старик ушел, ведомый под локоть дамой. Ларри сидел и смотрел им вслед. Какая жалость, подумал он. А то действительно бы — шофером на дальние рейсы, день и ночь за рулем, дорога навстречу, люди и машины, Козак рядом, это обязательно, чтобы Козак был рядом... Эта картина прокрутилась перед глазами так ярко, что он даже почувствовал запах горячего мотора и дорожной пыли и услышал шлепки разбивающейся о стекло саранчи... Надо было двигаться к «Аттракциону», было уже без пятнадцати пять. Когда Ларри обогнул отель и вышел на рыночную площадь, он понял, что что-то случилось.

Народ толпился неподалеку от «Аттракциона», и там же стояли две полицейские машины. Ларри подошел поближе. Несколько полицейских разгоняли толпу, кричали: «Расходитесь, расходитесь, господа, не мешайте расследованию!» Им удалось освободить от людей круг метров двадцать в диаметре. Посередине круга лежал на земле человек, и, хотя он лежал лицом вниз, Ларри сразу понял: это был Ник. Рядом с ним стояли полицейский офицер, жандармский офицер и двое из оккупационной администрации. Полицейского офицера Ларри знал. Он протиснулся к нему, сказал, что, кажется, знает погибшего и просит разрешить произвести опознание. Офицер пристально посмотрел на Ларри и разрешил. Ларри подошел к труп, наклонился, потрогал голову. Это, конечно, был именно Ник — Ник, убитый выстрелами в спину и затылок. Пуля прошла через глазницу, и вместо глаза пузырем выпирал черно-багровый сгусток.

— Слушаю вас, — сказал полицейский офицер.

— Это Николас Алан Кинтана, рождения тысяча девятьсот двадцать шестого года. Места постоянного жительства и рода занятий не знаю. Видел его сегодня три часа тому назад.

— Откуда вы его знаете? — спросил офицер.

— Были вместе на фронте. Потом изредка встречались. Если не считать сегодняшнего дня, то последний раз года два назад.

— А что было сегодня?

— Да ничего не было. Он пришел ко мне после выступления, хотел о чем-то поговорить, но я был выжат как лимон. Он побыл немного со мной и ушел. Немного, кажется, обиделся. Но я ничего не мог — ни говорить толком, ничего...

— Но о чем-то он говорил?

— Нет. Он понял, что я гиббон гиббоном, ну и... Он хотел зайти завтра вечером.

— Зайти? Откуда?

— Он не сказал, где остановился.

— Какие у вас были с ним отношения?

— Приятельские. Не слишком тесные, но хорошие.

— Почему, вы думаете, он пошел к вам снова?

— А он шел ко мне?

— Уверен в этом. Он вышел из отеля и очень быстро, почти бегом, направился сюда. И какой-то мотоциклист подъехал к нему сзади и выстрелил. Так почему он шел к вам?

— Не знаю. Он не собирался сегодня. Мотоциклиста поймали?

— Где там... Чем он, по-вашему, занимался?

— Два года назад он начинал заниматься журналистикой. А что он делает сейчас... делал... извините.

— Новая мода — журналистов убивать... Хорошо хоть, что не полицейских.

— Убивать полицейских — это мода будущего сезона, — сказал Ларри.

— Не надо так шутить, — сказал офицер.

— Я не шучу, — сказал Ларри. — Я прогнозирую.

— Вы серьезно?

— Боюсь, что да.

— А где вы были сами с четырех до половины пятого?

— Гулял, — сказал Ларри. — Но алиби у меня есть.

— Я вас не подозреваю.

— Спасибо.

Офицер посмотрел на Ларри и еле заметно усмехнулся.

— Вы оказали помощь следствию, — сказал он. — Благодарю вас. Нам надо занести показания в протокол — не пройдете ли со мной в машину?

— Пойдемте лучше в помещение, — сказал Ларри. — Там удобнее.

Они составили протокол опознания. Ларри подписался, и офицер ушел, еще раз поблагодарив его за помощь следствию.

— Ты видел, как это было? — спросил Ларри Козака, когда они остались одни.

— Нет, — сказал Козак. — Я на стрельбище нашем порядок наводил.

— Американец не появлялся?

— А чего ему тут делать?

— Хотел за нами заехать — приглашал на коньяк.

— Не было еще.

— Я наверх пойду, — сказал Ларри. — Если он приедет — зови.

В своей комнате Ларри растворил окно и сел на подоконник, обхватив руками колено. Смерть Ника не произвела на него особого впечатления, она каким-то образом вписывалась в структуру момента и потому не казалась собственно смертью и не вызывала особых эмоций — так, отстраненная жалость к Нику, как к проигравшему игроку. А ведь он искал меня, он несся сломя голову, чтобы меня предупредить о чем-то, подумал Ларри, подумал больше для того, чтобы растормозить в себе чувства, потому что специально думать об этом было не обязательно, это и так было ясно. Как ясно было и то, что бежал Ник не за тем, чтобы уберечь меня, а потому что у него у самого вдруг что-то сорвалось...

Ларри поискал в карманах и выложил рядом с собой на подоконник две визитные карточки: американца и

сумасшедшего старика. У меня алиби, ни к селу ни к городу подумал он, и тут же возникла откуда-то известная фраза: «Было бы алиби, а трупы найдутся...» Так... трупы... трупы, кажется, действительно найдутся.

Предположим, что я понадобился хозяевам Ника. Ник знает меня, знает, что давить на меня бесполезно, и пытается втолковать им это. Они понимают, но — но делают вид, что не понимают, и посылают Ника именно затем, чтобы он давил. Ник настраивает меня на соответствующий лад. А потом они посылают еще одного, который имеет целью сделать так, чтобы меня не было сегодня после пяти в обычном месте. Все понятно? Сегодня произойдет покушение на кого-либо из чинов оккупационной администрации или на какого-нибудь заезжего генерала — в моем стиле и с оставлением на месте преступления моей визитной карточки. И все. Я в их руках. Теперь они могут получить от меня сполна все то, что им нужно. А Ник? Он что — взбунтовался? Или ему пришлось не по нутру роль настройщика? Ну да, может быть, у Ника на меня свои планы, у его хозяев — свои. Или не у хозяев, а у соперничающей группировки, догадался Ларри. Все становится на места. Это несущественно, кто именно чуть-чуть не уловил меня, какие именно ловцы человека (ему вспомнилось утреннее предупреждение Рисетича о каких-то неизвестных патерах, и мелькнуло на миг, что он, Ларри, понадобился в известных целях церковникам, — клерикальные террористы, подумал Ларри, военизированная организация «Непорочное зачатие» — хорошо звучит!) — несущественно, пусть это американская разведка, или имперская, недоразгромленная и, по слухам, продолжающая свою деятельность, или террористы, или еще кто-то — главное, я чуть было не превратился в чей-то инструмент, в оружие... Но Ник, не желающий отдавать меня в чужие руки, не желающий, вернее, выпускать меня из своих рук, побежал, чтобы меня предупредить, — и предупредил. Спасибо, Ник, ты выручил меня еще раз.

Но механизм превращения меня в инструмент запущен, и кто-то где-то проверяет пистолет, поздно и бессмысленно пытаться предупредить («кто-то где-то

кого-то хочет убить, кто, где, кого — не знаю, но знаю, что часов в семь вечера...») — но почему вы не думаете никогда о том, что человека невозможно рассчитать до конца? Человек тоже не может рассчитать до конца, что именно против него сконструировано, но элементарно порядочным он может быть? Не поддаваться на запугивания, подкупы, лести? Может? Может. Ни в один капкан в качестве приманки невозможно положить порядочность — просто у вас, господа конструкторы капканов, извилина — та, что ведает порядочностью, — редуцировалась или вообще не развилась, уроды вы, господа...

Впрочем, может быть, я вас и недооцениваю...

Точно так же, кстати, может оказаться, что ничего вообще нет, никаких сложных интриг и ловушек, а есть лишь несколько независимых событий, и чисто случайно — я оказался задет ими — чисто случайно... И американец — настоящий, и не появляется он по простым причинам: колесо спустило, коньяк попался слишком хороший, полиция задержала — как-никак убийство в городе...

Ладно, это все лирика. Ларри с силой, ломая прочную фанеру, приподнял сиденье кресла, просунул руку в тайник. В тайнике был вальтер в специальной кобуре для ношения под мышкой. Ларри разрядил его, подергал затвор, пощелкал курком, чтобы расшевелить застоявшийся механизм. Зарядил снова, пристроил кобур, накинул на себя полотняную куртку, подошел к зеркалу. В зеркале был мускулистый, отлично сложенный тип с мужественным, немного осунувшимся лицом. Такими вот типами, будто сошедшими с одного конвейера, киптели американские фильмы. Ларри поморщился, тип тоже поморщился и покосился на пистолет. Пистолет был совершенно незаметен под курткой.

Итак, приятной охоты, господа! Мишени фирмы «Лавьеры» ждут вас!

Козак не удивился, когда Ларри сказал ему, что вечернее представление состоится. Или удивился, но не подал виду. Но, скорее всего, он просто догадывался, что возникли серьезные осложнения в жизни, и понимал, что Ларри, как человек, рискующий своей кон-

кретной шкурой, имеет право принимать решения. Безусловно, Козак очень многое понимал в происходящем, и то, что он без звука отправился продавать билеты стрелкам, уверило Ларри в том, что его рассуждения правильны.

Ларри не стал опять подниматься наверх. Он посидел несколько минут в той комнате, где они с Козаком пили чай, потом заглянул в «зазеркалье». Козак экипировал стрелков. Ларри окинул их взглядом. Опять фермеры, вот этот слегка навеселе, местная золотая молодежь, человек семь, а вот это нехорошо — женщина, с ними очень трудно, и еще вот этот детина с низким лбом, уж очень хорошо держит карабин... десять патронов взял, придется быть настороже. Ну что, все? Пошли.

Американец перехватил его у входа во двор. Он был взъерошенный и разгоряченный.

— Простите меня, бога ради, — заговорил он быстро и с более сильным акцентом, чем раньше, — тут кого-то убили, и мне пришлось полтора часа в участке давать показания, что я не мэрдэрэр и не свидетель. Давайте сдавать деньги людям, и очень быстро поедem в ресторан, девочки уже не могут терпеть. Хорошо?

Ларри смотрел на него с любопытством. Американец что-то прятал в себе, это чувствовалось. А ведь это тест, подумал Ларри. Сейчас я все узнаю.

— Господин Ингал, вы же деловой человек, — сказал Ларри. — У меня есть обязанности перед посетителями и перед антрепренером. Я должен соблюдать их.

— Вашему антрепренеру уплачено вперед! — закричал американец.

— Он не звонил мне и вообще никак не давал знать, что представление отменяется.

— Он не может позвонить, потому что он пьяная свинья! Не только потому что пьяная, но и потому что свинья! Любой суд докажет, что вы правы!

— Все-таки я проведу последнее представление, — сказал Ларри. — Поверьте, я не сомневаюсь в ваших словах, но мне просто неловко перед клиентами. Я ждал вас до последней возможности.

Если бы американец был настоящим, то отчаяние, исходящее от него, не было бы таким страшным. Перед Ларри стоял человек, жизнь которого окончена. Человек, сорвавший дело, за которое отвечал головой. Человек, сделавший все, что мог и что должен был сделать, но вот из-за нелепого упрямства другого человека все рушится...

— Разрешите мне пройти, господин Ингал, — сказал Ларри сухо.

— Мистер Лавьери, — в спину ему сказал американец тихим голосом. — Только не ставьте мне вопрос, откуда я знаю. Вас должны убивать сегодня.

— Что? — обернулся Ларри.

— Вас сегодня будут убивать... Они наняли мёрдэрэр... профессионала...

— Кто — они?

— Ваш антрепренер заключал на вас пари. Очень большие пари. Очень большие ставки. И те, которые ставили против вас, объединились и наняли мёрдэрэр...

Ларри повернулся к американцу, положил ему руки на плечи. Все могло быть именно так, и дай бог, чтобы оно было именно так — только так... И тогда американец был американцем, и были пляжи на Палм-Айленд, и сумасшедшие гонорары — все это было, и было правдой: но ведь было еще и то, что стояло за Ником и за смертью Ника...

— Спасибо, господин Ингал, — сказал Ларри.

— Рой, — поправил его американец.

— Спасибо, Рой. Спасибо, что предупредил. Но, видишь ли, это — только половина... половина всего. Мне нужно сыграть эту игру. Мне самому. Понимаешь? Я сыграю сейчас, и мы с тобой поговорим. Не уходи никуда, хорошо?

— Хорошо, — сказал американец растерянно.

Ларри шел к гаражу и чувствовал спиной его взгляд — необычный взгляд, не такой, к каким он привык. Мне нужно алиби, подумал Ларри жестко. Полное алиби. Любой ценой. Нет времени разбираться, кто есть кто, кому можно верить, а кому нет, — в этом подлом мире масок и подделок научились имитировать и использовать всё, и поэтому особенно подозритель-

ным бывает именно лучшее: бескорыстие, дружба, любовь... Опаскудили все. Может быть, и тебя, дорогой ты мой Рой, используют, а ты и не подозреваешь — так тоже может быть... Но все-таки мы поговорим с тобой.

Я отыграю сейчас, и мы поговорим. Наверное, я откажусь от твоего предложения. Чувствуешь, какая грязь налипает к нам? Я так не хочу. Так что лучше я действительно куплю себе грузовик с прицепом и займусь дальними перевозками. Или придумаю еще что-нибудь...

Он открыл все калитки в воротах — все пять. Ветер, кружась по двору, раскачивал их, и Ларри чувствовал судорожное метание внимания стрелков — с одной на другую. Раздался свисток. Ларри выбросил через калитку центральных ворот ком ветоши, внимание всех тутим пучком ударило в этот ком, кто-то даже не сдержал выстрела. Ларри выждал три секунды и вышел следом за брошенным комом, легко пропуская мимо себя пули. Профессионал пока не стрелял, все выстрелы были обычные: напряженное, сосредоточенное внимание на сопряжении рамки, мушки и цели — кожа чувствовала, куда именно упирается эта воображаемая линия, — импульс на руку, на указательный палец — импульс этот Ларри ощущал как зудящий звон, который возникает, если проводить чем-нибудь твердым вдоль натянутой струны, — и пока этот импульс дойдет до пальца, у тебя есть четверть секунды, чтобы отклониться от будущей траектории пули. Все это выполнялось уже чисто автоматически, и со стороны казалось, что Ларри просто идет, пританцовывая, дразня стрелков кажущейся скупостью движений. По нему было сделано двадцать два выстрела, прежде чем он дошел до кучи гравия и прилег за нее. Трибуны мертво молчали.

Он отдышался немного и мягким прыжком перелетел через гравий, приземлился на руки и шею и, кувыркнувшись вбок, еще одним таким же стелющимся прыжком преодолел расстояние до трубы. В трубу он, конечно, не полез, это было бы глупо. Он на корточках, пригнув голову — так его с той стороны не было видно, — пробежал до половины трубы и там, встав в рост, «выжег» два гнезда стрелков и не отказал себе в удо-



вольствию посмотреть, как они рвут заклинившие затворы карабинов. Тут по нему в первый раз ударил профессионал. Это было именно как удар короткое, в долю секунды прицеливание — и резкий, раздирающий звук импульса, подаваемого мозгом на руку. Ларри еле успел присесть. Пуля прошла над головой.

Надо было просто сбежать, подумал он в мгновенной панике. Сбежать, как только почуял неладное. Чертов американец...

Он вернулся на несколько метров назад и перемахнул через трубу под защиту машины. Кто-то пальнул в него, но с запозданием.

Он наметил себе примерный путь к зданию. Надо было прорываться между выжженными гнездами к крайнему окну первого этажа. Но для этого следовало выжечь еще то гнездо, которое было крайним справа, потому что в этом случае Ларри надолго подставлял стрелку спине. Выжечь гнездо или хотя бы заставить стрелка израсходовать патроны. Если бы не профессионал, Ларри бы так и сделал потанцевал бы перед тем стрелком под защитой вон той машины, а потом пошел бы своим путем. Сейчас это не проходило.

Световой пистолет действовал лишь с близкого расстояния, метров с десяти, самое большее. Правое гнездо было прикрыто проволочным ограждением. Под проволокой был лаз, к лазу вела траншея, а вот до траншеи было метров тридцать пять открытого пространства. И, хуже того, перекрестный обстрел четыре ствола спереди, семь слева. Ларри изобразил, что выскочит сейчас из-под машины налево, и кто-то выстрелил, поверив, а сам вышел направо и пошел быстро, пританцовывая и пропуская мимо себя рой пуль, и пока те, кто поторопился, передергивали затворы, он дошел до конца траншеи, качнувшись назад, уклонился от пули профессионала — прыгнул вниз, и несколько выстрелов, которые были сделаны, были сделаны вдогонку. Точный счет выстрелам он потерял, но примерно половина патронов стрелками была истрачена и еще половина оставалась.

Ползти под проволокой вальтер все-таки мешал, рукоятка упиралась в землю, и из-за этого проволочная колочка вцепилась в спину, Ларри дернулся, и тут же

две пули ударили рядом. Наконец Ларри освободился — куртка порвалась — и выкатился из-под проволоки под штабель шпал, лежащих как раз напротив того гнезда. Ларри на миг показался над штабелем, вызвав торопливую пальбу — в том числе выстрел стрелка, сидящего напротив, — а потом, пока они там передергивали затворы, встал и вцепил ему в грудь две яркие магниевые вспышки. Профессионал не стрелял, и Ларри, ползя под проволокой обратно к траншее, понял, что главная схватка будет в коридорах. Он опять неторопливо пересек открытое пространство, теперь, правда, в два этапа: сначала до кучи песка левее своего маршрута сюда, там лежал немного, отдыхая, а потом вернулся к машине, от которой намечал путь в здание. Профессионал не стрелял. Дальше было проще: за трубу, за трубой, через трубу и двумя прыжками — до еще одной машины. Выстрелы вообще стали реже, стрелки начинали экономить патроны. Здесь Ларри устроил последнюю демонстрацию: встал в рост и потанцевал под выстрелами. Теперь он видел окна, где засели стрелки. Первоначальный план его относительно окна не проходил: окно было надежно перекрыто. Оставался подвал. Ларри дошел до крайнего из выжженных гнезд — стрелок-фермер все еще матерился над карабином — и спрятался за бетонную сваю, вбитую в землю. За свайей можно было только стоять неподвижно и не шевелиться. Кто-то выстрелил в сваю, отлетевшим осколком бетона Ларри оцарапало щеку. Отсюда до выхода в подвал было пятнадцать метров. Все эти пятнадцать метров будут простреливаться справа, слева и сзади, только спереди его прикроет козырек входа. Ларри опять сделал ложное движение, и два или три стрелка разрядили в него свои карабины, а потом рванул с места, пригнувшись, наудачу — и никто в него не попал, хотя пули проходили впритирку. Профессионал тоже выстрелил и промахнулся, ему было неудобно целиться под таким острым углом. Ларри нырнул в подвал, в холод и тьму подвала, номеров здесь не было, и это была передышка, которую нельзя было не использовать. Он присел на корточки, расслабился на секунду, потом резко напрягся, возвращая мышцам

тонус. Проверил вальтер под мышкой и пошел к выходу из подвала — тому, что внутри здания.

Выход охраняли два молокососа, два щенка местной породы, им казалось очень остроумным, как именно они выбрали себе позиции: пока один отвлекает на себя мишень, другой расстреливает ее сзади. Ларри поиграл с ними немного и сжег одного за другим — но в какой-то момент он остро пожалел, что у него нет гранаты. Это было плохо — он начинал злиться, значит — устал. Спокойнее. Веселее. Теперь наверх.

Еще один стрелок бежал по коридору первого этажа, его Ларри сжег сразу и чуть-чуть задержался посмотреть, как тот рвет спуск карабина, — послал ему воздушный поцелуй и получил в ответ волну ослепительной ненависти, обдавшую его с ног до головы. Сукины дети, весело подумал Ларри, до чего ж вы не умеете проигрывать... Он поднимался шаг за шагом и чувствовал, как на площадке второго этажа возятся четверо или даже пятеро: нервно суетятся, кто-то шепотом отдает распоряжения, и даже воздух жарко дрожит над ступеньками от перекрещивающихся взглядов. Профессионала между ними не было, это Ларри знал. Профессионал будет ждать его в коридоре. В конце коридора. Ладно.

Одна прицельная линия, напряженная, горячая, почти светящаяся, проходила сейчас над поворотом лестницы — очевидно, стрелок примостился на верхней ступеньке, прислонясь к стене. Ларри пересек эту линию, подождал, пока стрелок среагирует, — реакция у него была отвратительная, — и отступил назад, пропуская пулю. Потом сжег стрелка. Этого можно было и не делать, наверное, потому что тот даже не попытался передернуть затвор, а просто плюнул в сердцах и смотрел, как Ларри приближается.

— Отойди, — сказал Ларри. — Зацепят.

Стрелок повернулся и ушел. Оставалось четверо. Они расположились полукругом и держали под прицелом верхнюю ступеньку. Ларри, распластавшись, дополз почти до самого верха лестницы, макушкой чувствуя жар ожидающих взглядов. Выманивать выстрелы было опасно — могло прилететь рикошетом от стен

или железной решетки перил. Ларри взял в зубы световой пистолет, сгруппировался, упершись ногами в толстенный железный прут, поддерживающий перила, и бросил свое тело косо вверх, на стену, и, оттолкнувшись от стены и еще в воздухе хватая пистолет, услышал и почувствовал четыре выстрела мимо, туда, где они его увидели в первый момент. Стрелки рвали затворы карабинов, и Ларри сжег троих, ушел от пули четвертого и сжег и его.

— Все, ребята, — сказал он, переводя дыхание. — Давайте быстро вниз.

На этаже оставались двое, и еще двое были внизу, в гнездах, и по правилам могли сейчас перейти в здание, но не переходили — наверное, израсходовали патроны.

Ему надо было пройти теперь по коридору — метров сорок. В коридор выходило три пары дверей, и за каждой дверью его могли ждать. Ларри шел беззвучно, медленно, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Первая пара — ни справа, ни слева ничего не было. Хорошо... Вторая... справа что-то было. Это было не обычное прицельное внимание, а скорее настороженное ожидание чего-то. Он остановился. Обе двери были закрыты, и не чувствовалось, что кто-то готовится распахивать их. Это что-то другое... Он присмотрелся и понял что. Почти невидимая, тонкая, путь пересекала нить. Слева она была привязана к дверной ручке, справа уходила в замочную скважину. Это было подло. Он подошел к правой двери, встал так, чтобы не попасть под пулю, и рванул дверь. Грохнуло, полетели щепки. Ларри левой рукой схватил карабин за ствол и выволок стрелка в коридор. Это была женщина. Ларри приставил световой пистолет прямо к фотоэлементу и нажал спуск. Патрон не сработал. Ларри нажал еще, вспышка была ослепительная, особенно в полумраке коридора.

— Дрянь, — сказал Ларри и втолкнул женщину обратно в комнату. Она что-то визжала в ответ, Ларри ее уже не слышал.

Оставался профессионал. Он должен был ждать или за оставшимися дверями, или вон там, за поворотом коридора. Скорее, за поворотом.

Профессионал действительно был за поворотом. Он шагнул на середину коридора и выстрелил навскидку — Ларри с трудом успел уйти в сторону и выстрелил в ответ — и в магниевой вспышке своего выстрела увидел, что поверх нагрудника с фотоэлементом на профессионале надета безрукавка из какой-то блестящей ткани.

Это была такая грубая, такая элементарная подлость, что Ларри растерялся на мгновение — растерялся и забыл о вальтере, взятом специально на этот случай. Профессионал передернул затвор и поднял карабин. Теперь он не торопился и выцеливал Ларри тщательно, спокойно, уверенно. Ларри затаивался, угадывая, куда двинется прицельная линия, линия эта была тонкая, черная, четкая и очень цепкая, подвижная, легкая, уходить из-под нее было невыносимо трудно, и некогда было даже бросить ненужный световой пистолет и сунуть руку за пазуху.

Тогда он выстрелил из светового, целясь по глазам профессионала, и тот сорвал спуск, пуля прошла мимо. Ларри бросился вперед, в ближнем бою карабин менее опасен, но поскользнулся — на полу было разлито что-то скользкое, — взмахнул руками, чтобы удержаться на ногах, и в этот момент профессионал выстрелил еще раз. Ларри будто ломом ударило в бедро, и он упал, отлетев к стене, попытался выхватить вальтер, но профессионал прицелился в него, и все, что Ларри мог сделать, — это повернуться к пуле правым боком. Правая рука, перебитая в плече, повисла, зацепившись пальцами за полу куртки. Уже не торопясь, профессионал загнал новый патрон в ствол и поднял карабин к плечу — и в этот момент на него сзади обрушился Козак. Пуля ушла в стенку, а профессионал от страшного свинга Козака отлетел на несколько шагов, но устоял на ногах; Ларри левой рукой выцарапывал из-за полы куртки зацепившийся пистолет, а Козак кинулся к профессионалу, чтобы отобрать у него карабин или хотя бы оборвать шнур, идущий к фотоэлементу, — тогда затвор заклинит. Но профессионал успел раньше, выстрел прозвучал очень глухо, и Козак попятился, сгибаясь и приседая на корточки, и пова-

лился на бок, профессионал опять передернул затвор, и выстрелили они с Ларри одновременно — пистолет Ларри отлетел в сторону, а вывернутая кисть повисла, а у профессионала на месте кадыка образовалась черная дырочка, и он стал мягко падать, будто проваливаясь сам в себя. И стало очень тихо.

Вот и все, подумал Ларри. Теперь уже окончательно все.

Волнами накатывалась тошнотворная слабость, казалось, что тело падает куда-то и все никак не упадет, и чувство вот этого будущего удара — паника тела — заслоняло все, но Ларри, сжав зубы и не дыша — чтобы задавить тошноту, — приподнялся и пополз на бок, загребая правым локтем, к Козаку. Пол был полит маслом, ползти было трудно, скользко, но он дополз. Нечестно, думал он с каким-то горьким удовлетворением, нечестно, нечестно, честно вам меня все равно не переиграть... вы никогда не играете честно, по правилам, ваше главное правило — это нарушать все правила, а я, видит бог, держался до последнего... По коридору бежали люди, пол плясал под их ногами, ходил ходуном, и Ларри не удержался и повалился на спину, и это отдалось страшной болью и слабостью, и он почти сдался, но тут Козак зашевелился и застыл — он лежал, скорчившись, на боку, обхватив руками притянутые к животу колени, и был жив — это было главное. Вокруг было много людей, все стояли, нависали, отнимали свет и воздух, смотрели с жадностью и страхом, и где-то за их спинами метался, расталкивая их, маленький американец...

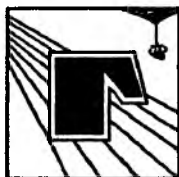
— Врача! — крикнул Ларри и почувствовал, как справа в груди что-то забулькало и запузырилось. — Позовите кто-нибудь, наконец, врача!

# ПУТЬ ПОБЕЖДЕННЫХ









ородок был как все попадавшиеся ему на пути, как сотни, а то и тысячи таких вот средних, маленьких, очень маленьких, крошечных и совсем микроскопических провинциальных городков в этой части страны, где и промышленности-то толком нет, и каких-то особенных природных богатств, и где тем не менее люди селятся, чем-то занимаются и живут вполне безбедно: аккуратные домики в один, два, редко в три этажа, садики перед ними, газончики, стриженные кустики, чистые, мощенные камнем тротуары, обязательное приземистое здание тюрьмы на окраине, обязательная стандартная ратуша с обязательными часами фирмы «Берцене», обязательный и тоже стандартный портрет канцлера в типографском исполнении, обязательные полосатые будочки, такие небольшие и такие заметные, — символ порядка и неизменности... Полицейские, будьте добры, где у вас тут отель? Пожалуйста, вот паспорт. Спасибо, полицейские! Что? Простите, сержант, я не знал, что это у вас еще не принято.

Вот и отель, совсем рядом, прекрасно, прекрасно... Прекрасно.

Март загнал свой «виллис» на стоянку, заглушил двигатель и с минуту сидел просто так, привыкая к неподвижности — к неподвижности собственной и неподвижности воздуха вокруг себя — и к тишине. Медленно, постепенно, очень не сразу прорезались в пространстве смутные, далекие, нечаянные звуки: рваная музыка, видимо из телевизора, шум проехавшей где-то машины, шелест широких липовых листьев да унылый

кошачий мяв неподалеку. Март прыгнул на землю, постоял, прошелся вокруг машины, попинал баллоны. «Виллис» потрескивал, остывая. На заднем крыле блестящего глубокая царапина. Март потер ее рукавом. Когда же это я, подумал он. Поцеловался и не заметил. Надо закрасить, а то не ровен час... Он выудил из машины оба чемодана, пригладил как мог растрепавшиеся волосы и пошел в гостиницу.

Надо думать, здание ее было построено еще до первой мировой и за эти годы перенесло множество потрясений, включая воздушные налеты и уличные бои, — и теперь стояло на пороге дряхлости. Конечно, полмиллиона, всажённые в реконструкцию, еще могли бы вернуть ему если не молодость, то зрелость, но полумиллионом здесь и не пахло. Пахло кухней, пыльным войлоком и скверной канализацией. Впрочем, выбора не было.

Портье на месте не оказалось. Март поставил чемоданы у стойки и пошел в туалет. Сделав там все дела и умывшись, он вернулся. Портье, молодой долговязый парень со странно асимметричным лицом, сидел на своем стуле, что-то еще дожевывая.

— Привет, — сказал Март, подходя. — Я хотел бы переночевать.

— Только переночевать? — не переставая жевать, спросил портье.

— Пока — только, — сказал Март. — А там поглядим.

— Если переночевать — то пятнадцать динаров, — сказал портье. — На три дня — по двенадцать за день. Больше трех — по десять.

— Да я еще не знаю, — сказал Март. — Найду заказы — останусь, не найду — поехал дальше.

— А вы кто? — спросил портье.

— Художник, — сказал Март. — Роспись по стенам.

— Тогда я не буду вас оформлять пока, — сказал портье. — Идите ночуйте. Завтра, как выясните, подойдете ко мне, я весь день тут буду — тогда и впишу.

— Не понимаю, — сказал Март, — чего ради отказываться от лишней пятерки?

— Так ведь эта пятерка все равно не мне пойдет, — сказал портье.

— Понятно, — сказал Март. — Продолжение вооруженной борьбы иными средствами?

— Что-то вроде, — сказал портье, хихикнув. Одной рукой он снял с крючка ключ — многовато было ключей на шпите, отель явно не процветал, — а другой вынул из-под стойки початый бутерброд с колбасой и откусил. — Прошу, — невнятно сказал он.

— Спасибо, — сказал Март, подхватил чемоданы и пошел к лестнице.

— Второй этаж, налево и налево! — крикнул ему вслед портье.

Номер был очень даже неплох, средних размеров и достаточно уютный, старомодный такой номерок. Окно выходило во двор, и прямо под окном — козырек какой-то служебной двери — очень удачно на случай вынужденного отхода, я уже не в той форме, чтобы прыгать с пяти метров. Ладно, хватит об этом, сегодня ничего не будет, и завтра ничего не будет, а там поглядим...

Март отмылся под душем, под горячим, жестким душем, так, чтобы до красноты, до ломоты в ногах и спине, соскреб мочалкой надоевший запах собственного страха, запах загнанности, запах безысходности и безнадежности, по которому его могла определить любая сучка: как ни держи себя, какие морды ни строй, как ни играй голосом и бровями — запах выдаст... Потом он, еле волоча ноги, дотащился до постели, забрался под холодную хрустящую простыню и закрыл глаза, и вытянулся, и застонал от наслаждения этой прохладой и чистотой, и этим покоем, этим покоем, этим покоем...

Ему ничего не снилось, и сквозь сон он радовался этому.

Утром Март проснулся, приподнялся, отвернулся от солнца и посмотрел на часы. Половина седьмого. Пора.

Вход в мэрию бдительно охранялся. Пожилой полицейский основательно изучил паспорт Марта, сверил фотографию и задал несколько вопросов («Зачем вам к мэру, сударь?» — «У меня к нему дело». — «Какое дело, сударь?» — «Это вне вашей компетенции, сержант. Впрочем, ладно. Это касается программы привнесения культуры в провинцию». — «Так вы из столицы? Проходите».

Мэр оказался крупным мужчиной с седоватыми моржовыми усами и чуть неуверенными движениями.

— Как мило, как славно! — закричал он сразу. — Тот самый Март Траян! Я вас почти узнал! Я был на вашей выставке — пять лет назад, — это бесподобно! Я собирался приобрести ваши картины для города, но муниципалитет отказался выделить средства. Да вы садитесь, вот сюда, в кресло! Вина? Кофе? Конечно, кофе! Катя, кофе господину художнику! Итак, чем могу быть полезен?

— Это я хотел бы быть вам полезен. К вам весной приезжал эмиссар нашей Ассоциации...

— Понял-понял-понял! Это программа «Привнесение культуры в провинцию», да? Как я сразу не догадался! Вот сейчас только кофе, и я вам сам покажу... Катя! Где кофе наконец?

Прибежала секретарша, симпатичная девочка лет восемнадцати, не больше, суетливо расставила чашки, разлила кофе. Кофе оказался просто прелесть, Март выпил его с удовольствием и попросил еще.

— Пойдемте, я покажу вам зал, — мэр повел его по коридорам, по лестнице вниз. — Нам обещали, правда, другого художника, некоего Тригаса, вы его знаете?

— Немного, — сказал Март.

— Но раз приехал сам Март Траян...

— Тригас, может быть, тоже придет.

— Я никогда про него не слышал, — он хороший художник?

— Очень. Он долго работал в Японии, там его хорошо знают.

— Надо же, на наш городок — и такой десант знаменитостей!

Оказалось, что расписывать надо стены зала для торжественных актов. Общая площадь росписи составляла восемнадцать квадратных метров, и господин мэр, разводя руками, показывал, что примерно он хотел бы видеть. Март рассеянно кивал, соглашался; но уж очень хорошо высвечивались стены зала, слишком четко они образовывали единую ломаную плоскость, и — господа, хоть бы меня не понесло, не подхватило и не понесло, дай мне сил удержаться на уровне средней

халтуры, господи, дай мне сил работать только за деньги!..

— Ну что же, — сказал Март. — Все замечательно. Давайте заключать договор.

— Давайте, — согласился мэр. — Я не слишком сведущ в такого рода делах...

— Двенадцать тысяч, — сказал Март, еще раз оглядывая стены. Зал был чертовски хорош.

Улыбка мэра стала чуть напряженнее.

— Двенадцать тысяч? — переспросил он. — Динаров?

— Такова цена подлинного искусства, — сказал Март. — Да вы не огорчайтесь — когда все будет готово, вам эти двенадцать тысяч покажутся — тьфу!

— А что — деньги вперед? — осторожно спросил мэр.

— Половину, — сказал Март. — А половину — потом. Справедливо?

— Э-хе-хе, — сказал мэр. — И какой же срок?

Март опять оглядел зал.

— Ну, месяц-полтора. Может быть, два.

— Ладно, — сказал мэр. — В конце концов, программа принята Национальным собранием. Так что черт с ними со всеми...

На окончательное оформление договора успел еще час, и Марту выдали в кассе шесть тугих пачек новеньких — только-только из станка — десяток. Тысячу он оставил на расходы, а остальные, перейдя через площадь на почту, разослал по известным ему одному адресам.

И потекли дни. Пользуясь старыми эскизами, Март наметил композицию, стараясь, чтобы похоже было по-немногу на всё (второй закон шлягера: новая мелодия должна походить на три мелодии сразу): на Телемтана, Глазунова, Шерера, на позднего Дюпрэ — когда он выдохся и стал копировать себя раннего. Раньше Март пытался копировать самого себя — это оказалось невыносимо. Это оказалось настолько невыносимо, что чуть не подвело его тогда к самоубийству, и лишь огромным усилием воли он заставил себя жить. Теперь он даже немного завидовал Дюпрэ — тот, очевидно, поступал так бессознательно, думая, что продолжает разрабатывать свою жилу... Да, пожалуй, только сознание, что ты

еще нужен — немногим, но крепко, — да еще презрение к себе помогли ему тогда. Потом он приспособился, хотя и не до конца. Иногда он срывался — или когда невозможно было дальше терпеть, или по рассеянности, как в последний раз. Подумать только — рисунок пером на салфетке... Впрочем, и от меньших пустяков гибли люди, напомнил он себе. Внимательнее, Март!

Однако на третий день он чуть-чуть не сорвался. Он начал пробовать краски, и сразу стало получаться — он поймал цвет. Теперь следовало как можно дольше продержаться на гребне волны, на этом непрерывном взлете-скольжении-падении, когда еще ничего не ясно, когда все впереди и понятно только одно — получается!.. Стоп, оборвал он себя. Остынь. Остынь-остынь. Он умылся холодной водой, посидел, потом карандашом пометил, какие участки каким цветом покрывать, и приступил к уроку, к раскрашиванию картинок; потом цветные пятна, слившись вместе, создадут почти то же самое, но это будет уже потом — и почти без его участия.

Любое дело можно разбить на кусочки, на простые, доступные любому операции — и начисто выбить из него дух творчества. Любое, абсолютно любое...

У него постепенно заходились знакомые. Так, в ресторане он подсел — не было больше мест — к столику двух мужчин, незаметно для себя встрял в их разговор и познакомился с ними. Это были местные доктора: городской врач Антон Белью и психиатр из расположенной где-то в окрестностях частной психиатрической лечебницы Леопольд Петцер. Потом они встречались каждый вечер, но встречи эти и взаимная приятность от них не выходили за рамки, намеченные первой, — когда скользишь по поверхности, ни в какие глубины не заглядывая и не стремясь и душу не раскрывая... Легкий треп, столичные и местные сплетни, анекдоты, женщины — пусть так, думал Март, так даже лучше, потому что появляется отдушина, в которую уходит — пусть не все, но уходит — напряжение, и не просыпаясь ночью от шагов в коридоре. Пусть так.

Еще была барменша Берта, женщина-тяжеловеска, которая поначалу косилась на Марта из-за его

пристрастия к фруктовым сокам, но потом, как и подобает женщине, вошла в положение («Печень, сударыня. Знаете, как это бывает...» — «Что делать, сударь») и даже удостоила его своим доверием. Через неделю Март считался уже за своего, с ним можно было посоветоваться и по хозяйственным, и по личным проблемам, а их было множество — главным образом с детьми. Через Берту Март узнавал массу интересного о жизни городка. Она знала, видимо, все и обо всех, в характеристиках была остра, но не злобна и для Марта оказалась настоящим сокровищем. Среди прочего он узнал, например, что полицмейстер переведен сюда не так давно из столицы, где был следователем по особо важным делам, за применение недозволенных методов дознания. Это следовало учитывать и быть начеку.

Прошло недели две. Работа продвигалась и дошла уже до середины, когда вдруг из ничего, из разрозненных штрихов и пятен возникают предметы и фигуры; Март очень любил эту стадию и, будь его воля, порой на ней бы и останавливался. Когда он работал для себя, то часто так и поступал. Когда по заказу — он так делать не мог, потому что такой стиль был уже проименован и отнесен к nereкомендуемым; пятнадцать лет назад, когда это только произошло, он пытался спорить (Он? Кто — он?) — теперь же свою эстетическую извращенность приходилось прятать...

Портье числил себя старым знакомым Марта и почти приятелем: «Привет!» — «Привет». — «Как дела?» — «Работаю». — «Все-таки жизнь у вас замечательная! А тут сидишь как проклятый!» — «Замечательная, конечно». — «А знаете, я сам в свое время недурно рисовал, да вот времени все не было...» Или: «А сколько вы получаете?» — «Когда как». — «Ну, примерно?» — «Да сколько заплатят. Прейскуранта же нет». — «Даже если пятерку?» — «Когда был молодой. Тогда, бывало, отдавал акварель за обед». — «Странно все это...»

Полицмейстер заглядывал вечерами в ресторан — перехватить для успокоения рюмку-другую горькой. Берта изумлялась тому, что он всегда спрашивал счет и платил. В первом же разговоре с Мартом он поинте-

ресовался, не еврей ли тот, и пояснил, что у них в городе с этим строго. «Это у вас там, в столицах...» Это самое «у вас» Март отметил, точно так же как и примитивные, в лоб, вопросы — недавний столичный житель играл в недотепу-провинциала, и переигрывал, и не переигрывал даже, а просто Март понимал: держаться следовало крайне осторожно, недавний следователь по особо важным делам мог знать очень много. За биографию свою Март не опасался — вызубрил назубок, но ведь на чем только не горели люди! Великолепный имперсонатор, бывший актер бывшего Императорского театра Ладло Майорош в такой вот примерно ситуации просто чересчур вошел в роль, заигрался, — как говорили раньше, на него снизошло вдохновение, — и всё...

После этого разговора ночью, лежа в постели, Март вдруг понял, что ему необходимо знать, сколько же их осталось. Он долго не мог настроиться, потом получилось сразу, но не как обычно, а странным, жутковатым видением. Март расслоился, и то, что ушло вверх, оказалось низко и стремительно летящими, тяжелыми, словно кованными из черной бронзы, тучами; а то, что ушло вниз, оказалось песком, пустыней, и местами, редко-редко, воткнутые в песок, горели свечи. Себя он нашел не сразу, но нашел — на краю пустыни, далеко в стороне от других. Только одна свеча горела поблизости, и пламя ее было неровным и коптящим...

Он уснул, и, как всегда, расплатой за видение был вещий сон: перед ним стояла, готовая броситься, толпа людей в белых балахонах, наподобие ку-клукс-клановских; позади него был домик, знакомый по прежним снам маленький домик вроде дачного; в руках на этот раз Март держал кусок железной трубы, и видно было, что те, в балахонах, этой трубы опасаются... Каждый раз оружие у него было другое — то толстая суковатая палка, то трость, то гаечный ключ, то ножка от стула, теперь вот — труба; такие несовпадения говорили о том, что конец не так уж близок и что судьбой не все еще решено и подписано.

Но весь день привкус вещего сна сохранялся. Работалось плохо, через пень колоду. Мордашки девушек в



национальных костюмах выходили унылыми и одинаковыми.

Вечером приехал Тригас.

Март совсем не рад был его приезду. Тригас слишком много пил и пьяный становился болтливым и прилипчивым. Сейчас он подошел к столику Марта, по-дорожному одетый и взъерошенный, плюхнулся на свободный стул и протянул руку:

— Здорово, шабашник!

— Здорово, — сказал Март равнодушно.

— Ну, я тебе скажу, ты тут навел шороху! — продолжал Тригас. — Пока я ехал, мне все уши прогудели. Столичная знаменитость становится знаменитостью провинциальной! Ощущаешь ли ты тот груз ответственности за эстетическое воспитание граждан, которое отдано тебе на откуп, который ты на себя взвалил? Именно так выразился наш новый пред, который бывший генерал-майор, я записал и выгучил наизусть. Кстати, как ты сюда попал? Тебя направили?

— Нет, — сказал Март, — я сам. Методом тыка. Так что дорогу тебе перебежал совершенно случайно.

— Ерунда, — сказал Тригас. — Лучший кусок все равно мой. Вот этот зал. А?

— Прилично, — сказал Март, озираясь. Цельной здесь была только одна стена, остальное — простенки. Ничего настоящего здесь не сделать, зато халтурить — одно удовольствие. — Сколько же ты с них стряс?

— Два червонца.

— Двадцать тысяч? Неплохой кусочек.

— Как с куста! Слушай, одно удовольствие — доить этих провинциалов.

— Это точно, — согласился Март.

— Хозяйка! — воззвал Тригас. — Двойной дайкири! Ты ведь не будешь? — обратился он к Марту.

— Естественно.

— Естественно... Ты у нас трезвенник. Якобы печень. Знаем мы эти печени.

— Какие — эти?

— Да вот такие, как у тебя. Что-то рост заболеваний печени наблюдается, и все среди художников. И

писателей тоже. А то еще себе язву придумают. Пока спиртное по старой цене было, покупали как миленькие — никаких печеней...

— Скотина ты, Тригас. Ты ведь знаешь, где я свой гепатит поймал.

— Все я знаю, все я понимаю...

Март посмотрел на него. Тригас действительно мог знать и понимать все. Но тот уже пристально разглядывал содержимое бокала.

— Шучу, — сказал Тригас. — Только зря ты не пьешь. Пил бы, и все было бы нормально.

— Что — все?

— Не понял.

— Ты говоришь — все было бы нормально. Так что — все?

— Вообще все.

— Ладно, — сказал Март, — ты тут пей, а я пойду посплю. Устаю я что-то.

Март ушел, поднялся к себе и встал под душ, но все это время продолжал чувствовать Тригаса. Тригас сидел за столом, вертел в пальцах бокал и думал о нем, о Марте, только нельзя было понять, что именно. Потом он выпил свой дайкири и сделался невозможным для восприятия.

Под утро приснилось, что Тригас, сидя у Марта на груди и зажимая ему потной ладонью рот, перепиливает ножом его горло; ни двинуться, ни закричать Март не мог, но то ли нож был совсем тупой, то ли горло сделано из чего-то прочного, только оно никак не резалось, лезвие соскальзывало или вязло, Тригас сопел, ерзал и пилил торопливо, все время озираясь... С трудом Март проснулся. Душно было невыносимо, хотя окно он по обыкновению оставил открытым. За окном медленно, зловеще медленно наползала, клубясь, густо-фиолетовая туча. Дышать было нечем, воздух словно убрали из комнаты. Март подошел к окну. Все на свете замерло, сжалось в неподвижности и страхе. Туча наваливалась на самые крыши. Время, наверное, тоже остановилось. Минуты громоздились одна на другую, сминались гармошкой и летели под откос, как вагоны сошедшего с рельсов поезда, — и все это в немыслимой,

запредельной, угрожающей тишине — тишине, которая поглощает любые звуки...

Молния ударила совсем рядом, и гром, тугой и резкий, как пушечный выстрел, оглушил Марта — голова, как колокол, долго еще гудела от удара, — и ствол огромной липы за брандмауэром напротив расселся пополам и полыхнул пламенем, и тут же начался ливень — не ливень даже, потому что дождь не стоял стеной, нет, здесь этого не было, как не было и первых предупредительных шлепков огромных капель о сухой асфальт; просто все вдруг сразу оказалось покрыто и пропитано водой, ливень выглядел, наверное, как генеральная репетиция потопа, и если бы она так быстро не кончилась, самого потопа, пожалуй, и не потребовалось бы...

Март закрыл окно, подобрал разлетевшиеся газеты, вытерся и оделся. Следовало, конечно, еще подождать, но ему хотелось на воздух. Он вышел из отеля и остановился. По улице, пузырясь, сплошным потоком шла вода. Проплыл, как отштормовавший корабль, полузатопленный зонтик. В одном месте течение волокло по дну что-то тяжелое, и вода, образуя бурунчик, перекачивалась сверху. На тротуарах среди обломленных ветвей лежали самые неожиданные вещи: синий почтовый ящик, обложка от книги, нераскрытая консервная банка без этикетки, кукла-пупс, собачий ошейник с поводком; на протянутом через улицу проводе висел, лениво покачиваясь, кокетливый кружевной лифчик.

Городок понемногу приходил в себя. Открылись окна, зазвучали голоса. Из приоткрытой калитки навстречу Марту выбежал тонкий, совершенно мокрый кот; подбежал поближе, понял, что обознался, и со вздохом отошел в сторону. Во многих домах были выбиты окна, стекло хрустело под ногами. Дважды Марту попадались сорванные с петель оконные рамы. Наконец, в довершение картины, прямо посередине ратушной площади лежала, распластавшись, но еще не до конца потеряв очертания, красная железная крыша. Вокруг стояли люди и что-то обсуждали.

Погода весь этот день стояла прекрасная. Март распахнул окна в зале и время от времени через подоконник выбирался во внутренний дворик мэрии — размяться. Работалось хорошо, по самому верхнему пределу возможного (разумеется, в отведенных им для себя рамках). Чувствовалось, что гроза эта разрядила что-то и в нем самом. К вечеру ближе зашел господин мэр, посмотрел, поговорил о незначительном и ушел очень довольный. Март работал до сумерек — и мог бы работать еще, были и силы, и желание, и настроения, но он собрал кисти и пошел их мыть, это было правильно — прекращать работу, когда остаются еще и силы, и желание, он знал, что это правильно, и потому с легкостью пошел мыть кисти, но все-таки что-то в себе — то неуловимое и невыразимое ощущение, когда свершается переход от нормального состояния в *это*, — то ощущение он упустил, потому что в тот момент, когда он наклонился над банкой, по телу его медленно, снизу вверх, прошла тугая волна, и Март понял, что пропал, что *этого* не избежать, а спрятаться нигде, нигде... Он бросил кисти, запер зал и почти бегом бросился к отелю, взлетел по лестнице — успел! — перехватил-таки взгляд Тригаса — Тригас сидел в холле и ждал кого-то, возможно, что и его, — заперся в своем номере на два оборота. Тело существовало уже совершенно отдельно и не отдавало ему отчета в своих действиях, но шторы он задернуть смог, хорошие, плотные шторы, сбросил рубашку — было уже легче, не надо было сдерживаться, и он не сдерживался, он схватил лист плотного картона. Рука сама нашла ящик с пастелью и выбрала мелки. Сейчас главное было — не пытаться вмешиваться, не мешать самому себе, и он не вмешивался и не пытался командовать рукой, она сама знает, чего хочет... На листе проступили контуры зданий, взметенные кроны, потоки воды, и Март узнал сегодняшнюю грозу, все это было взято с какой-то странной точки, и перспектива ускользала, пока Март не понял, что дома и улицы тоже взметены вихрем и скручены им в спираль, ее витки просто не видны за предметами, и что в точке перспективы сходятся не воображаемые линии, а вполне реальные земля и не-

бо — они со страшной силой втягиваются в эту точку, в эту маленькую, но сквозную пробоину, сминаясь при этом морщинами и складками... Как всегда, начала, самого начала он не уловил — он заметил свет, когда тот набрал уже полную силу. Свет от Марта шел ровный и чуть желтоватый, почти солнечный. Давно, когда об этом еще можно было говорить без риска быть убитым, Март узнал, что у всех имеются свои оттенки света и что спектр его настолько же индивидуален, как отпечатки пальцев; говорили также, что в первые секунды свечения на теле появляются узоры, и узоры эти имеют куда большее значение, чем линии на ладони, и Март, хотя не очень верил в эту новую хиромантию, не прочь был бы взглянуть на них, но всегда начало свечения пропускал — так увлекала его сама работа. На картоне тем временем разворачивались события: кого-то ветром несло над крышами, кто-то смотрел вверх, двумя руками удерживая шляпу, а еще кто-то тянулся вслед улетевшей — но не дотягивался. Лицо девушки было полужнакомо, шляпу держал Тригас, а тянулся, оказывается, он сам...

В дверь дважды стучали, Март, естественно, не отзывался; раз звонил телефон, дал звонков пять и смолк. Постепенно Март остывал. Он принял душ, осмотрел себя, удостоверился, что свечение погасло везде; постоял у окна. В окно медленно втекал теплый пресный воздух. В голове было пусто и тихо. Март бесцельно походил по комнате, полежал на тахте, храня эту пустоту и тишину, но лист картона, брошенный рисунком вниз, притягивал к себе, и не было сил сопротивляться, да и смысла сопротивляться не было, все равно никогда он этого не выдерживал. Просто хотелось продлить немного эту благословенную пустоту в себе, а если вот так поднять этот лист и посмотреть на него, все заметнется...

Взметнулось.

Март вглядывался в собственный рисунок, как в зеркало, в темное колдовское зеркало, в котором появляется самое сокровенное, скрытое и скрываемое от самого себя, он сам не знал, что хочет увидеть там — душу? Дьявола? Или просто запомнить это все? А

ожет, покориться этому чудовищному вихрю, скрутившему спиралью даже свет и тени, и закружиться в нем, не зная ничего более.. «Гады», — сказал наконец он. Картон был прочный, разорвать его оказалось делом нелегким. Куски картона Март сложил в раковину и сжег. Он не нашел в себе сил положить их рисунком вниз и поэтому вынужден был смотреть, как сгорают, превращаясь в обычный пепел, дома, и небо, и он с Тригасом, и девушка, летящая над крышами. Смысл пепел, а потом долго, плача, отмывал раковину от сажи и дегтя.

Наступила реакция: прострация, слабость, руки дрожали, тошнило. Мысли, разметавшиеся по темным углам, потихоньку сползали. Нечаянно вспомнилось почему-то, что Тригас — это прозвище, а зовут его Юхан, кажется, Абрахамсон — да, Абрахамсон — предки у него были не то из Швеции, не то из Норвегии. Школьное прозвище он взял псевдонимом, тогда, раньше, оно что-то обозначало, школьные прозвища просто так не даются, а потом стало просто торговой маркой, без значения, но со звучанием, коротким и запоминающимся.. Зря ты так зло, сказал он себе. Сам, что ли, лучше? Вечно торгуешься из-за гонорара и продаешься так же, как и все. Панель есть панель, куда ты с нее? Точно так же, как и Тригас. Вот он, кстати, и сам..

Тригас постучал, и Март пошел открывать.

— Не прогонишь? — спросил Тригас. От него изрядно пахло.

— Зачем? — вяло сказал Март.

— Правильно, — сказал Тригас, — незачем меня прогонять.. Я тебе звонил — тебя что, не было?

Март чуть было не ляпнул: «Не было», но вспомнил, что Тригас видел его вбегающим в отель, и соврал по-другому:

— Почему же, был.. Только подойти не мог — второе дыхание открылось.

Тригас хохотнул.

— Бывает, — сказал он. — Меня днями тоже несло. Вода, говорят, здешняя таким действием обладает. Целебным.

— Возможно.

— Ты скоро закончишь? — спросил Тригас.

— Не знаю, — сказал Март. Вопрос Тригаса был странным и даже нетактичным. — Недели две-три, я думаю. А что?

— Да у меня к тебе деловое предложение. Потом, когда закончишь свое, — мне поможешь? Я тебе оставлю кусок стены...

— Случилось что-нибудь?

— Что у нас может случиться... Просто противно — невмоготу.

— Так брось.

— Начал уже, — сказал Тригас. — Жалко.

— Когда ты успел? — удивился Март.

— Успел вот... Ну, согласен?

— Рано еще говорить. Может, я так закопаюсь, что до осени хватит.

— Закопаешься, как же. Ты в духе чего лепишь?

— А, сборная солянка. Смесь номер восемнадцать.

— Яблоньки в цвету и девушки в национальных костюмах?

— И юноши тоже.

Тригас кривовато усмехнулся.

— Ну да, зал торжественных актов, — сказал он. — Слушай, а тебе это не противно?

— Да как тебе сказать...

— Прямо.

— Малевать вывески, по-твоему, лучше? А Пиромани малевал.

— По крайней мере, честнее.

— Попробуй, — сказал Март. — А еще можно оформлять витрины.

— Я попробую. Ей-богу. Понимаешь, если бы просто тошнило, а то ведь рвать начинается... И знаешь, что меня успокаивает? Впрочем... ладно. Потом. Спокойной ночи, Морис.

Март почувствовал, как у него остановилось сердце. Когда он смог обернуться, Тригас уже вышел и затворил за собой дверь.

Сердце шевельнулось и торопливо забухало, наворачивая слезы.

Казалось, что эта ночь никогда не кончится.

«...Март Юлиус Траян, сын Фердинанда Траяна и Ивонны Траян, урожденной Ежак. Год рождения: пятьдесят шестой, третий год республики, село Сидьяк Каперско-Кесарианского уезда. Образование: Кесарианская двенадцатилетняя гуманитарная гимназия Гоф-Яброва. По окончании гимназии поступил на искусствоведческий факультет Национального университета, отчислен с четвертого курса за аморальное поведение. Профессия: свободный художник. Член Ассоциации свободных художников имени Вильгельма Онстри. Автор известных работ: „Мальчик и его собака“, „Будни короля“, „Настигнутые“, циклов картин: „Люди арены“, „Люди океана“, „Пехотные люди“...»

Да, имел брата, Мориса Николае Траяна, год рождения пятьдесят шестой, образование: начальная гимназия — среднее, а затем Высшее техническое училище, выпуск по специальности № 62 (автомобильный транспорт). По некоторым сведениям, принимал участие в деятельности «Внутреннего фронта». Погиб в восемьдесят четвертом году, в апреле, во время Каперского инцидента. Место захоронения неизвестно.

Всё? Кажется, всё. Да, всё.

...К довольно поздно проявившимся способностям и особенностям Мориса в семье отнеслись очень спокойно, не делая из этого ни трагедии, ни сенсации, тем более что сам Морис оказался к ним весьма равнодушен: тогда он видел себя только профессиональным гонщиком и никем кроме. Знали, что таких людей много в стране, что принимают их и ценят, что в столице возникла даже своеобразная мода на них; соседи тоже вроде бы не шептались и пальцем не показывали. А потом оба брата уехали учиться в столицу. Март работал одержимо — и не беда, что ему потом и кровью приходилось добиваться того, что брат брал просто так, от нечего делать. Много позже, в конце семидесятых, когда оба многое пережили и вдруг сблизились необыкновенно, они стали работать вместе. Правда, о соавторстве Мориса никто не знал, он оставался просто рядовым инженером, родственником знаменитого художни-



ка. Так, вместе, они сделали два больших цикла: «Люди арены» и «Люди океана». «Пехотных людей» Морис делал уже в одиночестве.

Каперский инцидент был и остается одним из белых пятен новейшей истории. Никто ничего не знает о его причинах. Самые пронырливые журналисты или ни до чего не докопались, или исчезли. Просто в один чудный весенний день восемьдесят четвертого года армейские подразделения блокировали большую часть Каперско-Кесарианского уезда, установив режим полного карантина. Граница карантина была объявлена зоной свободного огня; стреляли во все, что движется. Трупы обливали напалмом и сжигали. Слухи ходили самые дикие. Достоверно известно было лишь то, что командующий военным округом генерал-майор Вахтель застрелился на седьмой день операции.

Случилось так, что Март, гостивший у родителей, оказался внутри кольца, а Морис — снаружи. Незвестность изводила страшно. Попытка пробраться в зону не удалась, Мориса контузило где-то на подступах, и это спасло ему жизнь, потому что остальные попали под кинжальный огонь пулеметной батареи и погибли все; Морис видел, как огнеметчики в защитных комплектах управляют там. Кончилось все тем, что осенью к нему подошел незнакомый человек, подал толстый конверт и ушел, не вдаваясь в подробности. В конверте были все документы Марта и письмо. Писал точно Март, но писал то ли торопясь, то ли в полубеспамятстве, понять смысл было трудно, кроме одного: отныне и навсегда Морис исчезает, остается только Март, обыкновенный человек и средней руки художник; никаких всплесков вдохновения не должно быть; зачем гибнуть обоим братьям, если есть возможность — только одному? Эта мысль, в разных вариациях, повторялась раз десять. В тот день Морис еще ничего не решил, но скоро, чуть ли не завтра, в «Вестнике» появилась огромная статья: «Мутанты — кто они?» В статье автор, совершенно не стесняясь в выражениях, крыл «банду вырождков», «этих светящихся гнид», которые тихой сапой подгребают под себя науку, культуру, политику, рвутся к руководящим по-

стам, оттесняя при этом честных выдвиженцев простого народа, пропагандируют чуждое нам мировоззрение, ведущее к отрицанию наших исторических идеалов и к смене знамен, что в корне противоречит интересам простого народа... Ссылки на «простой народ» встречались навязчиво часто: на его незамутненное происхождение, на его природный вкус и дарование, наконец, на его естественное чувство презрения и брезгливости ко всему чужеродному, а следовательно, противоестественному... Столь же часто рассыпались комплименты: «мудрый», «истинный», «бесстрашный», «беспощадный к врагам, добрый к друзьям», «с яркой и цельной историей», «не позволит проходимцам», «железной рукой», «всей блистательной мощью», «достойный славы великих предков», «гордо держа свое знамя», «воссияет», «потомству в пример», — ну и так далее. Кроме ругани и восхваления, в статье ничего не было. Однако слухи на разные лады — но однозначно — увязывали карантин и мутантов. На глазах Мориса из окна пятого этажа выбросили женщину. Вечером все свои документы он сжег. В столицу вернулся Март Траян. Вернулся и лег в госпиталь Ассоциации в связи с перенесенной контузией.

Морис никогда не выставлял напоказ свой дар, однако слухи кой-какие были, потому что его несколько раз вызывали на допросы. Да, об уродстве (теперь это называлось так) брата он знал. Как относился? Да никак, ведь указаний на этот счет не было. Да, конечно, полгода прожил у границ карантина, пытаясь разузнать что-либо о судьбе брата и родителей. Кажется, это вполне естественно. Нет, ничего не узнал, может быть, вам что-либо известно? Прошу прощения. Нет, детей у брата не было. Насколько точно? Ну, насколько... Почти точно. Нет, я бы знал. Ну, если он сам не знал, тогда конечно... Нет, не было. Имя я помню: Венета, а фамилию — нет. Чудная какая-то фамилия. Так ведь сколько уже лет прошло. Не знаю. Хорошо, вспомню — сообщу. Хорошо. До свидания.

...Март несколько раз засыпал, пробуждался, снова засыпал; сны и воспоминания наслаивались, перемешивались, менялись местами. Все же под утро — уже

светало — он заснул по-настоящему и проснулся поздно. Встал, умылся и пошел к Тригасу.

Столики в ресторане были сдвинуты в центр зала, и вдоль стен прохаживался Тригас. Март вошел бесшумно, Тригас заметил его не сразу, поэтому Март увидел кое-что достаточно интересное. Хотя бы то, что на столике в углу стоит ведро с водой и Тригас поминутно подбегает к этому ведру и опускает лицо в воду. Н-да... Это что же получается, думал Март, это он за два дня такое успел сделать? Ни за что бы не поверил! Тригас успел пройтись по всем плоскостям и набросать все фигуры и сцены в простенках и сейчас занимался центральной группой. Как и для любых общественных помещений, для ресторанов у них существовал расхожий набор сюжетов и тем, и Тригас использовал здесь наиболее вычурный: мифологические фигуры, обязательный Вакх с вакханками, виноградные гроздья, полупьяные кентавры с кубками, римляне или как их там, в окружении гетер и прочее, и прочее, и прочее... От штампа Тригас не отступал не потому, что штамповать легче, чем работать по-настоящему, а потому, что такова была воля заказчика. Почему-то именно в ресторанах в самом обнаженном виде выявлялось опошление взаимного влияния столицы и провинции. Провинциальные рестораны оформлялись под два-три наиболее популярных столичных, а столичные — второразрядные, естественно, — стремились переплюнуть друг друга в изощренной неопсевдонародности, причем с характерными чертами какой-нибудь из самых глухих окраин. Начатое с большой помпой движение «За привнесение культуры в провинцию» с самого начала несло на себе клеймо «второй сорт», ибо оставляло в неприкосновенности само понятие «провинция» — не в географическом, естественно, смысле. Все это понимали, но никто не говорил вслух. Одни — по давней привычке молчать во всех затруднительных положениях, другие — понимая, что дойную корову на мясо не режут...

Итак, Тригас был занят центральной группой: Вакхом, замечательно напоминающим самого Председателя Ассоциации (такие подковырки допускались),

слегка неглижированными вакханками (здесь тоже существовал стандарт: в столице, например, допускалось изображение женщин с одной открытой грудью, при этом вторая должна быть закрыта на четверть; в провинции требовалось закрывать одеждой, драпировками или ближерасположенными предметами не менее трети обеих грудей; допускалось также обнажение одного колена и нижней половины бедра) и игривыми сатирами.

— Как настроение, Юхан? — спросил Март, наконец обнаруживая себя.

Тригас обернулся.

— А, это ты. Что-то поздновато встаете, мэтр.

— Одно из главных преимуществ свободной профессии, — сказал Март. — И я не собираюсь от него отказываться.

— Разумеется, — сказал Тригас. — Как тебе все это? — он ткнул пальцем в направлении Вакха.

— Портретное сходство несомненно, — сказал Март. — Остальное — как обычно.

— Лстец, — сказал Тригас. — Я сейчас тут закончу, и поговорим — если хочешь, конечно.

Март мизинцем подправил уголок рта и нос у одного из сатиров, и сатир стал походить на Тригаса.

— О чем? — спросил Март.

— О жизни, о чем еще, — сказал Тригас, рукавом стирая какую-то неудачную линию.

В этот миг на Марта накатило. Это было странное ощущение всеобщей прозрачности, и Март побаивался его, потому что мог узнать в такие моменты многое из того, чего узнавать не хотел, — но от него это не зависело. Сейчас перед ним был только Тригас, причем будто вывернутый наизнанку, открылись все закоулки и тайнички души, кнопочки, рычажки и пружинки, вся эта сложнейшая и тончайшая система открылась и была теперь в его, Марта, власти, он мог бы нажать на любую из этих кнопочек хотя бы из одного любопытства, посмотреть, что из этого получится, но не шевельнулся, замер, застыл — потому что, во-первых, Тригас был, теперь уже абсолютно точно, из *них*, из мутантов, уродов, дегенератов, — короче, из *них*; во-вторых, ни-

ти, на которых держалась душа Тригаса, были истончены до предела и страшно натянуты, и нельзя там ничего касаться, потому что тогда они начнут рваться одна за другой. Тригас буквально висел на волоске и не подозревал, наверное, об этом. Деталей Март рассмотреть не сумел и не успел, но понял, что обращаться с Тригасом надо осторожно, как с заминированным...

— Что с тобой? — Тригас подскочил и схватил его за плечи. — Ты что?

— Ничего... все в порядке...

— Показалось, что ты падаешь, — сказал Тригас. — Весь белый, как стена, и глаза остекленели...

— Пти малъ, — сказал Март. — После контузии. Редко, но бывает.

— Может, к врачу? — предложил Тригас.

— Толку-то, — сказал Март. — Все ведь уже прошло. Вечером поговорю с Петцером, может, таблеток каких-нибудь даст...

— Поехали сейчас. Поехали, поехали! — Тригас, видимо, по-настоящему испугался.

В связи со вчерашним срывом, и с бессонницей, и с теперешним эксцессом можно было поглотить чего-нибудь успокоительного. С другой стороны, упорный отказ от помощи вызовет у Тригаса подозрения. С другой стороны, у него, видимо, и без того есть основания подозревать Марта — и не только подозревать. С другой стороны, какого черта я должен бояться Тригаса, если он из наших? С другой стороны, ходят слухи, что кое-кого из наших следует опасаться сильнее, чем полицмейстеров, гражданских гвардейцев и прочих крокодилов... Короче, соглашайся, пока предлагают.

— Ладно, давай съездим, — сказал Март. — Ты хоть знаешь куда?

— Примерно, — сказал Тригас. — Посиди, я схожу за машиной.

— Юхан, — сказал Март, — я вполне держусь на ногах.

— Сиди, я сказал. — И Тригас быстрым шагом вышел из зала.

Поболеем пару деньков, а, Март? Побродим по окрестностям, пошатаемся по городку... Март сел за сто-

лик, уткнулся подбородком в переплетенные пальцы. А сегодня совершим экскурсию в сумасшедший дом. Точнее, в частную психиатрическую лечебницу «Горячие камни». Дом скорби «Горячие камни». Какая-то неуловимая пошлость в таком словосочетании. Именно неуловимая. Ну, что тут пошлого? Не знаю. То есть не знаю, где. И ведь спроси любого, кого хочешь, — никто не скажет. А что, скажут, все нормально, благопристойно, что вам не нравится? Ладно, черт с ними со всеми...

Ты просто помни всегда, сказал себе Март, для кого ты это делаешь. Ты просто помни всегда, что есть на свете десять человек, которых ты должен кормить, ты ведь больше ничем зарабатывать не можешь, не так ли? Могу ремонтировать машины. Ну да, ремонтировать. Тут-то тебя и накроют. Постоянно помни об этих десяти, и все будет в порядке. Все будет в порядке, Март.

..Но я же все равно чувствую, что существует некая этико-эстетическая инфляция. Понятие пошлости тает, как айсберг в тропиках. Сама пошлость множится, ведь то, что казалось пошлостью лет десять назад, сегодня уже таковой не считается. Она именуется смелостью, легкостью, игривостью — и теснит, и пачкает настоящую смелость, легкость и игривость. Может быть, и Канцлер озабочен тем же, откуда его секретные рескрипты о мере допустимого обнажения? Нет, тут несколько иное: была свара в Академии по поводу янцзиевской «Весны», и Канцлер решил вмешаться — в меру своих способностей. Ну да, потребовал, наверное, к себе Президента Академии, еще двух-трех одров, они ему минут за двадцать изложили историю вопроса, и Канцлер в силу своей гениальности во всем разобрался и принял решение — простое и на все случаи жизни. Произошло этакое многоэтапное упрощение проблемы, а тем самым — ее опошление. А что, пожалуй, верно: опошление есть упрощение материала для наилегчайшего усвоения его самыми широкими массами... Нет, Март, это было бы слишком поверхностно. Пошлость-то существует на всех уровнях: на творческом, критическом, потребительском — на каждом уровне своя пош-

лость. Да, но она всегда проста. Не бывает сложной пошлости. Что такое простое и что такое сложное? Сложное вчера становится элементарным послезавтра. А Джоконда? Джоконду сейчас миллионными тиражами печатают на бумажных пакетах и на пляжных халатах. Тогда получается, что пошлость — это просто оборотная сторона прогресса. Что-то у прогресса много-много оборотных сторон...

А как ты, интересно, хотел?

И вообще — что такое прогресс? Если это то, что происходит вокруг в последние... хм... ну, скажем, пятнадцать лет, то слово это сюда как-то не подходит. Ни черта я не понимаю в жизни. Интересно, а кто-нибудь понимает? Тригас, например? Ладно, я его спрошу. А Канцлер? Понимает ли кто-нибудь в жизни Канцлер, если он уже четверть века от этой самой жизни отгорожен стеной каменной, стеной бумажной, стеной верных соратников, стеной референтов, стеной солдат, стеной полицейских, да еще и личная охрана... А ведь, наверное, по докладам судя, жизнь в стране чудесная, потому что все сыты и одеты, и каждая семья имеет телевизор и холодильник, и по числу автомобилей на душу населения мы занимаем седьмое место в мире, а недавно были на шестидесятом, и в прошлом году в продажу поступили легкие самолеты и вертолеты отечественного производства, и спорт развивается так, что на мировой арене мы тесним даже американцев и русских, и чуть не каждый день кто-то где-то бьет мировой рекорд, и шахматы — ах, эти шахматы, им обучают даже в школах, а Эдю Роб-Рита, нашего юного гения, надежду нации, сам Канцлер благословил на бой за шахматную корону, и теперь Эдя разъезжает в белом «кадиллаке» и живет в доме стоимостью два миллиона динаров; правда, потребление спиртного выросло за это время втрое, но это явление временное, болезнь роста, рост культуры не поспевает за материальным благосостоянием, а вот когда он поспеет, тут-то и станет все замечательно; а для того чтобы он поспел, и надо, господа художники и писатели, не отрываться от простого народа, а творить то, что ему, простому народу, надобно; а решать, что надобно простому на-

роду, предоставьте нам, мы этот простой народ знаем лучше, чем он сам себя знает... А наркомании у нас нет, господа, чего нет, того нет, потому что таможня наша — самая лучшая таможня в мире, а кто распускает слухи, тому следует объяснить, что слухи, порочащие нацию, распускать не следует...

Март не слышал, как вошел Тригас.

— Поехали, — сказал Тригас. — Как ты?

— В порядке, — сказал Март. — Что ты так долго?

— Разве? — сказал Тригас.

— Значит, показалось, — сказал Март. Он чувствовал, что Тригас чем-то серьезно озабочен.

Хорошая была у Тригаса машина, «хонда», привез ее из Японии, там она стоила какие-то гроши, Тригас говорил, сколько это в динарах, и Март даже не очень поверил тогда — слишком уж смехотворная получалась сумма. Да, это тебе не «виллис» — и не трясет, и бесшумно, и бензина расходует вдвое меньше, а при нынешних ценах...

Тригас определенно был намерен промолчать весь остаток жизни. С ним что-то явно случилось.

— Юхан, — позвал его Март.

— М?

— Ты что-нибудь понимаешь в жизни?

— Да.

— А что именно?

— Отстань.

Март откинулся на сиденье и стал смотреть в окно.

Сумасшедший дом стоял далеко в стороне от федерального шоссе, и дорога к нему вела странная: военная бетонка. То есть не к нему, а мимо него, и дальше скрывалась в лесу, в красивейшем сосновом бору, и вот на опушке этого бора стоял старинной постройки белый каменный дом, обнесенный решетчатой оградой, за ним — еще какие-то домики, сарайчики, а позади всего громоздились несколько огромных, метров по десять-пятнадцать в высоту, черных валунов; это и были, наверное, сами Горячие камни.

Калитка охранялась: в зеленой будочке сидел дед в синей фуражке и с кобурой на животе.

— Нам к доктору Петцеру, — сказал Март.



Дед стал звонить по телефону, поговорил с кем-то, потом сказал:

— Проходите. Вон туда, пройдете по коридору и увидите такую красивую дверь — там они и сидят.

Все это время, пока дед звонил и пока объяснял им, куда идти, Марта не покидало ощущение, будто у него где-то внутри несколько раз провели рукой. Выходя из будки, Март оглянулся. Дед равнодушно глядел им вслед, глаза у него были будто подернутые ряской; но на ремне как-то очень заметно висела большая потерянная кобура.

Дверь — окантованная бронзой пластина зеленоватого бронестекла с вытравленным на внутренней стороне замысловатым орнаментом — точно была красивой. Март нажал кнопку звонка — звонок мурлыкнул вкрадчиво и мелодично.

— Входите, открыто! — крикнули изнутри.

Март и Тригас вошли. Это была, видимо, ординаторская: казенные столы, стулья, застекленный шкаф с грудой папок внутри. Но общество, собравшееся здесь, выглядело странновато для ординаторской: только двое в белых халатах, остальные, человек десять мужчин и женщин, явно в больничном. Один из мужчин, немолодой, с копной ярко-рыжих волос и рельефным, выразительным лицом актера на героические роли, стоял спиной к окну, остальные сидели полукругом: на стульях, на столах, просто на полу — и, видимо, слушали его.

— Извините, — сказал Март, — мы бы хотели видеть доктора Петцера...

— Да, — сказал один из белых халатов, — Вильям звонил нам. Леопольд сейчас придет. С минуты на минуту. Садитесь, господа. Потеснитесь, ребята.

— Да ну, что вы, — сказал Март, но ребята уже теснились, освободилось два стула, и Март с Тригасом уселись, ощущая себя в центре всеобщего внимания.

— Продолжать? — спросил тот, который стоял у окна.

Все высказались в том смысле, что да, конечно, продолжать, а Леопольд пусть пеняет на себя, сколько его ждали...

Тот, у окна, нахмурился, подумал и стал читать стихотворение — незнакомое. Читал он великолепно: негромко, но очень слышно, выразительно, но без плюсовки, — так на памяти Марта читал только Майорош...

*Он умер, Дон Кихот,  
и никогда  
он не придет  
смешным своим мечом  
вершить на этом свете справедливость.  
Остались господами — господа.  
Остались пастухами — пастухи,  
и дураки остались дураками.*

*Кому же ты был нужен, Дон Кихот?  
...как снег, летят года, слагаются в  
века, века лежат в полях и под полями,  
в морщинах, под березами и в душах...  
И снег, колючий и сухой, его могилу  
все замечает — и никак не заметит.*

Все помолчали немного, потом кто-то сказал: «Браво, Норис», а кто-то: «Слишком уж в лоб», а кто-то: «Давай еще, Норис», и все это было похоже не на ординаторскую сумасшедшего дома, а на литературный клуб много лет назад...

— Можно — чужое? — спросил Норис и, не дожидаясь ответа, начал:

*Гремят фанфары. Гамлет победил.  
Полоний жив, и отомщен отец.  
Офелия? Ее он разлюбил,  
но поведет наутро под венец.*

*Усни, Офелия! Теряя четкость черт,  
спит Эльсинор в колеблющейся мгле,  
спят Розенкранц, Горацио, Лаэрт,  
лишь Йорик бродит на ночной земле.\**

Позади тихонько стукнула дверь, народ завозился, пропуская вошедшего. Март оглянулся. Это был Петцер, он тихо, стараясь не производить шума, подошел,

---

\* Даниил Клугер.

пожал руку Марту, потом Тригасу и сел на подставленный стул.

Потом Норис читал еще, потом читали другие, стихи были лучше и хуже, но почти все незнакомые, потом принесли гитару, и тоненькая женщина стала петь какие-то никогда не слышанные Мартом песни — оказалось, это Гейне, — и лишь через несколько часов все стали понемногу расходиться. Наконец остались только Петцер, Март и Тригас.

— Слушайте, Леопольд, — сказал Март, — как вам не стыдно? Вы такое — от меня скрывали! Я как свежим воздухом подышал.

— Вы по делу? — спросил Петцер.

— Даже по двум, — уточнил Тригас. — Во-первых, вами очень интересуется полицмейстер. Сегодня он меня минут двадцать допрашивал, и все вопросы как-то замыкались на нашем учреждении. Кто-то у вас тут умер, да? Короче, я сказал, что ничего не знаю и не желаю знать, но отвязался от него с трудом. Так что имейте в виду на всякий случай. А во-вторых, вот с ним неприятность случилась — прямо при мне.

— Что именно?

— Пти малъ, — сказал Март. — В восемьдесят четвертом меня контузило, а где-то с восемьдесят шестого началось. И вот за последние дни — раз пять, на-верное.

— Асамид применяли? — спросил Петцер.

— Да, — вздохнул Март. — Или ронтон.

— Это одно и то же.

— А мне казалось, ронтон сильнее, — сказал Март.

— Самовнушение, — усмехнулся Петцер. — Импортный препарат, упаковка красивая... Держите, — он протянул Марту коробочку с таблетками.

— А феназепам есть? — спросил Март.

— Есть. Дать?

— Если можно, конечно.

— Всем все можно, — отозвался Петцер. В столе, где он искал, лекарства не оказалось. — Сейчас принесу. — И он вышел.

— Странный сумасшедший дом, — заметил Март.

— Да? — вмешался Тригас. — А ты чего ожидал?

— То есть как — чего? Это же нормальные люди!

— Поговори на эту тему лучше с Петцером, он тебе объяснит, кто нормальный, а кто нет...

Вошел Петцер, подал Марту еще одну коробочку. Лицо его было озабоченным.

— Доктор, — сказал Тригас, — вот сударь интересуется, насколько ненормальны ваши пациенты?

— Абсолютно ненормальны, — пробурчал Петцер. — Кто же в здравом уме станет читать вслух иностранных поэтов, да еще при посторонних?

— Нет, серьезно, — сказал Март. — Вы что, их так хорошо лечите?

— Их очень плохо лечат. Родственники не настаивают на интенсивном лечении, понимаете ли... То, что вы видели, — это результат плохого лечения и еще худшего воспитания.

Ай да Леопольд, подумал Март. А я-то думал — только коньячок да девочки...

— И еще, — не унимался Тригас. — Не из любопытства, а чтобы не навредить ненароком — что у вас тут случилось?

— Да бог его знает, — ответил Петцер. — На территории нашли труп. Кто такой и отчего помер — неизвестно. Даже вскрытие ничего не показало. Сначала думали — наркоман, хотел пожить...

— А разве бывает так, чтобы на вскрытии — и ничего не было?

— Знаете, я тоже думал, что не бывает, — задумчиво протянул Петцер. — Но прилетал эксперт из столицы, специально вызывали, и мы потом с ним немного потолковали — так вот, он говорит, что существуют яды, не оставляющие никаких следов в организме, и что ядами этими сильно интересуются армия и контрразведка.

— Куда же суется наш бедный полицмейстер? — сказал Тригас.

— Давайте его хором пожалеем, — подыграл Март.

— Знаете что? — посмотрел на них Петцер. — Если вы не торопитесь, то подождите меня немного. Мне два дела надо сделать, это на полчаса. А потом вы меня отвезете в город. Хорошо?

— Разумеется, — согласился Тригас.

— Тут вот газеты и журналы, — сказал Петцер. — Я быстро.

— Юхан, — произнес Март немного погодя, — ты об этом молчал всю дорогу?

— Не только, — ответил Тригас неохотно. — Он мне показывал фотографии — не знаю ли я кого. И там была одна, которая никак не могла к нему попасть. А она попала. Вот я и думал.

— Все равно я с этими не-больными ничего не понимаю...

— Что тут непонятного, — рассердился Тригас. — Ну что тут можно не понять? Отсидеться. Переждать. Частная собственность, полиции или там гражданской гвардии вход заказан. А общественность сумасшедшими брезгует...

Через полчаса, как и обещал, Петцер вошел, с отворачиванием содрал с себя залитый чем-то халат, больничные брюки и рубашку, бросил их в угол, оделся в цивильное, встал у двери и, явно заставив себя улыбнуться, сказал:

— Я готов, господа!

Господа послушно поднялись и пошли к выходу. В воротах Петцер пропустил их вперед и еще потолковал о чем-то с охранником. По дороге Тригас опять молчал, а Петцер пытался играть прежнего, ресторанного Петцера, но у него плохо получалось. Его высадили у почты и свернули к отелю.

В отеле царило необычное оживление, швейцар и, кажется, официанты из ресторана переносили вещи постояльцев с первого этажа на второй. Портье, приятель Марта, отдавал распоряжения и громко повторял:

— Господа, просим прощения за неудобства, это временно. Господа, в связи с реконструкцией отеля...

— Что, ремонт? — спросил Март, подходя.

— Не совсем, — сказал портье. — Вас это не коснется. Только первый этаж. Вас же, господа художники, я приглашаю сегодня на торжественный ужин по случаю приобретения мною городского отеля.

— Поздравляю, — поклонился Март.

— Да-да, — как-то очень рассеянно сказал портье, то есть хозяин. — Теперь мы развернемся... — Морда его сияла.

— Вот и еще один обрел смысл жизни, — усмехнулся Тригас, поднимаясь по лестнице.

— Не богохульствуй, Юхан, — сказал Март.

— А почему бы нет? — пожал плечами Тригас. — Почему бы мне не побогохульствовать?

— Потому что все равно не поможет. Ты пойдешь на этот ужин?

— Обязательно пойду. Исккупаться в сливках здешнего общества — нет, такой случай упускать нельзя.

В номере кто-то побывал. Причем этот кто-то очень старался не оставить после себя следов, но профессиональная память есть профессиональная память, и Март видел, что коробки с красками стоят чуть-чуть не так, как стояли, и дверца шкафа, остававшаяся приоткрытой, почти затворена. Он перебрал вещи, документы — ничего не пропало. Тогда он сел на подоконник и задумался.

Станный сегодня день. Станный сумасшедший дом, где читают стихи и где пациентов не лечат, и странный доктор Петцер, и очень странный Тригас — очень странный Тригас. Ну ладно, мутант, с кем не бывает... Но что это за фотографию такую ему мог показать полицмейстер? Выходит, есть что-то неспокойное в прошлом Тригаса... как, собственно, и в любом прошлом. Это потом все подравнивается и подгоняется в соответствии с текущим моментом. Поэтому сейчас мы имеем преуспевающего халтурщика-монументалиста, свободного художника, не так давно вернувшегося из Киото, где он изучал японскую живопись в течение семи лет. И в биографии его оставлены только те нити, которые намотаны на сегодняшнего производства гвоздики с блестящими шляпками. И нет и не может быть там места каким-то фотографиям, которые не должны попасть в руки полиции, а вот попали. А может, и не было никакой фотографии и он просто выдумал все это, чтобы от меня отвязаться? Вряд ли, я бы почувствовал. А если он говорит правду — он что, мне доверяет? С чего бы это? Наконец, знает он, кто я, или просто тогда

оговорился спьяну? Как мне с ним себя вести? Ни черта не знаю и не понимаю. И какого дьявола делать у меня обыск? Увижу полицмейстера — так прямо и спрошу. Или не стоит нарываться?

Звякнул телефон, и голос портье-хозяина произнес:

— Господин Траян, все уже собрались, ждем вас...

— Иду, — сказал Март.

На том конце положили трубку, но в трубке пискнуло не один раз, а два. Март уставился на телефон. Ну и дела, подумал он. Значит, не только обыск... Ну-ну.

Он сменил рубашку, надел темный галстук, новый, недавно купленный пиджак. Смокинг бы, подумал он. А еще лучше фрак. Фиолетовый. Или мундир. Говорят, собираются вводить форму для писателей — с погонями у простых смертных и с эполетами у великих. Про художников пока не слышно, но тоже, видимо, не за горами...

Тригас решил соответствовать не нормам приличия, а представлениям общественности о художниках. Он вырядился в пестрое вязаное не-понять-что — пончо не пончо, свитер не свитер, — холстяные серые брюки и плетенки на босу ногу. Март посмотрел на него, на могучую волосатую грудь, выпирающую из выреза, на волосатые же пальцы ног и сказал:

— Ты забыл сделать педикюр.

— О! — сказал Тригас. — Это идея! У тебя краски под рукой?

Краски оказались под рукой, и он выкрасил ногти на ногах в покойнический голубовато-зеленый цвет.

По случаю банкета ресторан был закрыт для посторонних, и у входа швейцар увещевал недовольных завсегдатаев. Март и Тригас протиснулись через небольшую, но плотную толпу, назвались и были допущены. Кто-то прошипел вслед: «А голубых пускают...» Тригас хохотнул.

Общество подобралось самое-самое: господин мэр с супругой, господин секретарь мэрии, господин судья, господин товарищ прокурора (сам господин прокурор был вызван в столицу по делам службы), господин председатель акцизного ведомства, господин податной инспектор, господин управляющий городским отделе-

нием Национального банка, владельцы магазинов, редактор местной газеты, два модных адвоката, тренер городской футбольной команды, наконец, господин полицмейстер и господин начальник тюрьмы, здесь же — супруги и взрослые дети, короче, всего человек сорок-сорок пять. Марта и Тригаса представили, причем очень торжественно, с перечислением наград и званий (а что, подумал Март, звучит неплохо, особенно если не знать, за какое дерьмо это все присуждалось и присваивалось...), и усадили за стол, не на самые близкие к имениннику места, но и не на шхельду, порознь, каждого между двумя дамами, которые наперебой принялись ухаживать за знаменитостями. Все было чинно и благородно, господин мэр выступил с речью, в которой приветствовал приобретение отеля жителем города, теперь прибыль не будет уплывать в столицу, потом говорили тосты, пили в меру, ели деликатно, приятно было смотреть — приятно и скучно. Даже Тригас как-то стушевался и не рвался на эпатаж. Потом разделились, дамы отдельно, мужчины отдельно, молодежь танцевала, к ним присоединились и пожилые пары, и, так сказать, смешанные; Тригас тоже подхватил чью-то дочку, еле достававшую ему до плеча, и покачивался с ней в полумраке. Кто-то в углу уселся за шахматы. Солидные мужчины беседовали.

— ...на грани банкротства, поэтому стал распродавать. Ну, я и купил. Пятьдесят тысяч сразу и еще по пятнадцать каждый год...

— Дешево что-то...

— Очень дешево. Я предложил — и прямо обалдел, когда он согласился.

— Припекло, значит.

— Вот именно.

— Ну, теперь вам надо как-то оправдывать ваши денежки.

— Вот увидите, оправдаю.

— Хотите совет? Устройте здесь бордель, и уже через месяц начнете считать барыши.

— Подумаю. Если господин мэр не станет возражать...

— Полегче, полегче.



— Я понимаю — супруга будет против. Нет, если без шуток: ведь отель себя почти не окупал, я уже молчу о прибыли. А с другой стороны, подумайте: в городе пятнадцать тысяч человек... ах, даже семнадцать! — а живем, как на хуторах. Господин Траян, в столице сколько клубов, вы не знаете?

— Точно не знаю, но тысяч пять должно быть.

— Вот видите! По вечерам мы запираемся в домах и стараемся поскорее уснуть. Ведь невыносимо скучно, господа! Это вместо того чтобы собраться, побеседовать, обменяться новостями и мнениями. И дети наши вырастают бирюками или сбегают от нас, потому что ничего не видят в жизни. А так, представьте, в самом центре города помещение, где ты всегда — желанный гость, куда любой может прийти, поговорить, посмотреть видео. Общение, господа, общение! Что может быть лучше общения!

— Какую же выгоду вы собираетесь иметь?

— Да господа же! Да я на одном кофе за полгода наберу эти пятнадцать тысяч! И почти без накладных расходов. Я все подсчитал, за два года я рассчитаюсь с долгами и начну получать чистую прибыль.

— Господин Траян, а в столице клубы популярны?

— Конечно, иначе бы их не было так много. Я думаю, и у вас это привьется, может быть, и не так скоро — но обязательно. А вы, друг мой, прямо сейчас начинайте думать о рекламе, это самое важное...

— Скажите, история с Вильбертенем — правда?

— Я не знаком с ним. А слухам верить, знаете...

— Почему-то считается, что все знаменитости должны знать друг друга.

— Нет, это легенды.

— Ну а все-таки — знаете вы что-нибудь?

— Знаю, что у него были какие-то большие неприязности, но теперь он опять снимается.

— А говорили, что он оказался мутантом и что его выслали из страны.

— А разве мутантов высылают? У меня были другие сведения.

— Нет, конечно, но вроде бы за него стали заступаться иностранные посольства...

— Думаю, если бы эта история была такого масштаба, я бы хоть что-нибудь знал. Скорее всего, кто-то написал на него донос, ну и решили его проверить как следует. Ну и проверили...

— Вообще с этими мутантами что-то темнят. Сначала их перевозносили, а потом вдруг принялись давить...

— Кто их перевозносил? Никто не перевозносил. Сами себя они перевозносили, пока не раскопали это дело...

— Вот я, допустим, знаю все из самых первых рук, у меня свояк в... э-э... ну, сами понимаете где. Так вот он говорил, что еще во времена Империи была создана лаборатория, где занимались опытами на людях. Там с ними что-то делали, а потом лабораторию разбомбили, и кто успел разбежались. А готовили из них, так сказать, элиту человечества, будущих властителей...

— Что вы говорите, право! Какую там элиту! Не знаете, а говорите. Делали там с ними что-то, да. Чтобы они нас с вами — нормальных людей — ненавидели, можно сказать, изначально. И чтобы власть над нами захватить могли, потому что способности у них всякие. А потом, захватив власть, нас всех — под корень; у них же уже все к перевороту было готово, можно сказать, чудом пресечь успели, в последний момент, а вы — элита...

— Да? А вы не обратили внимания, что ни армия, ни полиция их не преследовали? Только гражданская гвардия? Не мешали, но и не помогали? Как вы это расцениваете?

— А что бы за границей сказали? Геноцид, мол? А так — сам народ, можно сказать, расправился — и все, виноватых нет. Народ не обвинишь.

— Господа, какую-то вы тему оседлали, ей-богу. Давайте лучше о скачках.

— И не под корень вовсе, как вы говорите. Они нас самих в мутантов хотели превратить. Про каперские события слышали? Там ведь во всем уезде нормальных людей почти не осталось, все мутанты.

— Не совсем так. Нормального взрослого человека в мутанта не превратишь, выдумки это.

Март отошел от беседующих и поискал глазами полицеймейстера. Полицеймейстер стоял отдельно, как-то очень даже отдельно от всех, и крутил в пальцах спичечный коробок.

— Можно вас на пару слов? — спросил Март.

— Пожалуйста, — отозвался полицеймейстер рассеянно.

— Если вы еще когда-нибудь захотите узнать, не держу ли я героин в тюбиках из-под краски, — сказал Март ядовито, — делайте это, пожалуйста, в моем присутствии.

— Не понял, — нахмурился полицеймейстер.

— У меня в номере был обыск, — пояснил Март. — И я...

— Как обыск? — шепотом спросил полицеймейстер. — Вы что — серьезно? — Видно было, что он не играет. — Может быть, кража?

— Нет, — сказал Март. — Ничего не пропало, все на своих местах. Сдвинуто кое-что...

— Вы никому не говорили?

— Нет, конечно.

— Правильно. Ладно, я попытаюсь проверить, но вы пока старайтесь не подавать виду, что заметили это. На улице за вами слежки не было?

— Нет, — сказал Март. — То есть не замечал. Зато подключились к телефону.

Полицеймейстер посмотрел на Марта с любопытством и, кажется, с одобрением, потом, явно решив для себя что-то важное, сказал:

— Выходите на улицу и подождите меня там. Побеседуем. Хорошо?

Март в некоторой растерянности постоял на тротуаре, прошелся туда-сюда. Станный, однако, полицеймейстер, а, Март? Тебе не кажется? Кажется. Вот и мне тоже кажется... Через несколько минут полицеймейстер появился в дверях, сделал Марту знак, чтобы тот шел за ним, и двинулся по улице. Метров через триста они свернули налево, в узкий и темный проулок. Полицеймейстер постоял, осмотрелся и ключом открыл калитку в глухом заборе. Он пропустил Марта вперед, еще раз осмотрелся по сторонам и осторожно запер калитку. По

мощеной дорожке они подошли к дому, полицеймейстер постучался в дверь условным стуком: два раза, потом один, потом еще два; через некоторое время кто-то изнутри отпер дверь. Свет в помещении не зажигали. Осторожно, ступеньки. Они вошли еще в одну дверь, щелкнул выключатель. Это была небольшая комната с плотно зашторенными окнами. Четыре кресла, столик, диван, бар, масса радиоаппаратуры. Хозяина дома — или кто там их впустил? — не было.

— Садитесь, — сказал полицеймейстер, и Март сел. — Теперь мы можем побеседовать спокойно, никто не помешает... Вы этого человека знаете? — И он подал Марту фотографию.

— Да, — сказал Март. — Но только по газетам.

— Ясно, — сказал полицеймейстер. — Видите ли, в чем дело: он умеет очень хорошо изменять внешность. У вас профессиональный глаз, может быть, вы узнаете его в этих людях?

Полицеймейстер разложил на столе дюжину фотографий. Все лица были незнакомы. Март стал всматриваться. Да, пожалуй...

— Вот этот, — сказал он. — И вот этот.

— И еще вот этот, — сказал полицеймейстер. — Но все равно хорошо. Так вот: есть сведения, что он сейчас находится где-то в нашей провинции, и совершенно не исключено, что в нашем городе. Проверка документов ничего не даст, это понятно, документы у него великолепные, нам бы такие... Огромная к вам просьба: если узнаете его в ком-то — сразу звоните мне. И только из автомата. А теперь, пожалуйста, очень подробно расскажите о ваших неприятностях.

Март стал рассказывать, полицеймейстер переспрашивал, уточнял, заставлял повторять еще и еще раз, обрывал вдруг и перескакивал на другое, и Март все думал, как бы не сболтнуть чего не надо о заведении доктора Петцера, но вдруг дверь открылась и вошел сам Петцер. Он улыбнулся оторопевшему Марту и спросил:

— Андрис, будешь? — В руках у него была темная высокая бутылка. — Вам, мэтр, не предлагаю, естественно...

— Давай, — сказал полицеймейстер. — А то у меня совсем ум за разум заходит.

Петцер поставил два бокала, разлил вино, они с полицеймейстером стали пить его маленькими глотками, поглядывая друг на друга, а Март все не мог стряхнуть с себя оторопь, потому что все происходящее не лезло ни в какие ворота, ну не стыковались нигде полицеймейстер-бывший-следователь-по-особо-важным-делам, играющий деревенского недотепу и переигрывающий — намеренно? зачем? — и всерьез опасаящийся чего-то появившегося на местном горизонте, — доктор Петцер из странного сумасшедшего дома, где читают стихи и куда полиции ход заказан, потому что это частное владение — чье, кстати? — и Артур Демерг по прозвищу Шерхан, когда-то один из руководителей «Внутреннего фронта», приговоренный Трибуналом «Фронта» к расстрелу, но ведь вывернулся тогда, гад такой, сколько из-за него потом ребят погибло... Сейчас он в «Белой лиге», по-прежнему неуловим и по-прежнему — да какое «по-прежнему», вдесятеро против прежнего — жесток.

А эти двое сидели за столом друг против друга, тянули из бокалов густое, почти черное вино... Ничего не понимаю, в который раз за сегодняшний день подумал Март. Ну ничегошеньки. Кто друг, кто враг, да и есть ли они вообще — друзья и враги? Может, в каждом конкретном случае они появляются и исчезают? Резонанс. Вот именно — резонанс. Твои интересы складываются с интересами некоего А — он твой друг. Твои интересы в противофазе с интересами некоего Б — он твой враг. У каждого своя частота колебаний, и через некоторое время картина меняется: А уже твой враг, а Б на тебя решительно наплевать.

И еще кто-то профессионально, но торопливо обыскивает номер и слушает телефон, и кто-то умирает странной смертью во дворе странного сумасшедшего дома, а тут еще Тригас... Господи боже мой, да ведь надо уносить ноги, пока цел, понял Март, тут же затевается какая-то игра по-крупному, причем совсем не моя игра...

— И где ты такое берешь? — спросил полицеймейстер, допив.

— На нашей кухне, — сказал Петцер. — Нас хорошо снабжают.

— Оттуда? — кивнул головой куда-то в сторону полицмейстер.

— Прямым ходом, — подтвердил Петцер. — И достаточно регулярно.

— Иногда я думаю — а не лечь ли и мне к вам? Нервишки, то, се... Одна кухня чего стоит, — вздохнула полицмейстер.

— Можешь подумать об этом даже всерьез, — усмехнулся Петцер.

— Нет, конечно, — сказал полицмейстер. — Бегство — это не выход.

— Бегство — это не выход... — задумчиво протянул Петцер. — Выход посредством бегства... то есть бегство посредством выхода... то есть бегство через выход... убегая, гасите свет и выключайте воду...

— Сливайте воду и убегайте, — сказал полицмейстер. — Трепло ты, Леопольд.

— Сам такой, — огрызнулся Петцер. — Март, как вы себя чувствуете?

— Нормально, — сказал Март.

— Таблетки не понадобились?

— Нет пока.

— Я так и думал. Никакой эпилепсии у вас, конечно, нет. Это вы придумали для вашего приятеля?

— Ничего я не придумывал, — сказал Март.

— А почему вы тогда так упорно ничего не пьете? Даже пива?

— Леопольд, вы как-то странно ставите вопрос. Ну, гепатит я перенес, я же говорил вам.

— Я чувствую, вам трудно врать человеку в глаза. Если хотите выжить, вы должны в этом тренироваться и тренироваться. Понимаете, вы шутя съедаете то, что печеночного больного уложит если не в землю, то под капельницу — наверняка. Это ваш приятель настоял на визите к нам?

— Да, — ответил Март, подумав.

— Как он там? — спросил полицмейстер.

— Вполне, — отозвался Петцер. — Мне рассказал все, и Вильям к нему претензий не имеет.

— Вы давно его знаете? — спросил полицмейстер.

— А что, он тоже подозревается? — оцетинился Март.

— Не знаю, — сказал полицмейстер. — Вы же чувствуете — что-то происходит. Тут не до подозрений, тут бы просто стекла протереть.

— Года с восьмидесятого.

— То есть еще до отъезда, — сказал полицмейстер.

— Да. Здоровались, разговаривали...

Петцер и полицмейстер переглянулись.

— Отпадает, — отрезал Петцер.

— Черт бы его подрал, — сказал полицмейстер. — А может, мы зря голову ломаем? Может, он ни сном ни духом?..

Петцер подумал.

— А что, вполне возможно. Знаете, Март, у меня, то есть у нас с Андрисом, к вам просьба: побеседовать несколько раз с господином Тригасом. На свободные темы, но поближе, так сказать, к месту и времени...

— То есть вы меня вербуете, — медленно сказал Март. — В доносчики. А я даже не представляю, с кем имею дело.

— Вам понравились наши пациенты? — спросил Петцер.

— Да, — ответил Март. — Понравились. И что?

— Речь идет об их судьбе. Может быть, жизни.

— Вы говорите, что не знаете, кто мы, — усмехнулся полицмейстер. — Зато мы хорошо знаем, кто вы. Скажем, Леопольд?

— Конечно, — сказал Петцер. — Что из мужика жилы тянуть...

— Вас зовут Морис Николае Траян, вы мутант и живете по документам погибшего брата. Не бойтесь, вы нигде не прокололись и вам ничего не грозит. Все знаем только мы. Во-первых, у нас есть Вильям, сторож Леопольдова заведения. Вот вы чувствуете мутантов?

— Иногда, — сказал Март. Играть больше не было смысла, карты раскрывались. — Изредка, когда накатит...

— А он постоянно. Причем сам он, кажется, не мутант, во всяком случае, это у него никак больше не

проявляется. Да, будь он в гражданской гвардии, вас бы всех давно уже на свете не было. Думаете, почему вас так легко пропустили на территорию? Да... А вторых, в документах полиции зафиксировано, что брат живущего ныне Марта Траяна был мутантом. Брат-близнец, заметьте. Он погиб... Да... Сам Март Траян учился в университете на факультете искусствоведения, и вот этот человек, — полицмейстер достал из кармана фотографии, которые показывал раньше, и одну из них подал Марту, — этот человек был в то время деканом факультета, а вот этот, — он подал другую фотографию, — вел персональное дело Марта Траяна в студенческом суде и был, по сути, виновником изгнания его из университета. Морис Траян не мог знать их в лицо, поскольку в это самое время находился в Брюсселе и пытался купить партию оружия для «Внутреннего фронта»...

— Это не доказательство, — хрипло сказал Март.

— Доказательство, — возразил полицмейстер. — И вполне достаточное. Но привел я его вам только для того, чтобы дать вам понять: я знаю, кто вы. И все. Никакие разоблачения вам не грозят.

— Мы вам не враги, — сказал Петцер.

— Не враги, — подтвердил полицмейстер. — И даже наоборот... Как вы попали сюда? — спросил он после паузы.

— Случайно. Устал и не мог ехать дальше.

— Когда?

— Сейчас скажу точно... Восемнадцать дней назад.

— А Тригас?

— В командировке от Ассоциации.

— Откуда вы знаете?

— Мэр сказал. Еще до его приезда.

— Ну что же, может быть, и так... Откуда вы ехали?

— Из Фрайберна.

— Это где? Даже не слышал такого.

— Это маленький городок, километров шестьсот на восток.

— И что вы там делали?

— Остановился пообедать. В общем, я ехал домой, в смысле — в столицу, из Скрея, где работал. Пока



ждал в ресторане заказ, стал от нечего делать рисовать на салфетке — и засветился.

— Видел кто-нибудь? — поинтересовался полицеймейстер.

— Многие видели. Была погоня.

— Ну и как? — спросил Петцер.

— Ну как... Они погнались на двух машинах, а я ведь бывший гонщик... В общем, они столкнулись.

— Ну силен! — восхитился Петцер. Полицеймейстер одобрительно покачал головой и усмехнулся.

— А вечером уже были здесь? — спросил он.

— Да.

— Шестьсот километров. Почти алиби. А, Леопольд?

— В случае чего я вообще могу показать, что он приехал ко мне утром. Мои подтвердят.

— В случае чего, — усмехнулся полицеймейстер, — спрашивать не будут.

— Это точно, — сказал Март.

Они помолчали.

— Насчет Шерхана тогда — правда? — спросил Март.

— Правда, — кивнул полицеймейстер. — Или уже появился, или вот-вот появится. И чувствует мое сердце, что есть у него тут особый интерес. Вы его живьем видали?

— Только в маске.

— Осторожен, гад, — вздохнул полицеймейстер. — Ну что, время уже. Насчет прощупать Тригаса не забудьте, ладно? Вероятно, это пустышка, но все же... Леопольд, ты его проводишь?

— Провожу. «Ибо был перед ним путь великий, и без провожатого нельзя идти было...»

— Слушайте, — сказал Март, — вы меня начисто выпотрошили, можно и мне вопрос задать?

— Задать-то можно, — отозвался полицеймейстер, — ответим ли...

— Леопольд, это ваше заведение — что оно из себя представляет?

— Ну, это можно, — сказал полицеймейстер.

— Вы про «Путь побежденных» слышали? — спросил Петцер.

— Н-нет вроде...

— В общем, вы же знаете, что из нашего благополучного отечества легально и надолго можно выехать только на лечение. А дольше всего лечат психические заболевания. Вот мы и готовим людей, проводим их через комиссию, ну и... Еще то хорошо, что формально расторгаются родственные связи и семья не остается заложником.

— Понятно.

— Так что при необходимости можете воспользоваться.

— Мутантов тоже берете?

— Конечно. Сейчас только никого нет, а раньше много было.

— Повыбили всех. В провинции сейчас только мы с Тригасом и есть.

— Не только мутантов, вообще очень многих повыбили. Интеллигенцию главным образом. Да и продолжают потихоньку выбивать — хотя размах уже не тот... Думаете, от чего люди бегут?

— Догадываюсь, — сказал Март. Вдруг его прорвало: — Ладно, я понимаю — бьют нас, надо же на кого-то натравливать народ, надо на кого-то сваливать вину за неурядицы, за бестолковщину, за неурожай, наконец, да и вообще это, наверное, чисто зоологическое — даже мне страшно бывает, что во мне это нечеловеческое сидит, а я могу представить, каково это знать какому-нибудь бабичнику или лавочнику, но вы мне скажите, зачем уничтожать инженеров, врачей, журналистов, писателей, ученых, сначала учить, а потом пускать под нож, это же все равно, что резать курицу, которая несет золотые яйца...

— Когда яиц становится слишком много, золото обесценивается и хозяин курицы разоряется, — вставил Петцер.

— То есть? — не понял Март.

— Объясни ему ты, Андрис, — сказал Петцер. — Не могу я на эту тему говорить...

— Простейший способ остановить прогресс, — пояснил полицмейстер, — это уничтожить тех, кто его двигает. А останавливать его надо обязательно, потому

что развитие общества неизбежно приводит к переменам, затрагивающим и самую верхушку. Вот правительство и принимает меры к обеспечению максимальной стабильности. Вы знакомы, наверное, с доктриной нулевого роста? То, что у нас творится столько лет, — это все ради того, чтобы претворить ее в реальность. Официальная цель этой доктрины: создание гармонии между производством и потреблением. Реальная цель: обеспечение чиновникам высших эшелонов максимально полной кормушки при минимальных их усилиях; общество для них — это машина для удовлетворения их собственных потребностей, машина работает, продукт поступает — и не дай бог, если что-нибудь изменится. Пусть правительство лениво и некомпетентно — оно обладает обостренным инстинктом самосохранения и потому принимает любые меры к поддержанию благоприятного для него положения вещей. Думаю, кстати, что убивать скоро перестанут, этот способ простейший, но лишает свободы маневра. Можно ведь с той же целью и не менее эффективно загрузить всех бумажной работой, а творческой части подсунуть выгодную халтурку — как вам, например. Тем более, что без технического прогресса стране не жить... вы обратили внимание, что технарей лет пять уже как не трогают? Стимулируется развитие так называемого узкого специалиста — это новый исторический тип, выполняющий функции интеллигента, но очень простой в обращении и неприхотливый. Создается — боже мой, уже создана! — массовая культура, которая призвана удовлетворять некоторые простейшие эстетические потребности населения. Наконец, народ просто спаивается, и это выгодно вдвойне, потому что...

— Господа, — попытался перебить его Петцер, — уже полночь.

— ...выгодно вдвойне, потому что приносит казне огромный доход — и освобождает ее от необходимости расходов на досуг... втройне, потому что не дает еще человеку размышлять о постороннем, человек из чело- века разумного превращается в звено производственного процесса, в машинку, каждый вечер заправляе-

мую спиртом... Я ведь говорю даже не о смене строя, я говорю о конкретных носителях власти, потому что эти кресла, вознесенные высоко, удивительно шатки. Они же там готовы обглодать друг друга и держатся только потому, что вцепились и замерли, и не дай бог кому-то оступиться, его тут же спихнут вниз и растопчут, и новый кто-то будет в его кресле через секунду. Даже Канцлер — и тот под богом ходит, сколько глаз на его кресло нацелено... Появляется в мире что-то новое — значит, не нужно что-то старое, значит, того, кто этим старым жил, — на свалку, а кому охота? Давить новое, любое новое, не разбираясь, просто так, на всякий случай, — это уже становится рефлексом, это принцип любого иерархического общества, это первый закон чиновника; и только иногда, когда необходимость их за горло возьмет, им приходится скрепя сердце новое поддерживать и развивать — взять тот же технический прогресс... Ладно, Март, действительно, поздно уже, мы с вами как-нибудь еще побеседуем...

В холле отеля сидел Тригас. Увидя Марта и Петцера, он встал и пошел им навстречу.

— Что случилось, Март? — спросил он. — Где ты был?

— Да вот, погуляли с доктором.

— Тьфу, черт, а мне показалось, что тебя увел полицмейстер, — сказал Тригас. — Я уже в управление звонил...

— Ладно, я с вами прощаюсь, — остановился Петцер. — Заглядывайте к нам.

— Спасибо, доктор, обязательно, — поклонился Тригас.

— Спокойной ночи, Леопольд, — сказал Март.

Из дверей ресторана вышли почтмейстер и секретарь мэрии, напряженной походкой прошли через холл и скрылись в коридоре.

— Давай зайдем в бар, — сказал Тригас.

— Не хочется, — стал отказываться Март.

— Ненадолго, — настаивал Тригас. — Надо поговорить, а там всего удобнее.

В баре было душно почти невыносимо и воняло, как из пепельницы Берта, не говоря ни слова, поставила



перед Тригасом его излюбленный дайкири, а перед Мартом — апельсиновый сок.

— Берта, — попросил ее Март, — сварите мне чашечку кофе.

— На ночь? — укоризненно спросила Берта.

— Ничего, — сказал Март. — Как вы выдерживаете такую духоту?

— Кто же вам сказал, что я выдерживаю?.. — проворчала Берта.

— Так что ты хотел мне сказать? — Март повернулся к Тригасу.

— Что у вас там вышло с полицмейстером? Только не говори мне, что вы, так сказать, случайно...

— Совершенно случайно. Я вышел подышать, потом он, мы о чем-то потрепались, чуть ли не о погоде, потом мне стало плохо, как утром, и он отвел меня к Петцеру. Вот и все. А что это тебя так заинтересовало?

— Он тебе фотографии никакие не показывал?

— Нет, а что?

— Видишь ли, у меня сегодня в номере был обыск. Тайно. И я боюсь, как бы мне не понапускали клопов. Я потому так вырядился, что в этой хламиде микрофон не спрячешь...

Март почувствовал, что внутри у него все леденеет.

— Знаешь, старик, — сказал он через силу, — я что-то не верю в способности местной полиции на подобные штучки.

— Местной-то и я не верю, — протянул Тригас.

— Кофе, пожалуйста, — подошла Берта.

Март отхлебнул слишком большой глоток и обжег язык.

— Знаешь что, — сказал он, — сегодня мы все равно ничего разумного не придумаем. Давай-ка завтра, на свежую голову.

Тригас внимательно посмотрел на него.

— Завтра так завтра, — согласился он. — Не... — Он не договорил и уткнулся в свой бокал.

В номере Март первым делом снял пиджак и галстук и проверил их самым тщательным образом. Слава богу, ничего не было. Осматривать комнату не было уже

ни сил, ни смысла. Если и есть что-то, то лучше не трогать. Не подавать виду, что заметил. Но как хорошо, что в одежде ничего не оказалось...

А если бы оказалось? Ведь провал...

Неужели они так беспечны? Я же сказал полицеймейстеру про обыск и про телефон... Неужели...

Не может быть!

Боже мой, задохнулся он, это же все спектакль, это же провокация, а я так задешево купился...

Сматываться! Сматываться немедленно, может, еще успею...

А смысл какой? Тебя расшифровали и разложили — мечись теперь или не мечись, конец один, не скроешься...

Стоп. Без паники. Вечер поэзии — это что, тоже спектакль? Нет, брат, это настоящее. Они же от тебя ничего не хотели, просто дали понять, что все о тебе знают и, в общем, доверяют... А в доме, наверное, есть детектор «клопов», не зря же полицеймейстер молчал на улице; и Петцер появился не сразу, должно быть, возился там с аппаратурой.

Что же тогда из себя представляет Тригас?..

Март сам не знал, спал ли он в эту ночь.

Утром раскалывалась голова, но благодаря этому не было никаких совершенно мыслей, и Март готов был благодарить бога за эту боль.

С трудом проглотив бутерброд и запив его крепким чаем, Март вышел на стоянку машин, сел в свой «виллис» и поехал просто так. Лицо оведал ветер, глаза и руки были заняты привычной работой, и, поездив часа два, он почувствовал, что успокаивается. Потом заправил машину, залив оба бака под пробку — на всякий случай. В отеле портье, новый, средних лет лысый мужчина, передал ему записку. Записка была от Тригаса. Тригас писал, что вынужден разговор отложить, поскольку срочно уезжает дня на три. «Помни о том, что я тебе говорил», — было написано в конце и жирно подчеркнуто. Март пожал плечами и сунул записку в карман. На лестнице ему встретился новый хозяин отеля. Глаза его были красные, как у кролика, лицо помято.

— Доброе утро! — сказал он. — Жаль, что вы вчера так рано ушли, до самого интересного. — И он рассказывал, как вчера, то есть уже сегодня, когда старшее поколение разошлось-разъехалось, молодежь решила обновить помещение будущего клуба — ну и обновили, а племянница редактора — помните, в таком розовом комбинезоне? — так вот она заявила вдруг, что ее никто не обыграет в беск, а если кто обыграет, то она готова отжаться тут же, на бильярдном столе, потому что карточный не выдержит, и сели играть. — Март слушал, и его подташнивало от запаха перегара и от смысла рассказа, у бывшего портье просто слюни текли, пока он рассказывал, потом он потащил было Марта в бар — выпить за успех предприятия, но Март очень вежливо отказался под тем предлогом, что ждет важного звонка из столицы, и портье неохотно его отпустил. Все мерзость, думал Март, все и везде, где ни копни — наткнешься на мерзость, а встретишь что-нибудь настоящее, начинает казаться, что это спектакль или провокация, господа, до чего же смогли все загадить, но ведь экспатриация — это тоже не то; как это полицмейстер сказал: «Бегство — не выход»? А где же то, где то, для чего стоит переводить кислород на планете? Опять о смысле жизни, поморщился Март, сколько же можно... В номере ему вдруг захотелось спать, он лег не раздеваясь и проспал до обеда. Проснулся с тяжелой головой, как всегда после дневного сна, и еще полежал, листая накопившиеся журналы.

В пять в ресторане на английский манер подавали чай с печеньем или с пирожными; Март встал, умылся, привел себя в порядок и спустился вниз. Он уже допивал чай, когда в ресторан вошли хозяин отеля и с ним еще несколько человек, но Март не видел никого, потому что среди них была Венета. Он узнал ее сразу, хотя она изменилась. Был миг, когда их взгляды встретились, потом эта компания прошла мимо в глубь зала, и Венета изо всех сил старалась не оглядываться, но не выдержала и все-таки оглянулась. Они сидели за столиком и, видимо, обсуждали что-то, и Венета была среди них, Март видел ее в профиль, видел, как она облизнула губы, как ее спросили о чем-то, а она отве-



тила не сразу и, наверное, невпопад, глаза смотрели прямо, и видела она Марта только боковым зрением, лицо ее было напряжено, и Март встал, оставил на столе деньги и вышел... Тогда, в восьмидесятом, «Фронт» приказал им расстаться, это было правильно, потому что шла волна арестов и надо было рассредоточиться, но это было невыносимо. Март помнил тот день смутно, они ходили по комнате, тыкались в углы, как слепые котята, или друг в друга, что-то пытались говорить, а потом Венета исчезла, никто не знал, где она, и только год спустя ему сказали, что ее и еще четверых взяли вместе с Мингом. Когда «Фронт» объявил о самороспуске и многих амнистировали, Венета так и не появилась. Марту тем труднее было ее искать, что он о существовании некой Венеты знать не мог, а о том, что Морис погиб, знали все, кому нужно, и Венета, наверное, тоже знала...

Прошло сколько-то времени, и Март обнаружил, что сидит на скамейке в сквере, где он раньше не бывал, со смятой и истерзанной пачкой сигарет в руке. Все вокруг было незнакомо, хотя, оглянувшись, Март увидел и свой отель, и шпиль ратуши, возвышающийся над крышами, и понял, где находится, но ощущение незнакомости не проходило; так с ним бывало иногда после той контузии... Не распускаться, сказал он себе, не распускаться, не рас... Слова закружились в голове и потеряли смысл. Он выбросил сигареты и сунул руки в карманы. Там они перестали дрожать.

С кем она? Он стал вспоминать. Хозяин, секретарь мэрии, казначей, еще двое незнакомых... еще ведь кто-то? Нотариус, вот кто. Венета с кем-то из тех двоих. Ему пришла в голову мысль о Шерхане, но нет, Шерханом ни один из них быть не мог. Один пожилой, совсем седой, с невыносимо синими глазами — таких просто не бывает, — а второй явно с примесью китайской крови и притом невысокого роста. Этот седой, кажется, и был главной осью компании. Спрашивать нового портье не стоит, а вот нового хозяина можно, и именно о том седом... Двенадцать лет, подумал он, двенадцать лет, двенадцать лет. Чего только не было за эти двенадцать лет.

Он подходил к отелю, когда Венета вышла оттуда, увидела его и пошла ему навстречу. Они остановились и стали смотреть друг на друга, потом она произнесла:

— Здравствуй. А ты все такой же. Пойдем куда-нибудь.

Она взяла его под руку, и они вернулись в сквер и сели на ту же самую скамейку.

— Ты живая, — сказал Март. — Ты живая. Где же ты была?

— И ты живой... Я чуть не умерла, когда увидела тебя и поняла, что это ты, что ты меня узнал, — если узнал, значит, ты...

— Ты сразу поняла?

— Я чуть не умерла.

— Я думал, тебя убили тогда.

— Нет. Все обошлось. Когда ты меня узнал, у тебя стали такие глаза, и я поняла, что это ты.

— Это я. Брат передал мне свои документы. Мы же с ним — как две капли воды...

— Я помню, ты показывал.

— Где ты была?

— Сначала в лагере. Потом, когда узнала, что тебя... Вышла замуж... уехала за границу... пока не утихло.

— Я тебя искал. Никто ничего не знал, понимаешь...

— Господи, как все бывает...

— Как ты живешь?

— Спокойно. Хорошо. Всем довольна.

— Этот седой?

— Да, он.

— Как вы сюда попали?

— Это был его отель, теперь он его продал.

— Он разорился?

— Не до конца, у него еще много всего осталось. Не хочу об этом. Как ты?

— Странствую.

— Не женился?

— Нет.

— Не нашел?

— Когда в каждой женщине находишь только тебя...

— Ты помнишь меня?

— Не то слово.

- И я тебя. Господи, почему же я молчу... У тебя есть дочь.
- Венета...
- Да, милый, да. Ее зовут Марина.
- Венета, боже мой, это же... это... Как ты ее сберегла?
- Повезло. Меня почему-то считали любовницей Минга, а я не отрицала.
- Минга убили?
- Да, при мне... Его даже не пытались взять, просто убили и все.
- Она с тобой?
- Нет, она в пансионе. У меня есть портрет, я тебе потом покажу.
- Знаешь, я как пьяный...
- Глупый, чему ты так обрадовался? Обычная девочка, очень милая, на мою маму похожа...
- У меня началось лет в семнадцать.
- Я как подумаю, что у нее может быть тоже...
- Ты ничего не понимаешь. Это такое счастье.
- Я помню тебя. И все равно боюсь за нее. Так хочется, чтобы она выросла простым человеком... Ты не обиделся? Это неправильно, да?
- Пусть будет как ты хочешь.
- Будет как будет. Кто это может знать?
- Я могу попробовать. Не сейчас, ночью.
- Не надо. Лучше не знать заранее.
- Я тебе не скажу.
- Ты же меня знаешь.
- Знаю. Только все равно...
- И я обязательно должен ее увидеть.
- Конечно. Я это устрою.
- Это еще надо устраивать?
- Ну не прямо же сейчас мы туда поедem.
- А где это?
- В Скрее.
- Я же только что оттуда!
- Слава богу, хоть здесь встретились... Знаешь, я все еще поверить не могу.
- Я тоже... Где вы живете?
- Обычно в Фениксе. Это...

— Я знаю. Час езды от меня. Я — в Альберт-Ключе.  
— Смешно. Рядом жили, а вот где встретились...  
— Правда смешно.  
— А ведь мы сегодня должны уезжать.  
— Но...  
— Я не поеду. Я остаюсь.  
— Как?  
— Просто. У нас тут домик. Скажу, что не хочу ездить...

— Он согласится?  
— У меня полная свобода.  
— Но он же заподозрит что-нибудь.  
— Знаешь, это ужасно звучит, но я изменяю ему направо и налево. Он смирился. Он очень хороший человек, и я иногда чувствую себя такой дрянью, но ничего не могу сделать. Просто не могу без тебя жить, хотя все равно пытаюсь...

— И я точно так же.  
— Пойду ему скажу и попрощаюсь, а потом мы поедем, да?

— Мне здесь подождать?  
— Подожди здесь, это час, не больше.  
— Тогда я поднимусь в номер, а через час встретимся.

— Ладно. Ты только не задерживайся.  
— И ты тоже.

В номере он бросился на тахту, замолотил по ней кулаками. Потом повернулся лицом вверх, закрыл глаза. Казалось, что все качается и плывет куда-то. Он пролежал так довольно долго. Потом стукнули в дверь: два раза, один, потом еще два. Март пошел открывать. За дверью стоял полицмейстер. Он приложил палец к губам и увлек Марта в коридор. Там он тихо спросил:

— Ваш приятель не показывался?  
— Уехал и оставил записку, — сказал Март. — Вот эту.

Полицмейстер прочитал записку и вернул.

— Никто не видел, как он уезжал, — сказал он. — И машина его на месте.

— Не знаю, — пожал плечами Март.

— А то, о чем я просил, — ничего?

— Не успел, — сказал Март.

— Странно все это, — хмыкнул полицмейстер и ушел.

В баре Март купил бутылку вина — Берта странно на него посмотрела, но промолчала — и вышел в сквер. Венета уже ждала его там.

— Я готова, — сказала она.

Машина ее, бежевого цвета «БМВ», стояла неподалеку. На заднем сиденье лежал чемодан.

— Вы что, на разных машинах ездите? — удивился Март.

— В прокате взяла. Знаешь, я все ему сказала.

— Значит...

— Вот именно.

Дом оказался совсем рядом, минутах в пяти езды. Март сразу узнал его, это был домик из его вещей снов, только с закрытыми ставнями. «Вот и все», — подумал он. Венета повозилась с замками, и они вошли внутрь.

— Вот и все, — сказала она, и Март усмехнулся про себя, подумав, что одними и теми же словами они сказали о разном.

— Венета...

— Подожди, любимый. Подожди. Я не хочу сразу. Подожди.

— Что ты такое говоришь?

— Нет, все хорошо. Просто давай представим, что не было этих двенадцати лет. То есть нет — не было никакой разлуки, мы жили вместе, мы уже четырнадцать лет женаты, у нас дочь-школьница, и мы уже слегка поднадоели друг другу...

— Ты глупая девчонка...

— Скажи еще раз!

— Ты глупая девчонка, ты все еще играешь в куклы...

— И эти куклы — мы сами. Мы приехали в свой загородный домик, мы здесь давно не были, давай его осмотрим, он совсем маленький, вот кухня, вот столовая, здесь мы будем есть, вот гостиная, сюда будут приходить друзья, мы будем болтать с ними на самые глупые темы, знаешь, я ужасно люблю болтать о пус-

тяках, о платьях, например, а вот спальня, и широкая кровать, а в этом шкафу — чистые простыни, ты посиди вот здесь и не подсматривай, а я постелю, потому что уже не могу играть в куклы, но я все равно хочу постелить эти свежие простыни, чтобы все было прочно и надолго...

— Девочка моя, я даже не знаю, что можно сказать сейчас, потому что я даже не мечтал об этом, а только тосковал, что ничего больше не будет никогда, и даже те два года мы виделись урывками и редко, и много времени потратили даром и на пустяки, это счастье, которому нет сравнения, потому что я искал тебя и не находил, и все равно искал, потому что только ты есть на свете, потому что только ты есть на свете, потому что только ты есть на свете, потому что ты или есть, или нет, а третьего не дано...

— ..нет, выключи верхний свет, я включу здесь, так лучше, правда, так лучше, смотри сюда, вот сюда и вот сюда, наверное, я старею, да, у меня уже морщинки, вот и вот, ты еще помнишь меня ту, я была тоненькая и стройная, мне было восемнадцать лет, а теперь мне уже за тридцать, и мы жили долго, долго и счастливо, я хочу, чтобы так было, я так хочу этого, что так станет...

— ..боже мой, какая ты красивая, как ты можешь говорить, что ты стареешь, я буду целовать все твои морщинки, и я не хочу знать, сколько кому лет, потому что времени нет, нет и не было никогда, оно не проникает сквозь эти стены и ставни, мы всегда живем здесь, и не было ничего иного...

— ..а еще я хочу, чтобы шел дождь, и было море, и было много солнца и цветов, и ты смотрел на меня так, как сейчас, и так было всегда...

— Что это?

— Это от пули, положи сюда руку и спрячь его, спрячь и не выпускай, потому что там живет прошлое...

— Пусть спрячется и спит, свернется в клубок и спит, и не просыпается никогда, потому что нам хорошо и без него, только без него...

Их голоса доносились будто издалека, а где-то рядом беззвучно звенели перетянутые струны, и не было

больше ничего, кроме этого безмерного, счастливого, любовного, разлитого, кипящего, истомного, ликующего, гибнущего, темного, растущего, слепящего, тающего, последнего...

Март уснул и проснулся, и не понял, где он, но сразу же раздались легкие шаги, и возникла Венета в коротком халатике из чего-то пушистого, села рядом и тихонько стала смеяться, и уткнулась в него лицом, и взглянула в глаза, и в ее глазах было немислимое облегчение, а от уголков их к вискам тянулись лучики-морщинки.

— Это ты, — выдохнула она. — Это ты наконец...

Потом они отвинтили болты и открыли ставни, и оказалось, что снаружи льет дождь. В доме было решительно нечего есть, Венета нашла только банку бананового джема, и они съели этот джем, запивая вином. Март не пил вина много лет и теперь мог бы ожидать от себя всяких фокусов — не в смысле поведения, конечно. Он начисто израсходовал себя. Потом им пришлось поехать все-таки в ресторан.

— Март, — повторяла Венета, — Март, Март... Я никак не могу привыкнуть к твоему новому имени. Слушай, какая пошлятина: молодая жена пожилого бизнесмена убегает от мужа с модным столичным ху-дожником. Фи!

— Жуткий скандал, — сказал Март.

— Какой пример мы подаем молодому поколению?

— Развратный.

— Где же наша нравственность и чистота?

— Действительно — где?

— Знаешь, — сказала Венета, становясь вдруг серьезной, — я раньше все время считала, что поступаю дурно; а теперь мне кажется, что это самый праведный поступок в моей жизни и что все грехи свои я вчера испустила...

В холле отеля Марта окликнул портье. Какой-то человек, не назвавший себя, приходил трижды и наконец оставил записку: «Срочно позвоните мне или зайдите. Л. П.» Слово «срочно» было жирно подчеркнуто. Кроме того, пришла длинная телеграмма от Ассоциации с оплаченным ответом. Марту предлагалось в са-

мые сжатые сроки заканчивать работу, чтобы принять участие в оформлении нового Клуба ветеранов в столице. Об этом следовало подумать, ветераны очень хорошо платили.

Март посадил Венету за столик и пошел к автомату звонить Петцеру. Петцер взял трубку сразу.

— Добрый вечер, Леопольд, — сказал Март.

— Слава богу, Март, — сказал Петцер, и в голосе его прозвучало что-то такое — такое вдруг теплое, что даже через телефонные искажения донеслось это тепло, и сам он, засмутившись, заворчал: — Ну что за манера у наших художников, пропадают без следа, хоть бы предупредил, что ли...

— Случилось что-нибудь? — понял Март.

— Случилось... Утром в междугородном автобусе взорвали бомбу. Такая каша... Андريس сейчас там.

— П-понятно... — процедил Март.

— Ты откуда звонишь?

— Из отеля.

— Тогда я выезжаю — и поужинаем. Подождешь?

— Давай.

Столик был уже накрыт, и Венета, не дождавшись, уплетала бифштекс.

— Этот портье здесь давно? — шепотом спросила она.

— Нет, — покачал головой Март. — Дня три-четыре.

— Это он стрелял в Минга, — сказала Венета.

Март непроизвольно оглянулся.

— Все понятно, — сказал он. — Это засада на Шерхана. Он где-то здесь. Сегодня взорвали бомбу в автобусе.

— Много убитых?

— Не знаю.

— Сволочь какая.

Они пообедали и взяли мороженое, чтобы не скучно было ждать Петцера. Он появился минут через двадцать с букетом роз.

— Мадам! — обратился он к Венете. — Же ву при...

— Что это значит, Леопольд? — спросил Март, но Петцер на него никак не отозвался, даже не посмотрел.



Венета элегантно подала ему руку, и Петцер не менее элегантно прикоснулся к ней губами и завел глаза.

— Оказывается, про вас болтает весь город, — сказал он, присаживаясь. — Жаль, я не прислушивался. Такой смелый адюльтер в наших краях впервые. Почти парижский шик.

— Доктор, — сказала Венета, — не надо пошлить. Просто порадайтесь за нас, и все.

— Простите ради бога! Видите ли, я был очень встревожен за Марта и теперь, кажется, чуть-чуть перехлестываю...

— Кстати, интересная новость для вас. Новый портье — «конторщик».

— Ого! — присвистнул Петцер. — А я ему дал на чай. Ладно, это надо учесть.

— Много дали? — спросила Венета.

— Динар.

— Переплатили.

— Добавь еще, — сказал Март. — Глядишь, и зачтется когда-нибудь.

Больше о серьезном не говорили. Петцер был в ударе — как понял Март, из-за каких-то своих удач, — Март с Венетой находились в настроении совершенно радужном, потом к ним подсел Белью и принялся рассказывать анекдоты из практики, а уж совсем под закрытие появился Тригас.

Он остановился у входа, и Март помахал ему рукой, Тригас тоже помахал ему, но пошел к бару и с ходу опрокинул в рот рюмку горькой. Только тогда подошел к столику и сел. Он был пьян.

— Ты где пропадал? — спросил Март.

— Тут рядом. Еще один городок. Исполнял... Март, представь меня своей даме.

— Рекомендую: Юхан Абрахамсон, свободный художник. Откликается на кличку Тригас. Юхан, это Венета.

— Сударыня, я не решаюсь вас поздравить, через несколько дней вы поймете почему. Он хороший мальчик, этот Март, но страшно скучен.

— Зато не говорю гадостей. Так что ты делал?

— Портрет кормильца. В рост и с орденами. Теперь как помету наелся. Надо пить и пить, пока не пройдет. Пойду пить. Извините.

Он поплелся к стойке. Там уже стоял полицмейстер, тоже с рюмкой. Он смотрел на них, но не подходил. Потом он допил и ушел. Марту показалось, что он был очень бледен. Через несколько минут откланялся Петцер. Белью повеселил их еще немного и незаметно исчез.

Март попросил официанта завернуть что-нибудь из еды, бутербродов каких-нибудь, что ли, тот ушел и возвратился с объемистым пакетом. Март расплатился, и они тихонько прошли мимо Тригаса. Тригас прилип к стойке и ничего вокруг не замечал.

Те дни, что были после, так и остались навсегда самыми безмятежными в жизни Марта... Они пересказывали свои жизни день за днем, надеясь, что воспоминания каждого, становясь воспоминаниями обоих, заполнят пролегшую между ними двенадцатилетнюю пропасть, и пропасть эта, такая бездонная поначалу, действительно заполнялась, им не хватало дня, чтобы наговориться, и они прихватывали ночи. Никто не докучал им в те дни. Тригас ушел в мрачный запой, у Петцера и полицмейстера были, видимо, свои дела, Петцер как-то при встрече сказал: «Пока все спокойно», и Март очень на это рассчитывал, да и вообще он старался не попадаться никому на глаза, даже редкие появления господина мэра заставляли его подбираться и настораживаться.

Он торопился закончить работу и работал подолгу, иногда пренебрегая осторожностью, и однажды случилось то, что должно было случиться рано или поздно, тем более что при Венете было неловко слишком уж откровенно халтурить: он засветился. Это произошло на тридцатый день. Перед этим Март полностью закончил обе боковые стены: получилось неплохо, лучше, чем можно было ожидать. Оставалась торцевая, на нее чудесно падал свет, и жаль было это не использовать, а заготовка была, если честно, дрянновата — примитивно и в одной плоскости, и без какой бы то ни было мысли... Март вовремя почувствовал, что его понесло,

и мог бы остановиться, переждать, но рядом была Венета. Днем это было почти безопасно, Венета тут же закрыла зал на ключ, на улице вовсю палило солнце, но Март без передышки проработал весь день и не закончил еще, стало смеркаться, и кто-то посторонний мог увидеть свет... Трудно было гасить себя, не доведя дело до конца, но и раньше Марту приходилось поступать так, да и Венета знала, как можно помочь: обтирала водой лицо, руки, шептала на ухо, тихонько отбирала кисти... Наконец все прошло.

Он посмотрел на стену. Не было там никакой стены. Порывом ветра взметнуло легкий занавес, а дальше — дальше ослепительной белизны дюны, местами поросшие кустарником, и туда, в дюны, уходили люди. Им было весело идти, поэтому они шли, смеясь, и кто-то оборачивался, и кто-то взмахом руки приглашал за собой, они растянулись длинной цепочкой, и передние были уже едва видны; где-то рядом вздыхало море или большая река, оттуда дул свежий ветер, и небо стало именно такое — как над морем. Только то, куда они шли, надо было еще сделать. Март не знал, что у него получится, но знал, что сделает это обязательно...

— Ты сам не знаешь, кто ты есть, — сказала Венета. Она смотрела на него, как когда-то, давным-давно, впервые. — Ты сам не знаешь, не знаешь... И не можешь ты знать.

Этим вечером они ужинали вместе с Петцером. Когда Март сказал, что уже близок к финишу, Петцер заметно огорчился, но выразил надежду, что связи их не нарушатся.

Почему-то только сейчас Март обратил внимание на стены зала. Незаконченную роспись прикрыли какой-то грубой тканью, чуть ли не джутовой рогожей, и при низовом мягком свете фактура ее выделилась и стала глубокой и рельефной, в складках прятались тени, и это создавало такой уют... Так бы и оставить, подумал Март, к дьяволу — все эти пьяные бабы и козлоногие... вот чуть-чуть подсобрать складки и переделать немного свет, да выкинуть эти квадратные штуковины, на цепях подвесить к потолку арабские светильники из черной меди, а по стенам — маски...

Додумать до конца он не успел. В ресторан вошли, отстранив швейцара, семеро — семь молодых, вполне упитанных и мускулистых парней, одетых по последней столичной моде: пиджаки и брюки из шелка-сырца, причем пиджак размера на два больше, чем нужно, но рукава короткие, так что видны браслеты в виде половинок наручников на каждом запястье; брюки тоже короткие, из-под штанин выглядывают носки в крупную черно-белую полоску. Униформа, черт бы их побрал. Все равно что коричневые рубашки. Они медленно прошли по залу, вглядываясь в сидящих. Меня, понял Март. Он приподнялся чуть-чуть, двинул ногой стул — так, чтобы удобнее было выхватить его. Но почему же здесь, а не в доме? Семеро равнодушно скользнули по нему взглядом, прошли мимо, уселись где-то в углу, потребовали пива. Пугают, значит. Да, не дай бог не так на них взглянуть...

— Молодежный клуб, — сказал Петцер таким голосом, будто целый день крыл кого-то последними словами и вот под завязку приберег самое-самое. — Как быстро у нас все делается...

В этот момент в кармане у него запищало.

— М-минуту... — пробормотал он и вышел. Вернулся он действительно через минуту, очень встревоженный.

— Вильям не отвечает, — бросил он Марту. — Подал сигнал, а сам не отвечает. Поеду проверю.

— Я с тобой.

— Тогда уж и я, — попросила Венета.

— Не надо, — сказал Март. — Жди дома, пожалуйста.

«Виллис» простоял все эти дни на стоянке возле отеля, Март несколько раз собирался отогнать его к домику, но так и не отогнал. Потом он много раз спрашивал себя: что за наитие повело его к «виллису», ведь был же совсем под рукой «БМВ» Венеты, и была где-то рядом машина Петцера, — но они сели именно в «виллис», и Март погнал к выезду из города. Около полицейского управления их ждал полицмейстер.

— Что случилось? — спросил он, перегибаясь вперед с заднего сиденья.

— Вилли не отвечает по телефону, — сказал Петцер. — Подал сигнал — и молчит.

— Что ж ты не сказал? Я бы хоть автомат прихватил.

— Ты же сам велел по телефону ничего конкретного...

— Ладно, — полицмейстер откинулся на спинку, снял с пояса рацию, забубнил: — «Вереск», «вереск», отвечайте, «вереск». «Вереск», «вереск», прием... Молчат. Не спали бы только... «Седина», «седина», — он стал вызывать другую станцию. Рация откликнулась ворчанием. — Немедленно вооруженный наряд на объект «зерно»! Как понял? Прием...

Пока полицмейстер говорил, Петцер кусал костяшки пальцев.

— Ну, давай, — сказал полицмейстер Марту.

— Держитесь крепче...

Они держались хорошо, изредка только Петцер произвольно не то чтобы вскрикивал, а судорожно переводил дыхание; на последнем участке дорога шла под уклон, Март выключил мотор и погасил фары и повел машину накатом, почти вслепую, до боли в глазах всматриваясь в полотно дороги.

— Соображает, — тихонько сказал сзади полицмейстер.

— Старый боевик, — согласился Петцер.

Огни в лечебнице не горели. Она угадывалась впереди низким темным массивом. Март остановил «виллис» метрах в трехстах от него. Впереди шагал полицмейстер с пистолетом в руке, за ним, соблюдая дистанцию, Петцер и Март.

Они вышли прямо к проходной. Полицмейстер дождался их, шепотом сказал, чтобы они оставались здесь, и проскользнул на территорию. Март заглянул в будку. Здесь было почти так же темно, как и снаружи, только на распределительном щите горела контрольная лампочка, но даже ее тусклого света хватило, чтобы привыкшие к темноте глаза различили лежащее рядом со стеной тело. Март нагнулся ниже. Вильям. Кобура на животе была расстегнута, но вынуть пистолет он, видимо, не успел. Его убили ножом;

рукоятка ножа торчала между ключицами. Крови почти не было.

Март взял пистолет Вильяма. Армейский кольт. Это хорошо.

— Я к прожектору, — прошептал Петцер. Слышно было, как поскрипывала будка под его весом, когда он взбирался на крышу.

Март стал ждать.

По дороге проехала машина, потом другая. Пора бы появиться полиции, подумал он. Но машины уходили в сторону города. Потом прошло сразу несколько, колонной, это были военные грузовики. И тут где-то в темноте раздался то ли шорох, то ли скрип гравия — и Петцер это тоже услышал, и вспыхнул прожектор...

По направлению к будке шли трое, затянутые в черное, в черных же шапочках-масках, у одного в руке был кейс. Кажется, на какое-то мгновение они растерялись, и тут сухо щелкнул пистолетный выстрел. Тот, с чемоданчиком, стал оседать, но двое других бросились в темноту и стали отвечать, и кто-то упал, застонав, луч прожектора снова нашел черных, теперь они бежали прямо на него, стреляя на бегу — в Петцера, понял Март. Он поднял пистолет, держа его двумя руками, и выстрелил, как на полигоне, холодно и точно: раз и еще раз.

Луч задержался на лежащих, потом стал шарить по сторонам и наткнулся на полицмейстера. Он тоже лежал, но будто пытался ползти, загребая рукой с зажатым в ней пистолетом, одна нога была притянута к животу, другая волочилась. Март, забыв про все, бросился к нему, следом, спрыгнув с будки, бежал Петцер. Они подняли полицмейстера на руки и понесли в будку. Почему-то обоим показалось, что его надо поскорей убрать с открытого места. Петцер нашел где-то фонарик и при его свете стал осматривать раненого, Март с пистолетом охранял их. Пока все было тихо. По дороге опять прошли машины в сторону города.

— Надо сходить внутрь, — выдавил из себя Петцер. — У меня бинта мало. Надо взять бинты и наркотики.

— Скажи — где, я сам схожу, — предложил Март.

— Не найдешь, — покачал головой Петцер.

— Ладно, — сказал Март. — Только сперва осмотри этих...

Еще в первый момент ему бросилась в глаза какая-то странность. Теперь, склонившись над убитыми, он понял, в чем дело: под шапочкой-маской оказался еще противогаз, американский, с мембранным фильтром. Было противно, но он стащил противогазы со всех.

— Посвети, — сказал он Петцеру.

Из тех двоих, в кого он стрелял, одна была женщина. Кажется, красивая. С чемоданчиком шел сам Шерхан.

— Шерхан... — произнес над ним Петцер.

Март подал ему противогаз:

— Возьми.

Петцер попятился.

— Возьми и надень, — приказал Март.

Он боялся, что маска еще будет хранить чужое тепло, но тонкая резина успела остыть.

У входа в дом лежали два полицейских. Оба были убиты. Март осторожно обошел их и толкнул входную дверь.

То, что они увидели потом, Март запомнил до конца своей жизни, и время от времени сны возвращали его в ту ночь. В коридорах, в палатах — везде лежали люди. Петцер пытался тормозить их, заглядывал в глаза — все они были мертвы. Не осталось никаких следов борьбы, лица казались спокойными, как будто они шли и упали, сидели и упали, лежали и умерли, даже не пытаясь встать. Наконец вспомнили о полицеймейстере. Петцер выгреб из шкафчика несколько перевязочных пакетов, отпер сейф и достал ампулы с морфином и пластиковые одноразовые шприцы.

Полицеймейстер лежал на спине и дышал часто и неровно. Петцер сразу стал делать ему укол, потом снова — перевязывать. Старый бинт пропитался кровью. Пуля попала в правое бедро, в самый верх. Новую повязку Петцер наложил ту же, кровотечение прекратилось. Укол, видимо, начал действовать, дыхание стало ровнее, и, когда Март подогнал машину, полицеймейстер уже мог говорить.

По дороге снова прошла колонна военных грузовиков. В свете фар блестели ряды касок над бортами.

Март принес кейс Шерхана. Там были какие-то бумаги, фотоаппарат и штатив с пробирками. Петцер показал все это полицмейстеру.

— Ты понял? — спросил он.

— Я ведь догадывался, — сказал полицмейстер. — Только поверить трудно было.

— Это все надо переправить. Ты видел, что там в доме?

— Я видел, что они шли в противогазах.

— Именно это, — выкрикнул Петцер. Голос его сорвался. — Все, понимаешь — все!

— Должна быть бомба, — прошептал полицмейстер. — Давай-ка отъедем.

Полицмейстера положили на заднее сиденье, пристроили поудобнее, и Март осторожно поехал к дороге и там, у дороги, свернул в кусты.

— Что-то долго твой наряд, — сказал Петцер.

— Не приедут, — отвернулся полицмейстер. — Думаю, все уже оцеплено. Ребята, говорите со мной, мне нельзя засыпать сейчас...

Через полминуты рвануло. Взрыв был несильный, глухой. Осветились окна, дрогнула земля; видно было, что дом оседает и заваливается левым крылом; потом сквозь поднятую пыль пробились языки огня. Петцер вдруг всхлипнул совершенно по-детски и зарыдал, выкрикивая ругательства. Пламя разгоралось сильнее и сильнее. По дороге сплошным потоком шли военные машины, казалось, там что-то прорвало; к пожару никто не сворачивал, пожар их не интересовал.

— ...как в восемьдесят четвертом, — говорил полицмейстер, — под Капери такое же заведение было, только покрупнее раза в два, и на нем они решили испытать какое-то бактериологическое оружие, но там это вышло из-под контроля, и им пришлось уничтожить население половины уезда, частью из-за угрозы эпидемии, а главным образом, чтобы избежать утечки информации...

— Там у меня брат и погиб, — сказал Март. — И родители тоже.



— ..а здесь они сделали три дела сразу: испытали газ, уничтожили неудобных — чужими руками, заставьте, — и теперь под предлогом борьбы с террористами развернут свой собственный террор. Леопольд, надо обязательно вывезти эти материалы, это для них смерть, надо отомстить хоть так... Надо брать Шерхана, надо обязательно брать Шерхана и трясти его...

— Ты же убил Шерхана, — сказал Петцер.

— Как — Шерхана? Этот, с чемоданчиком, — Шерхан? Правда? Что же вы мне сразу не сказали? Черти, о таком — и молчали, ну не черти ли, все-таки я отплатил ему, хоть ему, но отплатил...

— Чем дольше мы стоим, — сказал Петцер, — тем меньше у нас шансов выбраться.

— Не сунешься же на дорогу, — возразил Март.

— Ребята, — голос у полицмейстера стал слабый и вязкий, — я придумал, снимите с меня все, и пусть один наденет плащ, а другой — мундир и фуражку, они в темноте не разберут, что цвет другой..

— Верно, — сказал Март. — Так и делаем.

— Я уже поплыл, — добавил полицмейстер.

Его осторожно раздели, натянули на него один пиджак, а другим укрыли. Март взял черный блестящий плащ, а Петцер — мундир и фуражку. Теперь можно было надеяться, что они проскочат. Март выждал момент, когда дорога опустела, вырулил на нее и погнал к городу. Он пристроился в хвост колонне грузовиков. Два раза на пути были контрольные пункты, но «виллис», в котором сидел офицер, не останавливали. На втором контрольном пункте они миновали полицейскую машину, старший наряда спорил о чем-то с солдатами, показывая на зарево. Город был полон солдат, но и здесь они проскочили. Подъехали к дому Венеты, осторожно, с оглядкой, внесли полицмейстера внутрь. Март отогнал «виллис» за дом. Они прорвались, но облегчения он совершенно не чувствовал. Должно быть, потому, что самый пик напряжения миновал, навалилась громадная усталость. Ноги не шли, хотелось лечь и чтобы ничего больше не было. Ему пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. И тут вдруг с невероятной отчетливостью, яснее, чем наяву, перед ним воз-

никли коридоры, полные мертвых людей, таких безвольных и податливых, он представил, как с костяным стуком падает на пол поднятая и отпущенная рука, на которой нет пульса... Его стало рвать и рвало мучительно и долго. Но потом пришло если не облегчение, то опустошение. В ванной он долго лил воду на голову, плескал в лицо. Наконец стало легче.

Полицимейстер лежал на кровати запрокинув голову и чуть постанывал, — видимо, действие укола кончилось. Когда Март вошел, он открыл глаза и что-то сказал, но очень невнятно. Петцер поманил Марта на кухню. Там уже сидела Венета; видно было, что она испугана, но держит себя в руках.

— Надо думать, что делать дальше, — сказал Петцер. — Мне кажется, с Андрисом плохо, пуля наверняка прошла в брюшную полость, без операции не обойтись. С другой стороны, шевелиться тоже опасно: попади он в руки военных — и все. И нас шлепнут тоже — на всякий случай.

— Хирург есть в городе? — спросил Март.

— Есть, но... — Петцер помотал головой. — То же самое, что самим пойти и сдать.

— Ясно... — Март прошелся по кухне, налил себе воды, выпил. — Все равно надо что-то делать, так ведь не оставишь.

— Надо вывозить его отсюда, — подала голос Венета.

— Как? Кругом солдат на солдате... — Сам Андрис, конечно, сказал бы: «Оттащите меня подальше и бросьте...»

— Мало ли что мы можем сказать, — проворчал Март. Эта мысль уже пришла ему в голову, не совсем в таком виде, но пришла; противно...

— Я к тому, что если положить его где-нибудь у дороги, нашуметь и смыться... Не пойдет, — сам себе возразил Петцер. — И рана обработана, и следы уколов есть. Не пойдет.

— Портье, — сказала Венета. — Который «конторщик».

— Ну и что? — спросил Март.

Петцер нахмурился, размышляя.

— Это, знаешь ли, мысль, — сказал он, подумав. — Они же с военными — как кошка с собакой. Тем более Шерхан.. Материалы придется отдать, вот что жалко. Ладно, пленку себе оставим, а всем, что останется, пусть они меднолобым клизму ставят. Пардон, мадам.. Андрису пока ничего не говорите, а я пошел сдавать нас. Кстати, Март, вы ничего не видели и не знаете. Пистолет и фотокамеру спрячьте получше, где-нибудь не в доме. Ну, я пошел.

— Возьми «виллис», — сказал Март.

— Только пешком, — отказался Петцер. — Надежнее. Пока.

Он ушел, и дверь за ним закрылась. Боже мой, подумал Март почти панически, сколько раз вот так при мне люди уходили по делам, и больше их никто никогда не видел.. Он постучал по крышке стола.

— Ты что? — спросила Венета.

— Думается разная гадость, — сказал Март.

Они сели рядом с полицеймейстером. Тот был спокоен, только лицо обострилось и побледнело еще сильнее.

— Как ты, Андрис? — спросил Март.

— Терпимо, — ответил полицеймейстер. — Пить хочется, но Лео сказал, что нельзя.

— Я тебе губы смочу, — сказала Венета.

— Спасибо, — полицеймейстер повернул к ней голову. — Вот так уже совсем хорошо.

— Тебе не надо разговаривать, — сказал Март.

— Знаю. Но очень хочется. Мы так и не договорили тогда. Лео сказал, что поздно, и мы не договорили, а по-настоящему поздно стало только сейчас. И всегда так..

— Правда, Андрис, молчи, — повторил Март. — Наговоримся еще.

— Вряд ли. Надо сразу. Всегда надо сразу. Я страшно рад, что познакомился с тобой, Март. Мне редко попадались стоящие люди. Знаешь, как я стал следователем? Я мечтал творить справедливость.. Понимаешь? Оказалось — дерьмо. Я незаметно весь вывозился в дерьме. Жизнь невозможна без компромиссов, а тем более служба, но если компромиссов много, то получается дерьмо. Не замечаешь, как погружаешь—

ся, замечаешь только, когда весь уже погрузился. Я попробовал барахтаться — меня загнали сюда. Тут — Лео и его пациенты. Мне показалось сначала, что это то, что надо. Неправда. Это уже раздавленные. Это то же дерьмо, только запах другой. Я им помогал, но знал, что это неправильно. И тут — ты. Значит, еще не все такие...

— Андрис, — сказал Март, — не надо больше говорить. Прошу тебя, не надо.

— Хорошо, хорошо, я молчу... Как неудачно получилось, надо было уж сразу, мазили такие... Я не думаю, что опять установят карантин, скорее всего, только военное положение, да и то ненадолго. Постарайтесь не делать резких движений, я проверял: за вами все чисто... Как жалко, что так получилось, знаете, мне очень хотелось увидеть, как все это перестанут наконец красить и тронут с места... Ох и скрипу будет! Мы всегда думаем: завтра, завтра, вот завтра, а между тем ржавчина, ребята, ржавчина... переписывают учебники истории и жгут архивы, чтобы никто не догадался, что вся эта штука затевалась для того, чтобы ездить на ней. Как это?.. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Значит, все уже было, да? Всегда все уже было? А под паровозом вырастают грибы, бледные такие, и так много. И ржавчина. Слушайте, крутом столько ржавчины, а казалось, сплошное железо... Военные прикормили Шерхана, он у них сделался совсем ручной, подлизывал за ними, а им так хочется, чтобы был порядок, они очень любят порядок и никогда не думают: а зачем он нужен? Просто когда порядок, то очень легко управлять. Так легко, что они никаких сил не пожалели бы, чтобы его навести раз и навсегда, они расстреляли бы каждого третьего, тогда со всеми остальными было бы совсем просто, и сколько дураков радовалось бы, что порядок наконец есть... Ах, как скверно получилось с хозяйством Леопольда, почему-то я поверил, что Шерхан — тогда, после автобуса — уже убрался, и совсем не думал, что он будет действовать так в лоб, а надо было думать, еще когда установили того парня, в ограде, но ведь Шерхан никогда два раза в одно место

же суется, тем более если уже случилась осечка, наверное, это была вовсе не осечка, а часть плана... или на него сильно нажали... Сами террористы — это одно, а террористы под крылышком армии — это уже совсем другое, совсем другое... все же я думал, что их спугнул... Дайте еще воды.

Венета смочила ему губы.

— Молчи, — сказала она. — Ради бога. Скоро приедет Леопольд и тебя отвезут в больницу.

— Что он задумал, чужак, какая больница, его же шлепнут, не разбираясь... В Капери стреляли во все, что шевелится... Жалко, что мы так поздно встретились, Март. Я бы хотел с тобой еще поговорить. О равновесии, например. Если думать только о безопасности, то лучше вообще не трогаться в путь. Слушай, есть такое понятие: социальный риск? Если нет, то срочно надо ввести. Оно отражает степень готовности общества идти на перемены, чреватые осложнениями. Это еще и равновесие между рынком и чиновником. Когда одно ущемляется за счет другого, то это другое сразу перевешивает и разрастается, и чтобы уничтожить власть денег, надо еще ликвидировать власть власти, и привлекательность власти тоже надо ликвидировать, пусть останется только тяжелая работа, безо всяких этих увеличивающихся привилегий на каждой ступеньке, надо сделать так, чтобы быть чиновником стало невыгодно и лезть наверх — тоже, тогда заниматься управлением станут только профессионалы, любящие свою работу, только вот как это сделать, надо все выкорчевывать и сеять снова, и опять вырастут те же репы, вот вы стремитесь свергнуть правительство, и чтобы основать новое общество, да? Как там у вас: свобода, равенство, братство? А что, по-вашему, свобода, ведь у нас тоже свободное общество, и сам Канцлер этим словом не брезгует, только ведь вы-то вкладываете в это совсем иной смысл... и равенство? Я не понимаю, честное слово, мне все время кажется, что меняется только власть, остальное остается прежним, и чем радикальнее меняется власть, тем прочнее все остается, может быть, должен быть иной путь? Дайте воды.

— Ну перестань же ты говорить, — остановила его Венета, — тебе нельзя так много говорить, лежи тихо...

— Андрис, — сказал Март, — ни слова больше, ты же знаешь, что разговорами такие вещи не решаются.

— Как хорошо было в двадцать лет, — произнес Андрис. — Я все знал, все понимал и видел все перспективы. Жаль, что меня не убили тогда...

С полчаса он лежал тихо, потом стал бредить. Венета ввела ему морфин, и он уснул. Еще через час в дверь постучали: два раза, раз и еще два раза.

Первым вошел Петцер, за ним — лысый портье, за ним — еще двое, Март их раньше не видел.

— Где? — спросил портье.

Март показал в комнату. Портье заглянул туда. Венета приложила палец к губам. Портье кивнул головой и, обернувшись к Петцеру, руками показал: кейс. Петцер посмотрел на Марта, Март повел всех на кухню. Март положил кейс на стол, портье раскрыл его и углубился в бумаги.

— Замечательно, — сказал наконец он. — Спасибо, доктор. Вы подарили нам козырный туз. О! — Он поднял палец. — Вертолет!

Действительно, вырос вибрирующий гул, затем смолк; маленький вертолет сел метрах в ста от дома. Начинало рассветать.

— Повнесли, — сказал портье.

Полицейстера положили на одеяло, все шестеро взялись за края и быстрым шагом двинулись к вертолету. Протискивать через узкий проем двери большое и тяжелое тело было трудно, Андрис застонал, но не очнулся. Портье передал кейс пилоту. Места в вертолете было еще на одного.

— Летите, мадам, — предложил портье. — Летите, здесь опасно.

— Нет, — сказала Венета. — Нет, ни за что!

— Лети! — крикнул Март; пилот увеличил обороты, винт закрутился быстрее, струя воздуха пригнала к земле. — Лети! Я найду тебя там!

— Нет! — отчаянно закричала Венета, и тогда Март и портье, схватив ее за руки, втащили в вертолет

и спрыгнули, когда тот уже оторвался от земли. Венета наполовину высунулась из двери и что-то кричала, протягивая к Марту руку, и Март сам что-то закричал и протянул руки к ней, и вдруг понял, что все это уже было однажды, да, было, только там еще был Тригас... Вертолет развернулся, Венета пропала из виду, и вскоре сам вертолет растворился в сумерках, и наступила тишина...

— А вот и армия пожаловала, — присвистнув портье. Все-то он замечал раньше других. Из-за поворота дороги показался джип, за ним крытый грузовик, за ним еще один джип — с зенитной счетверенкой. — Быстро они нас засекли.

Передний джип почти налетел на них, затормозив юзом буквально в шаге, задний пронесся чуть дальше, и Март всей спиной ощутил четыре пулеметных ствола и поверх стволов, через прицельную рамку, — жестяной, режущий взгляд, взгляд не человека даже, а самого прицельного приспособления, хорошо протертого и отлаженного; такое не подведет. Из грузовика посыпались солдаты. Офицер в переднем джипе, приподнявшись и выставив перед собой пистолет, проорал:

— Кто такие?

Видно было, что он страшно возбужден и почти невменяем.

— Служба безопасности, — негромко сказал портье. — Подполковник Хенрик Хаппа, к вашим услугам. С кем имею честь?

— Документы! — потребовал офицер. Его еще не оставила надежда отличиться.

Подполковник Хаппа предъявил удостоверение, его сотрудники сделали то же самое. Офицер вышел из машины и отдал честь.

— Лейтенант Вааль! — отрекомендовался он. — Производим осмотр места происшествия. Это был ваш вертолет?

— Наш, — кивнул подполковник. — Это и есть происшествие?

— Так точно!

— Долго же вы возились, — хмыкнул подполковник. — А если бы это оказались террористы?

— От момента получения приказа прошло... — лейтенант посмотрел на часы, — прошло девять с половиной минут.

— Надо управляться быстрее, — буркнул подполковник. — И вам, и вашему начальству. А так, считайте, террористы от вас ушли.

— Разрешите идти? — с каменным лицом сказал лейтенант.

— Идите, идите, — махнул рукой подполковник. Лейтенант уселся в свой джип, солдаты полезли в грузовик... Подполковнику они были уже неинтересны, он отвернулся от них и посмотрел на Марта и Петцера. — Итак, господа, с армией мы справились, теперь с вами... Впрочем, пройдемте в дом.

Ничего еще не кончилось, понял Март. Ничего.

— Я буду краток, — сказал подполковник. — Ваша версия, доктор, меня устраивает. Не могу сказать, что убеждает, но устраивает. Она будет доложена моему руководству. Надеюсь, в дальнейшем вы не намерены от нее отказываться? Признаюсь, это поставило бы нас в трудное положение. Может быть, все-таки там был еще один свидетель? — он посмотрел на Марта.

— Нет, — торопливо ответил Петцер.

— Нет, — эхом откликнулся Март.

— Ну, как хотите, — пожал плечами подполковник. — На нет и суда нет. То, что в кейсе не оказалось, скажем, фотоаппарата, тоже ни о чем не говорит: может быть, его не было вовсе, правда? Трудно поверить, но вдруг? Однако, доктор, теперь вы, как единственный свидетель, представляете для нас чрезвычайную ценность. Поэтому, я надеюсь, вы не станете отказываться от временного перевода вас на казенное содержание. Для вашей же безопасности. Там достаточно уютно. Вообще, — он усмехнулся, — человеку ваших занятий пара месяцев превентивки не повредит.

— Э-э... — начал Петцер, но подполковник не дал ему договорить.

— Ваш секрет — это секрет Полишинеля. Да, мы прекрасно осведомлены о вашей организации. Я имею в виду всю вашу организацию. Мы не мешаем вам и иногда даже поддерживаем, по возможности незаметно.



Иногда. Есть умные люди, которые понимают, что уничтожение мозгов — это идиотизм. Пусть живут, пусть учатся, пусть овладевают новыми знаниями, пусть просто поглядят на мир наконец. Пока это приходится делать исподтишка. Но скоро это чучело, вообразившее себя великим диктатором, подойдет, и те люди смогут побороться за власть, и они придут к власти, я не сомневаюсь. Вот тогда этот поток мозгов повернет в обратную сторону... Так-то, доктор!

— Март, — сказал Петцер, — у тебя тут можно курить?

— Можно, — ответил Март.

Петцер закурил, глубоко затянулся и откинулся на спинку дивана.

— Да не переживайте так, доктор, — произнес подполковник.

— Конечно, — сказал Петцер. — Просто трудно сразу привыкнуть к мысли, что ты был лишь перчаткой на чьей-то руке.

— А кто не перчатка? — спросил подполковник. — Никто про себя всего не знает. Канцлер — так тот перчатка сразу на десятке рук. Ладно, заболтались мы, а надо торопиться. Значит, так: я хоть и из отдела по борьбе с терроризмом, но и прочие интересы нашего управления для меня священны. Поэтому я очень надеюсь, что информация обо всем этом в третьи руки не попадет, а тем более за границу. С вас, мэтр, я никакой подписки не беру, ерунда все это, но знайте — судьба доктора и в ваших руках тоже. Я на вас надеюсь.

— Но вдруг... — начал было Март, но подполковник перебил его.

— Никаких «вдруг» не должно быть. Никаких. Вы меня поняли?

— Хорошо, — сказал Март. — Счастливо тебе, Лео. Отдохнешь хоть там как следует. Не расстраивайся.

— Постараюсь, — кивнул Петцер.

— Сударь, — повернулся подполковник к Марту, — пусть с вами побудет мой человек. Пока оцепление, то, се... Не надо нам всяких их случайностей, правда?

Он подошел к двери, открыл ее, крикнул:

— Мильх!

Появился один из его парней — тот, что помоложе.

— Рекомендую, — сказал подполковник. — Август Мильх — Март Траян. — Август, ты отвечаешь за безопасность господина Траяна. До конца, понял? Армию сюда не пускать. При необходимости — связь непосредственно с управлением. Короче — форма ноль. Выполняйте.

— Есть, — очень серьезно ответил Август Мильх.

За эти четыре дня, которые они прожили под одной крышей, Март по-своему привязался к своему телохранителю. Даже не совсем телохранителю... Дело в том, что Март знал, что такое «форма ноль». Это означало, что объект охраны ни при каких обстоятельствах не должен был попасть в руки противника. Его следовало защищать до предпоследнего патрона... Своеобразная их дружба началась с того, что Мильх выдал Марту под расписку пистолет и объяснил, как им пользоваться. Потом оказалось, что он неплохо играет в шахматы. Действительно, он играл очень точно и грамотно, но с истинно немецкой аккуратностью и вследствие этого — весьма предсказуемо. Проиграв десяток партий, Март подобрал к сопернику ключик и теперь чаще выигрывал. Когда они вконец одуревали от шахмат, Мильх развлекал Марта разными историями из жизни отдела по борьбе с терроризмом, а Март рассказывал всякие безопасные сплетни из божественной жизни. На ночь Март глушил себя лошадиными дозами феназепама — пригодились. Это помогало. На пятый день военное положение было снято. Приехал подполковник и снял Мильха с поста. Они распрощались с Мартом очень тепло и выразили надежду встретиться вновь, но при иных обстоятельствах. Подполковник привез Марту свежие столичные газеты. Во всех было одинаковое сообщение: «В ночь с 6 на 7 августа террористическая группа „Белая лига“ совершила новое бессмысленное злодеяние. На этот раз своим объектом они избрали частную психиатрическую лечебницу „Горячие камни“ на востоке страны. Мощным взрывом и последующим пожаром здание полностью разрушено. Из-под развалин извлечены останки сорока трех человек — пациентов и обслуживающего персонала. Еще двенадцать человек

числятся пропавшими без вести. Силами местной полиции и сотрудников смежных служб террористы были ликвидированы. В числе убитых оказался и Артур Демерг по кличке Шерхан, один из главарей „Белой лиги“. В перестрелке погибли четверо полицейских, еще один тяжело ранен. В ходе операции с привлечением войск было обезврежено еще более тридцати террористов. Как заявили руководители операции, это крупнейший успех за последние годы. Население может спать спокойно — его безопасность в надежных руках».

— Вашего друга прооперировали, — сказал подполковник. — Но подробностей не знаю.

— А Леопольд?

— Что с ним делается.. Ест, спит, читает, телевизор смотрит. Как вам заметка?

— Ничего себе.

— Думаю, такая интерпретация фактов в интересах всех, — усмехнулся подполковник.

— Всех, кроме фактов, — уточнил Март.

— Естественно, — кивнул подполковник. — В любом деле должна быть пострадавшая сторона.

Они посмеялись.

— Если что-нибудь возникнет, — сказал подполковник, — вот мой телефон.

Он протянул Марту визитную карточку. Под Зевсовым орлом с перунами в когтях — гербом Управления — готической вязью изображено было: «Хенрик Е. Хаппа, тел. 6-343-980».

— А что такое «Е»? — спросил Март.

— Это тайна, покрытая мраком, — ухмыльнулся подполковник. — Никто не знает, что это такое. Свидетелей нет, и документов не осталось. Подозреваю, что Енох.

Они опять посмеялись.

— Послушайте, Хенрик, — неожиданно для себя спросил Март. — Вот вы-то сами понимаете, что происходит? Террористы — и армия? Бред ведь какой-то..

— Это же просто, — пожал плечами подполковник. — Армия зажирела без войн, теряет авторитет в глазах Канцлера, тут сколько-то лет назад вообще

крамола началась в высших кругах — зачем, мол, нам такая огромная армия? А ведь армию сокращать — это же господам генералам под зад коленкой. Вот они и лезут из кожи — доказывают, что они совершенно необходимы. Я примеров приводить не буду, но вещи они временами творят наигрязнейшие. Одной рукой поджигают, другой гасят. Наше Управление в какой-то мере их сдерживает, вот они и делают нам маленькие пакости: в суп плюнут, окошко разобьют — вы меня понимаете? Все для того, чтобы у Канцлера создать впечатление, что мы ни черта не делаем, а если и делаем что-то, так из галоши не вылезаем. Террористов, мол, каких-то — и то не могут извести, то ли дело мы: целый уезд обезлюдили, да и по сей день проволоккой огораживаем. Армия, что еще скажешь.. Вы долго здесь пробудете еще?

— Думаю завтра уехать.

— Будьте осторожнее. — Подполковник пожал Марту руку, потом усмехнулся: — Что же вы девушкой своей не поинтересуетесь? У меня хорошие вести, я все жду, чтобы вам сказать, а вы..

— Хорошие? — переспросил Март.

— В общем, да. До столицы она добралась благополучно, живет в «Паласе»..

— Спасибо, — сказал Март.

— Пожалуйста, пожалуйста, — развел руками подполковник. — Забавно, знаете, но так приятно слышать это «спасибо», нам это так редко говорят..

Наконец Март остался один. Впервые за много дней. И сразу понял, что еще немного, и он не выдержал бы. Надо было дать себе разрядку, погонять на машине по проселкам, по бездорожью, но что-то его сдержало. И, зная уже, что этому чему-то следует подчиниться безоговорочно, Март поехал к мэрии, в зал торжественных актов, бросился к стене, на которой еще не все было закончено, ему никто не попался на пути, никто не остановил его и не заговорил с ним, в зале без него побывали, но ничего не тронули, не разорили, однако этот запах бывшего присутствия чужих мешал ему поначалу, будто кто-то подглядывал под руку и шептался за спиной. Он заперся, завесил окна и приступил к

работе. Накатило сразу, без паузы и подготовки, и затянуло глубоко, так глубоко с ним, наверное, ни разу еще не было, потому что он полностью отключился, вернее, переключился... Когда он пришел в себя, за окнами стояли сумерки. Он был выжат как лимон, весь мокрый от пота и слабый, мягкий, бескостный — слизняк слизняком. Хотелось забраться куда-нибудь поглубже и отлежаться. Только часа через два он смог подняться и зажечь свет.

На первый взгляд — и это больше всего поразило его — с картиной ничего не произошло. Ничего не добавилось, ничего не исчезло: все так же шли люди, идти им было весело, и кто-то оборачивался, и кто-то махал рукой — вдруг оказалось, что здесь, на картине, есть и то, куда они идут, просто оно пока скрывается за дюнами, но стоит чуть шагнуть вперед, и ты это увидишь, и те тоже, поэтому они идут так радостно; но вот те, которые впереди всех, — те видят что-то еще... Немыслимо, подумал Март. Этого просто нельзя сделать — чтобы без каких-то дешевых трюков все было так ясно. Этого нельзя сделать, но я это сделал. Я это сделал. Это сделал я... Март повторил про себя несколько раз, произнес вслух — для убедительности...

Он не помнил, как добрался до отеля. Номер оставался за ним, оплаченный еще на неделю вперед, но сразу подниматься на этаж он не стал и зашел в бар. Берта высилась за стойкой, кто-то сидел на высоком табурете спиной к залу, и еще человек десять — две компании — сидели за столиками.

— Кофе, пожалуйста, — сказал Март.

— Сначала долг погасите, — громко ответила Берта.

— Долг? — удивился Март.

— Долг. Пожалуйста, вот счет, — она написала что-то на бланке, подала ему. Март прочитал: «Немедленно уходите!!!» Он сунул бланк в карман.

— Хорошо, сейчас принесу деньги! А вы сварите мне все-таки чашечку кофе.

Засветка, подумал он. Опять засветка. Я больше не могу. Сейчас я сяду вот здесь, в холле, на виду у всех, и пусть катится все к чертовой матери. Понимаете, мне

надоело — надоело до такой степени, что уже все равно... Он почти сел, но вспомнил про фотоаппарат. Фотоаппарат спрятан наспех, кто-нибудь найдет, — и хорошо, если он попадет в руки властей, а если нет? Тогда хана Леопольду. Связал меня подполковник, связал по рукам и ногам, — а голос у подполковника такой приятный, и любит, когда его благодарят; я вот тоже люблю, когда благодарят, но меня благодарят часто, а ему это в диковинку... Наверное, увидели в окно. Гражданская гвардия, основа самоуправления и порядка — опять порядка! — и главный гарант демократии; у Франко тоже была, кажется, гражданская гвардия, гвардия сивил, впрочем, там это что-то вроде полиции или жандармерии, а у нас — добровольное объединение любителей наводить порядок... Он заперся в номере и оставил ключ в замке. Хорошая дверь, крепкая, умели раньше двери делать, это вам не нынешний картон. Какие-нибудь вещи взять? Да нет, все ценное перевез уже. Он перелез через подоконник на козырек над дверью, а оттуда не торопясь спустился на землю. Пригодился мой «черный ход», пригодился. Прижимаясь к стене, он добрался до арки, вышел на улицу и, делая большой крюк, направился к ратуше, чтобы выйти к ней с противоположной от отеля стороны. Никем не замеченный, он сел в «виллис» и уехал. По дороге дважды чуть не завалился в кювет, даже ветер, бьющий в лицо, не помогал — так слипались глаза.

Уже на последних каплях воли и сил он дотянул до гаража, забрал фотоаппарат и пистолет, отпер дом и ввалился внутрь. Надо было сразу идти в душ, холодная вода помогла бы хоть немного, но он задержался на несколько секунд в прихожей — прислонился к стене перевести дух; этого не надо было делать, понял он, когда ноги вдруг подогнулись. Вот и все, успел подумать он — и больше ничего не успел.

Что-то опасно шевелилось вокруг, но пока не заделало его, и он, умом понимая опасность, не пугался, как не пугался глухого свиста пуль. Но канат был уже натянут, пусть в метре над землей, но все равно: шаг вправо, шаг влево — побег! Канат натянули другие, а

идти надо было ему. Март оглянулся назад и понял, что лучше бы он не оглядывался. Тогда он ступил на канат и ощутил его зыбкость под своими ногами...

Темнота оживала вокруг него, казалось, что темнота — это просто плотный занавес, за которым движутся фигуры, задевая его и оставляя на нем моментальные отпечатки своих форм; потом это исчезает и уже в ином виде возникает где-то. Потом занавес выпятился особенно сильно, и странные тени легли на него, придавая рельефность отпечаткам, уже не мимолетным и нечаянным; впереди всего было глубокое, почти бездонное и страшное в своей бездонности дуло револьвера — витки нарезки вели в его недра, как три (трансцендентное число три!), как три спиральных спуска на дно ада, на самое его ледяное дно, где под одной медной, и под одной свинцовой, и под одной железной плитой погребен враг рода человеческого, укрощенный, но существующий... Далее шли человеческие пальцы, заледеневшие от близости адского холода, и рука, немеющая под немислимой тяжестью вещественной вечности, и сам человек, в котором перегорали последние нити каната, удерживающего любого в этом мире со всеми его, мира, пересечениями путей и всеми его, человека, тяжестями. Нем был человек и иссушен неутолимой танталовой жаждой, и ждал он освобождения от собственной тяжести или от тяжести мира, и то, что он задумал, было страшно и глупо, потому что, приняв в свою душу бремя убийства, он никогда не всплывет больше на поверхность — и захлебнется в нем то, что томилось от жажды, как если бы осужденный на молчание певец вырывал свой никому больше не нужный язык, — не выходом это было, а бегством, и человек понимал это, но гнал от себя понимание...

Вошедший в темноте споткнулся о его ноги. Замер — и Март почувствовал Тригаса настолько отчетливо и полно, что показалось, будто сознание его раздвоилось — или тело? — и что это он сам стоит над собой лежащим...

— Зажги свет, Юхан, — сказал Март.

— Зачем? — Голос Тригаса был абсолютно пуст.

— Будет виднее.

— Ни к чему.

— Зря.

— Не хочу света.

— Прوماхнешься.

— Нет.

— Неужели ты веришь во всю эту ерунду?

— В вампиров? Это не ерунда.

— Дай руку. Страшно вымотался я сегодня..

— Я видел. Они хотели разгромить зал, но мэр не позволил, поставил охрану..

— Меня еще не пытались достать?

— Скоро начнут. Там их человек сорок собралось. Всё подходят. А я увидел, что машины твоей нет, ну и догадался..

— Решил успеть раньше?

— Зря ты говоришь, что это ерунда. Это правда.

— Дурак ты, Юхан. Это просто еще один камень на душу. Конечно, загораться ты больше не сможешь..

— Клин клином. Знаешь, сколько вампиров существует? Больше тысячи! Говорят, зять Канцлера — тоже бывший мутант.

— Ладно, валяй.

— Просто я не могу больше так, понимаешь?

— А я могу? Я могу, да? По-твоему, я могу? А что делать?

— Стать как все. Кастрировать себя. Или убить. Или продолжать терпеть. Выбирай. Выбор богатый.

— Почему ты вернулся?

— Откуда?

— Из Японии. Работал бы там..

— Не мог я там работать. Там страшно. Там еще страшнее, чем здесь. Не веришь... Они продолжают воевать, понимаешь? Они задались целью победить своих победителей, вытеснить с рынков, поставить на колени, перешагнуть через них. Это какая-то национальная паранойя. Больше жратвы, больше тряпок, больше машин, и никто не знает — зачем? Никто просто не спрашивает. Больше, лучше, моднее, мощнее, и на это уходят все ресурсы, все время и все силы, а кто пытается оглянуться, тот предатель. Они проели



всю свою культуру, у них ведь было чем гордиться, а теперь они гордятся телевизорами и роботами... ну, не всю, так почти всю — и, главное, никто об этом не плачет... Очень страшно. Ты не был на фронте?

— Нет, конечно.

— А я вот успел. В четырнадцать лет. Это были последние дни Империи, уже ничего не сделать, но нас погнали под танки — зачем? Никто не знал, и сам этот гад не знал, бывают такие действия, как у курицы с отрубленной головой — может быть, это на самом деле так, с отрубленной головой? — но нас погнали под танки, и танки прошли сквозь нас, ни на минуту не задержавшись, и уже потом, в лагере, я задумался: зачем? Понимаешь, это ведь не просто глупость, это глубже... Так вот, там я временами ощущал то же самое. Тебе не надоело на полу?

— Я же просил тебя: дай руку.

— Извини, не расслышал...

Тригас сунул в карман ненужный уже револьвер и помог Марту подняться.

— По-моему, — сказал Март, — ты клеветешь на целый народ.

— Это по-твоему, — возразил Тригас. — Я прожил там семь лет. Они продолжают воевать, они влезли в эту войну по уши, и они наверняка победят. Это и будет их конец. Конец великой нации. Мне не хотелось при этом присутствовать — хотя я присутствовал при этом целых семь лет.

— Можно подумать, у нас лучше.

— У нас еще можно бороться...

Март покачал головой.

— Не верю. Бороться — не верю. Можно ерзать, ползать, пресмыкаться, открывать рот, показывать фигу в кармане, добывать пропитание, пачкать стены, слюннить пальцы...

— Можешь не перечислять, — сказал Тригас. — Зато у тебя есть конкретный противник. Это большое счастье: иметь конкретного противника.

— Мы с этим противником уж слишком в разных весовых категориях...

Они помолчали.

— Юхан, — спросил Март через несколько минут, — как ты думаешь, какое у нас государственное устройство?

— Скишая военная диктатура, — сразу, будто ждал этого вопроса, ответил Тригас.

— А строй?

Тригас подумал.

— Хрен его поймет, — сказал он. — Ты же знаешь, я не силен в этом.

— А говоришь, конкретный противник, — проворчал Март. — Слушай, ты как-то раз назвал меня Морисом — почему?

— А, тогда... Почувствовал. Мне показалось, что почувствовал. Я, понимаешь, стараюсь пить, чтобы заглушить все это, но иногда прорывает...

— А у меня наоборот — как выпью, такое начинается...

— У всех по-разному. Майорош, например, что пил, что не пил... Это ты его жене деньги посылаешь?

— Я.

— Так я и думал. Молодец, а то бы ей с тремя трудновато пришлось. Только все равно без толку все это.

— То есть?

— Наше время прошло... — Тригас задвигался в темноте; Март чувствовал каждое его движение: вот он встал, вот осторожно приблизился к окну; снаружи было чуть светлее, и на фоне окна обозначился неясный его силуэт. — Наше время пришло, побыло и ушло, и вернуть его невозможно. Дети наши — наши собственные — никакой роли не сыграют в этой жизни, потому что эволюцией не было предусмотрено, что мы оставим потомство. Мутанты появляются всегда, но заметнее они становятся на переломе эпох — природы или общества, все равно. А потом, в зависимости от условий существования, они или вытесняют, так сказать, базовую модель, или исчезают. Третьего не дано. Нам суждено исчезнуть, потому что мы потрясающе пассивны, когда дело касается выживания. Мы так легко, так задешево разрешаем убивать себя... Мы доказали свою непригодность, Март, и это надо принимать просто. Не мы первые, не мы последние. Знаешь, в про-

шлом году у меня разболелся зуб, и я пошел к врачу. И вот в приемной я увидел пару: им было под семьдесят, не знаю, кто был болен, наверное, она, но и ему тоже было плохо — душно, да и вообще, приемная зубного врача... Так вот: он не находил себе места, он устал, нервничал, но не мог сесть в ее присутствии, понимаешь? Только когда она вошла в кабинет, он сел... А я вполне мог сидеть, без всякой неловкости, и все остальные тоже. Другой человек. Совсем другой. Не представляю, как он выжил. Ведь выбивали, выжигали тщательно, как заразу. И выжгли ведь. Что для нас сейчас уважение к женщине, или любовь к поэзии, или что там еще... Приятное приложение к полезному члену общества. Представляешь, каким казалось будущее этим двоим? Все будут такими, как они. А оказалось, что будущее — это много тепла и мяса... Основа выживания — простота и неприхотливость. Мы пришли на смену тем, кто не мог сесть в присутствии женщины. Нам придут на смену те, кто не позволит себя убивать...

Чувства запаздывали, как будто кожа того маленького человечка, который сидит в людях и который и есть человек, покрыта толстым слоем парафина, и потому все, что происходит сейчас, вроде бы уже происходило когда-то, и тогда все кончилось вроде хорошо, только не вспоминалось, как именно, и так же вот Тригас стоял тогда в темноте у окна и вещал голосом черного пророка...

— Это не критерий, Юхан, — сказал Март. — Твое будущее — это время неуязвимых монстров.

— Может быть, и не критерий. Но это ограничивающий фактор. А мы обречены самим ходом истории. Природа будто специально создала нас для заклания.

— Будь мы неуязвимы — нам было бы наплевать на все.

— Не обязательно неуязвимы, — сказал Тригас. — Но хотя бы способны к сопротивлению.

— Самая маленькая победа отнимает так много сил, что нам было бы не в состоянии заниматься делом.

— Что спорить зря... — Тригас помолчал, потом спросил в упор: — Ты будешь стрелять в тех, которые сейчас придут за тобой?

Март ответил не сразу. Тригас был прав, он понимал это, но прав неправильно, ненормально, противостоительно, такой правоты не должно было существовать, потому что она унижала их всех — тех, кто чуть-чуть приподнялся над инстинктом самосохранения, кто по каким-то им самим непонятным причинам ценил в этом проклятом мире что-то еще, кроме собственной шкуры...

— Не буду, — ответил Март. Он точно знал это; в вещих снах в руке его были разные предметы, но никогда — оружие.

— Ты еще успеешь уехать.

— Я просто не смогу. Я как из соплей слеплен.

— У меня есть фенамин, — сказал Тригас. — Сейчас принесу.

Он зажег свет, вышел и тут же вернулся — Марту показалось, не прошло и секунды.

— Проглотишь всухую? — спросил Тригас.

— Вряд ли...

— Тогда сейчас, — Тригас сходил на кухню и принес стакан воды. Таблетки были горькие, с отвратительно-сладковатым привкусом, и Март пожалел, что разжевал их — надо было глотать целиком.

— Ну вот, — через полчаса будешь как новенький. На тебе остальные, — он сунул Марту упаковку. Март не смог удержать ее в руке, таблетки упали на пол. Тригас поднял их и положил Марту в карман.

— Юхан, — сказал Март, — пожалуйста, вынь вон из того фотоаппарата кассету. А еще лучше — засвети пленку.

— Что это за пленка?

— Жизнь и смерть нашего друга Петцера.

— Он... умер?

— Нет, я неудачно выразился. Просто он заложник за эту пленку. Если она попадет в чьи-нибудь руки, Петцера убьют.

— Я примерно понимаю, что такое «заложник», — кивнул Тригас. — А если не попадет?

— Что не попадет?

— Ты сказал, что если попадет не в те руки... А если не попадет?

— Не знаю. Не знаю, что хорошего... вообще ничего не знаю.

— Так что там?

— Там результаты натуральных испытаний нового боевого отравляющего вещества на наших с тобой знакомых...

— Так это были не террористы? Я так и подумал почему-то.

— Бывшие террористы. Теперь это, наверное, какое-то секретное армейское подразделение.

— Слушай, а как ты оказался в курсе этого?

— Да вот, занесла нелегкая. Случайно, в общем.

— Врешь ведь. Я давно догадывался, что ты... Сам знаешь, что я думал.

— Не совсем так, — возразил Март. — Это было бы слишком банально... Я не просто выдаю себя за другого. Я и есть тот другой. И тот, и другой — в одном теле два человека. Так получилось, приходится жить за двоих.

— Никакие ты не два человека, — сказал Тригас. — Ты просто несчастная жертва ядерных испытаний, живущая в мире, для тебя не предназначенном. И мечешься ты, и хочешь что-то сделать, только ничего сделать нельзя, потому что все уже сделано. Жизнь проиграна, дело проиграно, надо просто кончить комедию на должной ноте — чтобы звучала подольше. У тебя хорошо получилось там, на стене. Это — долго. А у меня ни черта не получается...

— Отпусти себя на волю.

— Страшно, — передернул плечами Тригас. — Страшно на воле. Я не выживу на воле.

Они оба замолчали, потому что слишком много надо было им друг другу сказать и слишком мало было отсчитано им времени. Так и слышались в тишине удары метронома — большого спокойного сердца некой снисходительной твари...

— У всех свое предназначение, — сказал Тригас. — Кто-то ложится костью. Нам с тобой дано умение творить чудеса. Но я не могу им воспользоваться — боюсь, боюсь и... уже не могу. Слишком успешно я с этим умением расправлялся. А ты еще можешь. И

должен. Уезжай. И не вяжись больше во всякие эти дела. Нас так мало осталось. Делай, делай свое дело — пока не придут за тобой. Все равно придут, так пусть хоть из-за настоящего, а не из-за всякой пыли...

— Это не пыль, — сказал Март. — Это тоже настоящее, только по-другому.

— Настоящее, — легко согласился Тригас, — но этим могут заниматься и другие. Ты должен сохранить себя насколько сможешь. Уезжай.

— А ты?

— А я хочу посмотреть на тех, которые придут сюда. Слишком задешево мы им доставались. Они ведь сюда идут не только от ненависти — поразвлечься. А обо мне не жалеи. Я же... Я чуть не стал вампиром. Хотел стать как они, представляешь? И еще захочу, если... Уезжай. На моей уезжай. Хорошая машина.

— Не валяй дурака, Юхан. Я без тебя не уеду.

— Перестань, Март. Я решил. Так будет лучше всего. У меня тут пять патронов. Ты не поверишь, но я даже мечтал об этом. Вот они, а вот я, и у меня целых пять патронов. Полжизни готов был отдать за такую возможность. А ты хочешь меня увезти. На тебе ключи. Мою машину и ребенок водить сможет, там только две педали — газ и тормоз, — остальное автоматика. Разберешься. Бак под пробку. Давай. Время уже. И пленку свою не забудь.

Подталкиваемый Тригасом, Март оказался уже за дверью, уже у машины, вот и дверца открыта... Что-то неладное с головой, чем он меня напоил, он же давал мне какие-то таблетки... Март знал, что ему надо было остаться и выйти навстречу толпе, дать последний бой — нет, последний бой я уже дал, когда заканчивал картину, а это — только завершение его, подпись под картиной, которая должна была закрепить победу; но я дал себя уговорить, и вот сижу в машине, и сейчас поеду — уже еду, — дал себя уговорить, и победа стала неопределенно-затушеванной и как будто отодвинутой в тень; но я жертвую определенностью этой победы ради следующих побед, — дал себя уговорить, и уговаривал меня не только Тригас, я сам себя уговаривал и продолжаю уговаривать, а дело ведь не только в этой

победе — не победе, а в чем-то более важном, но я никак не могу понять в чем...

Темнота стояла кругом, и свет фар только чуть раздвигал ее. Пропал в темноте домик с Тригасом, в котором он провел последнюю черту под своей судьбой. Темнотой был полон весь мир, и сквозь эту темноту катились машины с развеселыми парнями, не умеющими ни в чем сомневаться; и в ту же сторону, но чуть быстрее и поэтому удаляясь от них, беззвучно уносились «хонда» желтого цвета со свободным художником внутри; но между ними уже был непроходимый рубеж в виде револьвера с пятью патронами и трудного мужика Тригаса, не пожелавшего смириться с отведенной ему ролью и решившего поступить хоть раз по-своему... Темнотой был окутан весь мир, и где-то в темноте и перед еще большей темнотой лежал Андрис, перебирая свою жизнь и считая набранные и проигранные очки и не сходясь в счете с результатом, взятым из ответов в конце книжки, и где-то в темноте лежал Петцер — лежал без сна и ждал, когда же кончится эта минута и начнется следующая; и где-то плакала Венета, плакала трудно и зло и повторяла только: ну дайте же мне кто-нибудь спичку! Март тормознул так резко, что его ударило о руль. Перед домом останавливались машины, он видел это так ясно, как если бы все это происходило под ярким солнцем и перед его глазами, из машин выходили люди, натягивая на ходу белые балахоны, и выстраивались полукругом, переговаривались, подбадривали и подзадоривали себя словами и выкриками, и вот дверь распахнулась, и вышел Тригас, они, конечно, не видели револьвера в его руке и не видели, что это Тригас... Март не мог слышать выстрелы, он отъехал довольно далеко, но каждый выстрел отдавался у него в висках: два — в лица, два — в спины... Оглохнув, он ждал пятого выстрела. И вдруг все погасло.

И пришел ужас.

Март сидел, уткнувшись лицом в скрещенные на руле руки, будто пытаясь спрятаться, скрыться от него. То, что произошло, было страшнее смерти. Недаром все естество его так противилось бегству, лишь жалкий рассудок распорядился иначе... Только что он, Март,

пусть не руками своими, но согласиём, трусостью, вспыхнувшим вдруг желанием выжить, заплатив любую цену, — только что он убил мутанта. Убил мутанта. Сделал то, что хотел, но не смог сделать — в изнеможении — Тригас, чтобы сбросить с себя этот дар-проклятье. Убил мутанта.

Но я же не хотел!!! Это отдалось в ушах, оказывается, он кричал вслух, в полную силу. Откуда-то из глубины подступал к горлу мучительный истерический хохот — подступал и вот пробился. Март хохотал — внутренний человечек со страхом и отвращением смотрел на него — и повторял, не в силах перестать: «Бедный Йорик! Ах, бедный Йорик!» Наконец все прошло. Стало пусто и тихо. И холодно — как в покинутом доме...

Как в доме покойника...

Выхваченная узким лучом света, отбитая у темноты, перед ним лежала дорога, и в конце ее плакала Венета, и кассета с пленкой жгла карман, и пусть все было кончено, надо было продолжать жить и хоть что-то делать...



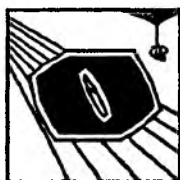
# ПРИМАНКА ДЛЯ ДЬЯВОЛА



— Нет для дьявола лучшего лакомства, чем чистая душа, — сказал аптекарь. — Предложите ему чистую душу — и он ваш. Все очень просто.

— Все очень просто... — Антони поглубже натянул шляпу; дождь лил сильнее и сильнее. — А я голову ломаю: куда из Шарбона пропали все чистые души?

*Леон Эндрью, «Властелин спичек»*



на надела свои огромные противосолнечные очки и опять стала похожа на мультипликационную черепашку. Эрик не выдержал и улыбнулся, и эта улыбка немедленно вызвала новую гневную, хотя и совершенно несравнимую с предыдущи-

ми — фру Мальстрем подыстощила погреба — тираду:

— Мальтишка! Я путу неметленно опращаться к маршалл, и он выпшвырнет вас, как котенок!

— Фру Мальстрем! — нежно пропел Эрик. — Я вам клянусь: через две недели у меня будут деньги, я верну вам долг и даже заплачу вперед! Ну что вам стоит подождать две недели?

— Итите занимайте и тафайте мне, а потом путете фосфрацать толги. И нато мало тратить на тефочка, токта путет что кушать.

С этими словами она медленно, как линкор, развернулась и выплыла из комнаты. Эрик остался лежать. Конечно, выглядела фру Мальстрем потешно, но с деньгами следовало что-то предпринимать, причем срочно: в гневе она могла переступить черту, и тогда придется искать новую квартиру. Во-первых, это заведомо дороже, а во-вторых... во-вторых, во-вторых, во-вторых! Никто не знает, никому не скажу. Поэтому надо изловчиться и добыть две сотни, и отдать их этому карманному линкору... мелкосидящему плоскодонному линкору для внутренних водоемов... и пусть будет довольна, и еще заплатит вперед, и подарить, скажем, букет — только бы не совалась она в наши сутубо внутренние дела. Задача-минимум на сегодня: раздо-

быть две сотни. Задача поставлена. Как поняли? Понял вас хорошо. Выполняйте! Есть, сэр!

Эрик встал, помахал гантелями, умылся. Может, продать что-нибудь? Так, из того, что могут купить: фотоаппарат, магнитофон, куртка. Даже если продать все, а тем более срочно, значит, за полцены, две сотни наберутся едва ли. Заработать... ага, один ты тут такой работающий. Остается одно: найти, кто бы мог дать в долг. С этой проклятой инфляцией... Впрочем, на две недели... все равно меньше, чем за двадцать процентов, вряд ли кто ссудит. Грабеж, господа, но иного выхода нет.

Выхода нет...

Эрик надел шорты и вышел на крохотный балкончик. Грех упускать эту квартиру: несколько рядов черепичных крыш — и море. Отсюда, сверху — просто рукой подать. Это там, внизу, петляешь, петляешь по переулочкам и проходным дворам, пока выйдешь, а здесь — ну просто совсем рядом. Как следует оттолкнуться от перил — и ласточкой... И всего-то две сотни. На две недели. Неужели никто не даст?

Ладно, как говорится, не надо думать, надо доставать. Хотя сначала — и для начала — не мешало бы что-нибудь съесть. Когда ел последний раз? Вот то-то и оно.

День обещал быть жарким, и оделся Эрик соответственно: натянул легкую шелковую футболку с надписью «Могло быть хуже!» и сунул ноги в веревочные сандалии. Конечно, в таком наряде не везде пускают... а мне туда и не надо.

Фру Мальстрем сидела в своей каморке внизу и смотрела телевизор. Эрик помахал ей рукой, она сделала вид, что не заметила. Старая ты гримза, подумал Эрик, толкая входную дверь, бизань тебе в глотку... бизань... И тут его осенило: швертбот! Хо! Не надо ничего продавать, не надо просить в долг — надо просто сдать швертбот напрокат, и даже понятно кому: вчерашним немцам из кемпинга. Правда, швертбот был не совсем его, Эрика, ему он принадлежал только на одну треть, но остальные владельцы были в отсутствии, так что... Ну, голова!

Теперь можно было не торопиться. Можно было куда-нибудь зайти и поесть неторопливо и по возможности недорого. Скажем, вот сюда.

Эрик взял бульон с пирожком, большой кусок жареной рыбы и стакан дешевого белого вина. Это был перерасход, но хорошую идею следовало отметить. Потом он пошел в кемпинг.

До кемпинга было пятнадцать минут ходьбы, если идти по переулкам, а потом через парк, или двадцать пять — если по бульвару. Торопиться Эрику было некуда и незачем, а идти переулками было скучно. Эта часть города, за парком, вообще была самая скучная. На бульваре же было многолюдно, на всех скамейках сидели, во всех павильонах торговали, в специально отведенных для этого местах сидели уличные художники и гадалки, повсюду стайками носились ребятишки — короче, шла нормальная курортная жизнь.

Семейство герра Брюкнера было на месте, а самого герра не было. Пошел побродить, сказала фрау Брюкнер, поджарая дама в купальнике с тигром; тигр был страшен. Дети, близнецы или погодки, мальчик и девочка, голышом лежали на полотенцах и играли в «пещеру отражений». Эрик на своем немецком объяснил фрау Брюкнер, что может предоставить им в пользование небольшую прогулочную яхту — очень недорого. Фрау Брюкнер заинтересовалась: какая именно яхта? Где ее стоянка? Наконец, недорого — это сколько? Женщины в таких вопросах малокомпетентны, поэтому Эрик отвечал уклончиво. Тогда фрау Брюкнер стала приставать с другими вопросами: где работает Эрик? Ах, студент? О, это очень хорошо. Их старший сын — тоже студент. Эрик здесь живет? Да, он здесь живет. Встречать приезжающих сюда отдыхать — это его работа? Это приработок. Кемпинг платит по десять динаров за семью. Надо встретить, помочь донести вещи, помочь устроиться в домике. Десять динаров — это много? Трудно сказать. Двести граммов мяса или вот такая рубашка. Если очень хорошо рассчитывать, то день можно продержаться. И так каждый день? Ну что вы, фрау, каждый день не получается, только в разгар сезона. А в мертвый сезон? Наверное, очень

трудно? У меня есть постоянная работа. То есть временная, но гарантированная. И кем же? Кроликом в виварии. Кем? Кроликом. Фрау Брюкнер нахмурилась, стараясь понять. Это что-то вроде наемного партнера? Эрик засмеялся. Не кроликом — собачкой. Собачка Павлова. Звоночек: дринь! Собачка: гав-гав! Лампочка загорелась — собачка пописала. Проект «Цереброн», слышали? Фонд Маховского, шесть стран, штаб-квартира в Лондоне. Наш университет тоже участвует, набрали группу добровольцев, четыре раза в год собирают на десять-двадцать дней, проводят исследования: механики мышления, памяти, принятия решений — и так далее. За каждый такой сбор платят по семь-восемь тысяч, так что вполне хватает и на учебу, и на жизнь. А по окончании университета гарантия работы в одной из лабораторий проекта — а это самое главное. Фрау Брюкнер покачала головой. Какой ужас — копаться в чужих мозгах. И позволять копаться в своем. Самое интимное, самое приватное — подставлять под чужие пальцы. Ну что вы, заулыбался Эрик, речь ведь не об этом, никто не читает мыслей, да это и невозможно, просто надо понять, как все это работает, создать модель... Да-да, грустно сказала фрау Брюкнер, понять и научиться управлять — тонко и безошибочно... Ну что вы, повторил Эрик, никто такой цели не ставит! Откуда вы знаете? Эрик опять засмеялся. Этого просто не может быть. Международный проект, полная открытость, известнейшие ученые: Гусман, Новак, Хорикава... Фрау Брюкнер обернулась и посмотрела на своих детей. В какое ужасное время мы живем, сказала она. И самое ужасное, что опасаемся мы всегда не того, чего надо опасаться. Это точно, сказал Эрик, и в данном случае вы опасаетесь не того. Фрау Брюкнер хотела что-то сказать, но не сказала. Муж задерживается где-то, сказала она вместо того, что хотела, вы будете ждать или придете потом? Если я вас стесняю, сказал Эрик, я приду потом. Нет,нисколько, сказала она, тогда, может быть, чашечку кофе? С удовольствием, сказал Эрик. Дети заспорили над «пещерой»: ты не права! Нет, это ты не прав! Козлиные мозги! Перегревшийся процессор! Завонявший дерьмовый модем! Дети,

сказала фрау Брюкнер, выходя из домика с двумя чашечками в руках, мамочке очень больно, когда вы ругаетесь непонятными словами...

Герр Брюкнер пришел через полчаса. Хорошее пиво, сказал он, не хуже баварского. И гораздо — гораздо! — дешевле. И вообще все невероятно дешевое. Идею насчет «небольшой прогулочной яхты» он схватил на лету: четверо поместятся, спасательные нагрудники, регистрация в инспекции — все есть? Сколько стоит? Сто двадцать марок за две недели, сказал Эрик. Семьдесят, сказал господин Брюкнер. Давайте сначала посмотрим, предложила фрау Брюкнер. Это далеко? Три минуты ходьбы, сказал Эрик.

Дети остались доигрывать, взрослые пошли с ним. Эрик привел их к боксу, вдвоем с герром Брюкнером они сняли с крыши лежащий там вверх дном корпус, потом Эрик выволок из бокса шверт, мачту и парус, быстро собрал суденышко и тут же продемонстрировал его возможности. Брюкнеры были очарованы. Эрик отдал им ключи от бокса, положил в карман двенадцать десятков и пошел к муниципальному пляжу, потому что в это время суток Святоша Пипиевич обретался где-то там. Он нашел Святошу около мужского туалета: там он продавал путеводители по значным местам и «ракушки» — пластмассовые вкладыши в плавки для имитации чрезвычайных мужских достоинств.

— Привет, — сказал Эрик. — Как торговлишка?

— На прокорм хватает, — сказал Святоша. — Ты, я слышал, на мели?

— Нет, — сказал Эрик. — Тебе марки не нужны?

— Почему? — любопытствовал Святоша.

— К десяти, — сказал Эрик.

— Много, — сказал Святоша. — К семи.

— Пошел ты. — сказал Эрик. — Завтра и за пятнадцать не достанешь.

— Почему? — насторожился Святоша.

— Еще два случая холеры. Карантин — и аут.

— К восьми, — сказал Святоша.

— Тогда пошел я, — сказал Эрик.

— Сколько там у тебя? — спросил Святоша.

— Тридцать, — сказал Эрик.

— Давай за двести семьдесят, — сказал Святоша. — Двести сейчас, остальное вечером.

— Ну, давай, — согласился Эрик.

Он подsunул свои три десятки под стопку «ракушек», будто бы перебирая изделия, и незаметно взял у Святоши две сотенные бумажки. Опергруппа из кустов не выскочила, а фотографирование ничего бы не дало: и Эрик, и Святоша умели скрывать свои манипуляции.

По дороге домой он продал еще одну десятку — Гектору, пляжному фотографу, взяв с него шестьдесят динаров и катушку кодаковской пленки для слайдов. Теперь можно было немного расслабиться.

Букет для фру Мальстрем он покупать раздумал: поймет еще как-нибудь не так. Отдал ей долг, отдал тридцатку за полмесяца вперед и даже не стал подниматься наверх — шел уже второй час. В два, где обычно, сказала Элли. Где обычно — это в парке, на скамейке неподалеку от знаменитой «девушки с голубьями»; знаменита скульптура тем, что с определенной точки выглядит совершенно непристойно, и фотографии, с этой точки сделанные, разошлись по всем юмористическим журналам мира; кроме того, гипсовые голуби привлекают настоящих, и девушка постоянно покрыта пометом.

По дороге Эрик купил местную газету и, ерзая на скамейке, просмотрел ее. В разделе полицейской хроники он наткнулся на знакомое имя: Елена Берковец, без определенных занятий, задержана с поличным в момент продажи пятидесяти граммов кокаина некоему господину М. Влипла Цыганочка, подумал Эрик. Года три, самое меньшее. Там же было сообщение: группа неизвестных на мотоциклах забросала бутылками с зажигательной смесью машину, принадлежащую прокурору города господину Рубнеру; господин Рубнер получил ожоги и находится в гарнизонном госпитале. Полицейское управление просит отозваться свидетелей происшествия. Очень интересно. Кто бы это мог такое устроить? «Потомки антихриста» разве что... но почему прокурора? Уж он-то им как раз не мешал. Впрочем, черт с ними со всеми, уже без десяти два... без девяти...



Мягкие ладошки закрыли ему глаза, он прижал их сверху своими руками, спросил в пространство:

— Кто бы это мог быть?

— Угадай! — сказали сзади тяжелым басом.

— Королева Генриетта Трансильванская, по прозвищу Голая Ведьма?

— Раз! — сосчитал ошибку голос.

— Нимфа Ниамея, приемная внучка Медузы Горгоны?

— Два! — угрожающе пророкотал бас.

— Басса, дочь Майского дерева?

— Три! — сказал бас. — Умри, предатель!

Голову Эрика запрокинули назад, и острый ноготь царапнул его натянувшееся горло.

— Ы-ы! — сказал Эрик, выпуская последний вздох. — Это ты, вампиресса Элли Фокс... — Голос его ослаб и пропал.

— А вот не будешь ждать посторонних женщин, — сказала вампиресса и с урчанием впиалась ему в шею.

Эрик еще больше перегнулся назад, взял ее за талию и осторожно перенес через скамейку; вампиресса была тоненькая и легкая.

— Ой, — сказала она и оторвалась от него. Глаза у нее были пьяные. — У тебя слишком соленая кровь. Ты ел селедку?

— Треску, — сказал Эрик.

— Какое кино я сегодня смотрю? — спросила она.

— «Остров мертвых», — сказал Эрик. — Американский фильм, три с половиной часа.

— А о чем он?

— Расскажу. Пошли?

— Пошли. Только быстро, быстро, быстро. — Она забралась ему под руку, прижалась на секунду, обхватила за пояс, и они пошли обнявшись и стараясь попадать в ногу: — Раз-два, раз-два...

— А где твоя гувернантка? — спросил Эрик.

— Я ей нашла пожарного, — хихикнула Элли.

— Неужели?

— А вот!

— Полная расслабуха, — сказал Эрик. — Она же лесбиянка.

— Ничего подобного, — сказала Элли. — Она просто старая дева... была.

— Кошмарный мир, — сказал Эрик. — Ни в ком нельзя быть уверенным.

Они добежали до подъезда и уже стали подниматься по лестнице, когда фру Мальстрем подала голос:

— Коспотин Томса!

— В чем дело? — недовольно спросил Эрик, просовываясь в ее каморку.

— Фосьмите письмо.

— Спасибо, — пробормотал Эрик и взял конверт. Писать ему никто не должен. Конверт был серый, адрес отстукан на машинке, обратного адреса нет. Странное письмо.

— Что это? — спросила Элли, отбирая у него конверт. — Тебе пишут любовные письма?

— Вряд ли, — сказал Эрик. Вид конверта вызывал у него нехорошие предчувствия. Он пощупал его, не вскрывая. Если там что-то и было, то очень тонкое и мягкое.

Он открыл дверь, пропустил Элли и вошел следом. В комнате было полутемно и прохладно. Когда-то эта квартира была невыносимо жаркой, самой жаркой в доме, потому-то Эрик и снял ее за такую небольшую цену; борясь с жарой, он навесил на окно и балконную дверь наружные жалюзи, и теперь в самое пекло даже без кондиционера было прохладно; правда, когда дул ветер, жалюзи гремели и скрежетали, но это было меньшим злом. Элли сбросила босоножки и на цыпочках прошла, кружась и приседая, на середину комнаты; здесь она раскланялась с невидимыми зрителями и, сжав кулачки перед грудью, трагическим шепотом продекламировала:

— Гранитные стены и мраморный пол шагов умножают угрозы... Эрик, здесь пол мраморный?

— Только на первом этаже, — сказал Эрик, подходя к ней. — А тебе непременно нужен мраморный? Он же холодный.

— Мне нужно, чтобы ты меня поцеловал. А еще мне нужно принять душ, потому что я бежала к тебе по солнцепеку и вся вспотела. Или ты любишь потных женщин? Признайся, тебе ничего не будет.

— Потных... — раздумчиво сказал Эрик. — Потных... Ну и вопросы ты задаешь, сразу и не ответишь. Пожалуй... пожалуй, нет, не люблю.

— Тогда я сейчас обольюсь холодной пресной водой и буду по вкусу напоминать не селедку, а какую-нибудь речную нимфу... и если ты опять станешь подглядывать, я не знаю, что с тобой сделаю.

— А что ты можешь сделать?

— Укушу, например.

— Тогда кусай сразу.

Элли тяпнула его зубами за палец.

— Ну вот, — сказал Эрик, — наказание я уже имел, теперь надо совершить преступление. Беги! — Он повернул ее лицом к двери душевой и провел рукой по натянувшейся спинке, Элли скользнула за дверь и оттуда, высунувшись, показала ему язык.

Ах да, письмо, вспомнил Эрик. Он взял конверт, прошел в кухонный угол, поискал нож, не нашел, порвал конверт руками. В конверте была тонкая, почти папиросная бумага, лист, сложенный вчетверо. Эрик бросил конверт в ведро и развернул этот лист. Там были буквы и цифры, напечатанные на принтере. Он несколько раз перечитал текст, пытаясь понять содержание:

ЭРЕБУС 66 68 РАСТР РАСТР ОБСЕРВАНТ 83  
ИКОНА КОН К 0000 ИСТ

ПЕРЕХОД ОБРЫВ РАСТР ИСТ

ПЕРЕХОД 211 00 КОММИТ АПЛАЗИЯ ЭРБ

КРУГ ФАТУМ ФАТУМ ПРОП 211 66 68 0000 ИСТ  
КОНЕЦ

Странно, подумал Эрик. Кто-то разыгрывает? Ему вдруг представилось очень важным сравнить шрифт на письме и на конверте. Он полез в ведро. В ведре конверта не было. Чертовщина какая-то. Он поискал на полу и не нашел. Может быть, и не было никакого конверта?.. Он опять взял в руки листок. От листка исходила непонятная, но отчетливая угроза. Что-то этот листок должен был означать... не помню. Помню, что должен, и не помню, что именно. Или — ну это все на фиг? Эрик огляделся, куда бы деть листок. Спрятать? Найдут. Он опять развернул листок и посмотрел

на текст. На короткий миг приоткрылась завеса и задернулась вновь, и Эрик не успел понять, что там, за ней, но почувствовал, как покрывается холодным потом. Его вдруг затрясло, колени подогнулись. Что это со мной, с бессильным изумлением подумал он, но это была последняя ясная мысль, сознание потонуло в густом тумане. Трясущимися руками он поднес листок ко рту, зубами стал отрывать от него клочки и судорожно глотал их, озираясь по сторонам. Он успел проглотить все, прежде чем что-нибудь произошло. Наступило облегчение. Он сел на краешек дивана, перевел дыхание, разогнулся и откинулся на спинку. Вытер пот, прикрыл глаза. Что-то странное творилось с глазами, будто песка насыпали под веки. Паника, подумал он. Я чего-то испугался. Теперь паника прошла, но туго натянутая сторожевая струна гудела, готовая лопнуть в любой миг. Да что же это было-то такое, чего я вдруг испугался? Ничего не помню. Мы пришли, Элли полезла под душ... и все? Да, все. Очень странно. Что же это с глазами? Он потрогал глаза пальцами, помял их, потер — каждое прикосновение отзывалось болью, но потом стало легче.

В душевой перестала литься вода, открылась дверь, и донеслось легкое шлепанье босых ног по покрытому циновками полу. Звук как бы осветил квартиру, и Эрик, не открывая глаз, тем не менее увидел всё: толстую глухую стену с висящими на ней книжными полками — напротив окна; окно и балконную дверь, ненадежная дребезжащая защита от непогоды; согнанные в углы шторы; посудный шкафчик на стене и газовую плитку на две горелки, кухонный стол, складной обеденный стол; высокий потолок и странный светильник из деревянных лучинок, напоминающий по форме планету Сатурн; открытую дверь в прихожую и закрытую дверь на гулкую лестницу... Шаги остановились перед ним, он с трудом поднял засыпанные песком веки и поразился тому, что увидел: в поле его зрения возникла точно такая же картина, которая только что была перед его мысленным взором, лишь более четкая в деталях и притом увиденная вся сразу: взгляд его не был сосредоточен ни на одном предмете, тем не менее он

четко видел все, даже то, что было на самом краю поля зрения — почти за спиной; Элли стояла перед ним, наклонившись вперед и заглядывая ему в лицо, улыбалась растерянно, и он видел ее тем жестким, беспристрастным взглядом, которым видит людей фотоаппарат: жесткие, как проволока, матово-черные волосы, собравшийся морщинками лоб над приподнятыми бровями, белки глаз с красными прожилками и тяжелые веки, запекшиеся корочки на губах, худые плечи и поросшее черной шерсткой родимое пятно возле правого локтя, и синие нитки вен на левой руке, которой она придерживала на груди махровое полотенце...

— Что с тобой? — спросила она, и, хотя спросила она это быстро и испуганно, Эрик чувствовал, что прошло очень много времени, и видел, как медленно открывается рот и изгибаются губы, как за зубами ворочается язык, как истекают звуки и складываются в слова, а слова постепенно обретают смысл... Он глубоко вздохнул, в груди заломило от воздуха, а время натужно разогналось и пошло в нормальном темпе.

— Не знаю, — сказал он. — Ничего. Все хорошо.

— Ты такой бледный, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Как конь.

— Почему конь?

— Конь бледный.

— Не говори глупостей, зачем?

— А я что, часто говорю глупости?

— Нет, просто...

— Что просто?

— Все хорошо.

— Не знаю.

Она села рядом с ним, положила руки ему на плечи, погладила пальцами шею, затылок. Лицо ее приблизилось к его лицу, стало большим и плоским. Веки опустились, прикрывая радужки — зеленовато-коричневого цвета с темными точками — и зрачки, темные и глубокие; длинные ресницы подрагивали, губы слегка приоткрылись; за окном, видимая в щелях жалюзи, стоя голубей описывала круги над крышей дома напротив; сдутая легким сквознячком со стола, на пол

скользнула газета и легла заголовком кверху: «Выживание любой ценой?»

— Ты не знаешь, куда я дел конверт? — вспомнил вдруг Эрик. Сторожевая струна, ослабшая было, вновь натянулась и загудела высоко и сильно.

— Боже мой, — слабым голосом сказала она. — Какой конверт, о чем ты, какой может быть конверт...

— Никак не могу вспомнить, куда я дел конверт, — сказал он.

— Зачем тебе конверт, когда у тебя есть я?

— Ты ничего не понимаешь, — раздраженно сказал Эрик. — Это очень важно.

— Это тебя и испугало? — спросила она. — Только это?

— Меня ничего не пугало, — сказал Эрик. — Ты что, видела его?

— Ну конечно.

— А где он сейчас? — спросил он нетерпеливо.

— Не знаю, — сказала она растерянно. — Ты же его держал в руках...

— Я не могу его найти, — сказал он.

— Успокойся, — сказала она. — Куда он может деться?

— Поищи, — сказал он. — Это страшно важно.

Элли вздохнула и встала на ноги.

— Какой же ты, право... — начала она и сделала шаг к столу. — Ничего бы с тобой...

Струна вдруг загудела сильнее.

— Стой! — испуганно сказал Эрик.

Она вздрогнула и оглянулась на него:

— Что?

— Иди сюда, — сказал Эрик. — Ничего не было. Иди сюда.

— Господи, — сказала она. — Ты просто сумасшедший сегодня.

Эрик обнаружил вдруг, что стоит на ногах.

— Ну что ты, — сказала Элли, и в голосе ее был страх. — Как маленький... как не знаю кто...

— Ты его взяла, — понял вдруг Эрик. — Ты его прячешь. Зачем ты со мной... так?

— Я? — изумилась она совершенно неподдельно.

— Как ты изображаешь удивление, — сказал Эрик. — Не всякая актриса сможет. Я тебе так доверял...

— Эрик, — сказала она. — С тобой что-то случилось. Что-то не так. Мне страшно с тобой.

— А мне с тобой противно! — выкрикнул Эрик. — Воровка! Ты украла его!

Он бросился на нее и рванул полотенце. Элли судорожно вцепилась в его руки, и боль от глубоко проникших в тело ногтей на секунду отрезвила его. Он увидел ее лицо, искаженное болью и обидой, и сам он, наверное, тоже переменялся в лице, потому что Элли отпустила его руки и зажала в ужасе рот, и спасительная боль исчезла, и мрак, наполнявший его, вдруг выплеснулся наружу; он увидел свои пальцы, сомкнувшиеся на горле Элли, — и крик ее вдруг прервался, а на лице сквозь ужас проступило что-то твердое, упрямое, жесткое — когда он повалил ее на спину и овладел ею — и растеклось, расплылось — когда он наконец отпустил ее, и она лежала без движения, только хрипло дышала, и черные пятна от пальцев проступали на ее горле, — а потом вдруг мрак исчез, втянулся внутрь, и Эрик остался сидеть на полу рядом с изломанной, бессильно плачущей девочкой... в комнате висел, замерев на одной ноте, далекий гул, давил на уши и глаза, и Эрик попытался встать, но пол уходил из-под ног, как плывущая льдина, он упал и ударился плечом об угол стола, электрической резкости боль пробила что-то внутри, лопнул какой-то пузырь, нарыв — и стало страшно. Боже мой, подумал Эрик, что со мной? Что я наделал? Что я натворил?..

— Элли, — сказал он — попытался сказать, слова вязли в горле и не выходили наружу, он прокашлялся и повторил: — Эл-ли...

Она открыла глаза — он не видел ничего, кроме ее глаз, — и посмотрела на него. Левая рука ее поднялась и легла на горло.

— Элли, — еще раз сказал он.

Она закрыла глаза. Будто ушла.

Цепляясь за стену, он встал и прошел в душевую. Там он сунул голову под кран и пустил холодную воду. Сильная струя била в темя, разлеталась брызгами по

спине. Показалось вдруг, что он стоит так целую вечность. Ломило уши. Потом он почувствовал, что между теменем и глазами, где-то посередине, сооружена темная и прочная преграда, не пропускающая сквозь себя понимание и страх; тогда он повернул голову так, чтобы вода хлестала в лицо, но легче от этого не стало.

Он автоматически взял полотенце, чтобы вытереть лицо, — и вдруг, зажмурившись, будто в ожидании чего-то стыдного и желанного, обмотал полотенце вокруг головы, закрыв лоб и глаза, и стал тянуть за концы, сдавливая голову и замирая в предвкушении того, что должно было сейчас произойти... произойти... ничего не происходило, руки разжались, полотенце съехало на шею, и он с отвращением бросил его в угол и заметил, что пальцы дрожат и ногти побелели.

Страшно не хотелось выходить из душевой. Стоило открыть дверь... Он стоял и держался за ручку двери и все никак не мог заставить себя ее открыть. Это было то же самое, что прыгать с парашютом, — страх, пересиливающий волю. Потом он все-таки прыгнул.

От рванувшего навстречу воздуха остановилось дыхание. Мир раздвоился, миров стало два: в одном Эрик вошел в свою собственную комнату, в другом — он проваливался, кружась и задыхаясь, в непроглядную ночь, парашют не раскрылся, и вот-вот — сейчас, сию секунду — удар, которого уже не успеешь почувствовать, — смерть — воображение тут же подсунуло замедленные кадры: тело, как пластилин, расплющивается о камни, растекается и размазывается...

Этот второй — с падением — мир был пронцаем и прозрачен, в первом можно было потрогать стену и убедиться, что она прочна и холодна; во втором мире трогать было нечего, но реагировать приходилось на оба, потому что оба — были... Постепенно, когда миллион ожиданий удара и конца прошли, чувство притупилось и что-то внутри подсказывало, что падение может быть бесконечным или по крайней мере очень долгим. Таким же долгим, как сама жизнь, — таким же коротким... тогда только стало возможным оторваться



от двери, за которую, оказывается, продолжал держаться, и выйти на середину — зачем-то...

Эрик стоял и озибался, будто хотел что-то вспомнить, хотел, но не мог. Ах да — Элли. Элли. Элли ушла. Я не слышал. Дверь не хлопнула, замок не щелкнул. Не закрыла дверь. Он сходил, проверил. Дверь была закрыта. Непонятно. Может быть, лил воду и не слышал. Сейчас она пойдет и вызовет полицию. Изнасилование. Я ее изнасиловал. Эрик повторил это несколько раз, пытаясь понять смысл слов. Слова были как из ваты. Меня арестуют. Будут судить. Посадят в тюрьму. Потом перевезут на рудники. Ну уж нет.

Он взял дорожную сумку, бросил в нее какое-то белье, рубашку, теплый свитер, плащ из пленки, что-то еще. Оделся и обулся более основательно. Пересчитал деньги. Оказалось тридцать семь динаров с мелочью и восемьдесят марок. Марки надо бы обменять. Пока он сунул их за подкладку сумки.

Оказалось, что уже вечер. Странно — прошло так немного времени. Есть два десятка мест, где можно пожить спокойно, не привлекая ничьего внимания. Вот хотя бы... он попытался вспомнить — ничего не получалось. Вдруг откуда-то снизу всплыло имя: Меестерс. Точно, подумал Эрик. Именно Меестерс. Он же приглашал, так и говорил: если тебе, мол, некуда будет податься — приезжай, всегда буду рад... Поезд отходит, кажется, в час ночи. Решено — к Меестерсу.

Да, но деньги... Восьмой час, Святоша должен быть уже дома — спит перед ночной сменой.

Бодро — даже то падение в темноту стало прозрачным, ненастоящим, маленьким в сравнении с остывающими от дневного жара громадами домов Нового центра — Эрик пересек проспект Сорокалетия Республики, нырнул в арку, где громоздились мусорные баки, пролез между раздвинутыми прутьями забора, огораживающего пустой, подлежащий сносу четырехэтажный особняк — одно из мест, где собирались прошлым летом «Малютки» и «Чугунные», одни на чердаке, другие в подвале, — и, сокращая путь, пошел вдоль заднего забора огромной автостоянки, битком набитой машинами со всей Европы. Года три назад, когда динар

был еще в цене, на этом заборе гроздьями висели пацаны, скупая у туристов вещи и спиртное; нынче не было никого. Пипиевичи жили в старом, еще довоенной постройки кварталчике, в трехэтажном доме с двором-колодцем и галереями на втором и третьем этажах — с галерей и попадали в квартиры. Всегда двор этот был многолюден и шумен, сегодня же — непонятно — не было никого. Эрик поднялся на третий этаж, подошел к знакомой двери. Кто-то, не открывая окна, смотрел на него из квартиры второго этажа. Из двери Пипиевичей вышла какая-то незнакомая старуха и прошла мимо Эрика, не замечая его. Эрик посмотрел ей вслед, потом постучал. Дверь тут же открылась, будто стука ждали. Это была мать Пипиевича, тетя Ралица.

— Эрик, — сказала она, — а я думаю — кто это? А это Эрик.

— Здравствуйте, тетя Ралица, — сказал Эрик.

— Здравствуй, — сказала она. — Ты проходи.

Эрик вошел, она закрыла дверь и пошла впереди него, приглашая его в комнату. Эрику показалось, что в комнате много людей и все молчат, но он ошибся — никого не было.

— Садись, — сказала тетя Ралица и подвинула Эрику стул. Он сел, облокотясь о стол, покрытый белой нарядной скатертью. Тетя Ралица села напротив него и улыбнулась.

— Как живешь, Эрик? — спросила она. — Домой не поехал?

— Кому я там нужен? — сказал Эрик. — Они мне даже не пишут.

— Как плохо, когда родители не понимают детей, — сказала она и замолчала.

— Что-нибудь случилось? — спросил Эрик.

— Да, — сказала она и опять замолчала.

— Что-нибудь с Ангелом?

— Да. Его застрелил полицейский. Представляешь? — Она усмехнулась. — Говорят, он ударил полицейского и побегал, и полицейский выстрелил в него. Врут, наверное. Зачем Ангелу надо было убегать от полицейского?

Эрик похолодел. Это из-за марок, подумал он. Никогда бы Святоша не стал убегать — наверное, его накрыли с поличным, с марками в руках... или еще с чем-нибудь, посерьезнее, кажется, последнее время у Святоши стали появляться чересчур большие деньги...

— Ты представляешь? — продолжала она. — Вызвали в морг, на опознание. Лежит, спокойный такой, хороший... — Она опять усмехнулась. — Да что я тебе... Кофе хочешь?

Эрик замотал головой, сказать что-нибудь он не мог.

— Вот и хорошо, сейчас кофе попьем, сейчас я его сварю, и попьем... Странно, знаешь, — ты есть, я есть, а его — нет. Не жизнь, а непонятно что.

Она пошла на кухню, а Эрик вдруг начал раскачиваться на стуле: вперед-назад, вперед-назад — как метроном, что-то раскручивалось у него внутри, он просто не мог иначе — судорожно вцепившись руками в край стола, сжав зубы, он качался на стуле, пока стул не закрипел, тогда он с трудом оторвал одну руку от стола и вцепился зубами в запястье, пронзительная боль принесла облегчение... Тетя Ралица расставляла на столе чашки, сахарницу, корзинку с печеньем и конфетами, наливала кофе из кофейника («Сладкий, Эрик?» — «Чуть-чуть»; «Сливки?» — «Нет, я — черный...»), а Эрик, прикрыв левую кисть носовым платком и не убирая руку с колена, сосредоточенно пил совершенно безвкусный напиток, откусывал кусочки знаменитого печенья тети Ралицы и о чем-то думал — сам не понимал о чем.

— ...как бы хорошо всем было, — услышал он вдруг ее голос и вспомнил то, что она говорила только что: чтобы Эрик переселялся к ней, комната Ангела будет его комнатой, а вещи Ангела — его вещами (и сам он будет Ангелом — ангелочком, подумалось Эрику), и ей будет не так одиноко, и Эрику, почти сироте при живых родителях, будет лучше, и всем будет хорошо, — Эрик испытал вдруг острый укол неприязни, потому что это был запрещенный прием: ей нельзя было этого предлагать, потому что она знала, что Эрику будет невозможно отказаться, — по крайней мере, нельзя было предлагать сейчас...

— Тетя Ралица, — сказал Эрик. — Подождите немного. Я просто не знаю, как буду жить. Может быть, я скоро уеду... домой. И вообще — я стесню вас. А Август вас любит, я знаю. Он хочет на вас жениться.

Август был преподавателем на кафедре всемирной истории в университете, где учились Эрик и Святоша, и у него уже несколько лет тянулся с матерью Святоши странный безнадежный роман; и Эрик, и Святоша об этом знали и очень сочувствовали Августу.

— Милый, — сказала тетя Ралица грустно, — Августу не это мешает... мешало, мешает и будет мешать... Августу — вовсе не это... Я, кажется, догадываюсь, почему ты отказываешься. Она симпатичная. Я видела вас на бульваре. Чтоб ты знал: я не навязываюсь тебе в матери. Но комната Ангела с сегодняшнего дня — твоя. Хочешь — живи, хочешь — не живи. Ты меня понимаешь?

— Спасибо, тетя Ралица, — сказал Эрик.

— Хоронить будем послезавтра, — сказала тетя Ралица.

— Я приду, — сказал Эрик.

— И еще, — сказала тетя Ралица. — Мальчик мой... — Она запнулась. — Ты шел к Ангелу... тебе было что-нибудь нужно?

— Да, — сказал Эрик. — Я хотел занять немного денег.

— Ты будешь смеяться, — сказала она, — но я так и подумала. Август всерьез считает меня ведьмой — я умею слышать чужие мысли. Сколько тебе надо?

— Я у вас не возьму, — сказал Эрик. — Похороны... и вообще...

— На похороны не нужно ничего, — сказала она. — И на поминки. Нас, славян, здесь не так уж много, и живем мы тесно. Если кто-нибудь умирает, хоронит его вся община. Ты хочешь что-нибудь купить своей девочке?

— Нет, — сказал Эрик. — Мне нужно съездить в столицу. На один день. Это насчет моей будущей работы.

— Понятно, — сказала тетя Ралица. — Вот тебе... — Она достала из ящика серванта деревянную шкатулку.

ку. — Вот тебе три сотни. Вернешь, когда станешь много зарабатывать.

— Верну, — сказал Эрик. — Я скоро верну.

— Ты приедешь послезавтра...

— Да. Рано утром. Я сразу приду, прямо с вокзала.

Что-то опять начинало происходить с головой, будто кто-то чужой изнутри нежно, но жестко раздвигал все, что ему мешало, и пытался выбраться наружу, и от этих толчков позади глаз стали появляться неяркие, но обширные, с размытыми краями, световые пятна — гасли и появлялись снова...

— Что с тобой? — спросила тетя Ралица, наклоняясь к Эрику. — Ты болеешь?

Опять было как тогда: он, не глядя специально ни на что, не останавливая взгляд ни на чем, видел все вокруг одинаково четко, хотя — он только сейчас обратил на это внимание — обесцвеченно, почти черно-бело...

— Нет... — выдавил он из себя, — нет, спасибо... все хорошо. Все хорошо. Я пойду, ладно?

— Возвращайся скорее, — сказала она. — Я буду тебя ждать.

Зажав ладонью рот, чтобы не сказать того, что готов был сказать тот, кто уже почти выбрался из него, Эрик бросился к двери, это было как во сне — он перебирал ногами, не касаясь пола, дверь приближалась страшно медленно, потом она открылась сама, распахнулась — он оказался на темной галерее и полетел над галереей к лестнице, по лестнице вниз — все это медленно, медленно, мимо белых лиц, обращенных к нему, мимо одинаковых дверей, которые беззвучно приоткрывались за его спиной и выпускали из себя кого-то, дыхание этого единого существа, вытекающего из дверей, он чувствовал всем затылком и знал, что нельзя ни останавливаться, ни оглядываться, пролетел под аркой входа во двор и дальше, дальше — в темноту, в спасение... только когда ноги коснулись земли, он смог остановиться, он остановился, он упал на колени, скорчился от невыносимой муки утаенной ненависти и закричал сквозь зажимающие рот руки:

— У-у-бью-у! У-у-бью-у! У-у-бью-у!..

Потом стало легче. Казалось, что он разряжается в землю. Последними расслабились руки. Сердце трепыхалось где-то у самого кадыка. Он медленно встал, отряхнулся, поднял сумку — не забыл ее, не потерял, не бросил, странно, — медленно побрел к освещенным громадам домов на проспекте. Какими-то фрагментами он запомнил себя в автобусе: вошел, протянул кондуктору смятый бумажный динар, взял билет; уступил место старику с палочкой; «Конечная, господа, конечная!» — вышел из автобуса. Здесь уже пахло железной дорогой. Специфический запах креозота и железа. У кассы не было никого. «Один до станции Налль — на ближайший», — сказал Эрик. Запутая след, подумал он. Они будут искать меня у Меестерса, я меня там не будет... Кассир тупо прокомпостировал картонный билетик, подал Эрику; сдачи у него не хватило, и он сходил в другую кассу разменять сотенную бумажку.

— Поезд отходит в двадцать три сорок, — сказал он. — Не опаздывайте. Восьмой вагон. Счастливого пути.

На больших часах в зале ожидания было двадцать один десять. Эрик нашел себе место, сел, поставил сумку на колени и стал ждать. Наверное, он задремал, потому что увидел патруль тогда, когда тот был в пяти метрах от него. Смешанный патруль, два полицейских сержанта и два солдата с автоматами; и еще один патруль у выхода на перрон; и еще полицейские по углам зала. Это был конец, совершенно не имело смысла дергаться... тело обмякло, вместо тела был теперь полупустой мешок. Один полицейский брал документы, второй держал руку на кобуре и пристально смотрел на того, кого проверяют, солдаты стояли за их спинами. Документы, вяло подумал Эрик, надо достать документы. Эрик полез в карман, один из солдат это заметил и тут же поднял автомат. Не дергаться, сказал себе Эрик. Он сделал вид, что не замечает направленного на него ствола. Студенческий билет и водительские права, и то и другое с фотографиями. Вот так и Святоша, должно быть — сделал резкое движение... Эрик протянул документы подошедшему полицейскому, готовый спокойно встать и пойти за ним; полицейский

посмотрел на документы, на Эрика, еще раз на документы...

— Билет, — сказал он. — Билет на поезд.

Эрик подал ему билет. Полицейский проверил перфорацию, вернул Эрику все, козырнул. Второй полицейский сказал:

— Сумку.

Эрик не сразу понял, чего от него хотят; первый полицейский истолковал задержку по-иному.

— Мы просим вас, — на «просим» он сделал сильнейшее ударение, — абсолютно добровольно, — опять ударение, — предъявить нам содержимое вашей сумки. Облава вызвана достаточно серьезными причинами.

Эрик слабыми пальцами потянул за язычок молнии, распахнул сумку. Оба полицейских наклонились, заглядывая в нее. Один тронул сумку снаружи, взвешивая ее на руке.

— Благодарим вас, — сказал первый. — Вы оказали содействие полиции.

Эрик, не глядя на них, застегивал сумку. Молнию заело, он с ожесточением дергал за язычок. Закрыл. Патруль уже отошел.

— Зря ты им потакаешь, — сказал сосед, мужчина лет сорока. — И так уже что хотят, то и творят.

— Плевать, — сказал Эрик незнакомым голосом.

Другой патруль кого-то задержал: длинноволосого парня в кожаной куртке. Его поставили лицом к стене и обыскивали. Он что-то сказал полицейскому, тот остановился на секунду, потом круто развернулся и побежал к выходу. Через минуту загремело радио:

— Господа! Просьба всем немедленно покинуть зал ожидания! Просьба всем немедленно покинуть зал ожидания! Просьба...

Зал взорвался гулом голосов. Тут же началась давка в проходах, в дверях. Эрик встал на скамейку, чтобы лучше видеть. Патрулей, конечно, вынесло в первую очередь. Что он такое мог сказать? Ну да, конечно: бомба. И сам спокойно сидел, ждал, когда она начнет взрываться. Очень мило. Полфунта спагетти по ушам. Но в дверях — смотреть страшно. Во, и дубинки замелькали, не могут у нас без дубинок...

Чтобы не слишком выпадать из общего ряда, Эрик подошел поближе к тем, кто давился у выхода на перрон. Там кто-то сумел открыть вторые двери, и толпа потекла быстрее. Эрик заметил, что таких же вот неспешащих, как он, было еще несколько человек — молодые ребята с дорожными сумками и рюкзаками. Ясненько, подумал Эрик. Хороший ход..

На перроне было неожиданно прохладно, тянул ветерок. В ртутном свете фонарей лица толпы казались мертвенно-синими. Я такой же, подумал Эрик. Сквозь толпу, раздвигая ее, двигались патрули, всматривались, кого-то искали. Каждый раз, когда они оказывались вблизи, Эрик пальцами правой руки сильно сжимал левую кисть в месте укуса. Там уже начинало болеть по-настоящему, от боли делалось легче, прозрачнее — как от нашатыря. Подали поезд. В помещение вокзала пока не пускали, кто-то скандалил у входа — нужно было забрать вещи. Наконец вышел полицейский офицер и увел солдат, охранявших дверь. По трансляции передали, что желающие могут пройти в зал ожидания и другие помещения. До отхода поезда было еще сорок минут. Значит, туалеты в вагоне откроют не раньше чем через час. Эрик направился в вокзальный туалет.

— Не нашли бомбу? — спросил он туалетного кассира, подавая ему трешку.

— Идиоты, — сказал тот, отсчитывая ему сдачу. — Вот смеху-то было бы..

Возвращаясь, Эрик задержался у телефонов-автоматов. Кассир сдал ему сдачу двадцатикуновыми монетками. Еще не вполне понимая, что делает, Эрик подошел к телефону, бросил монетку в прорезь и набрал номер Элли. Длинный гудок.. Эрик повесил трубку и уставился на диск. Сердце как взбесилось. Он перевел дыхание и опять — пересиливая себя, как входя в холодную воду, — набрал номер. Трубку сняли сразу же.

— Эрик? — спросила Элли там, на том конце провода. Слышно было, как она дышит. — Эрик, ты? Не молчи..

Левая рука Эрика дотянулась до рычага и повисла на нем.



Опомнился Эрик на перроне перед открытой дверью своего вагона. Это ловушка, подумал он. Она сидит и ждет, когда я позвоню, а полиция засекает, откуда позвонили... Ничего, поезд отходит через пять минут, а я поеду не до станции Налль, а до маленького полустанка без названия, когда-то я был там, поезд приходит туда под утро, и там меня ни одна собака не найдет... Откуда-то вдруг взялось странное ощущение повторности — не событий, а так, привкуса событий: запах креозота и мокрого гравия, и трава — мокрая — под руками, и тело не свое — чужое, легкое... все возникло и пропало, только эхо в голове, как в пещере: конни... конни... конни... И одновременно — вместе со свистом ветра того, другого, призрачного мира — вдруг возникла рядом Элли, похожая на индианку в своем странном платье из тяжелого льдисто-белого шелка — такой он ее увидел в самый первый раз и подумал: восточная принцесса, а она оказалась отличной девчонкой, хоть и из богатой семьи, тоже студенткой, тоже университета, хотя и другого, столичного... подошла, потерлась щекой о плечо, взглянула снизу вверх, шепнула: ты меня вспоминал?.. Эрик стоял оцепенев. Свист в ушах переходил в рев, и что-то подсказывало, что падать осталось всего ничего, вот сейчас — твердь... хотелось зажать уши, обхватить голову и бежать, нет — влететь, как мяч, в ярко высвеченную дверь вагона, там спасение, спасение, там тепло, безопасно, мягко, там покой обволакивает тебя всего... но кто-то внутри, полумертвый, приподнял голову и отчетливо прохрипел: Томса, сука поганая, что же ты делаешь? За ревом ничего нельзя было услышать, и Эрик стоял, замороженный светом, вытекающим из двери вагона, пока створки двери не закрылись и не отрезали от него этот свет, вагон тронулся, поплыли перед глазами окна с туманными людьми по ту сторону стекол, все быстрее, быстрее, замелькали, — Эрик, согнувшись, побрел вслед за поездом по перрону, что-то страшно давило со всех сторон, не давало дышать, ноги подгибались, по голове будто бы молотили тяжелыми мягкими кулаками — по темени, по глазам, по ушам — ватными пыльными кулаками, и пыль висела перед

лицом, не позволяя ни дышать, ни видеть... он повалился на скамейку, откинул голову назад — и тут же судорожно согнулся — лицом в колени — показалось, что сейчас полоснут ножом по горлу. Но теперь беззащитны были спина и затылок. Сжав зубы, он заставил себя сесть прямо. Конечно, никого не было.

— Вам плохо? — спросили из пустоты.

Эрик вздрогнул и стал всматриваться туда, откуда пришел голос. Пыль, освещенная ртутными фонарями, пришла в движение и сгущалась, образуя что-то оформленное: движущиеся губы, руки, совершающие учтивые жесты, да и голос был знакомый... На скамейку рядом грузно сели, Эрик провел ладонью по глазам, сметая пыль, — помогло. Рядом с ним сидел полицейский, — ноги сами напряглись и поджались, туловище наклонилось вперед, пришлось вцепиться руками в край скамьи, чтобы не вскочить и не дать стрелкача, — знакомый полицейский, старший надзиратель того квартала, в котором кемпинг. Эрик заставил себя расслабиться.

— Здравствуйте, господин Ланком, — сказал Эрик. — Извините, задумался.

— А, Томса, — узнал его полицейский. — То-то я смотрю — знакомое лицо. Что ты тут делаешь?

— Подружку провожал, — сказал Эрик.

— Ну-ну. Как же ты теперь будешь?

— Скоро вернется.

— Если скоро — то хорошо. Стоящая хоть подружка-то? Я ее видел?

— Вряд ли, она из другого квартала. А что вы тут делаете так поздно? Говорят, бомбу искали?

— Бомбу, — усмехнулся полицейский. — Бомбу бы — оно бы не помешало... Не знаю я ничего — согнали всех в оцепление, ничего не сказали, ничего не объяснили, никого не пропускать — и точка. Федералы муниципальную полицию в грош не ставят. А между прочим, про такого Артура Демерга ты слышал? Знаменитейший был террорист. Так вот его наш полицейский собственноручно ликвидировал, а уж потом ОБТ это на свой счет записал. Страшная мясорубка там была... Потом расскажу, если хочешь. Пойдем?

— Мне туда, — Эрик махнул рукой через пути.  
— Темно, — сказал полицейский. — Не боишься?

Эрик пожал плечами.

Полицейский, крихтя, поднялся на ноги, усталый и старый, подал Эрику руку:

— До встречи, Томса.

Эрик встал, пожал протянутую руку. Рука была неожиданно сухая и твердая.

— До встречи, господин Ланком.

Теперь надо идти туда, куда показал. Дурак ты, парень, вот и все, прошелся бы под ручку с полицейским, байки бы послушал — старик так и рвется рассказать что-нибудь интересенькое... До виадука было далеко, Эрик спрыгнул на пути и быстро пошел, перескакивая через рельсы, к стоящему на запасном пути товарному составу — и тут каким-то внутренним чутьем, спиной, спинным мозгом почувствовал, что за ним идут — два или три человека. Не оглядываясь, он прибавил шагу — и рванул изо всех сил вдоль состава, забежал за последний вагон — там его уже ждали. Эрик остановился, переводя дыхание. Двое, парень и девушка. Все бы ничего, но у девушки в руках пистолет с необычайно длинным стволом — с глушителем, понял Эрик. Так... Еще двое набежали сзади и остановились.

— Руки за голову, — негромко скомандовала девушка.

Эрик, стараясь не делать резких движений, сронил с плеча сумку, поднял руки, сцепил пальцы на затылке.

— Этот? — спросила она одного из тех, кто гнался за Эриком.

— Этот. Еще в зале его заметил.

Эрика обыскали, ощупали, заглянули в сумку.

— Смелый, — сказала девушка. — Без оружия ходит.

— На чем погорел Кателла? — спросил Эрика один из парней.

— Кто? — не понял Эрик.

— Кателла. Которого взяли.

— Его не могли заподозрить, — сказала девушка. — У него все было чисто.

— Ребята, — сказал Эрик. — Вы меня не за того принимаете. Я ничего не знаю. Я здешний, меня зовут Эрик Томса, да меня каждая собака...

Парень, стоявший сзади него, чуть выдвинулся вперед — Эрик заметил его боковым зрением — и без размаха ударил Эрика в солнечное сплетение. Эрик согнулся, и тот хлестнул его расслабленной рукой по почкам — от удара сразу ослабли и подкосились ноги, Эрик повалился вперед, оперся на руки, и парень, встав перед ним, каблуком наступил на его растопыренные пальцы. Эрик застонал, попытался освободиться — и получил оглушающий удар в ухо. Он упал на бок и замер.

Потом в поле его зрения появились ноги девушки. Она подошла и села на корточки. Холодный ствол вдавился Эрику в скулу.

— Не надо заливать, — сказала она. — Мы тебя видели — и в зале, как ты патрулям билет показывал, а не уехал, как потом с полицейским разговаривал. А сюда зачем пошел? Не всех выследил? Щенок ты легавый, кутенок... Значит, так: пытать мы тебя не будем — некогда, а шлепнуть — шлепнем. Задаю вопрос, считаю до пяти, если не отвечаешь или врешь — стреляю. Пистолет бесшумный, так что, поверь, задумываться не буду. Итак: на чем погорел Кателла? Раз... два... три...

— У них были фотографии, — прохрипел Эрик. — Его и вот этого... — он двинул припечатанной к земле рукой.

— Откуда?

— Не знаю. Все организовала федеральная уголовная полиция и ОБТ.

— Что говорилось в ориентировке?

— Что боевики «Белой лиги» готовят взрыв в Южном экспрессе.

— Ты понял, Гри?! — воскликнула девушка, обращаясь к кому-то из парней. — Нет, ты понял? Надо же, какие сволочи! «Белую лигу» вспомнили. Взрыв в Южном экспрессе! Не «Белая лига», — сказала она, презрительно кривя рот, Эрику, — и не в экспрессе, дурная ты башка, а «Бригады спасения» — на дерьмопро-

воде с вашего вонючего комбината; о вас же, говнюках, болеем, чтоб вы тут не позадыхались... Фил, отпусти его. Иди. Заслужил. И не забудь, и передай своим: «Бригады спасения». Иди.

Эрик медленно поднялся. Лежать было лучше. В голове вновь завибрировало, и засвистело в ушах. Как и раньше, что-то произошло со зрением, он опять видел все вокруг, ни на чем не останавливая взгляд. Симпатичная девочка, черные полусапожки, джинсы и черная куртка, короткая стрижка, в руке у бедра — браунинг с самодельным глушителем; рядом с ней парень в очках, невысокий, но сильный, мощные плечи, широкая грудь — качок; тот, что бил его, Фил, красавчик с усами, высокий, выше Эрика на полголовы, тонкий, длинноногий, очень ловкий и опасный; четвертый держится в тени, на нем толстый свитер — или бронежилет под свитером? — и дубинки-нунчаки в руке. Эрик увидел, как девушка кивнула ему и как он, находясь почти позади Эрика — не совсем позади, в ракурсе три четверти, — стал поднимать нунчаки к плечу, готовясь нанести удар, Эрик заметил это и притнулся, разворачиваясь одновременно вокруг оси, правая нога Эрика оторвалась от земли, согнулась в колене и тут же, распрямившись, вонзилась в пах этому парню, длинный Фил все еще делал шаг к Эрику, а Эрик, нагнувшись, подхватил с земли горсть галек — Фил уже прыгнул, нанося удар ногой, но Эрик слегка отклонился, дождался, когда тот опустится на землю, и левой рукой ткнул его — око за око — в солнечное сплетение, и длинный Фил повис на Эрике, зацепившись подбородком за плечо, и Эрик, прикрываясь им как щитом, метнул камешек — сначала в качка, прямо в переносицу, тот взмахнул руками и стал падать навзничь, потом в девушку — в руку повыше локтя, пистолет дернулся вверх, выстрел действительно был беззвучен, разлетелись белые хлопья — пенопласт, — рука бессильно падала, бицепс перебит, да и стрелять теперь нельзя, выстрел будет слышен, — оттолкнул от себя Фила и, когда тот сложился, как ножик, стукнул кулаком по затылку и — одновременно — коленом по носу. Переступив через лежащего, Эрик шагнул к девушке. Она

пыталась перехватить пистолет левой рукой, с ужасом — ужасом узнавания — глядя на Эрика, она не могла оторвать от него глаз и потому промахивалась левой рукой по болтающейся правой. Коротким, почти невидимым ударом ноги Эрик выбил у нее пистолет. Вдруг на долю секунды на него накатило: он будто сверху увидел все это: девушку, прижавшуюся спиной к вагону, и себя, на широко расставленных ногах, наклон вперед, кулаки на уровне глаз; и все опять страшно раздвоилось, половинкой сознания он готовился нанести последний удар — ногой в висок, это справедливо, она хотела и приказывала убить его, — а другая половинка вопила, что не смей и что иначе произойдет непоправимое... и вдруг девушка мягко повалилась вбок, скользнула спиной по стенке вагона и вытянулась вдоль рельсов. И тут все стало как обычно.

Без сил, Эрик опустился рядом с девушкой. Что со мной, подумал он отстраненно, как о чужом. Никогда я так не дрался. Я так просто не умею. Что-то не так. В меня кто-то вселился. В меня вселилось чудовище. Он повторил это несколько раз, желая хоть что-то почувствовать, — бесполезно, все было как замороженное. И эта девочка меня узнала, понял он, — она меня узнала и потому так перепугалась. Только поэтому. Нет никаких сил...

— Эй, — он потряс ее за плечо. — Эй ты, как тебя.. Бесполезно.

Сделав усилие, он передвинулся так, чтобы рукой достать до ее лица, похлопал по щекам. Она открыла глаза.

— Ты меня узнала, — сказал Эрик. — Откуда?

— Кав... таратан... — пробормотала девушка и снова закрыла глаза.

Кавтаратан — это далеко. Очень далеко. Значит, просто на кого-то похож. Эрик встал и тяжело побрел прочь отсюда. Вспомнил, что бросил где-то тут свою сумку, и вернулся. Все еще лежали неподвижно, только парень в свитере, скорчившись, ворочался и стонал.

Кав-та-ра-тан... Кав-та-ра-тан... Эрик пересек все пути, продрался сквозь живые изгороди и оказался на задах муниципального спортивного комплекса: стадион,

зимние бассейны, корты, еще что-то; злые языки утверждали, что проектировалось все это не как спортивные сооружения — действительно, не слишком удобные, — а как готовый концлагерь на случай чрезвычайного положения. Сейчас, ночью, Эрик увидел, насколько обоснованной была эта крамольная мысль. Стадион, громадная супница с приоткрытой крышкой, стоял в центре асфальтовой площади размером, наверное, километр на километр; по периметру площади расположены были корты, обнесенные высокой проволочной сеткой, пройти между кортами можно было только в нескольких местах, и перекрыть эти проходы было легче легкого, решетчатые щиты стояли тут же, наготове. С наружной стороны каждого прохода стояла П-образная выпшка с прожекторами и обширной площадкой наверху, там могло бы разместиться человек двадцать. Что-то похожее, но гораздо большего размера, возвышалось над турникетами главного входа. Некоторые прожектора горели, заливая резким неподвижным светом асфальтовое поле. Это было страшно. Эрик понял, что ни за что на свете не решится выйти под беспощадный взгляд прожекторов и пересечь асфальтовую пустыню. Он вернулся в темноту и осторожно, почти на ощупь, стал пробираться сквозь полудикие заросли, окружающие комплекс. Постой, сказал он вдруг себе. Куда это я иду? В той стороне, за стадионом, был дом, где жила Элли.

Эрик остановился. С ума, что ли, сошел? Прямо волку в пасть. Нет, сказал он себе, я только посмотрю. Дождусь утра и посмотрю на нее. И все. Он даже знал, откуда посмотрит — там, прямо напротив ее дома, крытая автостоянка, и забраться на ее плоскую крышу ничего не стоит... отдохнуть до утра... Он поднес часы к глазам: начало второго. Ничего себе. И устал фантастически...

Где-то впереди чихнул, крутнулся и заглох мотоциклетный движок. Эрик остановился. Опять нахлынуло чувство повторности: ревущие моторы, стремительный полет над красной, с черными ямами, землей... Сердце застучало, как в нетерпении. Эрик медленно пошел на звук.

Это была поляна, проплешина в зарослях, и на ней стояло десятка два мотоциклов и сидело в кружок столько же парней и девчонок. Горело несколько подфарников, давая достаточно света, пятачок был маленький, тесный, и Эрик расслышал многое, хотя говорили тихо.

— ...потому что знаю. Сам видел, как они...

— Ты же их не знаешь. Как ты можешь говорить, они или не они?

— ...точно, что не наши.

— Да уж... Свалят-то на нас.

— Тем смешнее.

— Доказательств-то у них нет.

— А то ты не знаешь, как эти доказательства делают?..

— Зачем только?..

— ...проще простого: берешь бутылку из-под шампанского, в пробку вставляешь золотник от камеры, в бутылку — керосин, и через золотник напускаешь газ — пока не перестанет растворяться...

— ...смысл, смысл-то в чем?

— Можно попробовать...

— А по-моему, так безнадега все это, надо лечь на дно и отлежаться...

— Лежи, нужен ты...

— А Руммера что — тоже они? Я же говорю...

— ...они до этого комбината давно добираются, в позапрошлом году еще бомбу на территории нашли — не взорвалась...

— Надо попробовать. Там недалеко от забора есть такая хитрая цистерна...

— А ты хоть знаешь, что в этой цистерне? Там, может, такое, что весь город... того... без глаз останется?

— Да, но надо же что-то делать...

— А если высоковольтную линию гробануть?

— Как ты ее гробанешь?

— Есть одна мыслишка. Дельтаплана ни у кого нет?

Эрик осторожно сдал назад. Любители, черт бы их побрал... Главное, что смысла в этом меньше, чем в старой подметке. Можно взрывать трубопроводы и цис-



терны, валить дымовые трубы, забрасывать высоко-  
вольтные линии медной проволокой с дельтапланов —  
бесполезно, бесполезно... Все бесполезно. Его охватыва-  
ло отчаяние. Все — бесполезно, все на свете... не пере-  
ломить, не сдержать хода, не отскочить в сторону —  
вырубят и сожгут леса, загадят море, сожгут воздух, —  
ничего не поделать, к этому идет, к этому шло всегда  
и теперь продолжает идти, только все быстрее и бы-  
стрее, и потом, когда мы будем выходить наружу в  
резиновых плащах и противогазах, чтобы отоварить  
талоны на дистиллированную воду... пахнущую желе-  
зом и резиной... Сзади донесся негромкий, но прибли-  
жающийся звук мотора, возник под ногами рыскающий  
свет фары: кто-то медленно ехал на мотоцикле по  
тропе. Эрик отступил в сторону, прижался к стволу  
дерева, слился с ним. Мотоциклист был один. Он ехал  
чуть быстрее пешехода. Эрик пропустил его мимо се-  
бя — почему-то вдруг накатил страх, что-то помере-  
щилось, когда увидел на фоне освещенной листвы чер-  
ный силуэт с круглой, непомерно большой головой, —  
и в следующий миг Эрик прыгнул по-рысьи на спину  
мотоциклисту и вырвал его из седла, мотоцикл упал  
рядом, коротко взревел и заглох, человек лежал непо-  
движно, и Эрик трясущимися пальцами стал дергать  
застежку шлема, сорвал шлем — и вдруг, подхвачен-  
ный непонятно чем, вскочил, прижимая шлем к животу,  
и бросился в темноту — как в спасение, как в рай,  
добежал, опустился на колени, благоговейно, бережно  
расправил ремни, пригладил волосы, не торопясь надел  
шлем, застегнул ремень и улыбнулся навстречу чему-  
то такому долгожданному, к чему, оказывается, стре-  
мился все это время... но ничего не происходило —  
секунду, другую, третью... десятую... ну же! — ничего  
не происходило — это было невыносимо, невыносимо  
долго... что-то должно было произойти, что-то очень  
хорошее, но не происходило, и вдруг в глазах поплыли  
огненные пятна, а рот наполнился криком — ярости и  
муки, — и Эрик покатился по земле, воя от смертной  
тоски и обиды, а потом в голове засверкали белые  
вспышки, а потом почти ничего не было — несло куда-  
то, несло...

Он пришел в себя в воде, в море — плыл куда-то, руки привычно работали, и уже начинали ныть плечи, ноги были босы — разулся, подумал он и вспомнил, как разувался: стоя в воде по колено, лихорадочно дергал мокрые запутанные шнурки, потом порвал их к чертовой матери... над морем, справа, стояла круглая луна, огромная, белая, и ее пересекало пополам узкое подсвеченное облачко. Эрик погрузился в воду и поплыл, потому что на суше ему не было места. Теперь он устал и замерз, хотя и не снял рубашку — плыть она не мешала, а тепло берегла. Он огляделся по сторонам. Не было ни луны, ни огней, ни черта. Была абсолютная чернота кругом. Он лег на спину и почувствовал, что голову держит на воде что-то, потрогал — шлем. Так и плыл в шлеме. Он лежал и смотрел в небо, а на небе не было звезд. Он висел посреди бесконечной черноты. Потом, много времени спустя, море начало раскачиваться. Лежать стало невозможно. Эрик опять поплыл. Чувствовался ветер. Волны пережестывали через голову, несколько раз Эрик по-настоящему захлебывался. Потом он приспособился плыть на боку, так, чтобы волны приходили со спины. Укачивало. Мутило от качки и от проглоченной соленой воды. Чувство пространства пропало окончательно. Руки и ноги перестали чувствовать и чувствоваться, если он касался рукой туловища, то это было как прикосновение постороннего предмета. Когда его больно ударило волной обо что-то большое и твердое, он никак не мог потрогать то, обо что его било. Наконец это ему удалось. Обросшая водорослями и мидиями шершавая стена, уступ шириной в ладонь, арматура — слава богу, не торчит, загнутая... он поймал прут рукой, держась за него, встал на выступ, скользко, но стоять можно, можно стоять, выпрямился — невыносимая боль между лопатками, как ножом полоснули! — постоял, переводя дыхание, пошарил свободной рукой — и нашарил верхний край стены. Попробовать?... Если бы не так устал, то и не раздумывал бы... Пальцы, кажется, держались крепко. Эрик наступил одной ногой на арматуру, за которую держался, второй рукой ухватился за верхний край стены, подтянулся — внутри все зазвенело — и лег

грудью на шершавое неровное ребро, пошарил руками перед собой, за что бы ухватиться, ухватиться было не за что, тогда, обдирая локти, дернулся несколько раз — и повис, теперь край стены был под животом. Перевел дыхание, отдохнул, попробовал закинуть ногу — резануло в паху, нога не поднималась. Снова пришлось ползти на локтях, потом, ворочаясь с боку на бок, подтягивать ноги... на суше телу приходилось куда тяжелее, чем в воде... Ветер был холодный, пронизывающий, Эрик свернулся в калачик спиной к нему — и провалился куда-то.

Во сне он страшно мерз, поэтому ему снился то снег, то лед — будто он заморожен в лед и не может шевелиться.

Проснулся он от яркого света, бьющего в глаза. Солнце взошло над морем. Эрик с огромным трудом оторвал голову от бетона — каждое движение давалось через боль — и огляделся. Бетонный островок, десять на десять, рядом — что-то вроде геодезического знака из толстых ржавых труб выступает из воды, и берег — далеко, боже мой, как далеко берег и город на нем — и лодка, нет, катер — идет сюда... Снова он очнулся в катере — лежал на чем-то мягком, укрытый одеялами, рядом сидел человек, человек что-то спросил, Эрик услышал слова, но не понял их смысла. Потом — на берегу, его несли, и ветви деревьев проплывали над ним. Потом — на кровати, тепло, сухо, не качает, ничего не болит, кто-то в белом сидит рядом.

— Как вас зовут?

— Эрик, — говорит Эрик и не узнает своего голоса.

— А фамилия?

Эрик силится вспомнить, наконец вспоминает:

— Томса. Эрик Томса, улица Капитанская, дом семь, квартира девятнадцать. Студент университета, факультет естественных наук.

— Что с вами случилось?

— Я шел с вокзала... что-то случилось? Ничего не помню. Где я?

— В больнице. Вас сняли спасатели с волнолома. Вы много времени провели в воде. Вы помните это?

— Нет.

— У вас на голове был мотоциклет. Вы ехали на мотоцикле?

— Я не помню, — говорит Эрик беспомощно. — Я шел с вокзала... и все.

— Понятно, — говорит человек и встает. — Хотите спать?

— Наверное, — говорит Эрик. — Хочу.

— Спите, — говорит человек, и Эрик засыпает.

Пошел дождь, перестал и опять пошел — мелкий, злобный, холодный. От него никак нельзя было укрыться, Эрик ерзал, ворочался, наконец проснулся. Капли били по дребезжащему подоконнику. Был уже, кажется, вечер. Сразу засосало под ложечкой — и от голода, и от чувства, что что-то осталось несделанным. Эрик осторожно встал. Ноги держали, хотя и ломило во всех суставах, да и мышцы гудели, как провода под ветром. В палате была еще одна койка — пустая, даже без матраца. Туалет был здесь же: туалет, умывальник и даже душ. Эрик стянул с себя пижаму и пустил самую горячую воду. Струи проникали до самой селезенки, вымывая из организма последние воспоминания об утреннем холоде. Он растирался шершавым полотенцем, когда дверь палаты открылась.

— Больной! — сказал чей-то полузнакомый голос. — Ты куда пропал?

— Иду! — откликнулся Эрик.

Он влез в пижамные штаны и, запахивая куртку, вышел из душа. На незастеленной кровати сидел худощавый, не слишком молодой — за сорок — человек с запоминающимся лицом: огромный выпуклый лоб, переходящий в лысину, живые глазки за очками, слегка приплюснутый нос, светлые усы и бородка — светлые, редкие и не слишком обязательные, а потому, наверное, и неухоженные. Была на нем светло-серая рубашка с короткими рукавами и застиранные до белизны джинсы.

— Полное выздоровление? — поинтересовался он, и Эрик вспомнил этот голос: когда он просыпался, голос задавал вопросы.

— Вы доктор? — спросил Эрик.

— Да, — сказал тот. — Про вас я уже все знаю. Меня зовут Леопольд Петцер, я доктор медицины, психоневролог. Мы сейчас находимся в больнице Общества спасения на водах — я у них изредка консультирую, сегодня, в частности. Пока вы тут спали, я попытался восстановить события вчерашнего вашего дня.. Эрик! Слушайте, можно говорить вам «ты»? Так лучше... Значит, дела обстоят... м-м... есть одно обстоятельство, я скажу еще какое, которое заставило меня тобой заинтересоваться. Так вот: все, что я делал, я делал по собственной инициативе, и только. Что бы я ни узнал — дальше меня дело не пойдет. Без твоего, разумеется, согласия. Ни полиция, ни сам господь бог не узнают от меня ничего. Можешь мне не верить, можешь запираяться — тогда я тебе не сумею помочь. А тебе нужна помощь, не так ли? Ладно, ты пока думай, а я буду говорить. Значит, по порядку: в седьмом часу вечера Эрик Томса вышел из дома, одетый несколько теплее, чем того требовала погода. За два часа до этого девушка Эрика Томсы вышла из его квартиры в весьма расстроенных чувствах. В восемь часов Эрик приходит к матери своего близкого друга и узнает от нее, что друг погиб, а через десять минут выбегает вон. Наконец, в двенадцать часов ночи его видят на вокзале, он чем-то расстроен, говорит, что провожал подружку, и уходит куда-то. Наконец, в семь часов утра его снимают с того, что называется волноломом, — на самом деле это конец одной из канализационных труб, но сейчас это неважно, — так вот, его снимают с этого волнолома в километре от берега, снимают в бессознательном состоянии, причем на голове у Эрика Томсы шлем, принадлежащий некоему Алексу Ференцу, без определенных занятий, который ночью подвергся — я говорю об Алексе — нападению банды неизвестных подростков и получил легкие телесные повреждения. Наконец, в найденной на берегу сумке обнаружены документы на имя Эрика Томсы и железнодорожный билет на поезд, отходивший в двадцать три сорок... денег вот, к сожалению, не оказалось... Далее: поскольку Эрик Томса был, так сказать, слегка заторможен, то черепно-мозговая травма у него не

исключалась, и ему был сделан рентгеновский снимок черепа... и вот, Эрик, увидев этот снимок, я, мягко говоря, опупел...

Эрик чувствовал, что внутри у него все натягивается, натягивается — и вот сейчас лопнет, и тогда уже не будет ничего. Доктор же совершенно спокойно взял с кровати черный конверт и извлек из него пленку: два черных снимка, череп анфас и в профиль, и — Эрик не сразу понял, что это касается его, — в черепе ярко-белый паучок: округлое тельце, отдельно — головка на тонкой шейке, и два десятка стрелчатых ножек, коротеньких и длинных, очень длинных...

— Это... я? — выдавил из себя Эрик.

— Ты, парень, — сказал доктор.

— А — это?..

— Вот и я хотел бы знать... — сказал доктор. — Я так понимаю, что для тебя все это... м-м... слегка неожиданно, так?

— Мягко говоря... — Эрик вдруг почувствовал, что темнеет в глазах, и вцепился в спинку кровати. — О, черт... доктор...

— Воды дать?

— Ладно... сам... не девочка...

— Сиди. Сейчас.

Доктор принес воды, Эрик стал пить и услышал, как зубы стучат о край стакана. Гадость какая...

— Ложись-ка, — сказал доктор. — Ложись, ложись. И не вставай. Так и будем говорить. Отдышался?

— Да, — сказал Эрик.

— Так где ты мог подцепить эту штуку?

— Без понятия.

— Тебе делали операцию на черепе?

— Да нет же! Вообще не делали никаких операций!

— М-м... Ладно, давай на ощупь. С какими-нибудь клиниками, лабораториями, чем там еще... дело имел?

— Да ничего такого... подождите. Я ведь подопытный в проекте «Цереброн». Но там мне ничего такого не делали, это точно!

— «Цереброн», говоришь. Слышали... Скользкая штучка этот проектик. Расскажи подробнее.

— Да нечего рассказывать! Нас собирают, человек двадцать, и две недели мы сидим по классам и подвергаемся всяческому тестированию...

— Подробнее: какому тестированию? Что больше всего запомнилось?

— Ну... ну, всякому. Сажают, например, перед экраном, на экране что-нибудь показывают, то что-то абстрактное, то хронику, то стриптиз какой-нибудь, а потом появляются вопросы, короткие и очень ненадолго, и надо ответить «да» или «нет» — «да» под правой рукой, «нет» под левой; а потом, например, кнопки меняют местами и смотрят, как быстро приспособился к изменениям... И остальное в том же духе.

— Понятно. Вот ты сказал: человек двадцать. Это всегда одни и те же люди?

— Нет, постоянных пять человек, остальные меняются.

— Тех четверых ты знаешь? Вы общаетесь?

— Там?

— Нет, в промежутках между... м-м... сессиями.

— Как-то даже в голову не приходило.

— Но ты их помнишь? По именам можно назвать?

— Конечно. Это... погодите... черт, заклинило. Ну, помню же всех! Фу ты, дьявол...

— Понятно. Не старайся, бесполезно. В общем, Эрик, без вариантов: эту штуку тебе вживили именно там, вероятно, еще в самый первый раз.

— Да не было же ничего такого!

— Скажем иначе: ты ничего такого не помнишь. Правильно?

— Может быть... А зачем?

— Ну, наверное, кого-то очень сильно интересовало, что именно происходит у тебя там, под крышкой, — доктор постучал себя пальцем по лысине. — А может быть, еще для чего-то. Что с тобой происходило за последние сутки?

И тут в Эрике наконец сдвинулся какой-то рычаг, сорвался приржавевший тормоз: он сел и начал лихорадочно, перескакивая с одного на другое, рассказывать о вчерашнем кошмарном дне и сегодняшней кошмарной ночи, о том, как оскорбил Элли, а потом боялся

полиции и прорывался куда-то — черт знает куда — уехать, путая след, о драке на путях, о том, как напал зачем-то на мотоциклиста и как оказался в море, он рассказывал — и становилось легче, что-то вытекало из него, легче — но и тревожнее, страшнее, погибельнее...

А до того, что было до того? — спрашивал доктор, и Эрик пытался припомнить, но не мог. Что это было за письмо? Какое письмо? — не понимал Эрик. Хозяйка говорит, что ты получил письмо в казенном конверте без обратного адреса. Не помню... ничего не помню...

— Давай сделаем так, — сказал наконец доктор. — Пока у тебя в башке эта хреновина, надо соблюдать максимальную осторожность. Я тебе сейчас сделаю укол, ты уснешь, и я тебя вывезу отсюда и спрячу. Боюсь, здесь тебе находиться небезопасно. А потом мы подумаем, как жить дальше.

— Зачем укол? — испугался Эрик.

— Послушай, старик, — сказал доктор, — у тебя в мозги встроена машинка, которая не то читает там что-то, не то пробует писать. Отключить я ее могу только вместе с мозгами. Будут вопросы?

— Извините, доктор, — сказал Эрик. — Я просто не знаю, как надо себя вести в такой ситуации.

— А то, можно подумать, я знаю... — проворчал доктор.

Он вышел из палаты, и тут же Эрику стало страшно. Страх был противный, липкий, холодный. Эрик подошел к окну — на окне были решетки. В панике он бросился к двери — вошел доктор со шприцем в руке.

— Спокойно, Эрик, — сказал он. — Пока все в порядке.

— Да, — сказал Эрик. — Да. Сейчас... — он опять изо всей силы ущипнул себя за укушенное запястье. Боль была не слишком сильной, от морской воды все зажило. Но все равно стало чуть лучше.

Доктор увидел это и, кажется, понял.

— Учишься управлять собой? — спросил он, усаживая Эрика на кровать и садясь рядом с ним.

— Да, — сказал Эрик. — От боли — легче.



Он сам закатал рукав пижамы и, как ни страшно это было, выдержал укол — закусил губу, но выдержал.

— Теперь пошли поскорее в машину, — сказал доктор. — Еще минуты три ты будешь на ногах.

Они вышли из палаты, и дальше Эрик ничего не помнил. Очнулся он с головной болью, и первое, что увидел: низкий бетонный потолок и голую лампочку на шнуре.

Он попытался сесть — тело было не его. Плечи и икры болели страшно, мышцы вздулись и исходили жаром. Наверное, он застонал, потому что раздались торопливые шаги. Из низкого проема двери появился доктор.

— Ага, — сказал он. — Проснулся.

— Проснулся, доктор, — согласился Эрик. — Только лучше бы не просыпался. Так все болит...

— Вставай и чуть разомнись, — сказал доктор.

Эрик, крихтя, стал подниматься. Руки и ноги хотели чего-то другого, но он встал и мерзкой раскорякой сделал три шага.

— Все, — сказал он. — Сейчас упаду.

— Ну-ну, — подбодрил доктор. — До той стеночки и обратно.

До стеночки Эрик дошел кое-как, обратно было уже легче. Потом он присел на корточки, еле встал, присел еще раз и еще. Боль стала острее, но мельче.

— О-ох! — выдохнул он и вытер пот с лица. — Страшное дело, доктор.

— Может, помассировать? — предложил доктор.

— Ни в коем случае, — испугался Эрик. — Само отойдет.

— Возможно, нам с тобой еще понадобится физическая сила, — сказал доктор.

Эрик молча кивнул. Он осматривал помещение. Наверное, это был какой-то полублагоустроенный подвал — тяжеловатый подземный воздух, тупая тишина, и нет даже намека на окна. Неуютная мебель: два тяжелых канцелярских стола по углам, потертый диван, покрытый простыней, — на нем он и лежал, — стеллажи с горами папок, книг, множеством кассет и

дискет; между стеллажами — громоздкий компьютер старого образца; впрочем, рядом стол, и на столе вполне современный дисплей.

— Где это мы? — спросил Эрик.

Доктор ответил не сразу — задумался на секунду, прищурился, выпятив челюсть, потом сказал:

— Извини, дружище, но мне кажется, тебе пока этого лучше не знать. Здесь относительно безопасно — вот и все.

Эрик вдруг почувствовал тупую тяжесть в затылке. Он подошел к дивану, сел — и вдруг закричал, корчась и зажимая себе рот, закричал от ужаса — мохнатый жирный паук вгрызся ему в затылок, заворочался, размещаясь в теле, пропихивая свои лапы в его, Эрика, руки и ноги, свои жвалы — в его лицо... Потом это прошло — это было невероятно остро и грубо, и омерзительно, но быстро отодвинулось в сторону, в тень; Эрик посмотрел на свои руки: из прокушенного пальца капала кровь. Доктор был где-то рядом, но не ощущался — будто бы Эрик полностью ушел в этот призрачный мир, где были свои счета и свои законы...

— Гадость какая, — беспомощно сказал Эрик и заплакал. Ему было стыдно плакать, но он ничего не мог сделать. Лучше всего, если бы здесь вдруг оказалась Элли, понял он внезапно, господи, как хорошо бы тогда было...

Доктор принес две большие глиняные кружки с черным дымящимся кофе, сел рядом с Эриком, подал ему кружку, сказал:

— Пей.

Эрик, не чувствуя вкуса, стал глотать горячую жидкость; доктор потрепал его по плечу, откинулся на спинку дивана и тоже стал пить. Потом сказал:

— Прорвемся.

— Который час? — спросил Эрик.

— Половина двенадцатого.

— Чего?

— Ночи.

Эрик прислушался к себе, пытаясь понять, что же сейчас у него там, внутри.

— Знаете, — сказал он, — у меня такое чувство, что я уже везде опоздал.

— Может быть, — сказал доктор. — Очень даже...

Грянул телефон. Эрик вздрогнул и сжался. Доктор подбежал к столу с дисплеем, откуда-то сбоку выудил телефонную трубку, повернулся так, чтобы видеть Эрика, кивнул ему.

— Да, — сказал он в трубку. — Да. Хорошо. Сейчас включусь.

Он пробежал пальцами по клавиатуре, дисплей загорелся белым, появились и стали меняться цифры: 10-9-8-7... Доктор поманил Эрика, сказал в трубку: «Спасибо, Рустам, есть картинка» — и дал отбой.

Сначала на экране появилось семь цветных вертикальных полос, доктор порегулировал цвет, потом пошло изображение. Панорама: ущелье, красные скалы и зеленые заросли, прозрачная речка, подвесной мост, черепичные крыши утонувшего в зелени городка на склоне; потом перед камерой появился человек в белой, развевающейся на ветру рубашке с микрофоном в руке, голоса слышно не было, зато пошла бегущая строка: «АВС, 12 июля. Мы ведем наш репортаж из окрестностей Кавтаратана. Того самого Кавтаратана, который на конференции Альянса был объявлен столицей независимого государства Капайя...»

— Кавтаратан? — спросил Эрик; ему показалось, что из помещения исчез воздух.

— Да, — сказал доктор. — Ты, когда бредил, несколько раз повторил это название. Я попросил друзей поискать что-нибудь этакое, связанное с ним.

Изображение на экране сменилось, стали другими цвета: переместились в красно-коричневую гамму. Снимали откуда-то сверху: узкая улочка, углом выпирающий на нее плоский дом с широкими воротами — склад или гараж, на крыше — трое с пулеметом за мешками с песком, стреляют куда-то вдоль улицы; новый кадр — человек с автоматом и гранатой у угла, бросает гранату за угол — взрыв; перевернутый автобус, огонь и дым, из-за автобуса, кажется, стреляют; камера стремительно метнулась обратно к гранатометчику, поздно — сползает по стене, автомат выпал из

рук, и что-то быстрое, темное, как большая крыса, мелькает в углу кадра, камера пытается поймать это что-то; опять крыша с пулеметом, правее пулемета на краю крыши неуловимо быстро возникает лежащий человек, тут же он оказывается на ногах, в руке у него длинноствольный пистолет, один из пулеметчиков, подскочив, падает навзничь, другой выбрасывает вперед руку с пистолетом и утыкается лицом в мешки, третий остается лежать и только дергается несколько раз от ударяющих в него пуль, человек с пистолетом делает шаг назад и пропадает — не прыгает с крыши, а как бы проваливается за ее край. Опять возникает ведущий и говорит что-то, бежит строка, но Эрик не понимает ни единого слова из написанного. Опять на экране кадр с пулеметчиками, красной рамкой выделено место, где сейчас появится тот, с пистолетом; рапид и наплыв: видна рука, взявшаяся за край крыши, потом из-за края возникает медленно летящее горизонтально вытянутое тело — и плавно ложится на крышу, и тут же, без паузы и как бы вопреки всяческой биомеханике и законам тяготения человек начинает подниматься, как неваляшка, не сгибая ног, и только когда он уже почти стоит, становится понятно, что он встал потому, что сильно оттолкнулся правой рукой, в левой у него пистолет — впрочем, нет, не пистолет, а автомат «Узи» с укороченным стволом, — и, еще не приняв вертикального положения, он стреляет — виден язычок пламени на срезе ствола и короткий рывок отдачи, потом он стреляет еще несколько раз, выпрямляется, медленно поворачивает голову направо и налево и делает шаг назад; стоп-кадр и максимальное увеличение: плечи и голова. Темно-серая куртка с глухим воротником, никаких знаков различия; на голове серый же шлем наподобие мотоциклетного с большими полусферическими наушниками, и из наушников торчат вверх короткие, сантиметров по тридцать, антенны. Лицо — нормальное лицо, молодой парень, ничем не примечателен, странно, правда, что в такой момент — и никакого выражения, только глаза, кажется, открыты чуть шире, чем это бывает обычно...

— М-да, — сказал доктор. — Такого даже я не ожидал.

— Чего именно? — спросил Эрик, почему-то не в силах оторвать глаз от экрана.

— Так ты... не узнал? — голос доктора напрягся.

— Кого? — испуганно спросил Эрик.

Доктор ткнул пальцем в экран, прямо в лицо тому, в шлеме.

— Себя, — сказал доктор.

— Нет, — сказал Эрик. — Нет-нет. Что вы.

Он посмотрел на экран. Там было его лицо. Не такое, как в зеркале, а как на фотографиях.

— Нет, — повторил он. — Это не я. Просто очень похож. Это не я!

— Двенадцатое июля прошлого года, — сказал доктор. — Где ты был?

— Двенадцатого?.. — Эрик силился вспомнить и не мог. — Двенадцатого... двенадцатого июля... — Потом что-то прорвалось в памяти. — Там... был там... на сборах. Но мы же никуда не выезжали! Мы же сидели на одном месте! Понимаете: мы никуда не уезжали, мы все время были там! Понимаете: все время! Никуда! Нас вообще никуда не выпускали, мы две недели просидели в классах!

— Конечно... — пробормотал доктор, и Эрик, глядя на него, почувствовал, что и эта опора — память — теперь вовсе не опора, а так... плюнуть и растереть... Тогда он засмеялся. На подламывающихся от смеха ногах он доплелся до дивана, повалился на него — пружины запели. Эрик хохотал, как падал — теряя высоту и набирая скорость.

— Представляете, — пробуживал он сквозь смех, — я — как капуста, с меня ободрали — а под этим еще, снова ободрали — а там еще, все потерял — и все равно остается, опять ободрали — а новоеросло, чем быстрее теряешь, тем быстрее нарастает, правда, доктор? Смешно же, правда, смешно? Никаких надежд нету, все, предел, — нет, час прошел, и может стать еще хуже, оказывается, что-то еще оставалось...

— Да, — сказал доктор. — Всегда хоть что-то остается...

Он сказал это так, что Эрик замолчал. В нем еще проворачивался смех, но уже не вырывался наружу. Он посмотрел на доктора, как тот стоит, подпирая стену, и понял с пронзительной ясностью, что никаких иных надежд, кроме вот этого поджарого лысого человека, в его жизни не осталось.

— Доктор, — сказал Эрик, — что мне делать? Я ведь не смогу жить... так.

Доктор долго молчал и смотрел на него. Потом подошел, сел рядом. Спросил:

— Но ты хоть понял, что с тобой сделали?

— Да, — сказал Эрик — и отшатнулся сам от себя.

— Я не справлюсь с этим делом сам, — сказал доктор. — Надо просить помощи.

— Делайте что считаете правильным, — сказал Эрик. — Знаете, я уже вторые сутки живу в ожидании удара... — Он не стал объяснять про призрачный мир, про свист ветра, и доктор, возможно, не понял, о чем речь, но переспрашивать не стал.

— Эрик, — сказал он наконец откуда-то издали.

— Да, — сказал Эрик.

— Я сейчас позвоню одному человеку, — сказал доктор хрипловатым голосом. — Это очень непростой человек, но только он сможет нам помочь... если сможет... и если захочет... Я не знаю, что из этого получится. То есть вообще — не знаю. Но это, кажется, единственный возможный ход...

— Хорошо, — сказал Эрик. — Только пусть — скорее. Я не выдержу долго.

Доктор вдруг оказался у стола и уже набирал номер, — Эрик не уловил того, как он шел к столу, как брал трубку... Над правой бровью запульсировала огненная точка. Эрик прижал ее рукой. Вновь что-то стало подниматься в нем из глубины к свету, мышцы резко напряглись, потом расслабились, растеклись, опали. Внутри безболезненно, но жестко прокрутилось несколько раз — как сорвавшаяся пружина.

— Алло! — сказал доктор в трубку. — Алло, Хенрик? Не разбудил? Слушай внимательно: ты можешь проверить, не подслушивают ли нас? Ага... хорошо. Хорошо. Что? Ладно, сейчас... М-м... «Гнев, богиня, вос-

пой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахеянам тысячи бедствий содеял: многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам...» Хватит? Нет, всю, конечно, не помню, но большие куски... да. Значит, дело такое: помнишь, мы сидели с тобой прошлой осенью в китайском ресторанчике и давали простор фантазии? Помнишь, да? Так вот: не одни мы с тобой были такие умные, и вообще это уже давно не фантазии. Понял? Абсолютно. На тысячу процентов. Прямо сейчас. И прихвати кого-нибудь из твоих компьютерных гениев. Я сижу в конуре того парня, который жить не мог без утренних газет, — понял, да? Жду. Хорошо. Что? Очень тревожная обстановка. Да, главным образом. Рубнер умер, это ты знаешь. Холера растет, вчера еще двенадцать случаев, а карантин вводить — такое начнется... Жутко, честное слово. Короче говоря, поторопись. Часа через три-четыре? Жду. Пока.

Он положил трубку на рычаг и надолго застыл, глядя в пространство, и Эрик вдруг увидел его плоским, вырезанным по контуру, и тут же — поясной мишенью, мишень увеличивалась: черный безликий силуэт на белом расчерченном крест-накрест фоне... потом что-то случилось, мишень скользнула вверх и стала опять человеком, которого Эрик узнал через несколько секунд, — доктором; доктор наклонился над ним, махнул перед глазами рукой. Эрик с трудом встал.

— Фу, черт, — сказал доктор. — Ты грохнулся, как бревно.

— Ничего, — сказал Эрик. — Душно...

Он вытянулся на диване и закрыл глаза. Душно — это что... Он вновь ощутил в себе паука, напрягся всем телом, но сумел не заорать. Рукой дотянулся до лица — лицо было мокрым от пота. перевел дыхание. Продержусь, подумал он. Лишь бы не случилось чего-нибудь неожиданного...

Его вдруг потянуло в сон, и он уснул мгновенно. Он понимал, что спит, понимал, что видит сон, и понимание это позволило ему досмотреть этот сон до конца. Он

лежал на переплетенных пульсирующих стеблях толщиной в руку, от стеблей отходили тонкие усики, проникающие в его тело. Они позволяли ему двигаться, но, натягиваясь, оказывали ощутимое сопротивление. Он сел, то есть попытался сесть, и получилось, но как-то странно: голова заняла нужное положение, а туловище осталось лежать как лежало. Эрик наклонил голову, чтобы посмотреть, что случилось. Из расстегнутого воротника рубашки высовывалась невероятно длинная морщинистая шея. По плечам рубашка была разорвана, висели мокрые лохмотья. Из-под ткани буграми выпирала мокро блестящая серая кожа, под кожей шевелились мускулы, а дальше, там, где должны были быть лопатки, хищным пучком расходились толстые серо-розовые гладкие щупальца, и из-под них прямо в глаза Эрику посмотрели два других круглых немигающих глубоких глаза. Одно из щупалец лениво захлестнулось вокруг немогущей шеи Эрика и сдавило ее, тряхнув, как яблоню, потом убралось, мазнув кончиком по щеке, — Эрик с омерзением дернулся, попытался отмахнуться, но руки не подчинились, он посмотрел на них и увидел, что вместо пальцев у него такие же серо-розовые, только тоненькие, как черви, щупальца; помимо его воли, не слушаясь его и не давая отчета, правая его рука приблизилась к лицу — черви извивались — и накрыла его рот и нос; Эрик скосил глаза и вновь встретился взглядом с теми, другими глазами: их взгляд оставался равнодушен и презрителен. Потом под венчиком щупалец раскрылся громадный безгубый рот, и рука, душащая Эрика, стала заталкивать его голову в этот рот, и в последний момент Эрик успел увидеть, что нити, усики, побеги, проросшие в его тело, расходясь широко, образуют сложную сеть, паутину, в которой барахтается много людей — далеко от него и совсем рядом с ним, а ближе всех, оплетенные паутиной с ног до головы, спина к спине стоят доктор и Элли и смотрят на него: Элли с ужасом и пронзительной жалостью, доктор — внимательно и почти спокойно; и, поймав их взгляд, Эрик на миг увидел себя со стороны: лежащее на спине чудовище, мускульный мешок с венцом щупалец на месте носа, и распятое на брюхе



чудовища свое бывшее тело, вернее, его истонченные остатки, и собственную свою голову на длинной шее, которую чудовище тянет в свой рот, — потом рот сомкнулся, и Эрик перестал видеть, он только ощущал сокращения мускулов и слизистое скольжение по коже лица — шея, вероятно, могла вытягиваться как угодно далеко; потом вдруг стало светло, но глаза были залеплены слизью и ничего не видели — но свет бил в лицо, и Эрик, моргнув несколько раз, обрел, кажется, способность различать предметы: перед его лицом висела голая электрическая лампочка, и по границе поля зрения двигались чьи-то силуэты, он хотел посмотреть — кто это, но не мог оторвать глаз от лампы. У него не было чувства, что он проснулся. Он поднял голову и почувствовал свои руки, плечи и шею такими, какими они были раньше, до превращения; болели плечи, болели икры, и поэтому то, что происходило сейчас, могло происходить наяву. Но он никак не мог сосредоточить внимание на людях, которые были сейчас в этом помещении вместе с ним. Тогда он снова лег, повернулся на правый бок и закрыл глаза. И тут же его потрясли за плечо.

— Эрик, вставай, — сказал знакомый голос, Эрик стал вспоминать, кому он принадлежит, и вспомнил, что — доктору. И следом за этим вспомнил все остальное.

Он сел, тараща глаза, сон выходил из него волнами. К горлу подступила тошнота — будто укачало.

— Доктор, — сказал он хрипло. — Умыться тут где-нибудь можно?

Теперь он видел, что в помещении есть еще два человека: оба где-то сбоку, туманными пятнами — не сразу и разглядишь.

— Вот эта дверь, — сказал доктор.

Холодная вода привела Эрика в чувство. Точно и на самом деле смыл какую-то слизь с лица, с мозгов — стало хорошо и ясно; надолго ли? — будет видно.

Запахивая полы своей пижамной куртки, Эрик вернулся в освещенную комнату; в подzemелье, судя по звуку шагов, были и другие помещения — и небольшие.

— Позвольте представить, — сказал доктор. — Эрик Томса — студент. Хенрик Хаппа, полковник нацбезопасности, шеф отдела по борьбе с терроризмом. М-м... Амадео Тимко, правильно? Программист, сотрудник того же отдела.

Полковник был чем-то похож на доктора, только лет на десять старше: тоже лысый, крепкий, загорелый, подтянутый, тоже в очках, но без бороды, в сером костюме и при галстуке. Вид абсолютно не полковничий, скорее профессорский. И с ним — совсем молодой парень, почти мальчик, в джинсовой безрукавке на голое тело и с медальоном на груди: рыкающий лев. Полковник шагнул к Эрику, протянул ему руку, другой рукой потрепал его по плечу, сказал:

— Доктор кое-что сумел сообщить мне о вас, и я, конечно, сделаю все, что смогу. Моя должность пусть вас не смущает. Я выступаю сейчас как частное лицо. Доктор тоже не сотрудничает с нашей организацией, у нас с ним сугубо личные отношения — надеюсь, неплохие. Так, Лео?

— Так, — сказал доктор. — Если не считать некоторых нюансов.

— Без нюансов было бы скучно, — сказал полковник. — Эрик, вот это Амадео, по компьютерам он первый в мире. Мы попробуем разобраться, что это за штука в тебе, и отключить ее.

— Вытащить, — сказал Эрик.

— Может быть, и вытащить, — сказал полковник. — Ам, что ты думаешь?

— Пока ничего, — сказал Амадео. — Надо покрутить. Видимо, — он взял рентгенограммы, посмотрел на них, — вот тут есть блок индукционной связи... вероятно, в шлеме — парный блок и какая-то электронная начинка и, скорее всего, обеспечение связи со стационаром. Вряд ли я ошибаюсь. Ну что? — обратился он к Эрику. — Приступим?

— К чему? — спросил Эрик.

— Надо попробовать раскопать начинку вот этой вот штуковинки, — Амадео ткнул пальцем в тело паучка. — Ты не бойся, я осторожно.



— Я не боюсь, — сказал Эрик. — Который час?

— Без пятнадцати четыре, — сказал доктор. — А что?

— Не знаю, — сказал Эрик. — Давайте меня на всякий случай к чему-нибудь привяжем.

— Не помещало бы, — сказал Амадео и огляделся в поисках подходящей мебели.

— Сейчас, — сказал доктор и вышел. Вернулся он скоро, волоча тяжелое кресло с подлокотниками.

— То, что надо, — сказал Амадео.

Эрик сел в кресло, положил руки на подлокотники, дал себя привязать жгутами из разорванной простыни. Ему было страшно, но страх был как бы внизу, по пояс — там он бушевал и крутился, голова оставалась ясной.

Амадео принес и поставил рядом с дисплеем свой обтекаемой формы чемодан с надписью «Хелионетикс», открыл его. В крышку чемодана был вмонтирован экран, перед экраном был пульт. Бормоча что-то себе под нос, Амадео соединил свой компьютер с тем, который стоял здесь, и с телефонным гнездом. Полковник и доктор молча следили за его действиями.

— Доктор, — сказал Амадео, — еще одной простыни не найдется?

Доктор принес простыню, Амадео набросил ее на стеллаж и развернул кресло Эрика так, что он сидел теперь как бы перед киноэкраном. На уровне глаз Эрика Амадео фломастером нарисовал черный кружок.

— Постарайся смотреть только на него, — сказал он Эрику. — И говори мне все, что будешь чувствовать.

Потом он оцупал Эрику затылок, приложил к коже что-то холодное, металлическое и залепил это холодное резиновой лентой вокруг головы.

— Предвкушение чего-то приятного, — сказал Эрик. — Так уже было...

За спиной тихо попискивал компьютер, двигались люди, обменивались отрывистыми замечаниями — Эрик не прислушивался. Потом доктор и полковник вышли покурить. Эрик сидел, стараясь не напрягаться в ожидании неизвестно чего, и черный кружок то таял,

то становился неправдоподобно четким, он говорил об этом, и Амадео мычал согласно. Потом позвал:

— Господа! Кушать подано!

— Та-ак... и что? — спросил, подходя, полковник, доктор тоже был где-то рядом, Эрик слышал его дыхание.

— Вот, пожалуйста, схема того, что у него внутри.

— Что-то уж слишком просто, — сказал полковник.

— Да, — сказал Амадео, — в сущности, это просто коммутатор. И вот — несколько вариантов, как могла бы выглядеть внешняя схема... два звена: вот шлем, вот — стационар... Очень просто.

— Минуточку, — сказал доктор. — А нельзя наложить эту схему на схему мозга? Хочу посмотреть, куда идут электроды.

— Попробуем, — сказал Амадео. И немного спустя: — Вот.

— Так, — сказал доктор. — Надо же... А вид сбоку можно?

— Все можно, — сказал Амадео. — Крутите как угодно.

— Ага, — сказал доктор. — Ага... — Он сопел за спиной Эрика, потом принялся что-то насвистывать.

— Ну что? — не выдержал полковник.

— Отвали, Хенрик, не мешай, — сказал доктор. — Амадео, вот этот контур все время возбужден, так?

— Да, — сказал Амадео. — Все время.

— Интересная картина, ребята, — сказал доктор. — Ну, до чертиков интересная. Знаешь, Хенрик, на них работает какой-то гений. Если бы это делал я, получилось бы втрое более громоздко. Чрезвычайно изящно сделано. Эрик, ты можешь гордиться, над тобой поработал великий талант.

— Лео... — сказал полковник, но доктор перебил его.

— Да, Хенрик, — сказал он. — Это то самое. И явно не первые опыты. Вот смотри: эти четыре электрода, по два в каждую лобную долю. При включении контура создается два очага застойного возбуждения, доли изолируются от остального мозга, это как бы временная лоботомия. Но сама кора лобных долей используется для каких-то иных... м-м... вычислительных целей. Мик-

росхемы на живых нейронах, очень изящно. Вот эти электроды, нижние, проникают в ствол мозга и, вероятно, возбуждают тетикулярную информацию, от этого кора сначала тормозится, а потом идет вразнос, активность мозга резко возрастает; а вот этот электрод следит за тем, чтобы она, так сказать, не перегревалась, здесь вот, как видишь, логарифмическая обратная связь. Это вот — совершенно четко — активизация центра удовольствия, а это — центр наказания. То есть при воспитании используется самый старый метод: кнут и пряник. Вот это — интеграция слуха и зрения, и — смотри, — минуя все аналоговые поля, кроме тех, искусственных, в лобных долях — связь с двигательными центрами. Реакция на звук и изображение ускоряется, наверное, на порядок. А вот это, думаю, самое интересное, здесь постоянно поддерживается очаг застойного возбуждения, это область правого миндалевидного ядра, я даже не представляю себе, что это за центр.

— Постоянно — то есть и сейчас? — спросил полковник.

— Постоянно — это и есть постоянно, — сказал доктор. — По полгода он живет с этим вот работающим контуром.

— Эрик, — сказал полковник. — Может быть, рискнем выключить?

— Да, — сказал Эрик.

— Амадео, ты сможешь?

— Порвать эту цепь? — спросил Амадео. — Конечно. Вот.

— Эрик, ты чувствуешь что-нибудь? — спросил доктор.

— Нет, — сказал Эрик. — Ничего. Кажется, кружится голова. Да, кружится. Поехало...

Это было как беззвучный многоцветный взрыв. Эрик шел по канату, висящему над широким рвом, шел совершенно свободно, покачиваясь в такт покачиваниям каната... лупили трассирующими над самой головой, он выстрелил сначала в один пулемет, потом в другой, оба замолчали, он пробежал немного по дороге и нырнул в канаву... Меестерс вел кого-то под руку и говорил:

нормального солдата надо готовить для того, чтобы он мог сделать одну сотую того, что вот эти ребята могут сделать без каких-либо тренировок, вот, пожалуйста: мусорщик, студент, шофер, почтальон, слесарь — и любое задание... бежали кучно, не видя его, и он, высунувшись по пояс, пятью одиночными выстрелами положил всех пятерых, трое вообще ничего не успели понять, а двое последних пытались отстреливаться... летел на мотоцикле по разбитой кроссовой трассе... Меестерс говорил: нормальные, средние по параметрам люди, надев наш шлем, превращаются в идеальную боевую машину: сильную, умелую, быструю, самостоятельную в принятии решений... вспыхивали световые пятна и медленно гасли... оружие в руке появлялось мгновенно, и тут же звучал выстрел, Меестерс смеялся: ну, господа офицеры, двенадцать сотых секунды, кто хотел посоревноваться? — офицеры мялись... если кто-то не является к контрольному сроку, начинается следующий этап: поиски и ликвидация опоздавшего... письмо...

Эрик, — возникло откуда-то. — Эрик-эрик-эрик... — заметалось в пустоте. Да, сказал Эрик, да, сейчас. Сейчас.

— Да, — сказал он вслух.

— Что с тобой? — Над ним склонились все трое.

— Помню, — сказал он. — Помню все.

— Блокировка памяти, — сказал доктор. — Так я и думал. Ну, и?

— Запишите кто-нибудь, — сказал Эрик. — В письме было вот что: ЭРЕБУС 66 68 РАСТР РАСТР ОБСЕРВАНТ 83 ИКОНА КОН К 0000 ИСТ — с новой строки: ПЕРЕХОД ОБРЫВ РАСТР ИСТ — с новой: ПЕРЕХОД 211 00 КОММИТ АПЛАЗИЯ ЭРБ — с новой: КРУГ ФАТУМ ФАТУМ ПРОП 211 66 68 0000 ИСТ — с новой: КОНЕЦ, — это было в письме, которое я получил, я прочитал и почувствовал страх, поэтому съел письмо и сжег конверт, потом с головой стало твориться что-то странное, потом мне надо было уехать, я старался уехать, но у меня не получалось, контрольный срок — ноль часов первого июля, если есть опоздавшие, то собравшиеся начинают охоту за ними...

- Где это заведение? — спросил полковник.
- Платформа «42-й километр» — недоезжая станции Налль; оттуда еще восемь километров по дороге до военно-спортивного лагеря «Гиперборей».
- Понятно, — сказал полковник. — Знаю этот гадюшник.
- Чей он? — спросил доктор.
- Все тех же, — сказал полковник. — «Эребус», ты же слышал...
- Уже пять часов, как идет охота, — сказал доктор.
- Сначала надо добраться, — сказал полковник.
- По шоссе — часа три, — сказал доктор.
- Да, — сказал Эрик. — Скорее всего, поедут на мотоциклах. У них кроссовые «ямахи». Поедут поодиночке, разными маршрутами.
- Откуда ты знаешь? — спросил доктор.
- Они всё говорили при нас, — сказал Эрик.
- Что ты еще знаешь про эту операцию? Почему она так странно спланирована?
- Это аварийный вариант. Если все пятеро прибывают вовремя, все идет по обычному плану занятий. Есть готовый план занятий, экспериментов... как это назвать? Короче, того, что мы должны делать. На этот раз дополнительный эксперимент — это сам сбор, раньше мы просто приезжали в намеченный день в столицу, в лабораторию проекта, и уже оттуда нас увозили — втайне от остальных — в «Гиперборей». На этот раз нас предварительно запрограммировали на то, что мы сможем воспринять программу действий, которую нам пришлют. Сначала хотели вложить жесткую программу, которая включалась бы по кодовому слову, а потом решили усложнить: сделать так, чтобы кодовое слово включало саму возможность введения программы...
- Амадео, — сказал полковник, — что ты по этому поводу думаешь?
- Надо потрошить их стационар, — сказал Амадео. — Там наверняка есть все.
- У тебя есть соображения, как это сделать?
- Есть, — сказал Амадео. — Но мне надо, чтобы не мешали и не дергали по пустякам.



— Нам перейти в другое помещение? — с сарказмом спросил полковник.

— Это был бы идеальный вариант, — сказал Амадео.

— О, эти молодые нахалы, — вздохнул полковник. — И ничего не поделаешь. Подчинимся, господа.

— Меня развяжете? — спросил Эрик.

— А сам как считаешь?

— Думаю, можно, — сказал он. — Просто очень тошно, и все.

Доктор провел их в соседнюю полутемную комнату, где стоял невыносимый запах окурков и вся мебель состояла из брошенных на пол диванных подушек.

— Здесь у них комната отдыха, — сказал доктор.

— Чем они тут вообще занимаются? — хмуро поинтересовался полковник.

— Не беспокойся, Хенрик, — сказал доктор, — это не по твоей части.

— Друг моего друга — мой друг, — сказал полковник.

— Ну-ну, — сказал доктор. — Либералишь?

— Да, — сказал полковник. — И не скрываю.

— Эрик, — сказал доктор, — мы ведь тебя перебили...

— Ничего, — сказал Эрик. — Я вспоминал. Значит, если возвращаются все, работа идет по плану. Если кто-то не вернулся, начинается охота на него... или на них. Эта охота — тоже один из экспериментов. Все делается всерьез. Я, оказывается, убил уже тринадцать человек. Представляете? Пятерых — в позапрошлом году где-то в пустыне Шепсут, там специально устроили побег группе боевиков, а нас бросили им наперерез, а восемь человек — в Кавтаратане в прошлом году...

— А если не вернутся все? — спросил доктор.

— Тогда самоликвидация, — сказал Эрик. — Если не надеть шлем, то... в общем, в течение недели я каким-то образом... умру.

— Как? — спросил доктор.

— Не знаю.

— А как они могут тебя выследить?

— Также не знаю. Будут искать, пойдут по следу. В том-то и суть... эксперимента. Эта машина, — он

постучал себя по голове, — да еще модифицированная, работает очень хорошо. Нам за ней не угнаться... В общем, ставят задачу, смотрят, как мы ее решаем, центральный компьютер собирает и обобщает информацию.

— Понятно, — сказал полковник. — Я почему-то думал, что центральный компьютер руководит вами.

— Нет. Там, в центральном, — программная модель мозга. Мы поставляем для нее информацию. А Меестерс и те, которые с ним, хотят добиться того, чтобы то же самое, что с нами, можно было делать безо всяких электродов. Меестерс говорил, что мы — промежуточные модели. Он говорил, что этот метод слишком груб и для массового применения не годится.

— Ты понял, Хенрик? — сказал доктор. — То, что я тогда говорил, — один к одному!

— Да, — сказал полковник. — Один к одному... Вообще, Лео, у тебя удивительное свойство — материализовать собственные мрачные фантазии. Причем чем мрачнее — тем более наверняка.

— Это появилось после того, как ты год продержал меня в одиночке, — сказал доктор.

— Согласись, что не зря, — сказал полковник. — И согласишься, что это был не самый бесплодный год в твоей жизни.

— Это точно... Слушай, Хенрик, давай подумаем, что будут делать эти волки в нашем городе. Вот они явились на квартиру Эрика, там его нет. Дальше что?

— Искать — по друзьям, знакомым, вокзалам, улицам... Много адресов они знают?

— Да, — сказал Эрик. — Там все университетские друзья, бывшие одноклассники, ну и прочее — всего тридцать или тридцать один.

— Связь между собой у них есть? — спросил полковник.

— У кого? — не понял Эрик.

— У этих... у волков.

— Да. Обычный радиотелефон.

— Частоту знаешь?

— Нет.

— К городской телефонной сети они сумеют подключиться?

— Элементарно, из любой распределительной будки.

— Это хорошо, — сказал полковник, — это очень хорошо...

— Эрик, — позвал доктор. — Тебе не... не тяжело?

— Нет, — сказал Эрик. — Совершенно. Я ничего не чувствую. Все занемело, что ли. Ничего не чувствую.

— Если что-нибудь появится, обязательно скажи.

— Конечно, — сказал Эрик.

Полковник достал из кармана сигареты, предложил доктору, доктор отрицательно махнул рукой, предложил Эрику. «Спасибо, не курю», — сказал Эрик. «Что я — один?» — обиженно сказал полковник. «Ладно, давай», — согласился доктор и взял сигарету. «Надпись на воротах кладбища: „Минздрав предупреждал!“», — сказал он. «Угу», — сказал полковник. Он сунул в рот сигарету, поднес к ней спичку — не донес, замер, глядя на огонек. Спичка погасла. Он зажег еще одну и смотрел, как она сгорает. «Можно попробовать...» — пробормотал он и встал.

— Что-то придумал? — спросил доктор.

— Да, кажется, — сказал полковник. — Подождите меня, я сейчас... — И он вышел.

Доктор молча курил. Эрик прислушался к себе. Действительно, все как из дерева. Анестезия. Анестезия долороза, вспомнил он. Патологическое бесчувствие. Оказывается, бывает, раз есть такой термин. Все бывает, все проходит. И это пройдет, и я как следует прочувствую все, что вспомню... я, оказывается, помню все...

— Доктор, — спросил он, — вы не в курсе: при самоубийствах вскрытие обязательно?

— Нет, — сказал доктор. — Только если есть сомнения в причине смерти. А что?

— Я о самоликвидации. Очевидно, эта штука, в голове, способна вызвать такую депрессию, что останется только выбрать подходящий способ...

— Ты не беспокойся, — сказал доктор. — Вытащим мы ее из тебя.

— Может быть, не в ней уже дело? Ведь когда я читал программу, этот паучок работал только на блокировку памяти, так ведь? А программировался уже перенастроенный мозг. Может быть, ее уже бесполезно вытаскивать?

— Насчет этого я тебе пока ничего не скажу, — Доктор задал окурок в пепельнице. — А вот насчет того, что мозг перенастроен, — тут ты, конечно, прав. Но тогда тем более нельзя спешить с удалением — надо попытаться провести, так сказать, обратную настройку, порвать все эти вновь возникшие связи... Ладно, сейчас более-менее решится с теми, остальными, — тогда поглубже займемся тобой.

— Займемся-то займемся... — начал Эрик и замолчал. Анестезия, видимо, была неполной, и где-то — непонятно где — он почувствовал болезненный укол; острие убралось, и ранка затянулась, но послеболие осталось... след боли, подумал Эрик, или шрам, или как это еще назвать? Ах, черт, что же будет, когда бесчувствие пройдет?..

— Доктор, — сказал он, чтобы увести разговор от опасной темы, — вы тут с полковником так странно говорили о том, что вот это, — он показал на свою голову, — материализация ваших фантазий. Расскажите.

Доктор помолчал, подумал.

— Ты, может быть, обратил внимание, — сказал он наконец, — что Хенрик — несколько нестандартная фигура. При старом Канцлере он спас многих людей, особенно в последний год... страшный был год... меня в том числе. Сейчас... впрочем, это неважно. Главное, что он мыслящий человек. Он, кстати, разработал «теорию терроризма» и в ее рамках предсказал появление экологических террористов еще пять лет назад. Теперь, он считает, на очереди воинствующие феминистки. Да, так вот: армию и все, что с ней связано, он ненавидит лютой ненавистью... впрочем, есть за что. И как-то раз мы с ним разговорились и попытались спрогнозировать, какие еще подлости они готовят. Он перед этим наткнулся на дело Ларри Хербера, был такой интересный человек сразу после войны — он

имел обостренное экстрасенсорное восприятие чужого взгляда плюс соответствующая подготовка — короче, в него невозможно было попасть из неавтоматического оружия. От очереди, понятно, не увернешься. Он выступал с этим фокусом в цирке — давал желающим в себя стрелять. Потом его попытались использовать в каких-то политических махинациях, он был ранен, вылечился и эмигрировал. Но дело осталось, и на него обратила внимание армейская научная разведка — есть у нас и такая. Сначала они пытались разыскивать людей с такими же способностями, ничего не вышло, тогда в ход пошли... м-м... как бы это сказать... специфические методы обучения. Хенрик умудрился сделать так, что программу запретили, а кой-кого из экспериментаторов посадили. С тех пор они Хенрика постоянно держат на мушке, а он, соответственно, их. Да... Понятно, что программу прикрыли только формально, просто ужесточили секретность. И вот я, свободно фантазируя, попытался представить, что там, за высоким забором, может произрасти. В том числе — и твой вариант: вживленные электроды, мини-компьютер для модификации поведения и ускорения нервной реакции, ну и для привития любых навыков без предварительных тренировок. Я, правда, не подумал про шлем, мне казалось, что лучше всего размещать компьютер в полостях тела... несходство, видишь, чисто техническое. А в перспективе — переход на биологические материалы, перекомпоновка мозговой ткани таким образом, чтобы мозг мог работать в двух режимах — нормальном и боевом: переключение на боевой совершается, скажем, по сигналу воздушной тревоги. Наконец, в еще более далекой перспективе — то же самое, но на генетическом уровне, программа перекройки вводится в ДНК какого-нибудь вируса, скажем гриппа... дальше идет полнейший бред, потому что такая программа сразу же начнет мутировать, да и противник не будет сидеть сложа руки... Но вот эта идея — не убивать население стран-противников, а превращать их в своих солдат, — эта идея настолько богатая, что, я думаю, к ее воплощению будут стремиться милитарные интеллектуалы всего мира... черт

его знает... Я ведь думал, что все это — завтрашний день. Оказалось — вчерашний...

Заглянул полковник, махнул рукой — идемте. Перед экраном сидел Амадео, совершенно растрепанный и безумный. Пальцы рук его метались по клавиатуре, и слышно было, как он шепчет что-то непонятное. На экране появлялись и стирались строки — так быстро, что Эрик не успевал читать. Потом вспыхнула надпись: «ПАРОЛЬ». Амадео быстро напечатал: «ТОПФАЙТЕР». «ВХОДИТЕ».

— Век не забуду вашей любезности, — проворчал Амадео.

— Куда это ты влез? — спросил полковник.

— В справочное бюро, — сказал Амадео.

— Запроси частоту радиосвязи, — сказал полковник.

«Частота радиосвязи между ТПМ и НОЕ», — напечатал Амадео.

«Частота 51.25 МГц», — возникло на экране.

— Ультракороткие, — сказал полковник. — Значит, где-то должен быть ретранслятор. Здесь, в городе.

«Частота радиосвязи между НОЕ и СТР», — напечатал Амадео.

«Частота 10.66 МГц».

— Блестяще, — сказал полковник. — Можно начинать пеленговать. Хорошо, Ам. Теперь подумай вот над чем: если попробовать вернуться обратно к тому муляжу мозга и сделать так, чтобы прошла команда до самых... в общем, загнать их в депрессию или в кайф. Лучше в кайф. Сможешь?

— Если ни на что не напорюсь, — сказал Амадео. — Там столько ловушек понатыкано...

— На всякий случай держи торпеду наготове, — сказал полковник.

— Обижаете, шеф, — сказал Амадео. — Они у меня увешаны хлопушками, как рождественская елочка. В любой момент — хоть по цепочке, хоть все сразу...

— Давай, Ам, — сказал полковник. — Если честно, то только на тебя и надежда. Постарайся уж не напороться... Кстати, этот гроб ты задействовал? — он кивнул на старый компьютер.

— Нет, — сказал Амадео. — Но в телефонную сеть подключиться можно только через меня.

— Давай так и сделаем, — сказал полковник. — Эрик, дай-ка мне телефоны твоих друзей и прочих.

— Записать? — спросил Эрик.

— Сейчас, — сказал полковник. Он вынул из кармана дискету, ввел ее, дождался, когда на дисплее появится надпись: «Называйте номера». — Диктуй.

Эрик закрыл глаза и стал называть номера телефонов тех, кого он знал в городе. Вспоминать было трудно: как факты давней, другой, прожитой не им жизни. Номеров было шестнадцать. Потом он помялся и назвал семнадцатый — Элли.

Номера светились на экране, а полковник смотрел на них и чего-то ждал. Потом сверху вниз прошел знак оператора, и девять номеров оказались подчеркнуты: пять, начинавшихся с «34», и четыре, начинавшихся с «27».

— Какие это районы? — спросил полковник.

— «34» — это район порта, а «27» — это Пемеж, где я живу. А что?

— Эти номера прослушиваются, — сказал полковник.

— Они? — спросил Эрик.

— Вероятно, да, — сказал полковник. — Ладно. Ждите меня здесь.

Он вышел.

— Доктор, — сказал Эрик. — Помните, я рассказывал, как дрался на станции? Этот, как вы сказали, боевой режим у меня включился сам собой, так ведь? Может быть, попробовать меня активизировать и выпустить в город?

— Надо подумать, — сказал доктор. — Спросим Хенрика.

— В машине, между прочим, целый арсенал, — сказал Амадео, не оборачиваясь. — И при нем два умелых драчуна.

Какие могут быть драчуны, подумал Эрик, когда эти волки успевают достать оружие, прицелиться и выстрелить за одиннадцать сотых секунды? У сепаратистов тоже были умелые драчуны...

Через несколько минут вернулся полковник.

— Так оно и есть, — сказал он с ходу. — Пеленгуются четыре передатчика УКВ и один КВ. Так что — они здесь, четверо, сейчас. — Он потер ладонь о ладонь, посмотрел на них, обтер о полы пиджака и сунул в карманы. — Ну, господа? Начнем ловлю дьявола на живца? Амадео, как у тебя?

— Никак, — ответил Амадео.

— Ясно. Значит, значит, значит... Значит, так: Эрик, из тех телефонов, которые не прослушиваются, есть ли... короче, кому ты абсолютно доверяешь?

— Да.

— Где живет абонент? — полковник достал карту, развернул. — Покажи.

Эрик нашел на карте квартал Элли, показал пальцем:

— Вот.

— Хорошо. А мы — вот... четыре километра оттуда. Хорошо. Значит, так... — Полковник задумался на секунду. — Ты сейчас звонишь по этому телефону и просишь своего друга, чтобы он позвонил по одному из прослушиваемых и сказал, что ты находишься у него. Понятно? Возле дома мы устраиваем засаду. У нас есть бомба с газом «МЭНГ» — усыпляюще-парализующий коктейль. Сейчас мы ее там установим — и все.

— А население? — спросил Эрик.

— Через полчаса все проходит, — сказал полковник. — Даже голова не болит. Но за полчаса, думаю, мы сумеем их повязать. Значит, объясни кой-какой минимум и скажи, чтобы позвонил ровно через двадцать минут. Какой дом? Вот этот? Номер дома помнишь?

— Улица Коперника, шестнадцать.

— Звони, через десять минут я вернусь, — сказал полковник и вышел.

Эрик снял трубку и стал медленно набирать номер. Господи, что же я делаю, ужаснулся он. Нельзя же так! Поздно... Дурак, боже мой, какой дурак! На том конце сняли трубку.

— Да, — это был голос Элли.



— Элли, это я, — сказал Эрик.

— Я поняла, — сказала она.

— Элли, я не могу тебе объяснить про все то — это долго, а времени нет. Я в очень сложном положении, и я прошу тебя мне помочь. Пожалуйста.

— Да, — сказала она. — Говори.

— Ровно через двадцать минут позвони по телефону 34-66-18, спроси Лукаса и скажи ему, что я прячусь у тебя и чтобы он обязательно рано утром к тебе зашел. Ты запомнила: 34-66-18, Лукас?

— Да, я запомнила. Я сделаю. А где же ты на самом деле?

— Я приду днем. В худшем случае позвоню. Я тебя люблю, понимаешь? Боже мой, как я тебя люблю...

— Я все сделаю. А если этот Лукас придет?

— Скажи, что я не дождался и ушел.

— Хорошо. Знаешь, я так долго... нет, потом. Все потом. Все хорошо. Я жду.

— Я приду.

— Я жду.

— Да.

— Пока.

— Я скоро приду.

— Я тоже люблю тебя... — Короткие гудки.

Эрик положил трубку. Было страшно оборачиваться и смотреть на доктора и Амадео, которые все понимали. Господи, что я натворил... я натворил... Ловля дьявола на живца, вспомнил он. Вот он, живец, — Элли. Я ее им отдал...

Доктор загородил ему путь.

— Мне надо туда, — сказал Эрик.

Доктор покачал головой.

— У тебя нет оружия, — сказал он. — Сейчас вернется Хенрик.

— Вы не понимаете, — сказал Эрик.

— Я все понимаю, — сказал доктор. — Не усугубляй свою собственную ошибку.

— Это не ошибка, — сказал Эрик. — Это даже не глупость. Это вообще непонятно что.

— Знаешь, дружище, — сказал доктор, — я вообще удивляюсь, что ты еще в более-менее здравом рассудке.

Я пытаюсь примерить твою ситуацию на себя.. черт-те что.

— Я просто ничего не чувствую, — сказал Эрик.

Зазвонил телефон. Эрик вздрогнул. Доктор, кажется, тоже вздрогнул.

— Не берите трубку, — сказал Амадео. Телефон дал три звонка и смолк. Амадео принялся что-то набирать, посмотрел на экран и сказал: — Влипли.

— Что? — не понял Эрик.

— Где-то я наследил, — сказал Амадео. — На нас вышла их охранная программа. Черт бы побрал..

— Что теперь делать? — спросил доктор.

— Не знаю. И шеф куда-то смылся, холера. Ну что: нападать или защищаться? Что?

— Попробуй сделать то, что делал, — сказал доктор. — Если ты отключишь мотоциклистов, остальное как-нибудь утрясется.

— Если они нас засекли, — сказал Амадео, — то от порта им ехать минут пятнадцать. Еще можно успеть смыться.

— Полковник приедет через пять. У него машина.

— Ладно, — сказал Амадео. — Если полковник приедет раньше, то тогда уж точно все будет хорошо. — Он засмеялся и повернулся к экрану.

Полковник приехал раньше. Он вошел очень быстро, через плечо у него висело три автомата, в руках была рация.

— Ну, господа, — сказал он, — помолимся, чтобы наша ловушка сработала. Когда твой друг будет звонить? Минут через десять?

— Да, — сказал Эрик.

— Шеф, у меня прокол, — сказал Амадео. — Меня засекла их охранная программа. Я ее отрубил, но номер телефона они теперь знают.

— Очень мило, — сказал полковник. — Тогда тем более постарайся. Ведь если они разорвут связь со стационаром.. могут они это сделать?

— Да, — сказал Амадео. — Тогда — аут.

— Вот именно.

— Хенрик, — сказал доктор, — Эрик предложил его активизировать и поставить в засаде.

— Хорошая мысль, — сказал полковник. — Ам, отвлекись.

Эрик сел в кресло, и Амадео приложил к его затылку индукционную антенну. Прошло несколько секунд. Ничего не менялось.

— Готово, — сказал Амадео и вернулся к пульту.

— Ничего не чувствую, — сказал Эрик.

— Пока нет опасности — так и будет, — сказал доктор. — Тогда я тебя сейчас провожу, тут на втором этаже, на лестничной площадке, есть очень хорошее окошечко.

— С этим умеешь обращаться? — полковник протянул Эрику автомат. Автомат был знакомый — для той, новой памяти — «калашников» с откидным прикладом. Эрик протянул руку, чтобы взять автомат, но рука повисла, словно перебитая в локте, в пальцах набрякла отвратительная слабость. Эрик попытался пересилить взбунтовавшуюся руку, напрягся — рука затряслась, упала вдоль тела, а слабость хлынула в плечо, в горло, в голову — его согнуло, скорчило, руки прижались к животу...

— Не могу! — простонал он. — Ну, не могу же! О-о, что ты...

Его передернуло, спазмом сжало горло, глаза застлал туман; сквозь туман он видел доктора и чувствовал, как тот обнял его за плечо и уводит куда-то, уводит, уводит... «Только если блокировать ему память», — донеслось издалека. «Эрик!» — кто-то обращался к нему, и, зная, что за предложение сейчас последует, Эрик закричал:

— Нет! Нет! Не-е-ет!!!

«Успокойся, — говорил ему доктор и двигался рядом, большой и надежный, — никто тебя не заставляет...»

Эрик открыл глаза. Было светло и темно одновременно. Доктор был рядом. Амадео влип в компьютер. Полковник стоял, держа один автомат на весу. Потом раздался сигнал вызова, полковник поднес рацию к щеке и отозвался:

— Слушаю.

— Вектора едвоились, — сказал голос в рации. — «Эй» и «Си», «Би» и «Ди». Вектор «И» остается непо-

движным. Пара «Эй-Си» движется на северо-северо-восток, очевидно, по Большому проспекту. Пара «Би-Ди» движется на северо-востоко-восток, угловая скорость мала, усиление сигнала значительное... почти прямое приближение, шеф. Я думаю, они едут как раз по той улице, что и мы.

— Это два мотоциклиста, Эд, — сказал полковник. — На кроссовых «ямахах». Вооружены. Постарайся что-нибудь сделать... но только из засады. В открытый бой не вступай. Это более чем профессионалы, Эд.

— Понял, — сказал Эд. — Тогда, с вашего позволения, я немного отъеду.

— Хорошо. Как там вторая пара?

— Едут. Кажется, свернули. Так... что это у нас?.. улица Коперника, шеф. Они уже почти на месте.

— Хорошо. Не выключайся, Эд. Глеб! Глеб, ты меня слышишь?

— Да, шеф. Все, я их вижу. Они появились. Потом.

— Амадео, — сказал полковник, — найди-ка еще раз этот канал, по которому шла информация от мотоциклистов.

Амадео проворчал что-то, но сделал что от него требовали. По дисплею старого компьютера побежали четыре колонки шестизначных чисел.

— Н-ну... — начал было полковник, и тут в рации раздался голос Глеба:

— Готово. Лежат.

По второй и третьей дорожкам бежали сплошные нули.

— Эд, — позвал полковник.

— Здесь.

— Что там у тебя?

— Вот-вот должны появиться. Я стою за углом, мне вдоль дороги не видно... ага!

Слышно было, как взревел мотор, потом послышалось несколько выстрелов, страшный удар и звук разбитого стекла.

— Эд! — закричал полковник. Ему не ответили.

— Остался последний, — сказал доктор. Нули бежали по трем дорожкам. — Дай-ка, — он отобрал у полковника автомат.

— Лео, прекрати! — крикнул полковник, но доктор уже вышел из комнаты.

— Проклятье, — сказал полковник. — Амадео, что у тебя?

— Если бы не дергали... — сказал Амадео.

— Уйди вон туда, — сказал полковник Эрику. — За стеллаж. Чтобы тебя видно не было.

— Лучше здесь, — сказал Эрик. — Он не сможет стрелять одновременно в обоих. Может быть, вы и успеете выстрелить... хотя вряд ли. Я буду стоять здесь, а вы отойдите вон к тому столу. Меня он увидит первым.

Полковник молча отошел туда, куда показал Эрик, передернул затвор, направил ствол на дверь. Стояли молча. Ждали. Пицал компьютер.

— Есть, — сказал Амадео. — Пошла команда. Пропихнул.

— Когда сработает? — спросил, не оборачиваясь, полковник.

— Две транзакции, — сказал Амадео. — Секунд сорок.

— Возьми автомат, — сказал полковник.

— Я не умею, вы же знаете.

— Тогда уйди вон туда и ляг на пол.

Амадео послушно ушел и лег. Эрик опять, как было уже несколько раз, почувствовал, как обретают четкость те предметы, на которые он не смотрит. Он медленно пошел к двери.

— Куда? — спросил полковник.

— Ничего, — сказал Эрик. — Все в порядке. Сейчас все кончится.

В коридоре, за поворотом, ударила длинная очередь. Это было как вспышка магния — Эрик сразу увидел то, до чего не доставал взгляд: колено коридора, проемы дверей, еще один поворот — оттуда, от угла, и стреляли, — и кто-то живой, мягкий, движущийся за тем поворотом, а дальше — выход наружу, открытая дверь... Он стоял и ждал новых звуков, и они были, но какие-то непонятные и не дающие изображения. Каким-то чутьем он понял вдруг, что опасности нет. Опасности нет. Это было даже не ощу-

щение — просто неведомо откуда пришедшее точное знание.

— Все, — сказал он полковнику. На экране бежали четыре колонки цифр, и в трех были одни нули, а в четвертой — одни семерки.

— Что — все? — спросил полковник, не опуская автомат.

— Сработало. Пойдемте скорее, пока они не смогли отключить.

В коридоре было почти темно, но в звуке шагов Эрик видел все. За поворотом, спиной к стене, сидел на полу доктор, зажимая лицо руками, а в двух шагах от него, раскачиваясь и постанывая, стоял на четвереньках человек в шлеме, похожем на мотоциклетный. Полковник нашел выключатель, загорелся нормальный свет.

Вместе с Эриком они связали совершенно не сопротивляющегося мотоциклиста его собственными ремнями. Потом Эрик снял с него шлем. Когда он снял шлем, человек страшно закричал и подпрыгнул, стараясь головой попасть обратно, но промахнулся и упал ничком. Эрик быстро отдал шлем полковнику.

— Унесите, — сказал он. — Унесите скорее.

Полковник понял и ушел, унося шлем. Эрик подошел к доктору. Доктор был жив. Эрик взял его за одну руку и тихонько отнял ладонь от лица. Лицо было испачкано кровью, но ран видно не было. Он отнял вторую ладонь. На месте правого глаза зияла глубокая дыра, из которой вытекала черная кровь и что-то еще. Правый висок был разворочен, из раны торчал осколок кости.

Бегом вернулся полковник.

— Надо «скорую», — сказал Эрик. — Ему выбило глаз.

— Уже, — сказал полковник. — Сейчас приедут. Я — туда, — он махнул рукой в сторону выхода, и Эрик понял, куда именно.

— Я с вами, — сказал он.

— Ладно, — сказал полковник. Он быстро и ловко перевязал доктора. — Пошли.

«Ямаха» стояла с работающим мотором. Было уже почти светло.

— Ты за руль? — спросил полковник.

— Хорошо, — сказал Эрик. В «этой» жизни он не водил мотоцикл, но теперь все смешалось.

В полукилометре уже стояли две полицейские машины, а за ними — серый «мерседес» с вдавленной дверцей и пробитыми пулями стеклами. Тут же лежал искореженный мотоцикл и труп мотоциклиста в оснащем антеннами шлеме. Эрик затормозил, полковник, не слезая с седла, показал полицейским свое удостоверение.

— Это наше дело, — сказал он. — Никого не подпускайте сюда и ничего не трогайте. И еще: передайте по всем постам, пусть ищут фургон с радиостанцией. Фургон или «универсал» с зашторенными окнами. Ни марки, ни цвета не знаю. Машина с мощной рацией — и все. Пусть задержат любой ценой до моего появления.

— Есть, — сказал полицейский офицер. — Дать вам охрану?

— Пусть едет следом.

Эрик рванул с места, желтый полицейский «фиат» сначала приотстал, потом подравнялся. К дому Элли они подъехали со стороны крытой автостоянки, и от нее им помахал рукой парень в клетчатой ковбойке.

Мотоциклисты, связанные, без шлемов, лежали рядышком под стеной. Два «Узи» на ременных петлях болтались у парня на сгибе локтя.

— Отлично, Глеб, — сказал полковник. — Ребята, давайте их в машину и в участок — и под замок до моего появления. Ни в коем случае не развязывать. Боливар троих свезет?

— Свезет, — сказал Эрик.

Втроем, конечно, ехать было не так уж удобно, но — доехали. Перед домом стояла «скорая». Она была пуста. Дверь в подвал была открыта настежь. За дверью было темно и тихо.

— Что за дьявол, — сказал полковник. Осторожно — полковник впереди, за ним Эрик, последним — Глеб — они спустились вниз. Полковник поцелкал выключателем — бесполезно. Свет из двери кое-как про-

никал еще сюда, но за поворотом была непроглядная темнота.

— Сейчас... — сказал Эрик. На него опять накатывало. Он хлопнул в ладоши — и увидел, что за поворотом лежат люди. Никакого движения. Никакого.

— Они там. Все. Они все мертвые, — сказал он.

— Спички, — сказал полковник. — У кого есть спички?

Спички были у Глеба. Полковник вырвал из блокнота несколько листов и поджег их.

Доктор с забинтованной головой как сидел, так и сидел, только в груди его было несколько черных дырочек — черных и почти сухих. Рядом лежала пожилая женщина в белом халате, на халате было очень много крови. Парень, тоже в белом халате, лежал вдоль стены, вместо лица у него было что-то вдавленное, страшное. Амадео лежал поодаль, свернувшись в калачик и зажав руки между бедер. Пленного не было.

— Эрик, будь здесь, — сказал полковник. — Глеб, со мной.

— Вы на Коперника? — спросил Эрик.

— Да, — и полковник кинулся вверх по лестнице. Глеб побежал за ним.

Эрик выждал пять секунд — столько, сколько надо, чтобы завести мотор мотоцикла и уехать. Потом он достал из кармана парня в белом халате ключи от машины. Мотор санитарного «мерседеса» завелся сразу. Эрик почему-то был уверен, что на улицу Коперника убийцы не поедут — они поедут в лагерь «Гиперборей». По Северному шоссе. Выезд на шоссе — с Большого проспекта. Только бы переезд не был закрыт... Переезд закрыт не был.

Эрик не знал, за какой именно машиной он гонится, но был уверен, что узнает ее, как только увидит. Проскочивший перед самым бампером — он снизил скорость перед выездом на шоссе — голубой «вольво» был для Эрика как удар по лицу. Та самая машина.

Тяжелый «мерседес» шел ровно и мощно. Эрик разгонял его по третьей полосе, надеясь, что те, в «вольво»,



не заподозрят такую экзотическую погоню — на «скорой помощи». На спидометре было сто восемьдесят, когда расстояние стало заметно сокращаться. Наконец он поравнялся с «вольво». За рулем сидел Педро по кличке Нос. Кто сидел рядом с ним, Эрик не видел, но на заднем сиденье, откинувшись на спинку, сидел Пол Греич, тот самый мотоциклист, который был в подвале и который ушел из подвала — которого увели... освободили... дурацкое слово в нашем случае, Пол... Впереди был мост, и уже начиналась насыпь въезда на мост, и висел знак ограничения скорости. Эрик, не тормозя, повернул влево и тут же вправо, мгновения растянулись, — дождался, когда начали сминаться крылья и дверцы, встретился взглядом с Полом и наслаждался его ужасом, Педро что-то орал, — а потом выкрутил руль влево и остался на полотне дороги, а голубой «вольво», зависнув в воздухе и все больше подставляя свету черное узловатое брюхо, лег на крышу и понесся вперед и вниз на острие пыльной тучи, — Эрик тормозил, но даже в диком визге своих тормозов слышал тот скрежет гибнущего железа, — потом закувыркался через бок и загорелся, еще не завершив движения, огонь протянулся за ним, убегающим, и догнал, достал остановившегося, сдавшего — черно-дымное пламя выросло и поглотило тот ком мятого и рваного железа, который еще десять секунд назад гордо летел по шоссе, унося в безопасность убийц — виновных и невинных. Эрик развернулся и поехал в город. Все, подумал он. Пока — все.

Мимо, обогнав его, пронесся с ревом и грохотом длинный магистральный грузовик, и этот грохот разбудил что-то в Эрике, а может быть, лопнуло что-то из предохранявшего его — потому что он в одно мгновение забыл, как надо управлять машиной. Руки ослабли, и нога соскользнула с педали. Машина останавливалась и съезжала на обочину, и он не знал, что надо делать. Покалеченным боком она пробороздила по бетонному ограждению. Мотор заглох. Непослушными руками Эрик открыл дверцу и почти выпал наружу. Дорога была пуста. Неожиданно для себя он бросился бежать прочь от машины. Ему казалось, что она сейчас

взорвется. Он бежал долго, дыхания уже не хватало. Надо было залечь, чтобы уберечься от взрыва. Он лег и закрыл голову руками, чтобы уберечься от взрыва. Уберечься от взрыва. Потом он сделал это еще раз, сам в себе: лег и закрыл голову руками, сжался, закусил губу, чтобы не закричать, — сейчас должно было произойти что-то, что разнесет мир на куски... Так он лежал в ожидании чего-то ужасного и не хотел слышать, как рядом остановилась машина — запах бензина, резины и нагретого металла, — и кто-то подбежал к нему — тому, внешнему, бесчувственному, как панцирь черепахи, — с ним что-то делали, тормозили, о чем-то спрашивали, потом, кажется, куда-то вели... Он только крепче зажимал уши и прятался внутрь себя, стараясь ничем не выдать своего присутствия.

Он не знал, сколько времени пробыл так: с зажатыми ушами и закрытыми глазами. Кажется, много. Один раз он попытался приоткрыть глаз, но режущий свет многих ламп, преломленный на хромированных поверхностях и острых гранях, заставил его вновь зажмуриться — любая темнота была лучше этого адского света. Что-то делали с его панцирем, и панцирь как-то вел себя, — Эрик старался не думать о нем и не прикасаться к нему. Это было что-то большее, чем брезгливость, — что-то такое, чего нельзя преломить в себе, потому что если преломишь, то сломаешь себя. Что-то делали с его панцирем... Но я же не хотел! — голоса не было. Я не виноват ни в чем! — крик не шел через горло, охрипшее от другого крика. Что-то делали с его панцирем... И все-таки однажды он смог открыть глаза.

Буроватое огромное солнце висело невысоко над горизонтом, и далекие горы были светлее, чем небо, — как на негативе. Гладь озера застыла. В воздухе растекалось предчувствие урагана. Эрик сидел на высоком табурете у стойки бара перед пустым бокалом. Рядом сидели другие — он не видел лиц. Подошел бармен, спросил о чем-то. Эрик не знал слов, но понял его и кивнул. Бармен поставил перед ним еще один бокал —

полный, с синей соломинкой. Эрик попробовал. Было вкусно и некрепко. На всякий случай Эрик проверил деньги в кошельке. Кошелек был незнакомый, новый, пахнувший хорошей кожей. Деньги тоже были новые, хрустящие, совершенно незнакомые. Эрик понимал только цифры. Числа были маленькие: «1», «2», «5». От таких цифр на деньгах он давно отвык. Он допил коктейль и расплатился. Откуда-то он знал, что надо отдать бумажку с цифрой «1» и отмахнуться от сдачи. Стойка бара располагалась под навесом, вокруг, на тротуаре, стояли столики и стулья, мимо них надо было пройти и спуститься по лестнице. Лестница вела на пляж. Пляж был уже почти пуст, люди собирали вещи и уходили, служители в оранжевых комбинезонах снимали тенты и убирали зонты. У причала несколько ребят, черные, как негры, вытаскивали лодки из воды. «Го, сола! — закричал один из них. — Харту у ло!», Эрик знал, что «сола» — это лысый, а «харту» — помоги. Он подбежал и стал вместе с ними волоочь лодки по песку. Потом, когда лодки вытащили и перевернули, ребята расселись кружком и закурили. Предложили Эрику — просто из вежливости, они знали, что он не курит, но предлагали на всякий случай: вдруг ты втайне от нас начал, а мы не ведали и теперь невзначай тебя обидим? Из разговора Эрик кое-что понимал. Сегодня, оказывается, утонула девочка из деревни. Переходила речку вброд, течением подхватило и понесло. В озеро вынесло уже мертвую. Представляешь: платье надулось и держит на воде, а она уже захлебнулась. Двенадцать лет. Бывает же так... «Туар», — сказал один из парней и хлопнул Эрика по колену. Эрик оглянулся и встал. К нему шла Элли — он сразу узнал ее, хотя она изменилась. На ней была красная маечка без рукавов и белые шорты. Она была почему-то совсем не похожа на себя, но Эрик сразу узнал ее. Ребята загомонили, и она помахала им рукой. Эрик сказал: «Го, стерос!» — и пошел навстречу Элли. «Го» означало и здравствуй, и прощай — привет, одним словом.

— Ты почему меня не дождался? — спросила Элли. — Я тебя везде ищу.

Эрик непонимающе глядел на нее. Она изменилась. Лицо похудело, поэтому глаза стали еще больше. Волосы сделались светлее — выгорели на солнце и приобрели пепельный оттенок. Эрик никогда в жизни не видел волос такого цвета.

— Элли, — сказал он. — Господи, Элли.

— Ну, что ты? — сказала она. — Ничего страшного. Я так и думала, что ты опять куда-нибудь убредешь.

Эрик хотел что-то сказать, но не смог. И — странно — с появлением Элли в нем возник комок глухого, но сильного недовольства.

— Ну а почему ты не спрашиваешь, как я справилась с заданием, — засмеялась Элли. — В общем, все гораздо лучше, чем казалось. И проще. Статус беженцев нам предоставят, надо только сесть и написать подробное заявление. Пособие выдали, и знаешь сколько? Две тысячи крон! Это можно спокойно жить целый год, так как будут еще бесплатные талоны на питание. И этот человек сказал, что тебе надо пройти медицинское обследование, и тогда назначат пенсию: семьдесят крон в месяц, а если через год ты не сможешь начать работать или учиться, то тебе ее продлят. Видишь, как хорошо. И еще из тех денег осталось почти шестьсот крон. Так что совершенно нечего бояться.

— Я ничего не боюсь, — сказал Эрик — сказал не столько ей, сколько себе, и не столько утверждая это, сколько этому удивляясь. — Я почему-то ничего не боюсь, Элли...

— Это ты-то не боишься? — ехидно сказала Элли. — Ты так нервничал, что мы останемся без денег и мне придется идти на панель!

— Ну что ты несешь? — сказал он. — Ну что ты такое несешь, когда все хорошо, когда сейчас начнется такой ураган, когда — боже мой! — ты рядом... с ума сойти...

— Нет, — сказала Элли. — Ну, что ты? Не надо.

— Хватит, ты хочешь сказать?

Элли промолчала.

Эрик потрогал затылок. Волосы отросли на два пальца, и шрам хоть и чувствовался, но виден уже, наверное, не был.

Так, сказал себе Эрик. Чтобы раз и навсегда: ничего не было. Ничего. Ты ни в чем не виноват, понял? Ни перед ней, ни перед собой. Все с самого начала. С нуля.

Они поднялись по лестнице с пляжа на набережную и от набережной пошли по узкому крутому переулку. Эрик знал эту дорогу — она вела к дому. К их с Элли дому. Неподвижный, мрачный воздух вдруг сдвинулся и потек, все быстрее и быстрее. Зашумели деревья. «Скорее!» — сказала Элли, и они побежали. Они добежали до знакомого дома и по наружной лестнице поднялись в мансарду. Через секунду начался ливень. Здесь все было как всегда — Эрик огляделся, быстро узнавая предметы. Их было мало: стол с посудой на нем, два парусиновых стула, шезлонг и два надувных матраца, брошенных в углу один на другой. Дешевая цветастая люстра висела на проводе, потому что крюк из потолка был выдеран с мясом. Вон та дверь — это стенной шкаф, а вон та — так называемые удобства.

— Я в душ, — сказал он.

Стоя под холодной струей, он попытался вспомнить то, что было связано с этим домом, но у него ничего не получалось. Когда он вышел, Элли сидела на стуле посреди комнаты и плакала.

— Элли! — Он бросился перед ней на колени. — Элли, маленькая, что с тобой? Что случилось?

— Ничего, — сказала она. — Ничего. Все хорошо. Я так устала...

— Все будет хорошо, вот увидишь, — сказал Эрик. — Мне лучше. Я сегодня как проснулся.

— Да, — сказала она. — Конечно, все будет хорошо.

— Конечно, вот увидишь.

— Я когда плачу, то из меня тревога выходит...

— Ты меня прости.

— Зачем ты опять об этом?

— Да? Хорошо, я не буду.

— Не надо.

— Я не буду.

Дождь молотил по крыше, и ветер сотрясал оконные стекла. Стало темно, и они сидели в темноте.

— Элли, — позвал Эрик.

— Что?

— О чем ты думаешь?

— Мне захотелось вдруг, чтобы мы никогда не умерли.

— А мы умрем?

— Да.

— Странно, — сказал Эрик. — Правда, странно?

— Очень. А ты о чем думал?

— Не знаю. Я теперь так мало знаю о себе... И я еще почти не умею думать. Выпотрошили и зашили... Давай не будем обо мне.

— Ладно, — сказала Элли. — Мы привыкнем, правда?

Прошла минута, другая...

— Да, — сказал Эрик. — Мы привыкнем.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Коридор зеркал. <i>С. Бережной</i> ..... | 5   |
| КОЛДУН .....                             | 15  |
| МОСТ ВАТЕРЛОО .....                      | 37  |
| АТТРАКЦИОН ЛАВЬЕРИ .....                 | 237 |
| ПУТЬ ПОБЕЖДЕННЫХ .....                   | 279 |
| ПРИМАНКА ДЛЯ ДЬЯВОЛА .....               | 369 |

**Лазарчук А.**

**Л 17** Опоздавшие к лету: Фантастический роман.  
Книга 1 / Ил. Я. Ашмариной. — СПб.: Азбука—  
Терра, 1996. — 448 с.: ил.  
ISBN 5-7684-0145-8

Отечественная фантастика еще не знала столь масштабной философской прозы. Война и мир — и война миров. Люди как душа войны — и война в человеческих душах. Альтернативные реальности сталкиваются в апокалиптическом катаклизме, и творцы миров с ужасом смотрят на то, во что превращаются их творения...

Грандиозная эпопея Андрея Лазарчука, ставшая одной из основополагающих книг русского турбореализма, впервые издается в полном объеме.

*Литературно-художественное издание*

**Андрей Лазарчук**

## **ОПОЗДАВШИЕ К ЛЕТУ**

### **Книга 1**

Ответственный редактор *Николай Ютанов*

Редактор *Леонид Филиппов*

Художественный редактор *Вячеслав Неклюдов*

Технический редактор *Татьяна Раткевич*

Корректор *Елена Шнитникова*

Верстка *Антон Вальского*

ЛР № 071177 от 05.06.95.

Подписано в печать с оригинал-макета 10.10.96.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать высокая. Гарнитура «Балтика».  
Тираж 20 000 экз. Усл. печ. л. 23,5. Изд. № 145. Заказ № 126.

Издательство «Азбука». 196105, Санкт-Петербург, а/я 192.

Отпечатано с оригинал-макета

в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.







**Война и мир —  
и война миров.  
Люди как душа  
войны — и война  
в человеческих душах.  
Альтернативные  
реальности  
сталкиваются  
в апокалиптическом  
катаклизме, и творцы  
миров с ужасом  
смотрят на то,  
во что превращаются  
их творения...**

